95 коп.

Индекс 73276



«Нева», 1990, № 10, 1—208

ISSN 0130—741X

10/1990

А. ДРАБКИНА
Грибники
Повесть

В. СОСНОРА
Николай
Эссе

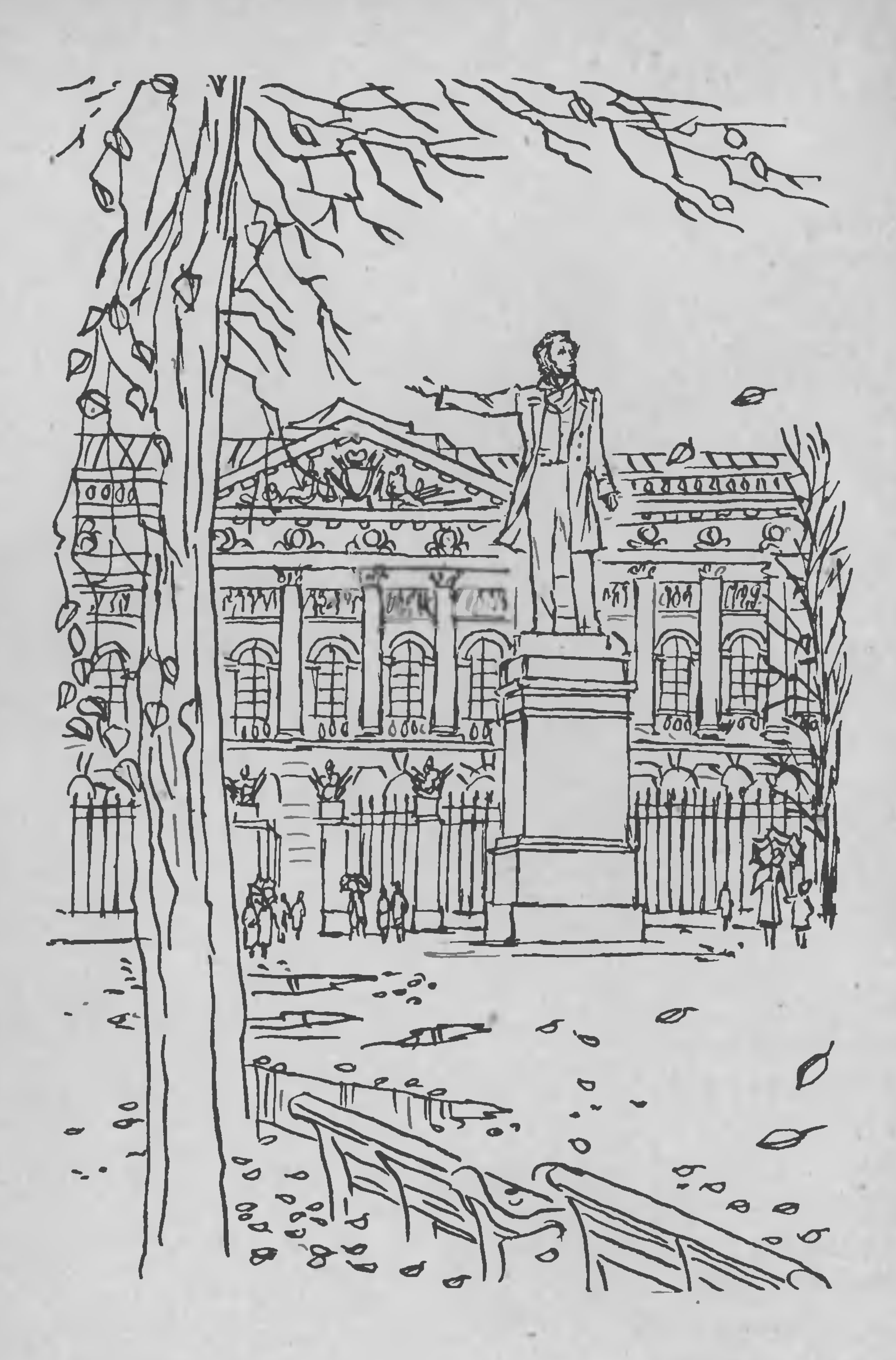


К. МАЛАПАРТЕ
Капут
Роман

Р. КОНКВЕСТ
Большой террор

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»

А. ЯНОВ
Русская идея и 2000-й год



В саду перед Русским музеем

Рис. Ю. Купикова.

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический иллюстрированный журнал

Орган Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации

Нева

10/1990

Выходит с апреля 1955 года

СОДЕРЖАНИЕ



Ленинград
«Художественная литература».
Ленинградское отделение

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

Старший технический редактор Г. В. Александрова
Корректоры А. Ю. Семина, О. Б. Смирнова

Илья
ФОНЯКОВ

Историко-математический этюд

Мне друг-историк предложил:
— Сочти,
Представь себе, хотя бы, сколько предков
Твоих — прямых, подчеркиваю! — жило
На Родине твоей, святой Руси,
Ну, скажем, в пору битвы Куликовской?
— Сто? Двести? Тысяча? — прикинул я.
— Давай считать! — ответил он.— Начнем
С родителей. Их двое, как известно.
Дедов да бабок — четверо уже,
Прабабок, прадедов — уже, брат, восемь,
На уровне «прапра...» — уже шестнадцать,
И всякий раз, по мере углубленья
В живую толщу времени, число
Удваивается...
Теперь возьмем
За аксиому, что за сотню лет
Сменяются четыре поколенья,
Поскольку молодое существо
Лет в двадцать пять становится отцом
Иль матерью. Бывает, что и раньше,
Но примем эту цифру: двадцать пять.
А перед нами — с гаком шесть столетий...

Я стал считать с карандашом в руке.
Десятки быстро превратились в сотни,
Те — в тысячи, в десятки, сотни тысяч!
Происходило это, как в задаче
О зернышках на шахматной доске.
Кружиться начинала голова,
Вокруг меня толпой теснились предки,
Сперва знакомые: учителя,
Историки, хирурги, инженеры,
Бестужевки, статс-дамы, институтки,
Участники сражения на Шипке,
Народники, знакомцы декабристов,
Березовский почтмейстер промелькнул,
В семейных поминаемый преданьях.
А там и вовсе хлынули: стрельцы,
Попы, ярыги, пахари, бояре,
Их жены в киках, вязаных платках,
Паневах, шубах!
Воины в шеломах,
Изографы, бродяги, скоморохи,
Разбойники...
И тут мой карандаш
Подвел черту: *четырнадцатый век*
И результат: *семнадцать миллионов!*
— Постой, историк, сколько ж весь народ
Насчитывал тогда?
— Немногим больше! —
Ответил он.
Так, значит, *весь народ* —
Мои прямые предки?
Бог ты мой!
Стояли предки над рекой Непрядвой.
Седлал коня мой предок Пересвет.
Боброк, мой предок, вел свой полк в засаду,
Мой предок Дмитрий поле озирал
Орлиным оком князя-полководца,
А безымянный предок у костра
Чуть слышно пел бесхитростную песню
О молодой жене и малых детях,
О пашенке оставленной своей.

И пусть отдельных предков голоса
Послышатся при этом отовсюду:
Из свейских стран, из половецкой степи
(С кем не роднились только на Руси!),—
Я спрашиваю ныне: кто дерзнет
Встать между мною и моим народом —
И говорить от имени его,
И поучать от имени его,
И разделять на чистых и нечистых?

Кто хочет, пусть проверит мой расчет.
А мне он вдруг припомнился, когда я
В дождливый день на краешке шоссе
Увидел стрелку:
«Куликово поле»...

Ангел моего детства

О, игры странные моей эпохи!
...Припомнилось, как с церкви лютеранской,
Стоявшей во дворе у нас, на Невском,
Снимали крест. Его держал скульптурный
Кудрявый ангел, взгляд возведший в небо.
В то утро двое хмурых работяг
Из рук его довольно деликатно
Изъяли две — одну, потом другую —
Прямых и узких дщицы золотых
И унесли куда-то.
Я за этим
Следил из нашей коммунальной кухни,
А жили мы на пятом этаже,
Как раз на уровне церковной кровли.
И показалось мне, что ангел стал
Еще таинственней, еще мистичней —

Ловящий пустоту, смотрящий в небо,
Как будто собирался по канату
Незримому
подняться в облака.
Таким он мне казался много лет,
Пока мой сын, дитя иных времен,
Уже достигший возраста такого,
В каком был я, когда снимали крест,
Все у того же самого окошка
Спросил меня:
— А почему напротив
На доме физкультурница сидит?

◆◆◆

Рубим сук, на котором сидим.
Почему? Потому что так надо.
Как на срочном подряде бригада,
Друг за другом пристрастно следим:

«Эй, приятель, ты рубишь не так —
Скучно, вяло! Послушай совета —
Поучись, брат, как делали это
Лев Толстой, Оноре де Бальзак!

Вспомни, брат, как на Волге-реке,
По-крестьянски себя препоясав,
Ярославский помещик Некрасов
Жажду воли будил в мужике.

Этой мерой себя ты и мерь,
Приобщайся к высокому счастью.
Ничего, что с разинутой пастью,
С красноватыми глазками зверь

Ждет внизу — это все пустяки.
Пресен опыт, который не горек.
Перекидывай верный топорик
В праву руку из левой руки.

Не уклонишься, не погодишь.
Ты не первый, дружок, не последний.
Не замахивайся на соседний,
Тот руби, на котором сидишь!»

Алла
ДРАБКИНА

ГРИБНИКИ

Абсолютная правда

Я своему Болвану одно внушаю: может, и нет у нас ничего, кроме природы. Хватай последние крохи, пока остались. Мы ведь все когда-то от сохи, от огня пещерного, от земли. Слушай меня, парень, и на ус мотай.

Я в этой жизни все правильно понимаю. Потому и устроилась эта жизнь у меня как должно, всем на зависть. А ведь могло бы...

По профессии я — экономист. Наконец-то занимаю то положение, которого стою. Пришлось, правда, с места на место побегать. Ну, так ведь иначе у нас нельзя. Нету у нас такого, чтоб свои кадры повышать и растить. Ты можешь тыщу лет просидеть заместителем отдела, но начальником обязательно возьмут варяга. Почему? Не знаю. Но то ли приглядятся к твоим грехам и огрешкам, то ли достоинства твои им примелькаются,— обязательно возьмут варяга.

На первом заводе, где я десять лет отволок, меня ни за что не повышали. Беспартийный, дескать. Хорошо, беспартийный, так возьмите меня в партию. Не взяли. Почему? Не знаю. Кажется, процент партийности по ИТР был перевыполнен.

Дернул я коньки, ушел на другое место. Там в партию вступил. На третьем месте повысился, но оклад был маловат. Долго я так бродил, пока на своем первом заводе не оказался, там, откуда пришел. Вот уж и должность, и деньги дали. Работа — не бей лежачего. Нет, она сложная, конечно, будь я варяг, но когда ты всех и все тут знаешь — хорошая работа. А уважают-то как! Да за это уважение...

В быту — что ж? Все о'кей. На уровне. С Наташей, конечно, развелся, не без этого. На Наденьке женился. Однако, отношения со всеми поддерживаю. Современный я человек, или свинья?

У нас с Наденькой детей нет, зато Ивану-Болвану уже двадцать три. Наташа его ко мне отпускает. Дружим, как говорится, домами. Мы люди на уровне, не дикари. И у меня, и у Наташи — все как у людей. Она счастливо замуж вышла. Рад. А за грибами Болваша со мной ездит.

Сколько помню я своего сына, всегда он вопросы задает. Ну, раньше они были попроще: почему дважды два — четыре, да почему земля вертится. Теперь вопросы сложнее, с подковырками. Только ведь я отец современный, я насчет юношеского максимализма подкован, я на уровне, потому отвечаю соответственно.

— Пап, а кто это так любит советский народ? — спрашивает меня Болван, глядя в окно электрички.

Я не сразу понимаю вопрос, пока не прослеживаю за взглядом своего двухметрового сынка: «Да здравствует советский народ!»·

Да, куда ни поедешь, куда ни пойдешь — везде эти «слава» и «да здравствует» в разном материале. На полотнищах, из бетона, из железных конструкций. У нас около завода металлической буквой «Р» одному пионеру ногу сломало. Свалилась буква «Р» на пионера.

— Видимо, кто-то любит,— не сразу нахожусь я.

— Наверно, сам себя народ так любит,— заключает Болван. Потом долго думает.— Пап, а это ведь плохо — так себя любить. И на каждом углу себя славить.

— Ну, может, не сам народ... Договоримся о терминах: кто у нас есть народ? - говорю я.

— Не знаю... Я так думаю, что тот, кто на своих двоих ходит, или в муниципальном транспорте ездит — тот народ. А которые на своих машинах — те, наверное, слуги народа...— И смотрит на меня хитренько. Думает, что я испугаюсь его смелости.

А я теперь ничего не боюсь. У меня еще с шестидесятых закалка на смелость.

— Правильно мыслишь, паря,— говорю.— Вот в Древнем Риме... Там золото и бриллианты только парикмахеры-прислужники носили. А патриции — ни-ни.

— Значит, мы с тобой патриции,— говорит Болваша.

— Мы лучше патрициев. Мы — грибники.

Рядом с нами остановился пьяненький, тоже грибник, по корзине видно.

— Да,— говорит он.— Мы, русские,— грибники. Ты с нами что хошь делай, только грибов наших не трожь. Мы — русские!

— Памятник тебе за это поставить? С грибом в виде пол-литры? — буркнул Болваша, потому что пьяный грибник плюхнулся рядом с нами и отключился.

— Вот все-то вы, молодежь, ругаете, все-то не по вам,— сказал я Болвану.— А какая лично у вас позитивная программа?

— А у вас? — вопросом ответил он.

— Я первый спросил!

— Ну что ж, отвечу... Позитивная программа для начала: назвать бревно бревном, холуя холуем, а бездельника — просто нецензурно.

— Это не позитивная, Болваша. Это негативная. Давай позитивную.

Поезд залязгал, заскрежетал. Слезай, приехали.

Ну, сгрузились мы кое-как. Пьяного грибника тоже выгрузили — жалко человека.

Я не стал приставать к Болваше с ответом на мой косвенный вопрос. Он включился по собственному почину.

— Видишь ли, папа, вот мы всю дорогу про народ и про славу его читали, так?

— Ну, так.

— А скажи тогда, пожалуйста, почему же мы с тобой и с этой вот толпой прикатили сюда не первой утренней, а последней ночной?

— Потому что наш автобус, он первый и единственный, уходит за три минуты до того, как прибывает первая электричка.

— Это из любви к народу мы тут всю ночь будем тусоваться?

— Ну, как тебе сказать... Не продумано.

— Вот я за то, чтоб было продумано,— резко сказал мой двухметровый Болваша.— И против того, чтоб все делалось назло людям.

И двинули мы подалее от станции. В лесок. Лесок, он, конечно, загаженный, ну да я с собой специальную лопатку ношу. Все перерою, все перекопаю, ненужное сожгу, и будет вокруг меня чисто. Пленер как пленер. Все на уровне.

Одного я на этот раз не учел — грибника пьяного. Он очухался, благодетелем меня счел, ну, и за нами с Болвашкой потащился.

— Мы грибники? — задавал он вопрос.— Грибники,— сам отвечал.— А раз грибники, то должны помогать друг другу. Масоны друг другу помогают — и мы должны.

Я думал, он только так слова говорит, но оказалось, что готов, бедняга, помочь и на деле. Только по-своему. Бутылек достал.

— Мы не пьем,— сказал я.

— Подколотый-подштопанный-подшитый? — заподозрил Грибник.

— Не любим,— резко оборвал его Болваша.

Грибник глянул на него, понял, видимо, что-то, обиделся:

— Да я что, да я ничего... Мне, может, только потрендеть и надо. Я такой, я грибник. Мне все для компании.

Мы с Болвашей тем временем загаженный лесок прибираем, костерок разводим, всякую пакость в нем сжигаем. В общем, умно говоря, идем путем катарсиса. Все на уровне.

Запылал наш огонек. А к нему и люди потянулись. Наш компанейский товарищ всех хлебом-солью встречал, ну, то есть рюмахой такой выдвижной. Кто хотел — пил. Остальные так просто закусывать начали. Видимо-невидимо народу образовалось. И мужчины, и женщины — всякой твари по паре. И, заметьте, все грибники.

А пьяный наш зазывала все пьет да трезвеет, пьет да трезвеет. Будто наоборот у него в организме устроено.

Вот он-то первым трендеть и начал.

— А чего,— говорит,— в жизни случается, тому ни за что не поверите. Вот случай я скажу...

Люди сытые, бьют копытами. Случай так случай. Все равно не спать — земля уж холодная, а всяких там тяжелых снаряжений настоящий грибник не любит, на себе же таскать-то!

— Давай случай! — кричат со всех сторон.

— А называется этот случай «Снегурочка».

— Давай «Снегурочку».

СНЕГУРОЧКА

Да я что? Да я ничего, я сам знаю: главное в сказке — это фешенебельность. В смысле лояльности и концепции. А я, может, самородок, и нос у меня, может, внушительный и красный. Впечатляю я. Назначили меня вот поэтому. Ты, говорят, опытный, у тебя, говорят, нос красный. А Снегурочку сам ищи. Только постарайся непьющую. А что я, контуженый, сам, что ли, не знаю? Я невесту не так искал, как эту Снегурочку. Потому что знаю — напьюсь. Я где хотите напьюсь, хоть в вакууме. Ну, а когда в Новый год, да еще в виде Деда Мороза,— это железно. Главное, чтоб она меня в машину сажала и высаживала из нее (нам машину дали), а уж когда я у елки окажусь, то заговорю. И буду говорить, пока милиция не остановит, потому — талант у меня. Вот дайте мне любое слово, хоть «коридор», например, и я тут же в лад к нему другое подберу. И ведь что замечательно — слова у меня все цензурные. Проза — она не то. А в стихах...

Белочки и зайчики!
Девочки и мальчики!
Мы явились, честно слово.
Где тут Оля Комарова?
Оля, Оля, выходи,
На дедулю погляди.
Если будешь паинька —
Вот тебе мозаика.
Покорми ствою сынулю
Из игрушечной кастрюли.

А эту Машеньку я себе сам высмотрел. Кто ж ее знал, что она на такие дела способна? Главное, сразу видно — не пьет. Есть ведь такие Снегурочки, что наравне с Дедом Морозом хлещут. А она — извините. И с виду ничего себе, хотя и не в моем вкусе. Но с пацанами и с пацанками ладит — хоть бы хны. Они-то, пацаны и пацанки, как увидят меня, как услышат — в слезы. А она с ними «тю-тю-тю» — и через пять минут все в ажуре. Не скажу, чтоб она в тот вечер совсем мне не нравилась, нет, не скажу. Опять же — и другие хвалят. Ну, не устоял я. Хотя я с виду такой мужик северный, такой ледовитый, но — грешен. Обнял ее в темном парадняке. А она — возникла. Возникла и пихнула она меня. А я что? Я упал. Ну, умная ли она — выпившего человека пихать? Ох, и эло же меня взяло!

— Ты,— говорю,— чего пихаешься, ты? Я тоже могу пихнуть, поняла, ты? Да на какого ты мне сдалась, ты? У меня Люська есть. Шинкаренко. Я женюсь на ней, поняла? Я тебя только в смысле лояльности обнял, поняла?

А она закаялась, видно. Но только я ее больше обнимать пока не стал, пусть теперь облизывается и вспоминает чудное мгновенье.

Ну, поднялись мы в квартиру, там одна тетка с нашего завода живет, Егорова, к внуку своему нас заказала. Я, значит, слова свои опять заговорил, какие положено.

— Вот и мы явились и не запылились,— говорю,— шли мы лесом, шли мы бором: где тут Мишенька Егоров? Я Дед Мороз — инструктор, принес ему конструктор...

Мужик Егоровой и ейный зять сгоношили выпить, сама Егорова закусь подает. Все чин чинарем. А время, доложу, уже пол-одиннадцатого.

— Много вам еще обойти осталось? — спрашивает у меня Егорова.

— Только к Зотову, начальнику лаборатории,— отвечаю.

Егорова тут захихикала.

— Ты чего,— говорю,— тетка Зина?

— Спроси у своей Снегурочки,— говорит.

Я как-то не понял, но вдаваться не стал. Тетка Зина и сама растолкует.

— То,— говорит,— что она в его влюбимши.

Ну, меня от нахальства этой Машеньки аж перекорежило. В умного, большого, женатого человека втюрилась, а меня еще пихает.

— Это не Снегурочка, а нахалюга,— только и сказал я.

— Но уж зато красивая,— примолвил зять Егоровой и аж облизнулся.

Видел я всяких зятей, но чтоб такого дурака — извините.

— А что Зотову с ейной красоты,— говорит Егорова,— у него Раиса хозяйка, каких поискать. Оны, правда, питаются отдельно. Масло неподписанное ни за что в холодильник не положут. Обязательно чтоб подписать: где евонное, а где ейное. Ну, а все-таки с какой-то девчонкой не сравнишь...

— Вот,— говорю на выходе Снегурочке,— придем мы к Зотову, так там ты с хозяевами пей и любезничай, мне не жалко. Там твоя малина будет. Не боись, не выдам.

Она молчит.

Лифт у Зотова на лестнице не работал, шкрабали мы пешочком. Мне идти очень даже затруднительно, а Машенька меня сзади подталкивает. С грехом пополам допилили. Только, значит, нашли ихнюю квартиру, как оттуда другая парочка, вроде нашей, высыпается. Снегурка помоднее моей, только очень злая и красная. Я даже подумал, что после таких снегурок детей в квартире может не оказаться. Съедают они детей, что ли, или там что с ними делают.

— Привет,— говорит та Снегурка.— Еле вырвались. Давайте перекурим, коллеги.

Перекурить так перекурить. Сели на окошечко, сидим. Дед Мороз кирной, как и ни я, а Снегурка ничего, от злости отошла.

— Мы,— говорит,— с Раисиной работы, а вы,— говорит,— наверное, с евонной?

— Ну,— отвечаю.

— Гну,— говорит,— только бы я на вашем месте рвала отсюда когти.

— А что они там, масло делят? — спрашиваю.

— Какое масло? Ты назюзюкался, как и ни мой Федя. Чего это он у тебя так назюзюкался? — Машеньке говорит: — Про масло какое-то несет, тоже артист. Не в масле дело, а дрянь Раиса, в этом все дело. Федя, дай-ка мне зеркало.

Федя дал ей зеркало, погляделась она в него и говорит:

— Ну вот, опять как в прошлом году! После ихней квартиры всю красоту прыщами обкидало. Весь год теперь чесаться буду.

— Да что же там, блохи у них? — спрашиваю.

— Сам ты блохи. А вы вот что, там еще ребенок есть, племянница ихняя. Так вы ей тоже что-нибудь подарите, ребенок все-таки...

— Есть подарок.

— Ну, чао! — говорит та Снегурочка, хватает своего Федю, который уже заснул на лестнице, и тащит за собой.

— Пошли,— говорю Машеньке,— а то Новый год в машине встретим. Не боись, не выдам.

Позвонили. Дверь открыла, наверное, жена Зотова.

— А кто к нам пришел! — кричит.

В прихожую выскочили пацан и пацанка, а за ними и сам Зотов.

— У меня конец работы, где тут мальчик Витя Зотов? — говорю.— Не пойму я спозаранку — незнакомая пацанка. Хоть не знаю, как зовут, но подарок тут как тут.

Вот таким макаром я и выступаю. И вдруг — впервые такое слышу от ребенка — зотовский Витенька и выдает:

— Здравствуй, Дедушка Мороз, голова из ваты! Ты подарки нам принес, паразит горбатый?

Я прямо офонарел, потому впервые такого подвижного мальчугана вижу. Сначала-то я не обиделся, мало ли что пацан болтает, главное — всклад, а это я ценю, потому что сам — самородок. И не только что я не разозлился, а даже, помню, лыбился еще как дурак. Хотел, как положено, в комнату к елке пройти, только шагнул, а пацан как зайдется:

— Сапоги кто за вас снимать будет, Пушкин?

Ну, тут уж я лыбиться перестал. Дело дрянь. Нет, я не нищий, конечно, у меня дома даже новые носки есть, на Новый год купленные лежат, а только сейчас-то на мне не новые, а драные. Штопать-то пока я не обрачился, некому, а тут разуваться. А Снегурочка-то моя вроде как поняла это, меня заслонила и с детьми и хозяевами здоровается, верещит что-то как утренняя белочка. Вроде никто мои драные носки и не заметил. А что, они и должны бы не заметить, раз они культурные. Я в одной книжке читал, что если культурные гости пришли к культурному хозяину и культурно шандарахнули об пол хрустальную пепельницу, то хозяин должен не заметить. И вот Снегурочка-то верещит, а пацаненок Витя слушал, слушал, да как скажет:

— Дед Мороз, у тебя Снегурка глухая, что ли? Я же сказал, разуваться надо!

Хорош мальчик! Ну, я совсем растерялся. А вдруг, думаю, у нее тоже чулки драные? Она покраснела, замолчала и стала разуваться, а я на хозяев гляжу: как они-то? Раиса — та вроде ни в одном глазу, будто так и надо, а вот сам Зотов стоит ни жив ни мертв, только не понять с чего: тоже он втюрился в эту Машеньку, взаимно, значит, или носки мои драные видел?

— Ну, дети, ведите меня к елке,— говорю я без всяких стихов, потому что отказал мне вдруг мой талант.

Пошлепали. Впереди дети, потом мы с Машей, а сзади хозяева. Ну и комнатку же я увидел! То есть такая это хата, какие можно только в фантастических фильмах показывать. Ну, такие еще фильмы бывают, где показывают всякие блестящие пещеры на других планетах. Все переливается, с потолка висит, разве что не капает. Машенька взяла на себя все эти «пришли-принесли», говорит детишкам:

— А теперь, дети, покажите, чему вы научились с прошлого Нового года, и тогда я вам дам подарки.

— Тогда! — говорит пацан Витенька.— Не тогда, а все равно дашь! Папка за них деньги заплатил, а она не даст.

И, не долго думая, шасть пацанчик к моему мешку, хвать его из моих рук и давай там копошиться. А девчоночка та, которая племянница, только глазенками моргает, но к мешку не подходит.

— Что же вы стоите? — говорит Раиса и плюхается на диван. И так это она плюхнулась, что мне почему-то подумалось: одна она так не плюхается, пружины бережет, а при нас — так это чтоб показать, что у них все как у людей, что у них на диване даже сидеть можно.

Сели и мы кое-как. Молчим, как дурни на экзаменах. Ну, вижу, такое дело, да еще под градусом находясь, говорю:

— Да, жизнь...

— Совершенно с вами согласна,— говорит Раиса.

— У вас,— говорю я очень фешенебельно,— гости сегодня будут или сами куда намыливаетесь?

— Дома будем,— Раиса говорит.

— Вот это я себе заберу,— встревает пацанчик Витенька и тянет из мешка огромную такую куклу, чуть не с себя ростом. Зачем ему эта кукла? Мы думали ее девчонке подарить, раз уж она тут в гостях оказалась. Да и не в кукле

этой самой дело, а в том, что вот застрелите, если лгу, да только понимает этот мальчишка, что не ему подарок, даже наверняка знает, что подарок девчонке, а вот нарочно себе тянет: и что вы, дескать, со мной делать будете, раз вы тут все Деды Морозы-разморозы. Нет, я таких умных пацанов не встречал еще: на три метра под землю видит. Да и не пацан это вовсе, а мужичок такой портативный: личико морщинистое, ручки ловкие, крысиные такие, сам бледненький и весь из себя вылитый вор на ярмарке. Такие моей бабке перед смертью снились, она сама рассказывала: «Опять, говорит, сонного старичка видела, липкими лапками меня щекотал и ухмылялся. Вроде как он мальчик, а сам старичок. Сонный старичок — к худу». Конечно, может, она и другого во сне видела, только мне думается, что такого.

— Зачем,— говорю Витеньке,— тебе кукла? Кукла — женщинская игрушка, а ты мужик.

— А так,— отвечает,— я просто проверить хотел, дашь ты мне ее или нет. Я-то знаю, что папа с мамой ее не покупали, вот ты и не даешь. А говоришь — подарки!

— Так она тебе только из-за того нужна, что на халяву? — спрашиваю.

— Не только,— говорит,— я ее в полиэтиленовый мешок запихну и на сервант поставлю.

Тут только до меня дошло, отчего в этой комнате все так блестит: полиэтилен везде. Витенькин портрет в полиэтилене, на стульях полиэтилен, поверх скатерти полиэтилен, да и вообще мне показалось, что и хозяева все в полиэтилене, по крайней мере Раиса — такая уж она гладкая, ну как сосиска в целлофане.

— Хорошо живете,— говорю,— культурно. Чисто у вас. И стены даже чистые.

— А мы их моем,— Раиса говорит,— у нас обои моющиеся, с полиэтиленовой пленкой.

Опять посидели.

— Говорят, пришельцы к нам прилетали,— Снегурочка моя вдруг рот открыла.

— Ага,— Раиса отвечает,— на репчатый лук дефицит, совершенно верно. Кстати, у вас есть свой мясник?

— Какой мясник? — Снегурочка спрашивает.

— Ну, как же так — нет своего мясника! — это Раиса-то.— Хотите, устрою?

Маша пожимает плечами.

— Только ему подписка нужна.

— Какая подписка?

— На собрание сочинений. У вас есть собрание сочинений?

— Мельников-Печерский есть,— от нечего сказать говорит Маша.

— Ну, тогда я ему позвоню,— говорит Раиса и тут же набирает номер. (А Зотов уже не красный, а фиолетовый.)

— Фридерик Иваныч,— говорит Раиса в трубку,— вас Мельников-Печерский устроит? — Закрывает трубку ладонью и нам объясняет: — Пошел у жены спрашивать. Ну, что она сказала, Фридерик Иваныч? Ага, понятно. Говорите, макулатурный Дюма? Заметано. С Новым годом вас! — и хлопает трубку.

— Ему макулатурный Дюма в пяти сериях нужен, вы можете это достать? — Машеньку она эдак деловo спрашивает.

— А кто он такой? — та удивляется.

— Как кто? Да мясник же! Сами просили.

— Да не просила она ничего,— первый раз за вечер Зотов рот открыл.

— Посмотрите на него! — взбеленилась Раиса.— Все они, мужики, такие.

Я из этого разговора ничего не понимаю, ну просто голова кружится. Видно, у Снегурочки тоже не те гайки сцепились.

— Дюма в шоколаде, зефир в целлофане,— говорит Машенька,— нельзя зефир в целлофане держать. Он умрет. Цивилизация погибнет от полиэтилена. В океане планктон вымер. Киты совершают массовый акт самоубийства. Акулы покрываются бородавками. Скажем «нет» полиэтилену, как сказал это всемирный симпозиум мясников.

— Вы, наверное, устали,— Раиса говорит.

— Нет,— отвечает Машенька,— что вы, я сыта. Если хотите, чтоб ваш муж всегда был свеж и нов — запихните его в полиэтиленовый мешок и поставьте на сервант.

— Это что же вы такое говорите! — кричит Раиса.

— Отстрел мужей и куропаток разрешен в период линьки,— говорит Машенька таким голосом, как будто просит прощенья,— мужья, не желающие быть отстреленными, должны написать заявление по месту работы. За двадцать килограммов дружеской и любовной переписки вы можете получить палку финской кримпленовой колбасы-сервилата, хорошо моющейся после употребления.

— Как вы ведете себя в приличном семейном доме, при ребенке! — вопит Раиса.

— За ребенка в количестве одной штуки вы получите долгоиграющее благосостояние новейшего образца с вечной иглой и финленовой записью. Всего один ребенок — и вы шагнули в счастливую жизнь. Подумайте!

Тут Витенька-пацанчик оторвался от моего мешка и уставился на мать. Вид у него почему-то стал до крайности запуганный. Вначале я не понял, почему бы это.

— Мамочка! — закричал пацанчик.— Не отдавай меня, пожалуйста, в утиль! Мамочка, ну пожалуйста! Отдайте Лизку, она чужая! У нее мать — одиночка! Отдайте ее!

Какой ни противный был этот сонный старичок-пацанчик Витенька, но даже мне сквозь дурноту стало его жалко. Штука в том, что он тут же поверил, что его могут сдать в обмен на что-то там такое. А ведь я уже говорил, что он был совсем не дурак, и если испугался, значит, было чего ему бояться.

— Мамочка, я никогда не буду рисовать красками, я их сам выкину! Я больше ни разу не порву костюм, я не буду играть в мяч, я не выну из мешка медведя! Отдайте Лизку! — И как пихнет бедную пацанку племянницу!

Та пролетела по скользкому полу от стенки до стенки и, хлопнувшись лбом об пол, как заревет! А у Зотова лицо уже синее. И вот с этим синим лицом он подходит к своему сынуле и смотрит на него так, что мне делается жутко. То есть я понимаю, что любить этого пацана нельзя, но если б я был его отцом, то, может быть, хотя бы жалел. А Зотов, вижу, его ненавидит. Ну так ненавидит, что хоть ты застрелись. И вот заносит он над пацаном свою ручищу и бьет его с размаха. Ну, тут я даже отрезвел начисто, потому что такого не видывал. Не бил меня отец никогда, потому что у меня и отца-то не было, а мать разве же так лупит! И стало тихо. Я глянул на Машеньку и офонарел: она вся колыхалась, как отражение в воде. И вот слушайте, раз уж так хотели знать, в чем тут дело: она начала таять.

— Вы не имеете права! — кричит Раиса.

А какое тут право, если человек тает? И таяла, и таяла, и растаяла. Воды в комнате по колено, и на этой воде белая ее шубейка колышется и белая шапочка. Это я точно говорю, потому что алкоголизация моя уже сошла абсолютно. Потому я к Люське на Новый год и опоздал, а когда явился — она передо мной дверь захлопнула. По-ейному так не бывает, видите ли. А где ж тогда Машенька? Вы ее, что ли, с того Нового года хоть раз видели? И я не видел.

Выслушали мы этот страшный рассказ Деда Мороза, и один такой старый хмырь, работяга старого закала (я таких люблю), говорит:

— Однако жалко девушку. Считай, целый вид вымер.

Помолчали.

— Снегурочку я твою не видел, однако верю,— поддержал Деда Мороза хиппарь дремучей наружности — хоть сейчас у него в длиннющих волосах грибы собирай.— Да. Верю. Меня семимесячного моя первая мамаша тоже в утиль снесла, как твоего Витеньку-пацанчика. Спал я в конвертике — она

меня и приняла за неодушевленный предмет. Потом неделю целую даже не искала. Забывчивая была, не от мира сего.

— А папаша? — спросил я.

— Он тоже не от мира сего. Сколько их помню, они все диссертации защищали. Десерты свои.

— А почему ты говоришь — первая мамаша? Она умерла? Была вторая? — спросил Рабочий.

— Нет. Я поменял.

— Как — поменял?

— Спокойно. Незаметно. Скинул — и все дела.

— Отродясь такого де слышала,— сказала из темноты женщина с насморком.

— Нет, ты нам расскажи,— потребовал Дед Мороз.

— Да простая история-то... Хотя... хотя продолжение у нее было. Да, было...— И он задумался.

— Ой, парень! — сказала насморочная женщина.— Что-то за тобой есть такое. Расскажи!

— Расскажи,— присоединились все.

— Ладно. Только вот название... А... есть и название:

ВСЕ ЛЮДИ—БРАТЬЯ

Ну, значит, после сдачи меня в макулатуру мои предки из деревни бабушку выписали. Хорошая была бабушка. В церковь меня водила, читать учила. Дорос я с ней лет до десяти. Потом бабушка кинулась. Ну, кинулась — это значит совсем умерла. Голяк!

Предки, конечно, об образовании моем прежде всего думали. Английская школа там, музыкальная. Особо и биться-то не пришлось: английская по микрорайону, а к музыке у меня тяга. Я пою.

Все б ничего, но только скучно мне стало. Дом, вроде, людьми набит, но это не люди, а сплошные десерты. Мамаша кандидатскую писала, а папаша — докторскую. Кажется, что-то там насчет слова «чтобы» в «Обломове». Серьезные десерты. Разве тут до меня? От меня они одного хотели — чтоб я тоже в итоге лайфа на умняк подсел. А потому глупостей они мне читать не давали, беллетристики то есть. Шкаф с Вальтером Скоттом, Стивенсоном и Диккенсом заперли. Ну, я Аристотеля, Брежнева и Асадова читал. Умняк — на отруб.

Вот так я и жил. Хуже — некуда. Смерть мухам. А рядом жил Васька. У него мать дворничиха была, тетя Клава. Отцов у Васьки было много — когда три, а когда и сразу пять. Это уж зависело от того, сколько их тетя Клава подметет или в мусорных бачках надыбает. Стремные были мужички. И не жизнь была у Васьки, а сплошной кайф. Ему, правда, такая жизнь не нравилась почему-то.

И вот однажды мы с Васькой одновременно врубились, что с удовольствием семейками поменялись бы.

Ну, и стали постепенно взаимозаменяться. Умный Васька, положим, в библиотеке сидит, а я у тети Клавы. Она уж и привыкла ко мне. А когда примет дозу со своими мужьями, то и совсем думает, что я — это не я, а Васька. Я любил, когда она мне по шее давала: «Пошел спать, мое наказанье!»

С моими у Васьки ничуть не трудней получалось. Покажет он им дневник с пятерками — они и в лицо смотреть не будут, им ясно, что таким отличничком только их сынок быть может. В общем — проще некуда получилось.

Раза два только и помню, что мы с Васькой вздрогнули. Это когда наши мамаши чуть ли не в один момент вздумали нас внимательно рассмотреть.

Моя (первая) вдруг удивилась, что Васька из блондина в брюнета превратился. Но Васька был уже тогда продвинутым, сказал, что мутирует в связи с половым созреванием.

Ну, а когда моя тетя Клаша заметила, что я, наоборот, из брюнета в блондина переквалифицировался, то я так ей сказал:

— Даешь, старуха. Будто не знаешь, что я в своем развитии всех своих папаш повторяю. По очереди.

— А и повторяй,— согласилась тетя Клаша,— они у меня все орлы, как один.

Хорошо же мне было жить в этом орлином племени. И запах у нас на флэту стоял, как в курятнике или зоопарке. Орлы — они ведь где пьют и едят, там и помет оставляют.

А уж рассказывали они! По всем наукам у моих отцов были свои истории. И не какое-то там слово «чтобы» в «Обломове». Не десерты бабьи.

Был там учитель литературы спившийся, Батька Махно его звали,— он все про Пушкина. Что Пушкин на балы в кисейных трузерах ходил.

А химик? Да он мог из картофельных очистков коньяк добывать. Погиб во время эксперимента: от простой самогонки запаха горького миндаля добивался. Добился, но погиб.

Мы все его дружно хоронили. Менты только, сволочи, помешали. Не дали нам нового вина выпить, бутылки отобрали. Наверное, сами потом неделю гудели.

В общем, жил я нормально у тети Клани и никаких ущемлений не чувствовал. Ваську только жалко было, хоть он и уверял меня, что у него-то как раз полный кайф. И чтоб я поверил, всякое рассказывал. Да с таким понтом!

Про биополе он узнал в моей семейке, и про ауру, и про экстрасенсов.

Учился Васька тогда уже не просто на пятерки — на шестерки, если б их ставили. Шел к золотой медали.

Обломы у нас случались всегда почти синхронно. В один и тот же день Васькин (бывший мой) и мой (бывший один из Васькиных) папаши, будто сговорившись, позалезали под кровати и стали оттуда лаять. Правда, по разным причинам. Васькин (бывший мой) увидел над каким-то своим гостем черную злодейскую ауру и из хитрости притворился собакой. Мой же спрятался под кровать потому, что у нас в потолке открылись штук двадцать люков и из каждого люка на папашу, извините, мочились. Чего не бывает!

Поскольку жили мы в одном доме, то на одной дурковозке наших папаш и увезли.

Мне было жалко Ваську — у него все-таки один папаша, не то что у меня. Правда, и на моих папаш измена покатила. Падали орлы из поднебесья — мама Кланя только и успевала их немигающие очи орлиные закрывать. Ну, а Васькин (мой) папаша стал инвалидом умственного труда. Количество букв на странице в каком-то научном издательстве считать его поставили.

Мы к тому времени школу кончили. Васька — с медалью, а я зато — без забот.

Мамаша (бывшая моя) — скорей определять Ваську в МИМО. И ведь поступил, сын орлов. Ну, а я стал готовиться в армию — хорошо ее мамы Кланины орлы расписывали. Кайфово, говорят.

Но с армией у меня случился облом. Только призвали — а я гепатитом заболел. Это бы еще ничего, да мама Кланя, добрая душа (очень она к тому времени меня любила), через знакомую няньку-гопницу передала мне посылочку с малышкой. Выпил я — и чудом только не кинулся. Но я маму Кланю не виню. Она добрая, хоть я и стал почти инвалидом. Ну, она меня к себе, тоже в дворники, взяла. Живем. Все о'кей.

Герла у нас во дворе объявилась. Странная такая, красивая, но добрая. И чего она ко мне потянулась? Да, наверное, рыбак рыбака. У ней только мать была, разведенная; да не женщина просто, а по партийной линии ответработник. Крутая. Прямо-таки волк-одиночка или медведь-шатун: вооружен и очень опасен. Ну, и по-женски она мало что понимала. Один раз мою Ксюшку в кипятке на включенной газовой плите в железной ванне чуть не выкупала. Папаша Ксюшкин прежний еле успел сдернуть ванночку.

А уж чем они там питались — сплошной стрем. При деньжищах своих суп из пакетиков ели! Даже у нас хавка была лучше.

Ну, Ксюшке, видите ли, благородство какое-то во мне примерещилось. Дескать, я одинок, благороден, несчастен — в общем, принц переодетый. Но

тут Васька из столицы приехал и, наверное, еще большее впечатление на нее произвел.

— Обожаю людей, которые себя сами сделали,— Ксюша говорит.

— Ну и обожай своего самодельного.

А она и стала обожать. Да, да — Ваську.

Он мне говорит:

— Герла знатная. Как увижу ее — сердце разрывается.

— Так чего ж теряться? Женись!

— С ума ты сошел, что ли? А учеба? А работа будущая? Да я лучше причинное место отрежу, а с лялькой раньше времени не свяжусь.

Солнце мое все меня пытает: а как о ней Вася говорит, а как думает?

А я что? Я говорю, что любит. Ведь это и правда же так. Я так рассуждал: придет она к нему красивая, нежная, добрая — он и дрогнет, человек же он.

Ну, она и пришла. Что там между ними было — не знаю. Понятно только, что он ей отказал в своей вшивой убогой любви. Но ведь можно по-разному отказать. А он, видимо, очень жестоко отказал.

И пропала девка. Как я потом узнал — в джанки подалась. Ну, есть у нас такая группа — криминальные торчки до смерти. Цель у них такая, смерть.

Через четыре года я ее только отыскал. Леди она тогда называлась. Кликуха. Скелетик. Глазищи большие и мертвые, оживляются лишь когда о кайфе речь зайдет. Считай, исторчалась. Конец ее близок.

Легко она о конце своем говорила, пока он был далек. А зато теперь призналась мне:

— Умру я так или так. Но наркоманкой на помойке — не хочу.

В больницу я ее пихал. Она мне:

— Сто раз брали. Непроходимость желудка только и нашли. Фуфло твои врачи. Не верю я им. Лучше сама. А там только унижения и позор.

— А как сама? Разве сумеешь?

— Попытка не пытка.

А надо сказать, что много она тогда уже прошла. Начала с травки, но легкие быстро отказались — они затыкались, не брали дым. Тогда она села на иглу, но недолго просидела — веняки ушли, веняки — они у многих уходят. Организм боролся, как мог. Тогда она и подсела на сено. Четверть стакана, полстакана, стакан, полтора. Вот и представьте себе человека, у которого, начиная с пищевода и кончая прямой кишкой, все эти дозняки так стаканами и стоят, не рассасываются. Человек не должен есть сено. Человек не должен так опускаться — она это понимала. У человека все-таки достоинство.

— Лесенку,— говорит,— буду делать.

Ну, спросил я, какой у нее теперь дозняк, и пошел сшибать где можно. Осень поздняя, на дербан не поедешь. Пошел по флэтам. Сказал так и так: Леди спрыгнуть хочет. Ну — это дело святое. Волосатые дрожащими ручонками отдавали свои припасы. Много набралось. На лесенку хватит. Но ведь эти дни ей где-то лежать было надо. Нора была нужна.

Сказал я своей маме Клане, что человек у нас лечиться будет. Мама Кланя — пожалуйста. Я-то думал, что она ни о чем не догадывается, но она врубалась. Видела, как мы стаканом сено мерим, с каждым днем уменьшая дозняк. И вот когда уменьшили до нуля — мама Кланя вдруг попа приводит. (Она мужей разогнала и пить перестала после той «малышки», что мне в больницу передала.) А уж когда с попами связалась — не знаю.

Однако, пока моя Леди почти без чувств в ломке валялась, поп к ней ходил каждый день. А когда она уж сама поднялась — она к нему в церковь ходить стала. Как вставала, как одевалась — вспоминать страшно, паралитичка полная, но вставала и шла. Мама Кланя говорит, что это отец Евгений нарочно придумал ей вместо зарядки.

В общем, поднялась моя Леди.

Если думаете, что я ее разлюбил,— значит, вы ничего не понимаете. Я ее настолько любил, что даже молчал об этом, лишь бы не расстроить. Один раз только и вырвалось, когда она сказала, что никому теперь не нужна, даже себе самой. Тут уж я не удержался. Сказал, что мне нужна как раз такая.

— Из жалости,— говорит.

— Дура ты,— говорю.

— А предательство мое? — спрашивает.

— Я тебе не бей турецкий, перетопчусь, проморгаюсь.

— Ну так слушай,— говорит,— а уж веришь ли, нет ли... Я ведь к тебе... насовсем вернулась.

— Вот теперь ты из жалости.

— Из жалости. Но только не к тебе. А к себе. Я, может, тебя только... а так... затмение нашло. И Васька твой не больше, чем просто глюк. Привиделся он мне, глюк зловещий. Мне даже думать о нем влом.

Так мы с ней и поняли друг друга. Навек. Конечно, у нас свои запутки. Детей не будет, и вообще... А все-таки лучше моей Леди, добрее и умнее я не видел. Отец Евгений ее сестрой милосердия зовет, мама Кланя не нахвалится.

Ну, а Васька... что Васька... Он о такой жизни, как наша, и в дурном сне не видывал. Учился он все, учился. Об Англии мечтал. Ему как лучшему студенту светило в Англию попасть. Ну, вначале мелким каким-нибудь клерком, а там, глядишь, и развернуться можно. И ведь назначили его. Назначили.

Остальное я уже с чужих слов знаю.

Назначили его, значит, и он по этому случаю решил в шикарном люксовом кабаке банкет дать. Ну, заплатил там сто тыщ, разоделся-разобулся в счет валютной Англии и собрал приличное общество. Хавка там, напитки, бабы люксовые.

Что касается напитков и баб, то этого жанра он совсем не знал. На этом он никогда не прикалывался. Водку не пил, а баб гнал от себя, как монах какой. Он вместо любви только сублимацию признавал.

Витька, наш с Васькой одноклассник, случаем туда попал — в Москве был проездом и прикинут еще оказался прилично, вот Васька и его позвал, не постеснялся.

Ну, вначале все как надо. То есть, не совсем как надо, да ведь Витька-то многого не знал. Витька и не заметил ничего такого в том, что Васька дринкнул бокал шампанского. Бокал шампанского для взрослого мужика — косая сажень в плечах — ха! Потом Васька еще дринкнул. Рюмку коньяку. А потом...

...За соседним столом гуляли. Ну, и сидела там герла одна. Васька Витьке на ухо:

— Видал? Это же Ксюшка! Ксюшенька моя явилась!

Витька говорит, что ничего общего у той герлы с Ксюшкой нету. А Васька спорит. Вопит на весь стол: «Ксюшка!». Потом поднялся и пошел к герле приглашать на танец.

Витька говорил, вид у него был странный. Такой стремный вид, что герла не захотела с ним плясать. Ну, тут Васькины кенты к ней подбежали, стали уговаривать: Лондон, посланник, то, сё, мусё. Герла со страхом согласилась. Пошла с ним танцевать. Танец быстрый, а он дистанцию не держит. Обхватил ее, как манекен, прижал к себе и по залу волочит. Волочил, волочил и упал. Ее за собой потянул. Барахтаются они на полу, а он ее еще и раздевать вздумал, аскет недоделанный. Ну, ее у него кое-как отбили, а он остался стоять среди зала весь растерзанный и расстегнутый. Бабы от отвращения визжат, менты вбегают.

На следующий день он ничего не помнил, Витька даже боялся ему рассказывать. Однако другие рассказали. Кто надо и где надо.

Обломилась его Англия, хоть и кричал он, что это происки иностранной разведки. Как и папаша, попал он в дурку и сделался инвалидом умственного труда. А потом вообще пропал. Превратился в цветок земли. Не различить его с другими цветами земли.

Вот, пожалуй, и вся история. Жалко мне Ваську — сил нет. Ведь он мне брат, брат. И все мы братья и сестры. Каждый должен понимать: выстрелили в брата, а попали — в тебя... Я теперь на любой цветок наступить боюсь...

— Как — папаша? — спросил Рабочий.— Но ведь это *твой* папаша! Почему Васька удался в твоего папашу?

— Мой-то мой, ну, а может, и его тоже? Тетя Кланя ведь многих выметала ночью, из бачков вынимала. Не всегда же это были только гопники. У нас страна равных возможностей. Керосинить любой может.

— Да. Уж это я вам со всей определенностью скажу,— вставил щеголеватый грибник, может, и не молодой, но моложавый.

— А вы откуда знаете? — спросил Дед Мороз.

— Профессия такая.

— Мент, что ли?

— Почти. Адвокат я.

— У-у, адвокат,— успокоился и обрадовался Дед Мороз.— Так, может, вы и дефективы какие знаете?

— Дефективы? Что это... ах, дефективы! Вы правы, точнее не скажешь. Именно что дефективы. Люди нынче могут такого наворотить, что это уж не детективы, а дефективы...

— Ну, не так сказал, спутал,— опустил буйную голову Дед Мороз.

— Были дефективы,— продолжал Адвокат.— Вот прямо на днях. Один дефективный милиционер украл вещдок: пять кило шоколадных конфет. По семь пятьдесят за килограмм, если по фантикам судить. Продал по трехе. В итоге: две смерти и неудачная попытка самоубийства.

— Как так?

— А вот так! Конфетки-то были с транзитным героином. И теперь вот решайте: как квалифицировать? Воровство, или непреднамеренное убийство, или профнепригодность, или дебилизм?

— К стенке суку! — закричал Дед Мороз.

— Ох, он бедняжка! — взвыла женщина с насморком.

— Правильно мыслите, мадам,— сказал Адвокат.— Ведь к стенке-то, получается, и тех надо ставить, кто ворованное купил и своему дитятке дорогому принес. И будет виноватых больше, чем жертв. А кому это надо?

— Никогда ворованного не брал и брать не буду,— сказал Рабочий.

— Да?!! — выкрикнул Дед Мороз.— А как тогда живешь?

— Молча.

Повисла неприятная тишина. Мы все думали над тем, что рассказал Адвокат. Может, представляли последние муки героиновых жертв.

— Вы нас так взбудоражили,— сказала молодая милая женщина,— что просто обязаны рассказать что-нибудь с хорошим концом.

— С хорошим концом?

— Ну да.

— Но ведь хороший конец... он ведь для кого-то плохой, а?

— Детектив хочу! — взвыл Дед Мороз.

— Может, сойдемся на фантастике? — прищурился Адвокат.

— Это можно!

— Ладно. Только тут, я так понял, свои правила? Название надо? А мое название товарищ Хиппи украл. Ну да ладно. Найдем похожее. Пусть будет:

КТО ВИНОВАТ?

Мечтал я стать сыщиком. Ловить бандитов и негодяев. Пригвождать стальным взором, разоружать метким словом.

Стал следователем. И вот... ловят меня бандиты и негодяи, пригвождают взором со слезой отсутствующей в них совести, разоружают чувствительной соплей. То есть, если просто сказать — не следователь я, а тряпка половая.

Начальник у меня умный был: «Ты,— говорит,— не тем занялся, иди в адвокаты. Люди,— говорит,— рождаются либо прокурорами, либо адвокатами. Беспристрастных судей по духу — один на сто тысяч, а уж призванных адвокатов — и того меньше. А у тебя талант врожденный. Даю тебе добро, и очисти нашу прокуратуру».

Послушался я его. В адвокаты пошел. Сто раз благословил за это судьбу и тысячу раз проклял.

Первое мое дело... Ох, и дельце было. Нанял меня не потерпевший, нет. Государство назначило. Сексуальное преступление. Удушение и изнасилование пятилетнего ребенка. Клиент — прямо по Ломброзо, чтоб тому еще раз сдохнуть со своей идиотской теорией.

Ну, и несет этот тип все начистоту: как насиловал, как убивал, чем заманил ребенка. А у меня одна мысль — передо мной не человек. Единственный способ защиты — в психлечебницу его укатать на всю оставшуюся жизнь. После бесед с этим ублюдком я себя кипятком шпарил, вот до чего тошно мне было. Однако... первое мое дело так до суда и не дошло. И не дошло оно потому, что бывший начальник мой (он это дело курировал) нашел другого преступника. И бечевочка на шее жертвы из того же мотка бечевки, что обыск обнаружил, ну и другие улики.

Как же так? А вот так: мой тип самооговором занимался, а пентюх-следователь процент раскрываемости повышал. Ну, а старший мой товарищ усомнился, продолжал искать и нашел-таки настоящего преступника. Вот уж тот был не типаж из Ломброзо, скорее — мальчик из «Плэй боя».

К чему я все это веду? Да к тому, что урок мне был дан на всю жизнь. Главный урок и завет адвоката: а вдруг предполагаемый преступник и впрямь не виноват?

Стоит он, маленький человек, перед несокрушимыми городскими джунглями, и кажется ему, что все, кроме него, живут красиво. Внешне он урод, или мама не воспитывала, или ежедневные бытовые унижения свели с ума (хотя зачастую сходить-то ему не с чего, он от рождения головушкой скорбеет), но только пускается он во все тяжкие, если не наяву, то в воображении. А на самом деле есть он — *нерожденный* человек. Мой-то первый клиент когда свихнулся? Как выяснилось, в далеком детстве. Психиатры докопались. Он ребенком червяка раздавил и с тех пор чувствовал себя преступником. А тут в его микрорайоне такое преступление! Вот и пошел он верноподданнически сдаваться, да еще, как в том анекдоте, и веревочку с собой захватил, чтоб его повесили уж заодно.

В общем, после первого дела что-то такое я пережил, после чего и жить-то дальше невмочь. Понимаете, начал я *сливаться* с преступниками. Среди моих коллег считалось, что я, видите ли, люблю такие дела, как первое! Люблю! Мне сорок три года, а девушки место в транспорте уступают. Вот до чего меня эта любовь довела. А тут еще окружающие...

Что такое адвокат, народ знает понаслышке. Ну, видимо, чем-то вроде бандита узаконенного большинство меня считает. Защищаю выродков и гребу деньги лопатой.

А какие деньги у моих клиентов?

В зале суда на меня бросаются, до трамвайной остановки бегу, как заяц, озираясь. Ужас! Да и товарищи, друзья, близкие... Требуют: расскажи да расскажи! А как расскажешь — считай, дружбе конец.

Стал я одинок. Нелюбим. Пить, конечно, пробовал, но это — не мое. То есть, ну совсем тряпкой становлюсь — по телефону всем подряд названиваю и оправдываюсь, будто чужие преступления на мне лежат. Да и по ночам все эти преступления мне снятся, где в главной роли, в роли преступника — я сам.

А и кто, если не я? Кто ответит за падший народ, если не тот, у кого есть душа, не тот, кто грамотен, не тот, кто книжки читает? Не тот, у кого совесть есть?

Бессовестному легко, потому что он, жизнь прожив, ни одного грешка за собой не числит. Врет, передергивает, но закон не нарушает, вернее, не попадается — вот он и прав. Нравственное чувство у него очень приблизительное, абстрактное. От себя такой человек требует по минимуму, а от других — по максимуму. Вот он-то и призывает всех сажать, всех стрелять. Вот он-то доносы и пишет, он-то деньги несуществующие в моем кармане считает. В общем, есть он тот самый тип, который беззаконием сформировался. Именно этот социальный тип и купает меня в ненависти, от которой мне уже жить невозможно.

Однако кое-кто и у меня завелся. Молодняк там разный. Битый, пуганый,

леченый-калеченый, из дому выгнанный, обществом отвергнутый. Защищаю их помаленьку, известен среди них стал, бегут они, чуть что, ко мне.

И вот один раз сижу это я дома... Вдруг звонок. Открываю: парень передо мной стоит. Модный такой. Стрижка огурцом, в стиле ретро, зато длинный чуб волной лежит. Портки, тоже в стиле ретро, широченные. И уж совсем визг — москвичка, как в конце сороковых — в начале пятидесятых: комбинированная, как бы из двух брюк изношенных. Черное с серым. Раньше от бедности матери нам такое шили. А теперь — мода. Имитирует эта мода бедность, значит.

Ну, проходит он. Знакомимся. Тезка мой оказался, тоже Петром зовут. Говорит мне, что зашел он по делу, однако дела не говорит. Все больше меня о работе моей да о заработках выспрашивает. Ну, я ему то же самое, что вам сейчас, говорю. Он слушал, слушал, да в конце концов и оборвал меня:

— Так что же,— говорит,— по-вашему, все преступники — сумасшедшие?

— Не все. Но очень многие. Разве так уж естественно мы живем, чтоб рассудок не потерять? — говорю я ему.— И потом, может, вместо милиции нужно психологам работу дать? Ведь этих психологов безработных, как собак нерезаных, миллион. В кочегарках после университета сидят. Спиваются, вешаются от невостребованности, в то время как именно они могли бы многое сделать. В развитом обществе с детского сада за человеком приглядывают.

Тут он взорвался.

— Какая же ты тля,— говорит,— тля ты безмозглая и сопливая! Доброхот ты хренов! Больных, увечных и преступников спасаешь, а здоровых тем самым губишь!

— Да уж не ты ли здоровый?!! — кричу я.— Ты, если морду отъел да штаны модные напялил, да под мальчика моего поколения канаешь, так ты и прав?

— Я понимаю, если б ты хоть деньги за это брал,— не слушает он меня.— А вот так, за здорово живешь, осознанно подонков выручать! Болезни им выдумывать, от вышки спасать! Да это такие, как ты, дурдом из мира сделали. Да в древней Спарте...

— Фашист ты! — совсем уж не выдерживаю я.

Реакция на это оскорбление была страшная. Ну, такая реакция, будто пацан вместе с чубом своим и москвичкой в каком-нибудь там ретро-кооперативе и мироощущение приобрел. То есть оскорбился он так, как теперешние мальчики на слово «фашист» не оскорбятся. Теперешние, они могут и в «нациков» поиграть, для них фашисты — чужая боль, что-то дальнее, приблизительное.

— Ты меня словами-то не стращай,— шипит он, побелев от гнева.— Ох, знал бы... Знал бы я, что так будет... Да я бы сам повесился, чтоб до этого не дойти!!!

И такое отчаяние в его словах, такая вера в свою правоту, что я растерялся. И злость моя прошла.

— Петя, мальчик,— говорю я ему,— ты в корне не прав. Не адвокаты свели мир с ума, а палачи. Не врачи, а полицейские. Спутал ты все, Петя. И с денежным вопросом путаешь. За свою человечность *платят*, а не получают.

Сидел он долго, нагнув голову. Думал, думал, а потом встал и сказал:

— Ладно. Не повешусь. Живи.

— Да ты-то тут при чем? При чем ты в моей жизни?

Он усмехнулся. Расстегнул «молнию» на москвичке, отогнул воротник. Там, на изнанке, был ржавый след от утюга. Насквозь москвичку не прожгло — материал плотный, толстый. И узнал я...

— Это была *ваша* москвичка!!! — закричал мой Болваша.

— Да,— сказал Адвокат.

— А этот Петя был вами, только молодым? — спросил Болваша.

— Да.

— Тут должен быть какой-то смысл! — сказал Рабочий.

— Нету никакого смысла,— разочарованно махнул рукой Дед Мороз, не получивший своего «дефектива».

— А я знаю смысл,— сказал Хиппи.— Он, наверное, заключается в том, что вы сумели дать отчет себе самому?

— Да. Сумел.

— Ну, а после этого? Как вы чувствовали себя после этого? — спросила приятным голосом милая женщина.

— После этого мне стало легче,— спокойно сказал Адвокат.— После этого мне некого было страшиться. Ведь никого так не боишься, как себя самого.

— Да,— согласился Рабочий.— Главное — лад с самим собой. Но не только... Потому что откуда я знаю, кто такой я? А может, я — это моя бабка, дядя, вот эта сосна, вон та река, вон та береза...

— А мы ее топором! — заржал Дед Мороз.

Рабочий смерил его взглядом:

— Да. Ты — можешь. Века идут, а народ все такой же темный и ахинейный... Песни-то у нас — и то, сами послушайте:

Некому березку заломати,
Некому кудрявую сломати...

А зачем ее заламывать? Кому она мешает, что растет?

— Папаша, посторонись со своей экологией, не кликушествуй,— сказал такой толстый, мясной, в небесно-голубом переливающемся костюме человек. Богатый, видимо, раз в таком костюме за грибами ездит.

— Это его масоны подкупили,— сказал Дед Мороз.

— Во-во, всякие вшивики и масоны. Кликушествуют: то не строй дамбу, то не ломай какие-то там домишки. А я говорю — домишки сломаем, дамбу построим. И все у нас будет первое в мире.

— Первое часто оказывается последним,— злобно хмыкнул Рабочий.

— Тебя не спросим,— сказал богатый мясник, или официант, или кто он там.— Знаю только, что я за искоренение баб. А то ходят между нами, соблазняют...

Он вальяжно растянулся на раздутом резиновом матрасе, сам слился с ним, тоже будто он резиновый, пищей и выпивкой накачанный, одеколоном прилитый.

— Вот я про одну знаю — так знаю!

— И расскажи! — донеслось.— Только чтоб с названием было.

— Будет вам и название,— он поправил красное металлическое сердечко, приколотое к жирному колену.— И такое название... А вот какое:

МОРКОВОЧКА

Давно это было, а когда было — какое значение. Может, когда я на почте служил ямщиком. Да, был молод, имел я силенку. А пуще всего, как вы знаете, я в селении одном любил о ту пору девчонку. Шутка. Ну, и думал, что девчонка как девчонка.

Конечно, у меня тоже не все в порядке было, не буду хвастать. Дома — целая постель жены и целая кухня тещиных воплей:

— Диета! Три пшеничных зерна с утра! На обед — банан! На ужин — орех!

Однако, если терпел я жену и тещу, то уж знал, что делал. Теща у меня в райсовете жилплощадью ведала. Тогда. Пока не попалась, старая калоша. Хорошо, что успела на нас дачу и машину записать, а так бы у нее все оттяпали. У нее и так много чего оттяпали. Что она меня в люди вывела? За это спасибо ей сказать? Так это она ради своей дочки, стервы толстой. Да. Толстая. Пятый год на пятом месяце. Терпеть не могу толстых. У меня толщина от забот, а у нее от безделья. Будут тут заботы, когда теща меня к дамбе пристроила. А до дамбы я стройный был. Хоть и халдеем работал. Но халдеем я был

непростым. С высшим образованием. Там, в кабаке, я себе жену и надыбал. Она часто по кабакам ходила.

Ну и вот...

А тут эта девчонка. Всплыла совершенно неожиданно. И все, значит, на тему дамбы. Зачем, дескать, ее строить. Гепатит нас всех пожрет. Или там СПИД. Я ей поддакиваю — красивая девчонка, тоненькая такая. Знаете... м... ам... на костях мясо слаще. Сладе-ень-кая девчоночка. И не только что с виду она прозрачная, но и так... душой, что ли. Поправиться ей — пара пустых. Она-то все удивляется, откуда мы так одинаково обо всем думаем, а я себе хихикаю. Хотела б знать, что я на самом деле думаю,— меньше бы болтала, больше бы слушала. А так соловьем заливается, а потом удивляется, почему я во всем с ней согласен. Ну, во всем согласен. И насчет дамбы, и насчет прочих беспорядков.

Я человек обстоятельный, дела не тороплю. На это она, видимо, и клюнула. Уж гляжу — созрела моя Морковочка (я ее Морковочкой звал) и вот-вот шинковать ее надо.

Но встает вопрос — где?

Дома у меня нельзя. Зато гараж — во! Дворец. С баром-рестораном, с шашлычницей-шампурницей, с матрасами резиновыми и поролоновыми — грешен, но люблю полежать. Зачем ходить, если можно сидеть, зачем сидеть, если можно лежать? Шутка.

Но девчонке, однако, надо что-то наплести.

Ну, наплел я про то, что ключ от своей холостяцкой квартиры потерял, а теперь его очень долго делать надо. Кольцо супружеское, разумеется, у меня не на пальце, а в кармане. Шутка.

— Зайдем,— говорю,— ко мне в гараж... Я тебе видики покажу. Страшно — аж жуть. Там мертвяки из могил встали и за живыми гоняются.

Пошла со мной Морковочка, куда денешься. Она этих видиков отродясь не видела. А тут еще бесплатно. Закатил я ей бал на две персоны. Все — как в лучших домах. Одно только плохо — не пьет она. А с трезвой девицей справиться тяжеловато. Забыл я только, что она вроде как другое поколение, а у них эти дела проще поставлены.

— Знаете,— говорит мне Морковочка моя,— либо вино, либо секс.

Ну, я себе на ус мотаю, что совсем она не дура и прекрасно понимает, что достигли наши с ней отношения полного апогея. Шутка.

И уж до того она мне понравилась, что я сам себя превзошел. Боялся только, что теперь она про женитьбу пытать начнет. А она — ништяк!

— Вы, наверное,— говорит,— думаете, что я теперь должна, как порядочный человек, за вас замуж идти, но я к этому как-то не готова. У меня слишком много обязательств перед обществом.

Во загнула!

Ну, ладно, мне же лучше. Я — весь внимание и обаяние. А когда я особенно обаятельный — я особенно пью и кушаю. Вот я все и выпил и скушал. И еще хочется. Как подумаю о знакомом директоре кабака — слюнки текут. С другой стороны — Морковочку отпускать не хочется.

Ладно, думаю, запру ее снаружи на предмет тещи, а сам за топливом сбегаю. Авось, у меня с ней еще что получится. Шутка.

Уходя, я ей видик включил. Пускай на мертвяков поужасается.

Ну, захожу в свой кабак. А там все наши. И половина моя там же находится. Ладно, думаю, посижу с ними, а потом как бы в сортир выйду — а сам к Морковочке.

Но, как говорится, человек предполагает, а свинья располагает. Шутка. Кушал я, кушал, да и накушался. Так накушался, что пришлось «скорую» вызывать. Эти врачи-то, подонки те еще — не в ихней компетенции, видите ли. Все пытались меня на хмелеуборочную сдать, но жена откупила. Откупила она меня, домой повезла.

А у меня в башке Морковочка застряла. Только я ее почему-то с женой спутал. Ну, и понес я всякую ересь.

— Морковочка,— говорю,— вот мы и опять вместе.

А жена что? Ее как ни назови — только в печку не ставь. Если «птичка» или «рыбка», то почему же не «морковочка»?

Силы во мне несусветные проснулись. Всю ночь работал, как папа Карло. Шутка. (Это с той именно ночи и сынок у нас появился, хороший мальчик, только головка у него квадратная, вылитый Буратино, даже когда ходит — поскрипывает, чурочка.)

Ну, а на следующий день бюллетень взял, бутылку коньяку врачихе поставил, вот она мне и написала ОРЗ. А может, я и правда заболел? Лежу, тоскую. На еду и питье смотреть не могу, а уж на баб тем паче.

К вечеру только и разгулялся. Друг ко мне пришел, виски «Белая лошадь» принес (у, отрава!). Но дело со здоровьем кой-как поправилось. Шутка! А дружок ко мне не за просто так пришел — ему машина нужна была, свою на профилактику поставил. Сказал он мне про машину — будто в голове у меня что-то промелькнуло, но тут же и угасло.

Однако на следующий день выполз я кое-как, доверенность написал, и потопали мы с ним за машиной.

Ну, подходим к гаражу. Ничего понять не могу. Все гаражи как гаражи, а мой ходуном ходит — крики из него, будто кого режут, вопли, хрипы и звон кувалды. Дружок мой вроде меня, тоже с бодуна, испугался.

Однако стали мы с ним плечо к плечу и дверь открыли. Дружок глядь в гараж — и долой с копыт. Это он мертвяков в саванах испугался. Ну, шутка! Честно говоря, я тоже поначалу испугался, да потом все вспомнил. И про видик, и про Морковочку.

Только она на деле не Морковочкой оказалась. Она таким оказалась, что сказать стыдно. Каратистка! Нет, вы подумайте! Разве это женственно, разве это прилично — каратисткой оказаться?

И много еще чего оказалось. Оказалось, «восьмерку» мою она кувалдой расшандарахала, а на глазах уже у меня — и видик. Ребром ладони, как у каратистов принято. А потом как крикнет: «Хэй» — или что-то там другое, как подпрыгнет, как заедет мне пяткой в подбородок — и была такова.

Ну, нет, думаю, не на того нарвалась. И пошел я в суд с заявлением. Имя ее и адрес я примерно знал, а уж остальное нетрудно было вычислить.

Потом много судов было.

Но какие нынче суды! Я, конечно, не лыком шит, я взятки тоже давал. Но, видимо, она вперед успела, потому что у меня взяток никто брать не стал, а это положение, признайтесь, неестественное.

На суде, вместо того, чтоб о деле говорить,— все только нотации мне читали и хихикали. Будто это не ее, а меня судить надо. Я им про имущество, а они про забывание одушевленного предмета в герметически закупоренном помещении со включенной телесетью, от которой жара еще хуже и невыносимей поднимается. (Выключить видик Морковочка не смогла, он новой марки, невыключающийся.)

Я им про погубленное имущество, а они мне лирику, про чувства там всякие и порядочность человеческую. Какая порядочность? Что за порядочность? Вы ее видали, что ли?

В общем, идет суд за судом, не только весь микрорайон, но и район, но и город уже в мое дело втюхался, будто делать им всем нечего, однако каждый раз так получается, что будто бы я виноватый, а она как будто бы правая. Состояние эффекта у нее (и что это за состояние эффекта?), помещение герметически запертое, мертвяки из видика лезут... Ну, прямо сирота она у них казанская получается. Ну и шутка!

Но я свое дело знаю. Вы — суд. А я — пересуд. Да и, если честно, привык я к судам-то. Видеть ее хотел. Слабость такая. Шутка.

И вот на двенадцатом суде-пересуде приуныла моя Морковочка. Какая-то она вся не такая стала. Ну, приуныла. А там все мочало — начинай сначала. Про эффект, про чувство, про порядочность.

В судебном зале швабра такая стояла. И вот когда дали Морковочке слово, она так безнадежно рукой махнула, к швабре шагнула, села на нее верхом и...

Да, открылись настежь окна, а она эдак спокойно в эти окна на швабре и выпорхнула.

Вот тут уж суд и публика сами пришли в состояние эффекта — ведьму проморгали.

С тех пор никто ее больше не видел, рыжее отродье.

А теща мне новую машину купила — «девятку». Только это она купила — и тоже пропала, тоже никто ее больше не видел.

А вы говорите — бабы...

Но вот если б Морковочка... ведьмочка моя... Я бы ее простил. Поставил бы на коленочки, а потом поднял и простил. Шутка.

Присутствующее общество только хотело обсудить рассказ толстого-резинового с металлическим сердечком на жирном колене, как тот повернулся спиной к обществу и захрапел на своем резиновом матрасе. Как выяснилось, на заднице у него тоже были тут и там приляпаны сердечки.

Мы все долго сидели и рассуждали: что бы эти сердечки значили?

Старый Рабочий думал, думал, потом голос подал:

— Это,— говорит,— наверное, потому, что он к какому-нибудь обществу принадлежит. С сердцем на заднице. Сейчас много обществ. Почему б не сердце на заднице...

— Да,— задумчиво сказал серьезный такой очкастый мужчина.— Обжорство, пьянство — дело дрянь. Но я, как специалист, подхожу к этому делу серьезней.

— А кто ты такой? — агрессивно спросил мужчину Дед Мороз.

— Вот я-то тебя, стервеца, помню, а ты меня, бессовестный, позабыл.

С Дедом Морозом сделалась истерика, он заговорил чуть ли не бабьим голоском:

— Ой, Иван Никифорович, да кого же это я вижу! Да как же я мог-то! Садитесь поближе к огоньку, Иван Никифорович, не обожгитесь только. Ой, уголечек на вас упал. Ой, зольца, простите за выражение, вас запачкала.

И завертелся Дед Мороз вокруг никому не известного Ивана Никифоровича, начал пылинки с него сдувать, картошку печеную для него голыми руками из огня доставать. Нам всем прямо не терпелось узнать, что это за Иван Никифорович важный такой, но боялись мы даже спрашивать — вдруг гордый, вдруг не ответит.

Но он сам заговорил:

— Ой, не смотрели б мои глаза на таких, как ты,— это он Деду Морозу.— Не люди, а сплошной мне укор. Брак мой воплощенный.

— Да нет, что вы, Иван Никифорович. Вы не виноваты. Это жизнь такая. Про меня вы и сами знаете, что я самородок. Считай, что поэт. А поэты — они все зеленозмийники.

— Да откуда ты взял? — взревел Иван Никифорович.

— Доля у нас злая... Судьба-мачеха...

— А у меня — мать родная, да? А я, между прочим, вообще детдомовский... Тьфу, отзынь от меня, Крылов. Замолкни. Отзынь.

— Вы, может, рассказать что-то после этого пузатого хотели? — спросил мой храбрый Болваша.

— А? Да... Только вроде как не по теме получается. Я, видите ли, врач-нарколог. И история моя...

— А название? — закричали собравшиеся у костра.

— Название... Название будет... вот какое!

РОССИЯ — РОДИНА СЛОНОВ

Я, видите ли, врач-нарколог... Смею надеяться — неплохой врач. Больных своих люблю. На том стою. Если я их любить не буду — то кто же? Разве что добрый милиционер по их душу найдется и в трудный жизненный период соберет их, соколиков лежачих, и сложит до поры в надежное место. Пьяницы — люди порченые, но они ведь люди. Вот товарищ Адвокат меня поймет: клиент у нас один. И если мы что должны уметь — это жалеть.

Помню, студентом я был. На психиатра определился. Мечтал Бехтеревым стать. И вдруг — любовь у меня. Вот тут товарищ Хиппи рассказывал про свою Ксюшу — и я его понимал. Ну каждое буквально слово.

Моя Лизочка ни наркоманкой, ни пьяницей не была, однако... Что-то такое в ней было раздерганное, неуверенное, больное, что исходил я жалостью.

Помню, решил я раз летом квасу выпить. А квасной ларек, вкупе с тремя пивными, ну буквально в центре города, только чуть на задворках. Утро раннее. Ларьки тогда рано открывались. И вот течет к этим ларькам толпа, как к церкви. Причем, не просто толпа. А толпа убогих. Трясутся, колотятся, то в стаи сбиваются, то разлетаются, как жухлые, грязные осенние листья.

Выпили по первой. Вроде, отошли. Сами на себя и товарищей по несчастью удивляются — живы, что ли? Инфантильный народ — только что умирал, и вот уже веселья требует. Раздались крики:

— Авдотью! Авдотью!

— Счас сходим!

И вот ведут Авдотью. Вместо лица — синяя маска, ноги, как у слона, идти не может. Ведут ее, за ней двое скамейку несут. Третий — баян. Четвертый в кружку пива половину своей кровной маленькой выливает, Авдотье подносит.

Сидит она, смурная. Потом приходит в себя.

— Подними-и-те мне веки,— страшно так, как Вий, говорит Авдотья.

Но веки ей поднять никак невозможно. Какая-то маленькая кокетливая пьянчужка на тонких ножках, но зато с накрашенным ротиком, становится за Авдотьей, голову ей назад откидывает.

И тусклые взгляды с синей маски обводят толпу.

— Играй, Авдотья. Левониху играй.

И Авдотья начинает играть.

Сизоносые, нетвердые на ногах алкаши и алкашки, посверкивая голубенькими от пьянки глазками, кое-как сцепляются под ручонки и крутятся, крутятся, развевая вокруг себя дух многомесячного алкоголя и неприлично яркие, вышедшие из моды обноски. Бушует вся площадка о четырех ларьках (один с квасом, я там стою), потом этот праздник выливается, как подтеки помоев, уже на мостовые. Не было мастера заснять это шоу.

Ну, тут, как водится, наряд милиции в количестве двух человек. По-свойски говорят что-то веселящимся-гуляющим, однако не берут никого — что их брать!

Через пять минут — чинный порядок. И только Авдотья сидит над баяном. Забыли о ней. А через дорогу бежит девушка. Моя Лизонька.

— Мама, пойдем домой! Мамочка, пойдем домой!

Я теперь думаю так: если человек способен полюбить женщину, то он на многое способен.

Вот так я и стал наркологом. Авдотью, тещу свою, конечно, не вылечил. Поздненько. Но, думаю, именно ей на страшном суде оправдание найдется: бежала из деревни от голода, потом блокада, потом Синявинские болота, потом ребенок без отца, легкие застуженные, мужиков нет...

И вот, леча других, стал я думать: а может, и у них так? Зачем врачом называться, если не жалеешь?.. Хотя, есть всякие...

Рассказать-то я про другое хотел...

Был у меня один пациент. Фамилии называть не буду. Назову так, как все его звали. А звали его Портной. (По профессии он был портной. Супер-портной.) И вот случалось с ним постоянно нечто. (Он мне об этом только уже после катастрофы рассказал.)

Шил Портной хорошо. Хорошо — не то слово. И с выдумкой, и с фантазией, и главное — недорого. Не жадный он был, а уж таких портных поискать.

— Много заработаю, Иван Никифорович, все пропью. Душу загублю. Нельзя.

А процесс его рабочий так происходил:

Раскладывал он на столе материал, а рядом злодейку с наклейкой ставил. Ну, раскроит — рюмочку выпьет. Первый шовчик сделает — рюмочку выпьет. Ясное дело: после третьей рюмочки качество продукции у него падает.

И тогда появляется черт. Именно что черт. Вернее — так, чертик. Зелененький и маленький. Однако серьезный:

— Ты бы,— говорит,— вот этот шовчик распорол и снова здорово-ровненько сшил, а то выпить больше я тебе не дам,— и хвать бутылку.

Ну, Портной послушно шовчик порет, заново сшивает. Полчаса через холстину утюгом гладит. Так они обычно на пару и работали. Хорошо работали. Но настал тот ужасный день, потому что сколь веревочка ни вейся...

В общем, повздорили Черт с Портным. Портной отказался пороть кривой шов. Отказался — и все тут. А Чертик по этому случаю очередную рюмку ему не наливает. Носится с бутылкой по всей мастерской, язык показывает, а выпить не дает. А потом совсем оборзел этот Чертик — прыг в окно и на дереве устроился. Сидит на ветке, ножками болтает и бутылкой дразнится.

Такого издевательства Портной вынести не мог. Сиганул в окно на дерево. Этаж был высокий, но Портной от злости не на землю, а на дерево вылетел. (И чего не бывает с пьяными!) А там уж падать безопасней. В общем, жив остался. И тогда ко мне пришел.

— Чего раньше не обращались? — спрашиваю я Портного.

— Раньше я совести не терял...

— Больны вы, галлюцинации у вас давно.

— Это не галлюцинации,— говорит,— это совесть была. А как рюмашка мне дороже дела стала — все, считай, совесть потерял. За это и получил.

Ну, лечился он у меня. Честно лечился. Все муки адские прошел. Не пьет. Даже не курит. Однако невеселый он стал.

— Чего такой невеселый? — спрашиваю я его (мы с ним уже на «ты»).

— Да так,— говорит,— жизнь скучная. Работа скучная. Материалы в магазине разве что на приютских детей продаются: скучные, сирые, а если не скучные и не сирые, то такие яркие — надеть неприлично. Или одинаковые. Или дорогие. Порядочный человек разве что на дочкину свадьбу раз в жизни такой купить может. А на шлюх шить — совесть не позволяет.

— Ну,— утешаю я его,— скоро все хорошо с легкой промышленностью будет. Будут материалы, все будет...

— Ничего не будет,— говорит он мне,— их и так слишком много есть, нового долго не дождешься.

— Пессимист ты...

— Никакой я не пессимист. Я портной. Ну, будут материалы, выдумаю я модели, понашью платьев... А куда в них приличным людям ходить? Вот ты сам, Иван Никифорович, когда в последний раз в кабаке был?

— Семь лет назад. У друга после защиты. И до этого лет десять не ходил.

— То-то и оно-то. И все порядочные люди так. Зачем им нарядные платья, если после девяти вечера порядочному человеку и пойти некуда? В театре шлюхи и торговая мафия сидят, в кабаке — то же самое.

— Ну, в театр все-таки и нормальные люди попадают.

— На галерке в красивом платье да в модельных туфельках не потопчешься. Теперь и в театр чуть ли не в валенках хорошим тоном считается. Ох, скучно. А главное, темно-то как... особенно зимами. Город темный, просторный, гулкий... И вот знаешь, что я, Иван Никифорович, думаю...— У Портного безумием сверкнули глаза.— Я так думаю, что, кроме этой зимней темени, ничего не свете нет...

— Загнул ты! Что, телевизор не смотришь?

— Смотрю. И вот что думаю: там, в телевизоре, галлюцинации. Вот ты моего зелененького чертенка этим словом называл, а по-моему, так в телевизоре, особенно в цветном,— все видения. И знаешь что,— он воровато покосился по сторонам,— нет никаких других стран. Ни пальм, ни ананасов, ни морей — это все выдумка. На весь мир есть одна Россия. Россия — родина слонов. И пальм. Видал, в ресторанах пальмы? Ветер кругом свищет — а там пальмы. Вот это и есть Россия. Темень, мрак, мороз, а где-то посередине — кабак. И там — обязательно пальма. И слон. А больше — ничего. Даже жрать нечего.

— Уж не хочешь ли ты за границу мотануть?

— Нету заграницы. Есть Россия — родина слонов. Есть русские бабы, такие же, впрочем, как и другие бабы. Им бальных платьев хочется. Вот пошьет она бальное платье, подруг соберет полюбоваться и — в шкаф его, на веки вечные, аминь.

— Да брось ты, Портной, вон по улице хорошо одетые женщины ходят...

— А я их не вижу. Я вижу плохо одетых. Видимо, все мне нынче мрачно и задумчиво. И пойти некуда. Чтобы после девяти, когда еще спать рано... Чтоб светло, многолюдно, недорого, кофе без соды, без музыки этой молодежной. Хотя, не думаю я, что эта музыка молодежная. Разве что за счет громкости так считается... И вот думаю я: как бы нам эту темень разогнать, этот вечный подвал разгромить, это подземелье... Ты читал «Дети подземелья»? Я читал. Еще в школе. И с тех пор скучно мне и тошно. Ну, не пью я. Друг мой Чертик пропал. А все равно — один черт — скучно. И как ты, друг любезный, от этого меня вылечишь? От темноты, тоски, от одиночества?

— Уж не думаешь ли ты,— говорю,— что там у них людям не одиноко?

— А про *них* я вообще ничего не думаю. Они для меня — карта географическая. А родина слонов — Россия. Единственная, любимая, темная.

И поник он буйной головой, и тоска меня взяла. Понял я, почему он пил, но не очень понял, зачем я его лечил, вернее, могу ли я один такую тоску вылечить? Да и самого меня тоска взяла. Где, думаю, отдых простому человеку, где ему покоя и сил набраться? Для себя нашел. Нашел для себя. Грибником стал. Хотел и Портного своего пристроить к этому делу, а он... повесился...

— Тьфу ты! — сказал старый Рабочий.— Ты, доктор, совсем мне душу разбередил. Не-а, я не повешусь, однако других людей тоже жалко. Мне эти грибы — тьфу на них, не ем я их. Но хоть по лесу пройтись, свою долю счастья получить. Пусть оно подменное, грибное, а все же счастье... Не только же у станка, а?

— Это конечно,— сказал Адвокат.— Уж скорей береза и рябина наши родственники, но никак не волочильный стан. И не сварочный аппарат. Хоть и долбили нам, что мы живем лишь для такой работы. Жалко тех, кто в это поверил. Да и не поверил никто. Так, для простоты обращения смысл копейкой подменили. И получилась не жизнь, а доживание. Вон, как у этого резинового...

Все посмотрели в сторону уснувшего резинового и сделали это вовремя. Под ним уже тлел и вонял матрас. Сам резиновый, однако, не проснулся. Он чмокал губами и шептал: «Морковочка». Сложили его спешно на рюкзаки, закидали ветками.

— Вот ведь точно знаю, что это не он, а как похож,— сказал худенький человек в очках.

— Кто похож? На кого похож?

— Да этот... который сердца на заднице носит...

— И на кого похож?

— А это уж целая история.

— Давай историю, чего там...

— Давай, не тяни... Только с заглавием.

— Заглавие? А черт его знает... Во, придумал! По Фолкнеру название:

ОСОБНЯК

Звали его Викеша, и был он мне двоюродный брат. Одногодки мы были. В одной квартире жили, в одной школе вместе учились, потом в институте. Была у него мать и еще два брата и сестра. Отец умер. Пенсия у матери, которая вырастила четверых детей, сами знаете какая... А она была еще женщина не старая, нуждающаяся.

Конечно, пока жив был отец, они всех детей по техникумам да институтам распихали, женили, замуж выдали.

Ну, те-то трое от нее как бы и отрезались. У самих дети, самим не хватает. А Викеша женился неудачно, развелся, да горькая инженерная сотня с копейками первые сто лет после окончания института, чего уж тут... Но именно он-

то и понимал мать, и жалел ее. Чуть какую премию получит — все ей несет, все для нее. Она на него нарадоваться не могла. Ну, и сама, конечно, насчет работы шустрила. С детьми чужими нянчилась, как с родными, да попутно еще кой-чего кой-кому делала. В общем — работящая женщина.

Так они с Викешей кое-как и кувыркались. Да и я так жил, чего уж. Тогда мы с ним поняли, что в этом мире что-то не так. Были мы хорошими учениками в школе, получили по красному диплому в институте. Распределились по специальности, оба остались в Ленинграде. И что же? Что же вдруг стало выясняться? Наши однокурсники, от которых в свое время даже город Наплеванск отказался, почему-то оказались в наших конторах начальниками. Одни степеней нахватались, другие и без степеней припеваючи живут. Парадокс.

Пришла в нашу контору новая, одна из первых тогда, японская ЭВМ. Заложил я в нее наши с Викешей данные и поставил перед машиной вопрос ребром: как нам жить? Машина долго пыхтела, бухтела, работала, а потом выдала очень короткий вариант: «Пошли вон, идиоты, а то включу защиту от дураков»!

Поделились мы с одним бывшим двоечником, а теперь нашим начальником, своей бедой. А он говорит:

— А мускулы ваши на что?

Вообще-то, мускулы как раз у него были. Его за мускулы и в институт взяли, он борец был. У нас с Викешей мускулов не было. Однако — мужики мы или кто? А советчик наш как раз бригаду по сплаву леса сколачивал.

— Прекрасный будет отпуск,— говорил нам этот Димуля.

Ну, поехали мы на Чусовую. Димуля руководил, а мы, тридцать тщедушных гавриков, плоты гоняли. Хорошо заработали. Мы с Викешей тыщи по полторы, Димуля — тыщ пять, соответственно.

Вот так несколько лет мы и пробивались. Здоровенькие стали, почти богатенькие. Я за эти несколько лет в жизни огляделся, кое-что понял, а потому осторожным каким-то стал, самому противно. Викеша... Жгли ему деньги карман — вот и все. А в таких случаях появляется женщина...

Нет, не Ева, не Морковочка, не Снегурочка даже, а так... какая-нибудь Клеопатра, например. Да, вы замечали, что человеческое имя — оно не просто так?

На кой хрен в России, родине слонов, как говорил покойный Портной, завестись Клеопатре? Раньше еще можно было на святцы свернуть, но сейчас-то называют не по святцам. А значит это, что таким именем родители ее на шикарную жизнь запланировали. Она еще лежит, пеленки пачкает — а уже Клеопатра. В детском саду тоже — все Оли да Маши, а она — Клеопатра. Ничего не пьет, кроме растворенных бриллиантов, и ничего не носит, кроме самых дорогих звериных шкур.

Мордаха у ней была, не спорю, но головы — увы! — не было. Иначе б не втемяшилось ей Викешу за Ротшильда принять. А она приняла, да и просчиталась. До того просчиталась, что не только замуж за него пошла, но и рожать надумала. Клеопатры не очень любят детей, но рожать — почему нет,— все не на работу ходить. Ну, ладно, ребенка бабке, а с деньгами-то как быть? Деньги-то кончились. Сплавные на такси проездили, а наша с Викешей зарплата — я уж говорил о ней.

И вот тогда папаша Клеопатры вызывает зятька к себе и говорит:

— Вот что, чудила из Тагила, раз уж ты мою Клепку на себя взвалил...

— Как — взвалил? — благородно возмущается Викеша.— Я ее люблю.

— А так. Взвалил. Я человек прямой и никого покрывать не намерен. Хошь знать правду — приезжай с ней вместе к нам на дачу. А у нас там сауна, смекаешь?

— А чего я должен смекать? — не понимает Викеша.

Однако жене просьбу ее папаши передал.

— Никогда в жизни! Никаких папашиных саун!

Другой бы насторожился, а Викеша хоть бы что. Тогда папаша к нему с другого бока:

— Ежели ты ее любишь и любить хочешь, то зарабатывай деньгу. Без деньги она хуже, чем в сауне, перед тобой разоблачится.

А Клеопатра на безденежье и впрямь как полиняла. Раствора из бриллиантов не пьет — кожа сморщивается, зверьи шкуры тоже поизносились, сапог у нее на миллион, да все не те: кричит, что на улицу выйти не может.

Ну, Викеша тогда и говорит ее папаше:

— А как деньгу гнать?

— Ну, несколько месяцев мясом с лотка поторгуешь. Только чтоб не выступал — какое мясо будет, то и продашь. Велю кошку — продашь кошку. Я ведь такой — чего захочу — того пожелаю.

— Ну, а потом?

— Потом за это же время курсы кончишь. Халдеем станешь. А там уж и выше пойдешь. Под моей-то рукой.

Викеша Клеопатру любит, маму любит, дочку новорожденную любит. И еще вспомнил он про буржуйскую ЭВМ. Ведь эта стерва дураками нас обозвала почти впрямую. А может, мы и впрямь дураки?

И пошел он в халдеи. Перво-наперво квартиру купил, от мамаши съехал. Потом машину купил. Потом свою жалкую ЖСК на особняк в центре поменял. Потом этот особняк мореным дубом обклеил. Потом сауну приставил. Денег, конечно, постоянно не хватало. (Ведь он еще матери шестьдесят рэ в месяц платил, она с ребенком сидела. Ну, привезет ей там что на своей машине, но уж за бензин вычтет, это уж как водится.)

Викеша о ту пору редко в нашей жизни возникал. У него — своя компания, у меня — своя. Конечно, можно было и не на домашней территории встречаться, однако неловко. Ему — за меня. Мне — за него. То, видимо, ботиночек у меня каши запросит, то галстук не тот, то по морозу валенки надену. А он весь в голубом, дезодорантами нафырканный, шапка не шапка, штаны не штаны. Не пара мы.

Но и его беда ждала. Все та же растреклятая сауна. Он ее сюрпризом для Клеопатры построил и однажды жену свою, бедняжку, раздел, да туда и затолкнул. Уж что он увидел — не знаю в подробностях. Но вроде бы и зубы и волосы у нее отклеились, не говоря о ресницах. Что-то там и с ногой не в порядке было: шарнир какой-то из коленки вылетел.

Прежний бы Викеша начал опять бриллиантами отпаивать, в меха закутывать, а теперешний переступил через эту русалку безногую-безволосую и только жалости хватило папаше позвонить, чтоб тот ее домой забрал.

Папаша что? Папаша спорить не стал. Взял пять тыщ откупного и распрощался с зятьком.

Вот тогда и увидел я вроде как бывшего Викешу. Наивного, растерянного, а главное — помнящего о прошлом.

— А НИИ наш первый помнишь?

— А суку-ЭВМ помнишь?

— А Чусовую помнишь?

Я помнил. Вот и он вспомнил. В свободное от работы время он все вокруг меня вился. То домой забежит, то с работы поджидает. Я к нам на базу подумать еду — он туда с гостинцами ко мне раскатывается. У нас, физиков, своя база.

И живут там рядом со мной нормальные ребята, думающие. И до того ж Викеше хочется среди них своим оказаться, старается он, бедняга. Какой товар он нам ни возил! То несколько ящиков коньяка, то целую машину девок.

Ну, чтоб физики были выпить дураки — не скажу. Мозг иногда требует разгрузки. Но не такой же! Это же не разгрузка, это нагрузка. Ладно бы водка, но коньяк в таком количестве — увольте. У нас потом вся База Раздумья и Отдыха лежмя лежала. А уж когда один совсем юный дурачок перед Викешиной девкой спьяну не устоял и кое-что подцепил, то и сказали мне мужики: «Жалкий у тебя кореш: мы тебя понимаем, старый друг. Однако мы-то тут при чем? Мы уж как-нибудь без Санта Клаусов перетопчемся».

Так что не вышло из Викеши Санта Клауса. Но надежды он не терял. У него, если помнить, мать была. Вот он ее в своем особняке и поселил. Но как ни придет домой — тети Лизы нету. То она у моей матушки сидит, то жене моей с детьми помогает. Только ночевать он ее домой и возит.

— Страшно мне с ним,— тетя Лиза говорит,— плачет, зубами скрежещет,

жа-алобно так БХСС зовет. Вот по ночам и не ухожу. Жалею. Сын все-таки. А какой хороший был мальчик, как любил меня... Но днем в его дубовых хоромах — совсем нечисто. В нашей коммуналочке лучше.

А и правда. Хорошо мы жили в своей коммуналочке. Всегда полный комплект детей, стариков и пьяниц. Молодняк опять же подрастает. У кого проигрыватель, у кого гитара, а у кого и барабан. Весело. А главное — громко!

Ну, а Викеша пить и есть стал. Размордател, распузател — в дверь не пролезает. И вот в таком-то виде жениться надумал. На молоденькой и верной. И обязательно, чтоб испытание сауной кандидатка прошла.

А подросли у нас в квартире к тому времени три девицы-красавицы. Вот которую бы из них он и захотел, видите ли. Девчонки смышленые, не ханжи, не клеопатры какие-нибудь там, а просто здоровые веселые девчонки. Все три студенточки. С хлеба на квас живут, сапоги сами себе чинят, платья сами шьют.

Попросил Викеша в этой женитьбе моего посредства. Я ему говорю:

— Ты в зеркало-то когда на себя последний раз смотрел?

— А я в зеркалах давно не помещаюсь,— ничего не понял этот лопух.

А посмотреть стоило на что. Все его меню на морде уже было написано. Губищи выворочены красным мясом наружу (ох, плохого качества мясо, видно, тесть его ему до сих пор поставляет). Вместо глазных белков — желтки от протухшей яичницы, на щеках какое-то дикое мясо все в буграх и бородавках, поросших где пером, где медвежьей шерстью. Кукрыниксы бы его увидели — глазам бы своим не поверили. И он еще в женихи рвется.

Ну, рассказал я своим соседкам-красоткам про его брачные намерения — смеху было! Посмеялись, потом говорят:

— Ладно, тащи его сюда. У нас три дня до стипендии. Есть хочется!!! Пускай хавку тащит.

Обрадовался Викеша. Наверное, с неделю до того ел и пил от волнения. Пришел заморским гостем по старому своему месту жительства. За ним идет один с коробкой, другой с ящиком. Гулять так гулять. Стол накрыли, скатерти ресторанные эти двое шестерок постлали, напитки-фрукты, а также снедь красиво так, с понтом, расставили. Сидим. Девицы мои хихикают, Викеша тоже старается хихикать.

Но только вижу я, что тут что-то не так. Что-то он все раздувается и раздувается. Еще жрать не начал, а уже раздувается. Ну, вот прямо чувствую я, что сейчас конфуз будет. Дурень я, всего лишь конфуза боялся. А надо было «скорую» вызывать.

Вытаскиваю я его, как мешок, из-за стола и волоку в сортир. А до сортира у нас далеко. Волоку, однако. К счастью, огонек в сортире не светится. Пусто там, значит. Запихиваю я его туда и строго так говорю: «Делай свои дела, а то лопнешь. И потише, пожалуйста!» Снаружи я его закрыл. Стою. Караулю. Очень громкие песни пою. И что б вы думали? Раздался вдруг небольшой взрывчик, потом посильней, потом...

Велосипед со стены в коридоре упал, корыто в ванной прямо на кошку, крючок с сортира сорвало и мне в физиономию отбросило. И гул такой, гул...

Вся квартира бежит к сортиру. Дверь медленно так распахивается, а за дверью... никого. И ничего. Ни кусочка мяса, ни обрывочка яичницы, ни перышка птичьего, ни шерсти медвежьей.

После взрывов молчание обычно наступает такое полное, гробовое. Даже девушки мои не хихикают.

Ну, вызвали милицию. Милиция вызвала врачей. Ну, этих... Они нашли у нас общую галлюцинацию и чуть в психушку не ухайдакали.

Мы и сами чуть в галлюцинацию не поверили. Побежали в Викешин особняк, а там никакого особняка.

— Был особняк,— говорит одна старушка,— до революции был. Но вот что-то про нынешние особняки я не слыхивала. Бывает,— говорит,— конечно, какой вроде гриба дождевого. Вылезет снова-здорово, а потом опять нетушки его. Как ни бывало.

— Ну, а нам-то чего делать прикажешь? Жалеть твоего дружка Викешу? — спросил Рабочий.— Свечку ему в церкви поставить?

— Пожалеть любого можно. Без свечки,— сказал маленький Физик.— Какой-никакой, а человек. С детства совсем чудо был, да и в богатстве, без Клеопатры, тоже человеком оставался.

— Ну, конечно, Клеопатра виновата,— сказал мягкий и душевный голос.— Всегда у вас женщины виноваты.

— Всегда не всегда, но через бабу действует враг,— внушительно проговорил Дед Мороз.— Она очень глупая и пустая изнутри, вот враг в бабу и напихивает всякую дрянь. Я сам в книге читал!

— А и расскажу я вам про подлых баб и про хорошую жену Мальвину,— завелась душевная женщина.

ПОДЛЫЕ БАБЫ И ХОРОШАЯ ЖЕНА МАЛЬВИНА

Пошел раз Валерик на работу. Пришел. А там уже стоят Гена, Георгий Иваныч и Золотуев — курят. Ну, там, где положено курить. Про интересное говорят. Про баб, значит. Как всегда, выступает Георгий Иваныч.

— А вот таитянки...— встрял Золотуев, но его перебили и поздоровались с Валериком.

— Здорово, старик!

— Так я говорю, таитянки,— хотел продолжить Золотуев, но ему не дали. Нечего ему болтать, так все считали. Этот Золотуев, он, между прочим, в начальство пробивался и даже, считай, чуть ли не диссертацию уже написал. А раз так — пусть и умничает на работе, а в мужские дела не суется. Заговорили с Валериком.

— Тебя шеф искал.

— Чего опять?

— Чтоб ты сапоги получил. Охотничьи.

— Зачем?

— Капусту мять.

— Какую капусту?

— Белокочанную.

Чертыхнулся Валерик, пошел к шефу. Шеф дал сапоги и два талона на трамвай. Объяснил, как доехать и кого спросить. Но ехать Валерик и не собирался. Черта с два! Получил разрешение на выход и пошел себе. Гена, Георгий Иваныч и Золотуев все стояли, курили. Георгий Иваныч подмигнул Валерику, знал, куда он на самом деле идет, а дурак Золотуев съехидничал:

— Сапог в капусте не оставь. Казенный все-таки!

— Сапог в капусте оставить — не ребеночка в ней же найти,— сказал Георгий Иваныч этому начинающему идиоту и опять подмигнул Валерику.

Золотуев ничего не понял, а Валерик пошел. Из проходной он позвонил жене Золотуева (он называл ее Золотко), потому что Аллочке позвонить не мог, Аллочка была на картошке, а может — в Париже.

— Золотко, я могу подскочить! — сказал он жене Золотуева.

— Ах, пожалуйста. Только ведь винный еще закрыт,— сказала она.

— Подумаю,— сказал он.

Валерик позвонил в группу Золотуева.

— Валерик, ты? Он курит,— сказали ему.

— Позовите. Нечего ему в кулуарах блистать, раз он шибко умный. Пусть вкалывает.

Золотуева позвали.

— Старик, сообрази спиртяжки.

Золотуев сообразил (не совсем же дурак) и вынес в проходную.

— Чтоб не замерзнуть в капусте,— сказал он, подло хихикнув.

А Валерик пошел к его жене не с пустыми руками.

Золотко разбавила спирт водой и слезами.

— Этот человек сведет меня с ума,— сказала она о муже,— я не чувствую

к нему не только любви, но даже элементарного уважения и полового увлечения. Абсолютно никакого полового увлечения.

— Дебил,— поддакнул Валерик.

— Я так думаю, нам с ним надо развестись,— сказала Золотко.— Тогда ты сможешь ходить ко мне не только днем. И нервы не тратить.

— Разводиться пока не стоит,— испугался Валерик, потому что был не совсем еще пьян, а свободная Золотко, без Золотуева, который, глядишь, и кандидатом станет, его не устраивала.— Нет, не стоит.

— Да, вот ты как! Ты и представить не можешь ту степень глубокой моральной пропасти, в которую я начинаю неудержимо стремиться, стоит ему только возжаждать близости и полового увлечения,— сказала она.

— Но у вас сын! Подумай о его незамутненном детском сознании, еще не искушенном знанием жизни и ее теневых сторон. Кого назовет он тогда словом «папа»? — возразил Валерик.

— Семья, построенная на обмане и косности, на патриархальном законе «жена да убоится мужа своего», такая семья пусть лучше перестанет существовать,— сказала Золотко.— И потом, я не могу жить в постоянном страхе и обмане. К сожалению, у меня слишком прямая и честная для этого натура.

— Может быть, нам пока перестать встречаться? Может быть, путем отказа и катарсиса мы придем к гармоническому пониманию своего «я»? — сказал Валерик.

— Разве когда-нибудь что-то большое и чистое требовало оправданий перед гогочущим лицом обывателя? — сказала она.

— Но я, настаивая на этом, вижу перед собой не лицо обывателя, а невинный взгляд ребенка,— сказал он,— и во имя ребенка...

— А пошел-ка ты знаешь куда со своим вшивым ребенком, импотент несчастный,— сказала она.— И нечего делать вид, что ты не можешь любить меня по высоким причинам, когда на самом деле ты — просто не можешь. Да если хочешь знать, то ты мне только и нужен, чтоб Мальвинке твоей хайло заткнуть, а то: «мой Валерик да мой Валерик», а мой Золотуев в тыщу раз почище тебя будет. Он еще, глядишь, диссертацию напишет. Ты сам импотент, и башка у тебя в перхоти!

Валерик вспомнил об их последней встрече с Золотком, когда и правда... Но он все равно обиделся на Золотко и пошел от нее. Только сапоги взял казенные.

— И иди к чертовой матери! — кричала она вслед.— И не думай, что у меня к тебе чего-то было. Одно половое увлечение, да и то прошло!

Жуткая баба эта Золотко, под стать своему мужу, идиоту такому. Нонна — другое дело. Нонна работала художницей по геометрическим тканям и была богемой, а не какой-нибудь домохозяйкой при дебиле.

— Привет, старик,— сказала Нонна, бренча браслетами,— ты пришел кстати. Сейчас придут ребятишки, будем сидеть на полу и есть макароны. Только не ревнуй, там есть двое... нет, трое... то есть — четверо. В общем, не обращай на них внимания. А пока посмотри, вот автопортрет...

Валерик долго рассматривал этот самый автопортрет, потом спросил:

— Это чей же автопортрет будет, а?

— Деревня,— обиделась Нонна.— Если автопортрет, значит, художник рисовал внутреннее видение самого себя. Мой автопортрет.

Внутреннее видение было в тысячу раз красивее внешнего видения. Потом Нонна увидела сапоги, которые Валерик принес с собой.

— Это то, чего мне недоставало,— сказала она, надела сапоги и скинула платье.— Обнаженная в сапогах,— сказала она,— в этом что-то есть. Пожалуй, так я и встречу гостей.

— Совсем... так? — спросил Валерик, но вовремя сообразил, что удивляться этому будет нехиппово.— А чего — натюрморт что надо!

Платья Нонна не надела, но сочла нужным извиниться:

— Ах, прости, старик, я не знала, что ты придешь, и не накрасила губы! — и стала красить губы.

Но она, кажется, что-то все-таки надела к приходу гостей, что-то одно такое — то ли трусики, то ли рубашку какую.

Гостей мужского пола было трое. Один был старый, лет сто ему так или даже все шестьдесят. Странно было, почему он называл Нонну однокашницей. Второй был мальчик, который, выпив аперитиву «Степного», всё руки женщинам выкручивал: внимание, значит, проявлял и сексуальную озабоченность. А третий был парень в самый раз, как выяснилось, народный умелец — он осину под мореный дуб раскрашивал. Из женщин, кроме Нонны, была только одна, такая то ли рыжеватая, то ли черноватая.

Сидели на полу, ели макароны и пили нечто. Нонна у всех по очереди на коленях лежала и все было хорошо, пока не расстроилась из-за мальчика, он заплакал почему-то и все причитал:

— Тетенька, отпустите меня домой. Меня мама ждет, у меня уроки не сделаны, она меня за хлебом послала, булочную закроют. Страшно мне.

— Отпусти пацана, швабра,— поддержал его народный умелец.— Зачем он тебе сдался? Не плачь, пацан, сейчас домой пойдем. Мне тоже идти надо. То, видите ли, шифоньер ей раскрась, а сама на пол посадила и макароны рубать заставляет. А я, может, с женой в кино собрался.

— Он с женой в кино собрался! Ляля, ты слыхала что-нибудь подобное? С женой в кино! И это быдло претендует на искусство. С женой в кино! Вы слыхали, а? Валерик, может, и ты случаем с женой в кино собрался?

Валерик очень развеселился от такого предположения и злорадно даже не посочувствовал народному умельцу.

— А ведь, пожалуй, он мне даже чем-то нравится,— продолжала Нонна.— Стихия! Торжество сил природы! Нет, он мне нравится! Ну-ка, подойди ко мне, мой дикарь!

— Накося, выкуси! Зубы лошадиные отрастила, а потом подойди к ней,— ответил народный умелец и понес мальчика к выходу.

Нонна простерла к нему руки, но упала и заснула. Тот, которому все сто лет или даже уже шестьдесят, спал давно.

Валерик снял с Нонны казенные сапоги и тоже пошел восвояси, думая, не вернулась ли Аллочка с картошки или там из Лондона, помыться или еще чего... На лестнице он догнал женщину, Нонкину подругу, эту, рыжеватую или черноватую.

— Сама судьба свела нас,— сказал он.— Вы как, одна — или замужем?

— Кто же нынче замужем? — ответила она.

— А друг у вас есть?

— Периодически бывают и друзья. Чего же теряться, правда?

— О да, конечно. С вашей-то внешностью!

— Ну, я-то не Нонна! А здорово он ее: зубы отрастила, как у лошади. От нее давно одни зубы остались. И те чужие.

— Вам не идет быть столь жестокой по отношению к подруге!

— А ей идет? Ей идет? Она у меня орнамент на купон сперла! Фиолетовое с бирюзой: ей бы в жизни не додуматься.

Так, мило беседуя, они дошли до ее дома. Потом что-то из головы у Валерика выпало напрочь, но раз выпало — туда ему и дорога.

Очнулся он в чужой комнате на чужой постели. Туфли, пальто и шапка были на нем. Ничего не было даже расстегнуто. Казенные сапоги лежали под головой.

— Не спишь? — прошептал рядом женский голос.

Валерик пытался догадаться, кто же это тут с ним такой: Золотко, Нонна или, может, Аллочка вдруг с картошки или из Дрездена приехала? Помыться или еще зачем.

Женщина рядом тоненько всхлипнула. Да кто же она? Нет, Аллочка явно была в отъезде, с Золотком он поругался, Нонна вроде тоже не могла быть, Нонна вроде не так пахла. И он подумал на жену, и сказал, вернее, пропел из Вертинского:

— Ты не плачь, не плачь, моя красавица, ты не плачь, женуленька-жена.

— Вот как мырзну сейчас за женуленьку-жену,— сказал насморочный голос.— Жена! И у него жена! Я, кстати, твоей жене по Нонкиному поручению от доброжелательницы звонила.

— Зачем? — удивился Валерик.

— Сообщала, что ты с Нонкой встречаешься. Нонке это зачем-то нужно было.

Помолчали. Лежать на сапогах было неудобно, Валерик завозился, и женщина готовно прильнула к нему.

— Так, значит, все, что ты мне говорил, была неправда? — спросила она.

— Почему же неправда? — сказал Валерик, вспоминая, что же он такое мог говорить, и постепенно догадываясь.

— Конечно, неправда! А если правда, то скажи, как меня зовут? Ну, как?

— Инесса.

— Вот и нет, Ляля.

— Я и хотел сказать Ляля, да вырвалось Инесса. Вам больше подходит Инесса.

Полежали, помолчали.

— А как твою жену зовут? — спросила Ляля, с явным подозрением, что жену как раз-то и зовут Инесса.

— Мальвина,— сказал Валерик.

— Знала я одну Мальвину. Только она замужем не за Васей была, а за Валериком. Уж такой дебил был этот Валерик.

— А кто такой Вася? — спросил Валерик.

— Ты, кто же еще! А разве не Вася?

— Вася, Вася,— успокоил ее Валерик.

Полежали, помолчали.

— У тебя пива нет? — спросил Валерик.

— Было. Но ты же выпил. И пиво, и настойку калганную от живота. Все выпил.

— А рубль у тебя есть?

— Есть. На что тебе? Сейчас же ночь!

— На такси.

— А, на такси,— сказала она, встала и зажгла свет.

Одеваться не было нужды, так как Валерик был уже одет. Он взял рубль и пошел. Когда уже спустился, понял, что забыл сапоги. Пришлось возвращаться. Позвонил. Дверь открыла какая-то незнакомая совсем женщина. Повисла на шее, заговорила насморочным голосом:

— Я знала, что ты вернешься к своей Ляле. О, Вася! — голос, вроде бы, был тот. А может, тоже не тот?

— Сапоги я забыл,— буркнул Валерик, прошел в комнату, взял с кровати сапоги и пошел домой.

На улице народу было очень мало, но транспорт все же ходил. Под фонарем стояла и плакала девушка, лет двадцати от силы. Сердце у Валерика забилось.

— Что плачешь ты, прелестное дитя? — дрогнувшим голосом спросил он.

— Сумку слямзили,— ответила она.

— Неужели отсутствие какой-то пошлой сумки могло вызвать такие волшебные слезы?

— Ты что, укушенный, что ли? — осведомилась девушка.

— Нет, собственно, я не укушенный... Я инженер... Я уже и диссертацию почти написал. Может, я могу вас проводить?

— Проводи,— пожала плечами она.

Они пошли рядом, свернули в какой-то переулок, и вдруг девушка оглушительно свистнула в два пальца. Из подворотни выскочила ватага молодой шпаны и окружила Валерика.

— Ну-ка, ты, доходяга, выворачивай карманы,— приказали ему.

В кармане был Лялин рубль, его забрали. Сняли мохеровый шарф, который Валерик сдуру напялил, хоть и не по сезону, но для красоты. Потом дали пинка под зад и сказали вслед:

— Старый козел.

Валерик шел и размышлял об этой фразе. Какой же он старый козел? Сорока пяти еще нет, и послезавтра только будет, а они — «старый»! Старые козлы в девушек не влюбляются с первого взгляда, старых козлов столько женщин сразу не любят! Сорок пять лет — самая молодость!

Без рубля на такси он смог обойтись прекрасно, потому что, оказывается, был совсем недалеко от дома.

Жена Мальвина не спала.

— Кушать хочешь? — спросила она.

— Кушать! Она говорит — кушать! Тут не знаешь, как жить дальше, а она — кушать!

— Что случилось? — спросила Мальвина.— Ну-ка, рассказывай, дружочек! Мы ведь с тобой друзья? Да? Ну, скажи своей Мальвине...

— И скажу,— ответил Валерик,— всю правду скажу, потому что единственная ты у меня и все должна знать.

И он доложил ей всю правду, ничего не утаивая и не жалея этих баб, этих подлых самок, этих...

Жена Мальвина плакала. Да, эта женщина плакала от жалости и сочувствия к нему. Она его любила, она его понимала, уж она бы за него бы... Да она бы пошла бы, да она... Она же! В Сибирь бы за ним пошла!

— Люблю я тебя,— пивным голосом клялся Валерик,— люблю...— начал засыпать, но внезапно проснулся и с обескураживающей честностью прибавил: — Только тебя... и Аллочку.

— Про баб ты, может быть, и не соврала. Дрянь бабы,— сказал Дед Мороз.— Но чтоб Валерик такой взаправду был — не поверю! Не фешенебельная выдумка! Нет. Не фешенебельная.

— Ох, Крылов,— сказал Доктор,— когда у тебя у самого Снегурочки спьяну тают — так это правда?

— Правда,— не моргнул глазом Дед Мороз.

— А у этого гуся с сердцем Морковочки летают? — продолжил Физик.

— Правда! — крепко стоял на своем Дед Мороз.— Случаи всякие бывают, а люди — не всякие. Такой дурак, как Валерик — это уже фантастика. Такого быть не может!

— Может. Только я бы этого Валерика в ЛТП отправил,— сказал Доктор.— Мерзейшая личность. Пьяница! Вот отсюда и пляши. И без совести. Все-таки не от голоду и холоду он такой дебил...

— Вы судите по его счастливому дню,— пожалела своего героя рассказчица.— Но иногда он целыми днями в своей конторе чахнет, коридоры шагами меряет, как в тюрьме. Курит до одури.

— Позвольте, а откуда вы так подробно все о нем знаете? — спросил Адвокат.

— Как — откуда? Как — откуда? Ведь я жена его. Мальвина.

Несколько человек со стоном схватились за голову.

— Жена? И вы терпите все это?

— Да что тут терпеть-то? Он же у меня прозрачный, как ручеек. В двадцать лет мы поженились — а он все такой! Открытый, честный!

— И вам нравится его честность?

— Да я бы хотела, чтоб он был похитрей. Эта честность мне не нравится. Но ведь, если я его брошу...

— То что? Что тогда? — возмутился Физик.

— Затопчут его с такой простотой. Дурачок он у меня. Пропадет совсем. Ведь он из детского идиотизма сразу в старческий маразм попал...

— А пускай к своей Аллочке идет!

— Аллочка, ха-ха-ха!!! Не смешите. Нету никакой Аллочки! Вернее, Аллочка-то есть. Но она Пугачева!!! Его мечта. У меня хоть грибы-ягоды, это реально, у него — Аллочка! Может же человек иметь мечту?

С этим хмуро согласились все.

— Нет, баба, здря ты так,— сказала женщина с насморком и красным лицом.— Наше время для жедщиды — как дас! (Ой, погодите, сморкнусь.) Время наше для женщины, говорю, как раз. Черт с ней, с семьей. Главное, на своем настоять. Вот у нас...

— Название! Название!

— Ах, чтоб вам пусто... Ну, ладно.

НЕЖНАЯ И НЕПРОСТАЯ

Вот у нас Любаша дворником работала. За шестерых. Полторы ставки на себя, а на остальных другие женщины оформлены были, а она работала и получала. Безмужняя, только с девочкой. С Милой. Видали бы вы эту Милу! Как это говорится... прынцесса. Снежная прынцесса. (Она в аптеке работала.)

Стоит вся в белом, крахмалом, как снегом, скрипит. Личико белое — и на нем ну ни одной порочки заметной, не говоря о всяких там прыщичках. Чиста в одеже, в словах и помыслах.

Всяк войдет и увидит — не простая аптекарская халда, а кое-что другое. Повыше их. Каждым движением ткнет она вас — не такие вы, как я. И я *не такая*.

Не дай бог, какой псих так сбухты-барахты от поноса или от запора чего спросит. Взглядом Мила одарит — умереть тут же. Но находятся такие, что повторяют и по второму разу. Тут уж она скажет, как припечатает:

— Тебе в ветеринарную, харя.

И опять стоит такая-то нежная, такая непростая.

Конечно, Игорь попроще был. Молодой кандидат наук, но попроще. То засмеется не к месту, то идет-идет да и подпрыгнет. Непорядок. Но Милочка взялась его отучать.

Ну, правда, по филармониям да консерваториям он ее водил. Прописан в Ленинграде. Квартира у родителей шикарная, но это уж после их смерти.

— У меня будут жить,— сказала Любаша,— а то еще не сумеют приглядеть за моей девочкой. Или на свою сторону перетянут. Издеваться начнут, по консерваториям водить каженный божий день. Нет уж, лучше мы его на свой лад переделаем. Мало ли чем мужики до свадьбы не страдают: кто пьет как сыч, кто в консерваторию ходит...

— Ай, мама,— отвечала Мила,— не показывай свою серость. В консерваторию тоже не последняя публика ходит. Да там одни люстры на миллион понавешены... И давка, как за сапогами.

Игорь, он вроде как большую свадьбу затевать не собирался, но тут уж Любаша сама настояла. Да что она, нищая, что ли, чтоб единственную дочку по-человечески замуж не выдать? Гулять так гулять. Правда, насчет гостей плохо получалось. Уж ясно было — не родню же свою темную звать, Любаша б себе этого и так просто не позволила, не то что на свадьбу, ну а кого ж тогда?

Вот побежала Любаша по знакомым семьям, где халтурила когда, да кого поважней да почище и пригласила. Завмаг там один с супругой был, одного артиста бывшего позвала, да Лену-парикмахершу, да Семена, телевизионного мастера,— набралось, в общем. Наташку-то чумичку тоже звать пришлось. Ну, да ничего опасного Любаша в этом не увидела. Свидетельница со стороны невесты нужна? Нужна! А где взять ее, коли Мила такая нежная и непростая и с кем попало дружбы не водит? А те, которые не кто попало, на дороге тоже не валяются. Вот и есть Мила одна, без подружек этих, а уж замуж выйдет — так они и совсем не нужны. А Наташка, какая она ни на есть, все-таки сойдет. А что чумичка, так это даже лучше. Рядом с ней невестино благородство видней будет.

— И что ж бы вы думали? — рассказывала потом Любаша.— Ведь эта Наташка нашему Игорьку все зубы заговорила, хоть гони ее! Они, видишь, маленькими ребятами в один пионерлагерь ездили! И родители евонные ее тоже знают. И все «Наташенька да Наташенька», как своей, а? Ну, я ее в сторонку отозвала, да и говорю: «Поела-попила, пора и честь знать. Иди-ка ты домой». Ну, она ничего, пошла...

И вот стали Игорь с Милой жить. Любаша-то на новую работу с квартирой устроилась, свою комнату им отдала, да пай на кооператив за них внесла, чтоб, значит, ни в чем не нуждалися и никого не стеснялися. Не знала она, простая душа, как дело-то без нее обернется.

А оно вот как обернулось...

Сходил, значит, Игорь раз в баню, а из бани узелок с грязным бельем принес.

— Куда грязное положить? — спросил он у Милы. —

— Никуда не положить,— она ответила,— у нас такого не было, чтоб грязное белье валялося. Мама сразу стирала, вот и ты на себя стирай...

— Да как так,— он говорит,— я в этой квартире выйду на кухню да буду белье стирать? Я и не знаю-то тут никого...

— Постираешь, так познакомишься,— Мила говорит.— Не для того я замуж выходила, чтоб на тебя стирать. Как до свадьбы — так по филармониям водить, а теперь стирай! Фу, пошлость какая!

Ну, ни слова не говоря, и поехал Игорь к себе домой, к матери, значит. Уж неизвестно, сам ли он там с бельем гомзался, или мамаша стирала, только на первый раз все дело тихо кончилося.

Ну, второй случай уже с готовкой вышел. Он приходит домой, а обеда нет.

— Я есть хочу,— Игорь говорит.

— Хочешь есть, так пойди вымой кастрюли, да мясо вариться поставь. А то я все ногти обломаю.

Ну, вышел он на кухню, стоит, чистит кастрюлю. А бабы, вредины такие, перемигиваются, пересмеиваются, но он стоит как каменный, да и чистит. Почистил, значит, а тут Мила выплывает. Посмотрела она на его работу, да вдруг ручкой своей с маникюром таким хорошеньким (по красному лаку белые цветочки) как размахнется, да и дала ему пощечину. Что такое? А то такое: он, оказывается, вместо своей кастрюли кастрюлю бабушки-учительницы, соседки, почистил.

Заробел Игорь-то, но ничего, взялся опять за дело. А Мила ходит и благородно на всех поглядывает.

Ну, так он постепенно к домашней работе и попривык-то. И уж вместе с бабами на кухне стоять совсем почти не стеснялся, даже стирать при всех постепенно начал. И не только свое стирает, а и Милочкино полегоньку.

— А что ж? — она-то бабам говорит.— Разве ж я на работе не работаю? Попробуйте-ка вы в отделе постоять. А в аптеку такие уж психи ходят, что прямо все им не так. Больные у них, видите ли! А может, я сама больная? Может, я к народу да к грубостям привыкнуть не могу? Я, как-никак, английскую школу кончила, мне за язык надбавку платят. А у него что за работа такая? Ручки в брючки ходит и двести рэ только домой приносит. А мама за кооператив плати! Нет, чтоб я это терпела, такой пошлости он от меня не дождется!

Ну, раз как-то в субботу, когда Мила работала, зашла к старушке-учительнице Наташа. У той как раз очередь мыть квартиру была, ну, Наташа схватила ведро и тряпку и мыть за нее стала. Старушка в кухне на табуретке сидит, Наташа пол моет, а между собой по-французски чирикают. А тут как раз и Игорь вышел с тазом и доской стиральной.

— Это что же? — Наташа у него спрашивает.— Стираешь тут?

— Стираю,— говорит Игорь.

— Ну и как?

— Привык.

Засмеялась тут Наташа и старушке что-то по-французски сказала. Старушка ответила и тоже засмеялась. А Игорь посмотрел на них, бросил свой таз с бельем и в комнату убежал. Убежал и заперся. И сидит. А Наташа пол-то помыла и стирать его белье начала.

— Ну, разве не чумичка она? — говорила потом Любаша.— Бельем не побрезговать, а? Чумичка и зателёпа, как есть говорю. И нахалюга бесстыжая. Ишь, чем взяла?!

— Приходи, подружка, на постирушку! — сказала, уходя, Наташа.

Только после этого случая что-то с Игорем сделалось. На кухню почти не выходит, да и дома после работы не сидит. К маме ездит. Медом ему у мамы намазано. Только Мила-то этим не огорчалась очень уж, она так говорила:

— А и что такого? Мы свободные белые люди и во всем равные. Я не для мещанства замуж выходила!

Она-то не для мещанства, а он-то, наверное, для мещанства. Потому что в один прекрасный день ушел он от Милы в чем был, да больше и не вернулся. А через год женился он на чумичке-Наташке. Любаша так про них говорит:

— Оба бесстыжие чумаки! Идут по улице и все: хи-хи-хи да ха-ха-ха,

никакого благородства и нежности. Морды у обоих как печеные яблоки от смеха морщенные, а не надето на них, ну вот как бог свят, ничего кримпленового. И чем только гордятся люди?

А Мила стоит в своей аптеке вся в белом, как снежная королева, и не улыбнется ну никомушеньки, и нет у ней на лице никаких морщин и никакой простоты. Она-то знает, что она не просто аптекарша, уж она-то про себя все знает. И про кровь свою благородную, и про королевство свое скрытое. Так что лучше не лезьте к ней, ответит она хорошо:

— Отвали-и-и! Харя!

А по вечерам Мила стирает. Чтоб не думали, что неряха. На себя она стирать любит. Лифчики стирает, трусики, кофточки, юбочки, половички, портьеры, ковры, диванчики, матрасики, кошечку соседскую и ее котяток — все стирает, чтоб была полная чистота.

А недавно тут приболела. Любаша говорит, что это от того, что микроба Милочка начисто вывела, а без микроба, оказывается, жить нельзя. А где его возьмешь, микроба, при такой чистоплотности? Микроб — он ведь дефицит. Его вначале найти, а потом и купить надо. Любаша седьмую ставку прихватила. Для своего-то дитяти.

— А я таких Милочек особенно в детстве бить любил,— печально сказал Физик.

— Ага,— поддакнул Рабочий,— или грязью их закидывать. Чтоб уж если помирали, то совсем не оттого, что им микроба не хватает. А наоборот.

— От таких вот и СПИД начинается,— сказал Дед Мороз.

— Это чего же вы так про нашу Милочку! — изумилась рассказчица, однако, отстаивать свою героиню она не стала. Лукавая все же была женщина, так я про нее и буду теперь говорить: ах, Лукавая.

— Стой-стой-стой! — закричал ей вдруг очень веселый и очень загорелый мужичок в кепчонке.— Стой! Ты же в третьем парке вместе со мной работала, а? Диспетчером, а? А теперь ты от нас ушла?

— Примерно.

— Во какое совпадение! Ну надо, какое совпадение!

Веселый мужичок покричал и вдруг смутился. Видимо, в своей компании он был заводилой, но тут, среди чужих...

— Я шофер...— оправдался он перед народом.

— Шофер так шофер,— получил он в ответ.

— Я, конечно, стесняюсь, но тоже кое-что мог бы сказать. Я еще давно хотел сказать. Еще когда товарищ Адвокат нам свою историю рассказал, потом товарищ Физик. Вы все вроде бы о разном, а сами не понимаете, что об одном. И это одно — «мани-мани-мани!» — песня такая есть. Ох, много я об этом знаю... Я человек опытный, на тачке десять лет бомблю... Я такое могу рассказать...

— Вот и рассказывай, а не трепись.

— Заголовок давай.

— Это мы с удовольствием. Это — сей час! Значит, так:

ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ

А это у нас в парке было, не там, где вот эта женщина сейчас бомбит.

Ну, значит, смена кончается. Водилы прибывают. Выручку сдают, со слесарюгами, наглыми в корягу, разговоры разговаривают.

Только «Фиалочка» — диспетчерша, как и вот эта женщина,— невеселая сидит. Что такое? Сеньки ейнного все нет и нет.

А смена у нас, надо сказать, ночная была. Не говорю что тяжелая, но опасная. Мало какая шпана на шоферские «мани» польстится. Бывало, за треху убивали. «Четыре старушки — два рубля» — анекдот слыхали?

Ну, а я как-то тоже припозднился, да и «Фиалочку» жалко, хоть она и по Сеньке страдает, а на меня не глядит. Не уходит она — и я не ухожу. Звоним, куда положено. Страшно сказать, в какие места. Ищем Сеньку и его ЛЬВА. ЛЕВ — это машина его. Не иголка, конечно, не затеряется. Однако, нет как нет. Ни машины, ни Сеньки, ни вестей.

Сенька, он жадноват был. Любил подсаживать попутчиков и не совсем попутчиков, а даже из разных концов города. На вокзале все дураками стоят — не соображают, с кем им по пути. А тут Сенька: Гражданку с Купчином в тачку запихает, Веселый поселок с Сосновой поляной. Наглый в корягу.

Ну, по этой причине часто он припозднялся. Я «Фиалочку» утешаю, говорю:

— Да брось ты, ехай домой. Что ты, Сеньку не знаешь? Заперся в какие-нибудь Юкки и без попутчика ни за что домой не поедет. Ехай!

Ну, уговорил я ее. Поехали мы домой. Но она все равно не в себе. Трясется, всхлипывает. Но кое-как я ее довез.

Ну, прихожу через сутки, а «Фиалочка» уж там сидит. И по виду ее я понимаю, что дело плохо.

— Нету Сеньки,— шепчет мне она,— уже вся милиция включилась в розыск — нету. Видали кого-то на его ЛЬВЕ, но тот ушел...

Ну, выезжаю я на трассу. Клиенты клиентами, но и Сеньку высматриваю. И повезло мне. Вот он, Сенька на своем ЛЬВЕ. Сам Сенька, а не кто-то другой. Сигналю ему всяко, он оборачивается.

Морда синяя от щетины, глаза красные, карманы оттопыренные, из верхних, вижу, деньги торчат. «Мани», значит.

Это я-то его узнал, а он меня — нет. Посмотрел насквозь меня — и дунул на желтый свет. Только я его и видел.

Еще через смену его Костя Бобров видел. Тоже догнать пытался — да где там! Нам до Сеньки как до неба. Он — ас!

Вот уж шесть лет прошло, как мечется по городу Сенькин ЛЕВ, а Сенька бомбит, бомбит, бомбит. И все «мани, мани, мани».

Я когда про «Летучего голландца» прочитал, то все и понял. И голландцы эти, и Сенька наш — они всё за «мани» да за «пиастры». Нету в них никакой тайны, в голландцах этих. Собрались молодчики: одного кита убили, двух китов убили, трех китов убили, сто китов убили, двести убили (а первые сто уже сгнили, но они этого не видят). Им все мало, мало, мало. Бомбят свои пиастры, жизни никакой у них нет, кроме этого, вот и не стареют. Не им законы и правила писаны, плевать им на жен и матерей — бомбят они, летучие. Ну, и людей пугают.

Иногда, когда я в ночь работаю, проносится мимо меня взбесившийся Сенькин ЛЕВ. То кажется мне, что индусы в нем сидят, то берберы какие-то, то вообще какие-то вурдалаки водку из горла хлещут. Почему «вурдалаки»? Да потому, что... слушайте, слушайте этот ужас: Сенька-то бензином *не заправляется!* Все бензоколонки предупреждены, никто ему бензина не даст. А на чем он тогда ездит?

Один старый водила говорит, что Сенька к мотору свое кровообращение подключил. Ужас! И тот, кто в машину к нему не глядя садится, ездит на чужой крови. Ну, и как вы знаете, становится сам вурдалаком. Это заразно.

А у Сеньки спина как из железобетона. А если лицом к лицу с ним столкнешься — лица вроде как нет: вместо глаз и рта прорези, чтоб монету туда кидать. (Вот менты его и не берут, боятся.)

Не люблю я с ним встречаться. Не к добру. То с Фиалочкой после этой встречи разругаюсь, то у младшенького животик заболит. Да мало какие неприятности не бывают... Одного мы только в ум не берем с женой — денег, потому что мы люди. И бомбим в меру.

— Жуть-то какая,— сказала Мальвина.

— Не жуть, а правда,— сказала Лукавая с насморком.

— Ну, знаете ли,— возмутилась Мальвина,— не считайте меня за дуру.

— А ты и не дура,— согласилась Лукавая.— Ты — блаженная. Вот в точности как Люся, про которую я хочу рассказать...

Общество переглянулось. Давать ей слово? Решили дать.

— Ты, баба, только обряд соблюди...

— Соблюду, соблюду. Назову и эту историю:

МОЙ МИЛЕНЬКИЙ

Проснувшись утром, счастливая новобрачная Люся обнаружила на подушке рядом с собой чьи-то волосатые, не так чтобы чистые ноги. Она немного подумала, а потом сказала что покрасивее:

— Доброе утро, мой миленький!

— Ты чего тут делаешь? — вопросом ответил ее миленький Саша.

— Я тут живу, а ты теперь живешь у меня,— сказала Люся.— Поженились мы, мой миленький.

— А! Окрутила, значит! Тогда беги за пивом.

И Люся побежала за пивом. И так бегала несколько раз, потому что в доме, оказывается, все еще были гости. На бабушкином переднике спал друг Саши Витя, а на собачьей подстилке — Ваня.

— Целую ручки,— говорил Саша Люсе, когда она возвращалась с пивом, но ручек не целовал.

Потом Саша ушел куда-то с Витей и Ваней и не возвращался три дня, а Люся его ждала. Но он вернулся, и Люся сказала:

— Наконец-то ты вернулся, мой миленький! Я так счастлива, мой миленький.

— Отвяжись,— сказал Саша и лег спать поперек кровати.

Люсе спать было негде, и она сидела в кресле, смотрела на Сашу и была счастлива.

Потом из деревни приехала Сашина мать Глафира Потаповна, она посмотрела на Люсю и сказала Саше:

— Ты чего это взял такую дохлую и недяглую? По-моему, она с брачком.

— Выучусь — найду другую,— сказал Саша.— Вот только поступлю и выучусь.

— Ну, чего грибы распустила? — сказала Люсе Глафира Потаповна.— Уж раз ты бракованная, то будь хоть веселой. А то мужик тебя покрывать не будет.

Глафира Потаповна уехала, а заместо себя прислала младшенького сыночка Игорька.

— Вот, матка дала трояк,— сказал Игорек Люсе,— и велела, чтоб ты меня одела. Я хочу такие штаны, как у финских хиппарей, которые по Невскому ходют.

И Люся побежала к маме и стала плакать и просить у нее на первый случай сто пятьдесят рублей. И купила за сотню джинсы Игорьку. На остальные деньги она угощала Сашиного младшенького братца Игорька коньяком «Три звездочки». Но коньяк Игорьку не понравился, и он сказал:

— Накупи ты лучше на эти деньги «Два играют, третий пляшет».

— Что это такое? — спросила Люся.

— Это одеколон «Кармен». Там на картинке она пляшет, а двое играют на гармонях. Фирма!

После того, как Игорек уехал, в квартире хорошо пахло одеколоном, но Саша, несмотря на это, опять куда-то делся. Люся сидела дома и шила распашонки на случай, если у нее будет ребеночек. Потом Саша все-таки пришел домой, правда, ночью.

— Достань пятьсот рублей,— заплакал он с порога.— Меня проиграли в карты.

Люся опять поехала к маме и опять стала плакать и просить денег. Мама желала ей счастья и денег дала, а Люся отвезла их Саше.

— Вот деньги, мой миленький,— сказала Люся и осмелилась настолько, что обняла Сашу и поцеловала.

— Целую ручки,— сказал Саша, но ручек не поцеловал.— Потом, потом, вернусь и поцелую как следует,— добавил Саша и ушел, и не возвращался целый месяц.

Люся очень тосковала и не могла ни есть, ни пить. Подруга по работе, тоже из банно-прачечного треста, сказала Люсе:

— А может, ты хочешь солененького?

— Нет, не хочу.

— А ты подумай, может, хочешь? И сходи к врачу. Вдруг у тебя внутри завелся Андрюшка, хи-хи!

И Люся пошла к врачу на предмет Андрюшки.

— С чем пришли? — спросила врач (она была женщина).

— Поставить диагноз насчет ребеночка,— сказала Люся.

— Замужем?

— Да,— и Люся улыбнулась так, что врач тоже улыбнулась.

— Раздевайтесь,— сказала врач.

Люся стала расстегивать кофточку, но врач засмеялась и сказала: «Вы пришли не к терапевту, а к гинекологу... Снимайте...» — и тут она добавила такое, что если кому сказать — не поверят.

— Ни за что! — чуть не заплакала Люся.

— Извините, а с мужем-то вы спите?

— Иногда,— сказала Люся и добавила: — Валетиком. Это когда он не пьяный. А когда пьяный — я сплю на раскладушке. Так как же насчет Андрюшки у меня внутри?

— Сколько живу на свете, но еще ни разу не видела, чтоб у таких девушек, как вы, были Андрюшки,— и врач закашляла.

Как-то к Люсе пришел Сашин друг Ваня и, чтоб она не скучала, играл с ней в карты. Они играли в подкидного дурака, в пьяницу, а также обсуждали телефильмы.

— Вот говорят: любовь,— раздумывал Ваня.— А меня жена не прописывает. Дай, говорит, тыщу двести, тогда пропишу. А ты Сашку прописала?

— Конечно,— отвечала Люся,— уж у нас-то любовь. Конечно, прописала. А то бы он на мне и не женился, на злой-то.

— Ну и зря,— сказал Ваня.— Он на твоей площади окопается и под эту площадь с Нинкой Патлатой из пивного ларька в кооператив вступит.

— И что это вы говорите,— перешла на «вы» Люся.— Это просто нечестно с вашей стороны. Он мне не рассказывал ни про какую Нинку из пивного ларька. Тем более Патлатую.

— А где ж он, по-твоему, ошивается? — спросил Ваня.

— Он ушел в конспирацию. Вчера звонил и просил приготовить денег и чистую рубашку. А так ушел в конспирацию. С каждым человеком может случиться, что его проиграют в карты. И тогда нужно уйти в конспирацию,— ответила Люся.

— Мне бы такую жену, как ты,— вздохнул Ваня,— и пусть бы меня каждый день проигрывали в карты. Но все равно, я бы не шлялся ни по каким конспирациям, а тем более по Нинкам Патлатым!

В это время пришел Саша.

— Саша, мой миленький, как я рада, что ты пришел! Где ты был, мой миленький?

— Целую ручки,— сказал Саша, но ручек не поцеловал,— а где я был — там меня нету. Ну, с Ванькой был, у Ваньки жена окотенилась.— Ваню он не заметил.

— Моя жена не кошка,— возмутился Ваня,— и не ври. Ничего такого с ней не случалось.

— Ну какой вы, Ваня,— перебила его Люся,— вечно вы спорите. Вот подите домой и проверьте, что случилось с вашей женой.

— Я что, я ничего,— сказал Ваня,— я имел свою надежду, что раз у меня баба такая паразитка, да и у тебя, Людмила, жизнь личная через пень-колоду происходит, то и надо нам подумать о светлом будущем, а раз ты...

— И это называется друг! — воскликнула Люся и вытолкала Ваню в три шеи.

— Ты — моих друзей? Моих друзей? — закричал Саша и хотел поколотить Люсю, но почему-то сам упал и заснул на полу. Он спал так крепко, что Люся с большим трудом его раздела и кое-как закинула в постель. Вместо майки на нем была кружевная дамская сорочка очень больших размеров, и Люся погрустила о такой конспирации и поругала себя за неумение навести порядок в туалете мужа.

Саша стал жить дома, потому что гулять ему было не на что: его выгнали

с работы. Он работал милиционером и сильно побил пьяного, но пьяный оказался не пьяным, а больным, и совсем не вовремя умер назло Саше. И Саша был под судом, и сидел дома, а пил только пиво, которое бралось неизвестно откуда. Зато Люся работала теперь на полторы ставки, потому что мама больше денег не давала — у ней у самой их не было. А Люся полоскалась в своем банно-прачечном щелоке, и пальцы у ней стали тонкими и голубыми. И сама она вся тоже стала тонкая и голубая, линялая какая-то.

Приезжала из деревни Глафира Потаповна и с материнской лаской говорила:

— Шурик, а у этой твоей выдры не чахотка случаем? Ты после ее посуду шпарь и не спи рядом. Пусть спит хошь под порогом, недяглая, раз у ей нет даже отдельной квартиры.

Приезжал Игорек учиться на вальцовщика-коландровщика. Люся отдала ему свою раскладушку. Но, слава богу, Игорек скоро оженился и съехал. Правда, пришлось ему выделить приданое.

— Своя кровиночка,— сказал Саша,— а имущества мне не жалко. Не я его наживал.

От ударов судьбы Саша стал совсем недовольным и разговаривал с Люсей очень редко. А уж «целую ручки» совсем не говорил. Зато у Люси характер был все такой же хороший и ласковый.

Один раз заходил Ваня, но, на пороге услышав, что Саша дома и что Люся гордится этим, и что Саша теперь всегда дома,— Ваня ушел.

А Люся и вправду гордилась тем, что Саша теперь полностью ее муж, и очень обижалась на соседку, которая намекала, что когда Люся на работе, к Саше кто-то ходит. Женщина, значит.

Однажды Люся пришла домой и увидела, что Саша очень пьян. Он был ужасно пьян и уморителен, как ребенок. Он называл Люсю своей сладкой помпушечкой и спрашивал, почему она так долго ходила за пивом.

— Я была на работе, мой миленький,— оправдывалась Люся, но он грозил пальцем и хихикал:

— Знаем мы, на какой работе. Это пусть Люська вкалывает, а моя Ниночка-помпушечка — свободный белый человек и ходит только за водкой,— говорил Саша.— Целую мои пальчики,— и целовал Люсины голубые пальчики.

Но потом он вдруг смотрел на Люсю дикими глазами, отталкивал ее и кричал, почему-то опять называя чужим именем:

— Уйди, Нинка, зараза такая! Стерва ты и кровопийца! Я, может, жену свою Люсеньку люблю! Она, может, меня по морде, как ты, не лупит. Я, может, веревки из нее вью. Уходи, образина такая толстомясая!

Потом он затащил Люсю в постель, прямо в сапогах, и сделал с ней такое, чему бы никто в жизни не поверил, если б рассказать. От стыда и боли Люся очень долго не могла встать. Но и заснуть тоже не могла. Она понимала, что должна снести и это, последнее, раз уж он женился на ней, такой глупенькой и недяглой, да еще без квартиры, а только с одной комнатой. Потом она все-таки встала и почему-то начала вспоминать, где у нее утюг. Зачем ей понадобился среди ночи утюг — она не знала, но искала его, пока не нашла. Погладить, что ли, хотела? Саша спал и застенчиво улыбался во сне своей милой улыбкой. Люся подошла к нему, посмотрела в его милое лицо и изо всех сил ударила его в висок утюгом. Потом ударила еще раз. Он перестал храпеть, побулькал и утих. Совсем тихий лежал и хорошенький.

— Вот был бы ты всегда такой, мой миленький! — нежно сказала ему Люся.— И все было бы так хорошо, так хорошо, что дальше некуда.

И правда, с тех пор у них все, все было хорошо.

— Ну, ты и загнула...— сказал Дед Мороз.— Век живу, ничего подобного не слышал... И откуда ты эту историю знаешь?

— Да как сказать... Слышала... Ни Люсю, ни Сашу я в глаза не видывала. Но вот от нее слышала...— Лукавая кивнула на свою гораздо более молодую товарку. Однако (уж точно) не дочку.

— Ну, мне Люся рассказывала,— опустила глаза молодая, но не самой цветущей прелести женщина.— Мы с ней в... одной больнице раз лежали. Там хорошо, когда тебя на ночь колют снотворным, и ты спишь. А вот дни... Дни там долгие. Няньки, если им помогать и хорошо себя вести,— добрые. И все равно долгие дни. И надо с кем-то говорить. Вот и говоришь, или слушаешь... Ну, поплачем друг над другом — сразу легче. Кто нас пожалеет, если сами себя не пожалеем? Мужики злые, жестокие...

— Ну, не все же...— сказал Доктор.— Вот мы здесь сидим — не звери же.

Доктор оглядел всех нас, довольно ярко озаренных огнем костра, обратился к Рабочему:

— Вот вы, видимо, умный человек, пожилой уже, а ничего нам не поведали. Я знаю, умные люди не любят болтать, но все же...

— А что я вам поведаю? Все чепуха и мизерность какая-то на ум идут. Дряги-передряги... Производственные конфликты в газетах описывают. А житейские драмы... Тьфу, не драмы, а черт те что!

— Вот и расскажи, дед, черт те что,— попросил Дед Мороз.— А то мы — ахинею, а ты — воще ничего.

— Ну, слушайте... Название, значит... Название...

НЕМЕЦКАЯ МУЗЫКА

Это когда же началось? А тогда это началось, когда одна женщина в нашем доме, Римма такая, рояль купила. Она-то на рояле играть никогда не умела, на рояле совсем другая женщина играла, а только она купила. Загадка? Согласен. Но только это для тех загадка, кто не понимает и не знает ничего, а для нашего дома это была скорей разгадка. Значит так: одна рояль покупает, потому что другая играть умеет. Ежели вы женщин знаете (а кто в наше время на этот счет совсем без понятия?), то и разберетесь: значит, потому она покупает, что другой завидует, или что-нибудь еще такое. Ну, раз есть у ней средства рояль купить, значит, дело не в достатке. А в чем дело? А в мужике, в чем же еще. Хоть он и вымирает.

Муж Риммы, Николаев, женщиной одной завлекся, Анютой из отдела главного механика. И Анюта как раз на рояле играла, и все, кто на заводские вечера ходят, прекрасно об этом знают. А раз Римма тоже решила в сорок лет на рояле заиграть, то, значит, и до нее это дошло. А раз дошло — жди событий.

Но про Римму и Николаева сказать только это — значит ничего не сказать. И я, как человек, сорок лет на заводе отработавший, могу и еще кое-что сообщить.

Отец Риммы, Минька-придурок, родной брат нашему директору. Не только брат — близнец. Но больше ничего общего между ними нету. Как это байка такая есть: было у матери два сына — один умный, а другой Минька. Ну, техникум-то какой-то Минька кончил, на это еще ума не надо, а вот что дальше из него вышло, сказать мудрено. Ну, работал он нормировщиком, как-то при брате-директоре ему сходило, но если б не брат — сидеть бы Миньке и видеть небо в клеточку. Не посадить такого человека — ему же навредить. Ведь сколько случаев было, что работяги наши его били, да и я, грешным делом, тоже бил. Но самый большой скандал был с ним из-за дочери его, Риммы. Она девка странная была с самого начала: ростом мала, а повадкой удала. Не скажешь, что страшила такая, наоборот даже, а и глядеть на нее все одно противно. В замашках важности на генерала так, примерно, тянет, а басов в голосе — на Шаляпина. Все она, бывало, любила на танцах заводских дежурить и — кто под руку попадет — из зала выводить. То танцуют ей не так, то обнимаются. Ей уж под тридцать, а она с несмышленышами тягается, из зала волокёт и басом своим лекции читает. А как техникум кончила да мастером стала — совсем от нее не жизнь, в бабском цеху такую волю взяла, что мужику и не выдумать. Штрафы какие-то придумала, в уборную баб не пускает, сверхурочными заглумила.

Ясно, что жениться на ней охотников не было. Ну, а Минька обижается, будто это его не берут замуж. И решил он событиям содействовать. Спросил, видно, у доченьки, кого она себе приглядела, да и помочь наладился. А у нее

губа не дура. Витю Митрофанова ей подавай! А лучше Вити не только у нас на заводе — в городе во всем еще поискать надо. Два метра росту, кровь с молоком, руки по табуретке, спортсмен и еще заочник. Ну, Миня вызвал его-то да в конторе, при всем честном народе, и сказани:

— Вить, иди ко мне в зятья!

Витя, естественно, ноль внимания и фунт презрения. Так что ж бы вы думали? Стал Миня его теснить. Я в нормировочных делах разбираюсь слабо, а только Витя аванс-то получит, а получку — шиш с маслом. Конечно, без всякого ума это сделано, на дипломатию Миня слаб, а все ж как с таким придурком бороться — никому неизвестно. Витя, он хоть не дурак, а в итоге ничего не придумал, как вломить Мине между глаз, потому что жалиться на Миню брату-директору несподручно как-то. Вот и уволился Витя Митрофанов.

Ну, а муж Риммин, Николаев, теперь начальник цеха. Не уволился, как видите, хоть и не сам Римму выбрал. А больше не скажу. Николаев, с молодости вымерший, живет себе хоть бы хны. Ну, детей у него, правда, с Риммой не родится. А так — все в норме. Только человеку мало нормы, ему счастья хочется. И тут эта Аня из отдела главного механика. Познакомились они с Николаевым на лыжной заводской базе, она бегала на лыжах, а он был в жюри. Опять все на глазах у людей случилось: при свидетелях. Про Аню что ж сказать? По виду, если Римме, конечно, не дать рта раскрыть, Аня против Риммы никто и звать ее никак. Но зато как Аня заговорит — так видно, что человек, и к тому же очень даже женщина. Не кокетка какая, но приятная. Ну, а уж как за рояль сядет... Я-то ее хорошо знал, потому туфли ей чинил. Я, видите, после работы люблю с «лапой» посидеть над обувкой какой.

Да, так вот тут не об туфлях теперь речь, а, значит, об том, что Римма рояль купила и учительницу наняла. Сразу видать — Минькина дурная кровь, но с другой стороны, попади какая иная женщина в такую переделку — я б первый пожалел.

Только, значит, люди про рояль отговорили, и новый вопрос встал: Аня-то беременная. Бабы в доме шу-шу-шу да шу-шу-шу...

— Ну,— говорят,— рояль Римка купила, а ребеночка-то не купишь!

Это, однако, нехорошо с их стороны так говорить, над чужой бедой смеяться. Я своей хозяйке запретил, но другим-то не запретишь!

Странно мне только показалось, что Аня, тихая и деликатная, вдруг на такое решилась. Да потом раздумал это дело: ей-то уже за тридцать, замуж, видно, не выйти, а нынче что с мужем рожать, что без мужа — без разницы. У меня две дочки, у обеих дети, и обе разведенные. То есть даже не разведенные, а хуже. *Вымерли* их мужики, сгинули. Один, первый, как-то в магазин за солью ушел, да и *вымер*. Я потом его оболочку в Новокузнецке встретил, когда ездил опытом делиться.

— Что ж ты,— говорю,— пропал?

— Да я приятеля встретил,— отвечает,— а потом уж как-то неудобно было домой возвращаться... Совестно, знаете ли, дядя Ваня. Ну, а ведь дочь ваша женщина порядочная — мальчика нашего вырастит.

— Какого ж мальчика, когда у тебя девочка? — кричу я ему.

— А девочку тем более,— сказал и пропал. Навек *вымер*.

Второго зятя я тоже после того, как он в бане утонул, видел. Он крыс к нам морить приходил. Ну, мы к нему и признаваться не стали. Дочка говорит: «Я за инженера, а не за крысолова выходила».

Вот и все дела. Потому и Аня родить решила — какая теперь разница, с мужем ли, нет ли. Приветствовать надо.

Римку-то она не трогала, да та сама ввязалась. Рояль, значит, купила, а потом и другое дело задумала.

Я как раз под Николаевыми, на четвертом этаже живу. И вот слышу раз — играют они на своей бандуре. Но играют как-то не по-русски, уж больно рьяно, будто кто в сапогах по роялю бегает, как попало. Наверное, немецкая какая музыка. И голоса. Не так чтоб поют, а вроде кричат или воют. Тарарам страшенный. Потом дверями захлопали, так, что у меня чуть люстра не упала. Что за черт! Потом тихо стало, а еще попозже ко мне звонят. Две женщины заходят.

— Скажите,— говорят,— вы Николаевых знаете?

— Ну, знаю.

— Что вы можете про их семью сказать?

Хотел я сказать, что ничего сказать не хочу, хоть и могу, конечно, да хозяйка моя влезла.

— А то,— говорит,— знаем, что не семья это никакая. Два разных индивидуума, а не семья!

Индивидуума! Ох, любит моя слова всякие не к месту говорить.

— Помолчи! — кричу.

Но женщины меня обрывают:

— Почему вы супруге сказать не дадите? Мы, может, тоже склонны так думать. Мы к ним вошли, а они друг друга головами по роялю возят. Если это спорт, другое дело, но мы такого спорта еще не видели, потому к вам зашли удостовериться.

Ну, дошло тут до меня, что за игра там у них наверху. Но, однако, женщины-то тут при чем? Так я у них и спросил.

— Мы при том, что пришли к ним по их заявлению, из дома малютки, насчет усыновления ребенка.

Ну, моя-то тут и закричала:

— Это какое же усыновление! Своего ребенка он, значит, бросит, а чужого усыновит! Вот так мода и современный силуэт!

— Да,— говорю я,— насчет силуэта не то получается.

— Ах он подлец,— моя кричит,— каков подлец и фарисей! Дебошир в чистом виде во всем безобразии своих происков! Вы, дорогие женщины, попейте с нами чайку и послушайте правду... Как он первый раз сподличал, расскажу. Как женился он.

И понесла же она! А самое-то страшное: не знал я, чем это для меня кончится. Ну, женщины от нас выходят, а по дороге с Римкой сталкиваются. Влетает она к нам и на мою с кулаками. Ей, видно, теперь уже все равно терять нечего, все фонари мужем на надлежащие места расставлены.

— Ах ты, старая подошва! — диким голосом Римка кричит.— Думаешь, напугала? Думаешь, мне и правда чей-то гаденыш был нужен? Накося, выкуси! А Николаева не отдам! Не буду ходить, как твои дочки, брошенная!

Ну, на больную мозоль она нам наступила. Тут не только хозяйка моя озвереет, но и я на многое готов, хотя вообще-то я тихий.

— Тихо, Римма Михайловна,— говорю,— женщину украшает тихий голос.

— Ты мне рот не затыкай, деревня неумытая! — Римка кричит.

— Ну,— говорю,— деревня так деревня. А только это беда, коли курица петухом запела, а корова быком заревела.

— А за корову я тебя на пятнадцать суток посажу.

— Сама деревня темная,— моя кричит,— если фольклору не понимаешь!

— А я вот счас на экспертизу пойду, вам мои синячки даром не сойдут! — Римка сатанится.

Тут моя поутихла. Поняла, видно, что ведь эта и на экспертизу пойдет, озадачилась.

— Мужевы синяки на нас, да? — тихо уже говорит.— А он молчать будет, да? Да ведь он-то человек порядочный. Попорядочней тебя в тысячу раз. И всегда был порядочный.

Я молчу, не возражаю, не напоминаю моей, что она пять минут назад совсем другое говорила. В горячке женщина-то.

— Да, мой порядочный! И вы к чужим хвостам его не шейте. Был мой и будет мой. Убивать друг друга по любви будем! И не завидуйте, не разрушайте, а то самих разрушу!

— Тьфу,— моя тихо плюнула,— это есть абсурд и ахиней, и идите отсюда, Римма Михайловна, к чертовой матери.

Ну, с грехом пополам, мы дверь и захлопнули.

— Что,— говорю,— Евдокия, не было у бабы хлопот?

— Не издевайся надо мной,— отвечает,— и под горячую руку не попадай.

А через две недели, когда известно стало, что Аня ребенка родила и из больницы вышла, Низовский ко мне в цех является. Этот Низовский в технической информации значится, а вообще, черт его знает чем занимается: стихи в многотиражку пишет, в каких-то комиссиях заседает и речи к Восьмому марта говорит. Он, помню, и про меня стишки написал в газету заводскую:

Я сталь катал, катал годами
И на завод всю жизнь ходил.
Я сердцем тутошний, я с вами.
Для блага Родины я жил.

Это, значит, не он, конечно, «сталь катал», это он якобы от моего имени говорит — я ее, значит, катал.

И вот является Низовский и говорит мне:

— Дорогой Иван Иваныч, я знаю вас как человека умного и порядочного. На той неделе будет заседание жилищной комиссии, и мне надо обговорить с вами один вопрос, чтоб потом не пришлось расхлебывать. Видите ли, предполагалось дать комнату некой Шереметьевой...

— А что,— спрашиваю,— теперь не предполагается?

— Иван Иваныч! Вы же умный человепк. Должны чувствовать конъюнктуру!

— Чего-чего я должен чувствовать?

— Обстановку, вот именно.

— А какая обстановка, товарищ Низовский? Что девка живет в одной комнате с бабушкой, сестрой, зятем и их ребенком? Это я должен чувствовать? Так я это чувствую. А теперь еще у нее ребенок...

— Вот именно, дорогой Иван Иванович, вот именно! Ребенок! А какой такой ребенок, откуда ребенок?

— Оттуда, товарищ Низовский, откуда и все ребенки! Оттудова,— говорю,— вот именно.

— Нет, не оттуда, Иван Иваныч.

Ну, грешен я, грешен. Не вынесла, как говорится, душа поэта. Схватил я Низовского за грудки, да, видно, сил не рассчитал, то есть не знал я, что еще силен настолько: тряхнул его, а он сознание потерял. Может, со страху, а может, и не потерял он сознание, а только вид сделал. Милицию, конечно, не вызвали, а «скорую» пришлось. Я к директору побежал, а он в командировке. Ну, то есть — все против меня. И от председательства в жилищной комиссии меня как раз и освободили. Меня освободили, а Низовского нет. И комнату Аня увидела как свои уши. Вот вы мне, наверно, сейчас и вопрос: а остальные что, а директор что? А то, что ничего. Директор в это дело, я так понимаю, вообще не мешался, может, и не знал он о нем. Но наш брат грибники не дремлют, они, ты их даже не проси, к примеру, все равно стараются угодить. Для них директорская племянница, если она еще такой крокодил, вовсе не кискин пис. А Римка-то и сама старается, не спит.

И вот выходит Аня из декрета, а Николаев к тому времени вид совсем ото всего отрешительный приобрел. И он не притворялся, я так думаю. Он теперь все время с таким видом безумным ходил. Из-за этой его отрешительности не заметил он однажды, как в столовой заводской прямо за Аней в очередь стал. Он-то не заметил, а она-то заметила. Ну, и решила, видимо, его ото сна пробудить. Взяла тарелку с супом, да на голову ему и вылила. Он на нее мутными глазами посмотрел, не узнал, наверное, да и говорит:

— Вы,— говорит,— суп пролили.

После такой штуки для общественников наших совсем малина началась. Можно сказать, смысл жизни для себя открыли, а чтоб все про это открытие узнали — собрание собрали.

Только Аня теперь не та деликатная Аня была. Горло у ней открылось почище Римкиного. И, кроме горла, доказательствами запаслась. А доказательства были. И письма, что он ей в роддом писал, и еще письма, из отпуска посылал тоже. И ведь каков подлец: во всех письмах женушкой ее называет, цветочком своим незабудочкой, птичкой с серебристым горлышком. Читает

Аня эти письма перед народом, но ни на каких птичках и цветочках голос у нее не дрожит. Точка. Другая она теперь. *Вымерла.*

Взял слово Низовский и пошел по своему обычаю смоляную кобылу мазать. Уж так человек врет да мажет — завидки берут.

— Это кто же женушка? — Низовский говорит.— У товарища Николаева одна женушка, одна птичка и один цветочек незабудочка.— Римма Михайловна Николаева. Так ведь, товарищ Николаев?

— Так,— как истукан Николаев бубнит.

— А я уж не птичка, да? Уже не цветочек? — Анюта надрывается. (И чтоб ей растаять, как той Снегурочке.)

— Нет.— Николаев бубнит.

И такая мерзкая катавасия поднялась, что никогошеньки мне из них тут не жалко, а вот взял бы бутылку хлорофосу и полил их всех, потому как хлорофос только на клопов не действует, а на людей, может, и действует надлежаще.

Ну, вскоре Анюта уволилась, а Николаевы начали почти каждый день на рояле играть. Рояль, как говорится, в сопровождении голоса. После игры такой Николаев частенько ко мне приползал. Не скажу, чтоб завсегда на четвереньках, но чаще...

И вот приходит он однажды ко мне, трезвый почти, да и говорит:

— Поехали, Иваныч, на охоту. Я слышал, у тебя там кто-то собаку дать может...

Чего не поехать. Поехали на его машине. Всю ночь ехали, ночь темная выдалась, облачная. В лесок заехали какой-то, решили на ночлег стать. Еще двое с нами были, да собака Джульбарс. Ну, костерок развели, выпили. Я-то немного пил, а уж Николаев... Да что там говорить: он вообще и по будням пил, не просыхая, а тут охота — сам бог велел.

Ну, мы с теми двумя мужиками у костра сидим, а он отошел. Отошел, да и нету его. Кричали мы его, кричали, а потом один мужик, Коля такой, говорит:

— Да не кричите вы его, он компанию не любит. Я с ним который раз еду — все норовит в сторону смыться. Давайте-ка спать.

Ну, легли мы спать. Чуть развиднелось — что такое? Оказывается, то, что мы за лес в темноте приняли, только малюсенькой рощицей посредине большой деревни оказалось. Вот так фокус! А Николаева нет. Пошел я его искать — под каким забором пьяный-то валяется?

А он вовсе не под забором валялся. В луже он лежал. Лицом вниз. Мертвый. Экспертиза заключила, что умер он от утопления в луже, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Что было дальше — дело понятное. Хоронили как положено. А моя хозяйка сказала:

— Бог правду видит. Как жил он ахинейно, так и помер, царствие ему небесное и вечный покой, сволочи такой.

Вот такая музыкальная история у нас приключилась.

И непонятна мне эта музыка, хоть застрели меня.

— Да что же это происходит,— взмолилась жена пресловутого капустного Валерика Мальвина.— Да что же это такое! Какой кран вам всем открыли, что из вас всех только грязь и льется? Невозможно ничего ни смотреть, ни читать, ни слушать! Все неприлично, все несмешно, все низменно. Уж от вас-то я этого не ждала,— повернулась она к Рабочему-рассказчику.— Уж вам-то не след пускаться в такие дикие, никому не нужные истории... Жили себе люди, жили спокойно. И вдруг мне заявляют через радио и газеты, что я двадцать лет находилась над пропастью. А я жила! Жила! Это было мое время, и не смейте его порочить.

— Но я же не выдумал ничего,— смутился рассказчик.

— А вы выдумайте,— усмехнулся маленький Физик.

— Не надо иронизировать,— мягко сказал Доктор,— неужели вы не видите, что у женщины болит душа? А если болит — анестезию. Напоите ее

валерьянкой, накачайте ее снотворными. Но только, прошу, в красивых упаковках...

— Вы, врач, тоже издеваетесь? — завопила Мальвина.

— Я не издеваюсь. Я всегда был за наркоз... для бедных и слабых. Если у человека болит — прежде всего надо дать ему обезболивающее. Вопрос только в том, что считать обезболивающим. Для одних это горькие пилюли правды, для других — обсахаренная ложь.

— Не ваше дело заниматься моей душой,— огрызнулась чуть притихшая Мальвина.

— Иначе не выходит,— сказал Доктор.— Много лет никто всерьез не занимался человеческой душой. Конечно, вы имеете полное право сказать: «Врач, исцелися сам»,— потому что я такой же человек, как вы, но...

— Да не про то вы! — оборвала его Мальвина.— Я знаю, что я немолода, что жизнь моя уже не изменится, но зачем же лишать меня надежды? Зачем меня пугать? Я прекрасно жила, не зная про наркоманию, про преступность, про нечестность судов. Как же мне жить теперь? Когда я *знаю*? Что же мне читать? Кто утешит меня?

— Пикуль с Дрюоном,— сказал маленький Физик.

— Бутылка,— сказал Дед Мороз,— ежели достанешь.

— Ну, а если поискать опору в себе самой? — спросил Доктор.— Вы так много пережили, перетерпели, перестрадали. За вашу любовь, терпимость и сострадание вы достойны памятника, глупая вы женщина.

— Вы думаете? — с надеждой спросила Мальвина.

— Знаю.

— Люди уж так падают, уж так падают,— заговорила горячо Лукавая,— но надо же подниматься. Не считать себя такой уж высокой, а знать, что и ты порой низка. А потом взять — и подняться. Вот в чем фокус...— Она засморкалась.

— Да. Подняться можно,— сказала ее молодая товарка с неплохим, но чуть чрезмерно траченым лицом.— Вот я вам расскажу...

— Кончай дебаты! — завопил Дед Мороз.— Пусть все будет фешенебельно, как до этого. Дайте дамочке сказать! Какое у вас будет название, дамочка?

— Да уж и не знаю... Ну...

ДОМОВОЙ

Маша дружила с Сережей. Дружила-дружила и забеременела. Она не знала, как сказать ему об этом, потому что чувствовала себе виноватой. И так-то она ему не ровня — ПТУ только и кончила, на прядильной фабрике работала, а он все-таки — шофер такси, у них на тачке петрить надо.

Маша вспоминала, как говорят о таких вещах в кино. А там говорят так, что на голодный желудок не разберешь: «Милый,— говорят,— нас теперь будет трое. Я почувствовала в себе биение новой жизни». Милый, если он только не подлец, хватает на руки свою хрупкую хорошенькую милую и кружит ее что есть мочи. Милые бывают обычно красивыми: брюнетами и блондинами — кому что нравится, и даже преспокойно сносят пощечины, какими их на первый случай угощают их подруги за неожиданный первый поцелуй. Гордые девушки.

Маша была не такая и потому чувствовала неувязочку. Но все-таки решила сказать, как в кино.

— Серый,— сказала Маша,— через восемь месяцев нас будет трое. Я почувствовала в себе биение новой жизни.

— Залетела, что ли? — недовольно буркнул Сережа.

— Ну,— ответила Маша.

— Ты! Чтоб этого не было! Поняла, ты?! А то могу и по чавке. Поняла? Ты!

— Ну,— ответила Маша и пошла в тот вечер с дискотеки без провожатого.

Дуська Широчкина сказала:

— А ты что ж думала? Любишь кататься — люби и саночки возить. Удовольствие получали — извольте расплатиться.

— Какое такое удовольствие? — удивилась Маша.— Уж чего-чего, а удовольствия в этом никакого нету. Только ради любви и терплю.

— Так плати за чужое удовольствие. Ты, это, главное — ничего не глотай, а то подохнешь. Иди к врачу, врач твоего Серого вызовет, скажет: «Женись-ка, парень!» Глядишь, и женится. Так многие замуж выходят.

— Какая ж это женитьба? — сказала Маша.— Да он, если женится, в первый же день меня изобьет.

— А как же? Изобьет,— подумав, согласилась Дуська.

И к врачу Маша не пошла, а поехала в Парголово, к бабке, адрес которой ей дала соседка по квартире, Зинаида.

— Не от негра ребеночек-то? — спросила бабка.

— Нет. Зачем же от негра...

— Все говорите, что не от негра. А потом глядь — и от негра.

— Ну, а был бы от негра, так что?

— Статистику веду,— сказала бабка,— а больше ничего.

И стала готовить инструменты. Из инструментов были: клизма и еще что-то, очень напоминающее подметку, которое потом и впрямь оказалось подметкой.

— Не боись, чистая подметка-то... Федя с фабрики обувной крадет и продает мне по дешевке,— сказала бабка.— Первый струмент у меня.

Было очень страшно и больно, но Маша не кричала. Долго отлеживаться бабка ей не дала, и Маша ушла очень скоро. В пустой холодной электричке ей стало худо, она сколько-то вообще была без сознания и чуть было не уехала обратно. Но очнулась вовремя и вышла.

Некоторое время Маша на дискотеки не ходила, так как было не в чем. Свои брюки и приличный свитер она продала, чтоб заплатить бабке. С зарплаты урывать было нельзя — деньги она отдавала в семью. Правда, про брюки и свитер тоже пришлось соврать, что украли на работе, в раздевалке. Но тут, к счастью, мать разругалась с отчимом, отделилась от него и стала жить одним котлом только с Машей. А когда они жили только вдвоем, оставалось больше денег — отчим не пропивал и не профукивал. И мать дала Маше пятьдесят рублей, и Маша пошила себе самые широкие, какие только можно, брюки (тогда такие были в моде) и вышила на них розочки и свои инициалы. Осталась пятерка на английскую стрижку «сэссун», которая очень Маше шла («сэссун» тоже был в моде).

И опять Маша явилась на танцы, и опять увидела Сережу.

— Наше вам с кисточкой,— сказал Сережа,— долго не видались. Ты как, со мной кадришься?

— Ну,— сказала Маша.

И они выпили, поплясали и пошли к Сереже, потому что мать его работала в ночную смену и ее не было дома.

В пять часов утра Сережа растолкал Машу и сказал:

— Вали по холодку, пока мать не прикандёхала.

И Маша вышла из его дома и пошла по пустой улице. Все было так хорошо, но на душе у нее было не очень чтобы очень. И она удивлялась себе и своим капризам.

Потом Сережа стал кадриться с другой, а его друг Витя начал провожать Машу. Однажды Витя сказал:

— Маша, давай распишемся.

Маша по-прежнему любила Сережу, но не видела причин, чтоб отказывать Вите, и они подали заявление в ЗАГС. Может быть, они бы даже и поженились, но Витя слишком хвастался Машей и про заявление узнал Сережа.

— Ты моих мочалок не трогай,— сказал Сережа Вите.

— Тоже мне, Пали-Ахмед-Паша,— ответил Витя и пихнул Машу к Сереже.— Нам чужого не надобно. Мы себе и другую найдем. Мы и на другой жениться можем.

И Витя ушел искать другую. И нашел. И на следующий день пошел подавать заявление, но только в другой ЗАГС, где его не знали.

А Сережа плясал в тот вечер с Машей и даже провожал ее домой. И Маша гордилась этим, и сказала раз Дуське Широчкиной:

— И что они во мне нашли? Прям рвут на части.

На части не на части, а успех у Маши вдруг и правда стал большой. Видно, это подействовало на Сережу, потому что он однажды сказал:

— А давай-ка окрутимся, Мурка? — (он называл ее Муркой).

— Ну,— ответила Маша,— а потом стала раздумывать вслух: — Как же так — замуж? — вслух раздумывала она.— Ты ведь у меня образованный, шофером такси работаешь, на тачке петрить надо, а я кто? Да и как я могу за тебя идти, когда у меня... Когда я такое над собой сделала? Я ведь уже не это, не девушка... Знал бы ты, что я над собой сделала.

— Что правда, то правда,— согласился Сережа.— Я, конечно, мог бы и девушку взять, и с квартирой, ну да где наша не пропадала! Мы ведь такие, простые души. Так что, подвали-ка завтра часика в три к моему парку.

Он провожал ее и фантазировал:

— Осенью вместо отпуска поеду в зверосовхоз. Буду там норку забивать. Подносишь к ней два проводка: она — бряк — и мертвенькая. Заработок большой, и притырить штучку можно. Главное: бряк — и мертвенькая. Бряк — и мертвенькая. Продадим — цветной телек купим. В прошлом году я норок забивал — пятьсот рублей отложил. Хочешь телек?

— Ну,— сказала Маша.

Дома она не могла спать. Она раздумывала, какой Сережа добрый и какая она, Маша, плохая. И было ну никак не уснуть, хоть она и понимала, что это нельзя и завтра на работу. Так, не спавши, она и пошла на фабрику. И ее затянуло в станок, и она попала в больницу и не подаалила часика в три к Сережиному парку.

Сережа очень удивился, что Маша не пришла, и подумал было зайти к ней. Но зайти как-то не вышло.

А тут, кстати, он вез одну девушку. Она везла цветной телевизор в свою новую кооперативную квартиру. Он помог донести телевизор на пятый этаж и получил за это три рубля.

— А не выпить ли нам вместе чуть попозже? — спросил он.— Знаете ли, люблю приятное общество!

— Можно,— сказала она.— Я тоже люблю общество. Мы с вами — родственные души.

Они выпили чуть попозже, а через два месяца расписались. Ее звали Валя, и она работала секретарем-машинисткой. Это тебе не ткацкая фабрика!

А потом Валя забеременела и, посоветовавшись с Сережей, решила, что можно и родить. Отчего же не родить? И вот пришла пора идти в декрет. Валя сидела дома, шила распашоночки, смотрела цветной телевизор, готовила ленивые голубцы и ждала Сережу, чтоб накормить его, а потом идти гулять. И они гуляли, и на них скрипел кримплен, а встречные старушки говорили, что дай им бог.

И вот однажды, когда они так шли по Таврической улице, Сережа увидел Машу. На Маше было надето что-то очень ярко-красное, но грязное и мятое. Под глазом у нее был синяк, правая нога была в тапочке, а левая в резиновом сапоге. И вообще, она была пьяная. Сережа боялся, что Маша его увидит. Но Маша смотрела не на него, а на Валю.

— Ага! С муженьком гуляешь! — закричала Маша дурным голосом.— Водит тебя как маленькую! Ага! А мне что, ветром теперь надует? — и Маша похлопала себя по животу, который у нее был худой и плоский.— А меня никто не водит! — кричала Маша.— Нечего меня водить, потому что я теперь навек порожняя. Порожняк я! Сережка Брудаков не одну душу из меня вынул, он все навек из меня вынул! А ты-то у своего спросила, сколько он до тебя деток загубил? А?

И Маша посмотрела на Сережу и вдруг прикрыла рот грязной, расцарапанной рукой.

— А! — беззвучно закричала она, и все ее буйство и хамство прошло, хотя давно она уже была самой буйной из молодых пьяниц, известных в районе.

— Ты, чапай отсюда, пока мильтона не позвал! Поняла, ты? — сказал Сережа.

— Ну! — испуганно согласилась Маша и почапала.

— Бывают же такие! Субстанция некая! — сказал Сережа Вале очень умно.

— Откуда она тебя знает? — спросила Валя.

— Бытие определяет сознание,— сказал Сережа опять умно, но Валя опять спросила:

— Откуда она тебя знает? — и заплакала.

Сережа потащил Валю домой и там дал ей по тыкве, чтоб не плакала. И она больше ничего не спрашивала. И вообще перестала говорить. А потом пошла Валя к врачу на предмет положения ребенка у ней в животе.

— Нету ребенка,— врач говорит,— это,— говорит,— феномен графини Д'Эспанье. Ложная беременность, значит. Сделайте другого.

И пошла Валя восвояси, живот свой поглаживая, и под ее рукой расползалось ее семимесячное бремя, как ком теста под скалкой.

А дальше хуже. С той поры у них завелся Домовой. Если Сережа, возвращаясь с работы, входил в комнату тихо, он мог услышать, как Домовой плачет. При нем же, при Сереже, никто не плакал. Еще Домовой пересаливал суп, бил посуду и так прятал всякие вещи, что Валя вечно ничего не могла найти у себя дома. Она ходила по своей кооперативной квартире с открытыми глазами и ничего не видела.

Но самое страшное было по ночам. Когда Сережа протягивал руку, чтоб дотронуться до Вали, рука его натыкалась на тело Домового. Это тело было холодное и скользкое, совсем мертвое тело, хотя и шевелилось иногда. Напоминало оно чем-то тушки забитых им в зверосовхозе норок.

И как после этого стараться сделать нового ребеночка?

А Машу вывесили в окне «Они позорят наш город» и указали ее адрес. По этому адресу ее отыскал Витя и женился на ней. Правда, у него уже были дети-близнецы, но жена, которую он приглядел еще тогда, на дискотеке, к тому времени успела убежать. И Маша полюбила близнецов, и перестала пить, и шила на всю детсадовскую группу костюмы к карнавалам. И ее выбрали в родительский комитет детского сада номер восемьдесят один.

— Ведь вот хороший конец у истории? А? — заискивающе заглядывала всем в глаза подружка рассказчицы — Лукавая.

— Гы-ы! Да, вся эта история и-зу-мит-тельно пахнет розами,— заржал какой-то мужик и выступил из темени к костру. Отличался он большой бородой, которая от черноты казалась синей.— Прямо разит розами и камелиями... Здрасти, соврамши, голубушка! — И мужик шутовски раскланялся.

— Но это правда,— сказала Лукавая.— Я-то знаю...

— И я знаю, что это правда! — сказал Доктор.

— Выходит, эта вот Маша,— Синяя Борода кивнул на рассказчицу,— ваша пациентка?

— А вот тут общество позаботилось, чтоб я не отвечал на дурацкие вопросы.

— Мне и без вашего ответа ясно,— сказал Синяя Борода.— Я, знаете ли, люблю горькие пилюли правды, а не обсахаренную ложь.

— Циник ты! — выпалил непривычное для него слово Рабочий.

— Циник? Эт-то что такое? Ты сам-то, дед, хоть понимаешь, что значит это слово? Ведь научили ж вас болтать на свою голову!

— Я не только понимал, но и знал, когда ты еще под стол пешком ходил. Вот, помню, случай был...

— Рассказывай случай, дедок! — закричали все, чтоб заткнуть Синюю Бороду. Не понравился он народу, да и рассказчицу было жалко.

— Да это я сгоряча сказал, что история,— замахал руками Рабочий.— На самом деле — это так, случай...

— Давай случай!

— И с названием.

— Название? Черт подери, сложно назвать-то... А, ну да ладно.

БИДОН МОЛОКА И ПОКОЙНИК НА СТОЛЕ

Были такие времена, когда все было. Икра — так икра, колбаса — так уж колбаса. Рыбу живую, хоть сома, к примеру, тебе прямо в магазине в садке вылавливали. Однако все то, что было, было потому, что лишних денег ни у кого не было. Возьмешь к приходу гостей триста грамм такой-сякой колбаски, триста грамм севрюжки, маленькую на всех, да еще милиционеру стакан, как тогда говорилось. На самом деле милиционеры, конечно, незванными не являлись и своей нормы не пили.

В общем, все такое деликатное было. А вот уж за требушками там, за картошкой и молоком постоять надо было. О-ох, очередищи! Дешево — оно всегда сердито.

И вот помню, послала меня хозяйка за молоком. Но в нашем районе я всюду опоздал. Пришлось сесть мне на трамвайчик да прокатиться за молочком довольно далеко.

Стою это я в очереди, в длинной такой, как нынче за водкой стоят, и с гражданами беседую. И вдруг — крик! Да какой! Я только в деревне такое и слыхал на поминках, когда для этого крику специальных людей нанимают. Женщин, значит.

Идет женщина с бидоном. Рвет на себе волосы и ревет, ревет. Обращается вроде как сама к себе, но и к очереди. В общем, как-то так у нее получается. И вот из этих, всем непонятных сначала воплей, выходит, что у женщины умер муж и дома на столе, неостывший, лежит. А она вот за молоком вышла, потому что жизнь есть жизнь и ребятишки, шесть штук, голодные плачут.

Ну, толпа слезам верит. Честно говоря, я думаю, что это хорошо. Человек должен верить человеку. Уж если ты чужим слезам верить перестал — что ты за человек такой!

Женщине верят, пропускают ее без очереди за молоком, берет она свои пять литров и тут бы ей уже и уйти. Ан, нет. Не таковская.

Отходит это она от ларечка с бидоном молока, проходит мимо очереди, в центре ее останавливается, и нет у нее на лице не только слез, но даже как бы и довольство прописывается. И вот с этим детским довольством делает она всей очереди нос и кричит:

— Обманули дурака на четыре кулака!

Тут-то я ее и узнал. Была это жена одного электрика с нашего завода. Баба отчаянная, змеюка подколодная. Как есть вообще бездетная. Эге, думаю.

Зато очередь и не знает, что думать. Ну, все как есть растерялись. С одной стороны, самим дураками друг перед другом быть не хочется, а с другой — сомнения в рассудке этой дамочки появились. А вдруг ее только на время из какой совсем гиблой больницы выпустили? Один я знал правду, но говорить ее не стал. Растерзают еще.

А молочко мне в тот день уж точно улыбнулось. Я в самом конце стою, а продавщица из окошечка выкрикнула, что литров тридцать всего осталось. Ну, думаю, сам бог велел мне поговорить с моей знакомой паразиткой. Что терять — побирахе деревня не крюк.

Тихонечко оторвался я от очереди и тихонечко за женщиной топаю. Ну, топал-топал, дошли. Дал я ей в квартиру войти, а через секунду буквально в дверь звоню. Она же мне и открывает.

— Здорово, Евдокия,— говорю.— А Коля дома?

— Как же, как же,— поет она и кричит на весь коммунальный коридор: — Коля! Коля! Тут к тебе Иван Иваныч пришел!

Но ни ответа, ни привета.

— Заснул, наверно,— говорит она.

Идем мы с ней в комнату, и первое, что в глаза бросается — Коля действительно заснул. Только почему-то на столе и в неудобной позе.

В общем, что тут говорить. Тормошили мы его, тормошили, однако, Коля мертв в стельку, мертвей не бывает.

Электрики часто так помирают. Они с электричеством как с родной теткой, а оно этого не любит. В общем, то ли он лампочку мокрыми руками вкручивал, то ли патрон железными плоскогубцами выкручивал, но вот подвинул под лампочку стол и на том столе был теперь покойником, покойником в стельку, неподъемным.

Реветь Евдокия и не подумала. Она только страшным голосом завопила:

— Кто?!

Злобно так завопила, злобы было больше, чем горя.

— А ты,— говорю,— Дуся! Ты! Ты — больше некому. Погубила ты его за бидон молока, Дуся.

И, считай, не жалко мне ее было ну ничуть. Колю, конечно, жалко. Хороший был монтер и человек невредный. Однако... вот как.

— Ох, если б судьба всех нелюдей так наказывала, не отходя от кассы, сказала Лукавая.

— Ну-у,— протянул Синяя Борода,— она в данном случае не того наказала.

— И того тоже,— сказал Рабочий,— потому что не было у Дуськи ни головы, ни образования, а руки — те из задницы росли. Спустилась она потом дальше некуда. Он-то, Коля, умер себе, а она живи и мучайся. Вот, молодой человек с бородой, что я называю цинизмом.

— Да,— согласился Дед Мороз.— сидишь в дерьме — так хоть не чирикай. А людей дразнить — это не фешенебельно.

Но у Синей Бороды были на этот счет другие, свои собственные мысли.

— Еще Макиавелли утверждал...

— Кто-кто? — встрял Дед Мороз.

Вы с ним незнакомы? Он, очевидно, не из вашего профсоюза. Итак, еще Макиавелли утверждал, что человека губит третий путь.

— Какой — третий? А какие первые два?

— Человек может быть ангелом и может быть дьяволом, но ни на то, ни на другое он не осмеливается до конца. Ангелом? Увольте! Побьют! Дьяволом? Страшно. Будь ты хоть атеистом-разатеистом, но страшно. И человек выдумал пресловутую золотую середину — самый свинский и гибельный путь, на котором не соберешь ни денег, ни славы, ни другого чего, что всем надо.

— Ты нам мозги не пудри! Если есть чего сказать — говори. А нечего — так других послушай. Мало ли кто чего не успел сказать, а тут уже и рассвет.

— Ладно,— сказал Синяя Борода.— Могу рассказать один казус — животики надорвете.

— У нас обязательно название.

- Усвоил, усвоил... Название будет такое:

А ПОУТРУ ОН ВДРУГ ЗАМЕТИЛ, ЧТО С ВЕЧЕРА НЕ ТУ ОН ВСТРЕТИЛ

Да, вам не понять... Но были и наши времена. Я — честный шестидесятник. Физик, не чуждающийся лирики. Вот, борода с тех пор осталась...

Однако дело это случилось уже немного позже, в период застоя, так сказать. Мы-то, правда, еще не знали, что это застой.

Один из признаков застоя — участившееся пьянство прямо на рабочем месте.

Ну, работал я в заводской лаборатории. Начали у нас. Уже не помню, какая была причина, а если не причина, то какой повод.

Спирту у нас в лаборатории — хоть залейся. Ну, пили там. Потом к одной незамужней сотруднице перекочевали. Тогда-то я думал, что вся наша компания шибко какие взрослые, а теперь понимаю — молодняк. Мужикам по тридцатнику еще не было, а девочки и того моложе. Пели песни, читали стихи, ну, и пили. А когда пьешь... В общем, все смешалось в доме Облонских.

Я, помню, совершенно отчетливо, до конца осознавал, на какой койке свою девицу оставил (девицы быстрей нас полегли).

Сказать, что вертепчик мы устроили — не скажу. Хоть мы были люди молодые, но не совсем же мальчики. Некоторые, конечно, руки пораспускали,

вокруг девочек греются, а у других одна задача — допить горючее и мирно уснуть где сидел. Я настоящего пьянства всегда боялся, половинил, да и про девушку свою помнил, а потому наблюдал за тем, что происходит. Никакой клубнички вам не расскажу, не надейтесь. Да и свет кто-то потушил.

Но только ущучил я тот момент, когда стало ясно: другим уже не до меня. И отправился в темноте к своей Зоечке. Она ждала меня, готовенькая как огурчик. Пылко так расцеловала, ну, а потом уж все остальное.

Не скажу, чтоб я не почувствовал: что-то не то, что-то не так. Честно говоря, Зойка моя была девочка первый класс, будто из Парижа выписана. Ну, а тут... В общем, хотите верьте, хотите нет, но на сей раз что-то не так было. Ну и ну. Можно только репу почесать было да свернуть все на пьянство.

Ну, ладно, отметил я про себя все эти странности да и отрубился, предварительно, конечно, приведя себя в порядок.

Ну, а утром проснулся я от женских рыданий — неудержимых и настоящих.

И что ж, вы думаете, обнаружил я рядом с собой? А обнаружил я одну из наших, секретаршу, девульку такую молоденькую и незаметную.

Ничем она славна не была, кроме того, что влюблена была в одного там... ну, экономиста, или как там его. Парочка хоть куда; то у них Пастернак, то Мандельштам, то они английскую литературу в подлиннике читают. В общем, эстеты.

Жена у этого Гоши, Надька, дура первостатейная — я с ней еще в институте учился. Но я, конечно, понимаю, что очень даже много любителей и на таких сыщутся: коня на скаку там, или трактор взбесившийся остановит. Но это и всё. Никаких книг Надька отродясь не читала, вот Гоша с той девулькой и заколобродил. Но, судя по всему, чисто платонически. (Так печально именно я это выяснил.) Как же звали то ее? А, Наташа. Наташенька.

И вот рыдает эта Наташенька, а в комнату нашу народ с похмела сползается. Среди них и Гоша, естественно.

— Что ты наделал! — кричит мне Наташа.— Свинья ты такая! О, что ты наделал. Да как же это... Да как же так...

— *Что* он наделал?! — моя Зойка-парижанка мегерой к ней подступается.

— Он... меня...

— Ах ты мерзавец! — кидается ко мне Гоша, и, оглянуться я не успел, как мне же по морде и прилетело.

— Что тут происходит? — кричу, хотя сам гораздо раньше уже обо всем догадался.

— Я думала, это ты,— кричит Наташа Гоше.

— Вот так, при всех, в чужом доме? — мямлит этот шизанутый, Надькой своей запуганный.— Я в ванной спал в спальном мешке...

Этак-то он бормочет, но чувствую я, что он и сам не помнит, как, где и с кем он спал. (Насчет выпить он был некрепок, чуть что — сразу отрубался.)

А Наташенька знай рыдает. И уж теперь каждому из присутствующих стало ясно, что тут у нас случилось. В самом дурацком положении оказываюсь, разумеется, я сам. От глупости я тоже прилюдно всякие глупости несу:

— Как же это ты спутала,— говорю,— у Гоши-то борода рыжая, а у меня — черная. (У Гоши была эдакая неказистая рыжая бороденка.)

— В темноте не видно было,— рыдает Наташа.

Потихоньку-полегоньку разогнал я всех посторонних, оставил Гошу с Наташей, внушаю им:

— То, что было — жестокая ошибка. И не дай вам бог переживать эту нелепость всерьез,— так я говорил, помню.— Выше голову, ребятки. Не думайте, что эти подонки, которые сейчас по углам над нами насмехаются, лучше нас. Шаг шире, нос выше. Никаких сомнений. Иначе будет плохо.

Но разве они слышат, разве они, если слышат, понимают? Чувство самосохранения в этих двух людях отсутствует начисто.

В общем, я как в воду глядел.

По заводу поползли сплетни. Кто-то не удержался, дал утечку информации. А может, и нарочно кто-то донес, что у нас тогда приключилось.

И вот всех нас по очереди на ковер. Наташа только рыдает, Гоша вынужден свое к ней отношение перед начальством прояснить. И только я один веду себя как положено. Как я их учил. Я не я, и шляпа не моя.

В общем, эти два ангелочка повели себя так смешно и странно, что чем дальше, тем смешней. А раз так — пришлось им уволиться. И не раз приходилось им увольняться, потому что везде работают общие знакомые, и везде настигал их гогот, несшийся с нашего завода.

Со своей Надеждой Гоша развелся, но на Наташе не женился, хотя она и родила. Клянусь, не от меня, потому что я со своей Зойкой всегда был осторожен, а ведь я Наташу именно за Зоечку принял.

Сейчас знаю, что Гоша опустился до какого-то младшего бухгалтера, если не учетчика на стройке... Живет чуть не в подвале с бомжами...

А Наташа, девочка наша невинная...

— А она не была девочкой, съел? — раздался из кромешной темени тонкий, дрожащий женский голосок.

Это был как удар молоточком по темечку. В словах нежного, хрупкого голоса присутствовала такая правда, что все просто замерли.

— Так, может, и ты — здравствуй, соврамши? — первой нашлась Лукавая, обратясь к Синей Бороде.

— То есть как...— изумился Синяя Борода.

— Зачем вы все это рассказали? — спросил Адвокат.— Вы хотели прокомментировать нам Макиавелли? Скользкость третьего пути, золотой середины?

— Это я-то золотая середина? — возмутился Синяя Борода.

Разумеется, вы... Зачем-то вам понадобилось рассказать нам эту историю, снять с себя часть вины. Вы думаете, что рассказали нам забавный казус? Что мы примем все на веру и не будем вдаваться? Что таким образом вы хоть ненадолго успокоите свою неспокойную совесть? А ведь вы *знали*, что посягаете не на Зоечку.

— Но ты ошибся,— произнес из темени хрустальный голосок. (Никто не направил туда света, чтоб не смущать говорившую.) — Ты ошибся. Ты принимал всерьез свой сатанизм и тебе ничего не стоило именно поэтому принять Наташу с Гошей за ангелов. Но ты не Сатана, а они не ангелы. Мы все просто люди, на разные глубины зарывшие свою совесть. Кстати, кто там рядом, снимите с него бороду...

Последние слова показались многим дикими, однако Лукавая, как женщина сметливая, тут же сообразила, в чем дело. Она подошла к Синебородому и дернула его за бороду. Борода поддалась с легкостью, впрочем, не совсем безболезненно для ее носителя. Он, видите ли, приклеил большую чужую на маленькую свою.

— А вот с такой бородой вас можно запросто спутать с тем несчастным Гошей, у которого тоже была бороденка. Так что повторяю: здрасти, соврамши!

— А кто, собственно, со мной разговаривает и знает все так, как будто сам там тогда присутствовал?

К пламени костра шагнула невысокая хрупкая женщина. За ней неотступно следовала девушка лет двадцати, на голову выше.

— Наташа! — крикнул кто-то.

(Этот кто-то оказался мной.)

— Гоша! — радостно ответила она.

— Наташа, я не хотел бросать тебя... Ты же помнишь, как получилось,— сказал я.— Но что с тобой дальше стало, Наташа?

— А потом я умерла,— спокойно ответила она.

— Как... умерла? — выдохнула толпа грибников.

На этот вопрос Наташа ответила тем, что пропала. Стояла — и нет ее. Растворилась в воздухе.

— Она вернется,— сказала девушка.— Она любит меня и еще многое и многих... Она добрая, она же знает, что ей нельзя умирать...

И вот Наташа снова проявилась рядом с дочерью.

— Наташа! — кинулся я к ней.

Мне было наплевать на присутствие чужих грибников, но они уже не были чужими и сами тактично от нас отвлеклись.

— Наташа, когда-то и зачем-то я развелся с тобой и женился на Наде...

— Ты развелся с Надей, Гоша. Как всегда, ты все спутал. Ты развелся с Надей и не женился на мне, Гоша. Вы, грибники, все путаете...

— А Болваша? Ты видела его? Он со мной! Я забочусь о нем, как могу.

— Какой Болваша?

— Наш сын.

— Но у нас никогда не было сына. Вот... дочь Машка. А сына я не припомню...

— Ну, Иван, Иван... Я звал его Болвашей.

— А-а... Иван-Болван... Так наши летчики зовут автопилота. Я работаю стюардессой...

— Ты, конечно же, вышла замуж за летчика...

— Говорят же тебе: я умерла.

— И ты не смогла бы пожить немного ради меня? А?

— Это надо обдумать...

— Она поживет,— горячо сказала Маша (моя дочь?).— Она еще поживет... Да и жила ли она когда?

— А тебя я познакомлю с Болвашей...— тут я вспомнил, что никакого Болваши у меня нет, и осекся.

— Ты все так же снимаешь углы? Живешь где попало и как попало? — спросила Наташа.

— Я большой начальник, да я...— я опять вспомнил правду и замолчал.

— А тебе не кажется, что и ты мертв?

— Я — мертв? — возмутился я, но вовремя одумался.— Может быть.

— Нет-нет,—сказала Машка,— не умирайте, пожалуйста, разберитесь сами с собой, вспомните; где следствие, где причины,— и жить.

— Но я слишком плохо все помню.

— Мы вам поможем, верно, мама?

Ни да, ни нет не сказала Наташа.

Заурчал мотор автобуса.

Я представил, какая там сейчас давка, как все ломятся в открытые двери, наступая друг на друга, на рюкзаки и корзины.

Но я ошибся на сей раз. Перед нами возник гонец в виде Деда Мороза.

— Вас ждут, рулилу заставили ждать! Вы едете?

Я взглянул на Наташу. Она согласно кивнула головой. Я взял ее корзинки, и мы все трое заспешили к автобусу.

Автобус был набит, но гораздо меньше, чем обычно. Число посадочных мест было увеличено за счет типа с сердечками на заднице. Оказывается, сердечки эти были вроде магнитов, ими он прилип к потолку автобуса.

Хиппи, как удав, обвился вокруг высокого параллельного поручня. За него многие держались: кто за ремень, кто за волосы.

А я все еще высматривал среди присутствующих Болвашу. Но его, разумеется, не было. Наташе тут же уступили место, и она машинально взяла на колени мою корзину. Мы с Машкой устроились стоя. Тронулись.

— А как без песни? — крикнул Рабочий.

Кто-то кинул Хиппи-удаву его гитару, и тот неожиданно заиграл:

Во поле березонька стояла,
Во поле кудрявая стояла.
Люли, люли, стояла.
Люли, люли, стояла.
Некому березку заломати...

Дружный хор подхватил песню. Ухали, ахали, мяукали, улюлюкали.

Между тем ехали долами и лесами. Багровое огромное солнце превращало в драгоценные металлы осенние леса.

Вообще-то, все мы, грибники, знали, что нынче не грибной год.

Зачем ехали? Неизвестно.

Ведь мы же, русские, грибники.

1975—1988 гг.

Евгений
РЕЙН

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

599/600

На шестисотом километре колодец есть у полотна,
Там глубока до полусмерти вода и слишком холодна,
Но нет другой воды поблизости, и, поворачивая вóрот,
Я каплю потную облизываю, пока не капнула за ворот.
И достаю я пачку «Джебела», сажусь на мокрую скамейку,
Вытаскиваю вместо жребия надкушенную сигаретку.
Мои зрачки бегут вдоль линии. Сначала в сторону Варшавы,
Где облаками соболиными закрыты дальние составы.
Но сладко мне в другую сторону спешить, к родному Ленинграду,
И подгонять нерасторопную в пути путейскую бригаду.
О, паровозы с машинистами, позавчерашняя потеха,
Как сборники с имажинистами, вы — техника былого века.
И я не понимаю спутников, транзисторов и радиации,
А понимаю я распутников, что трижды переодеваются.
И не спеша сидят за столиком, и медленно следят за женщиной,
Позируя перед фотографом из этой вечности засвеченной.
На свете что непостояннее, чем жизнь? Отстав от века скорого,
Не наверстать мне расстояния, как пассажирскому до скорого.
Я докурил, и боль курения дошла до клапана уставшего.
Пришла пора испить забвения из этого колодца страшного.

В переулке Обыденском

В переулке Обыденском,
где я жил и тужил,
где ходил я обиженным
и по скверам кружил,
снова жизнь начинается,
маета и соблазн,
снова жизнь подчиняется
подведенным глазам.
И дыханию чуткому,
и дрожанью руки,
и над верхнею губкою
волоску вопреки
всем азам диалектики
и Ньютона азам,
по особенно светленьким
подведенным глазам.
Было время печальное,
я здесь жил и тужил,
а кольцо обручальное
я в ломбард заложил,
завершилось и кануло,
точно злато на лом.
Снова, вечно и заново,
я стою под окном.

◆◆◆

В захолустье Москвы,
За кирпичной стеною —
Стекла, тара, мешки
И тряпье шерстяное.
У стены буйный вяз —
Все, что жизнь породила,
Да и то, что от нас
Носа не воротило.
Вот и я здесь в чести,
И младенец в коляске,
Время — возле шести,
И не надо огласки.
Глухо стонет Москва,
Там, где вал Госпитальный.
Что же глубже родства
Жизни вольной и тайной?
Я его подниму,
Он глаза мне закроет.
Для того, потому
Хронос рушит и роет.

Виктор
СОСНОРА

НИКОЛАЙ

Он будет, будет славен,
душой Екатерине равен!

Г. Державин.
На рождение Николая

Историк пишет: 25 июля 1796 г. в среду в 3 ч. 45 мин. в Царском селе родился Николай с пушечной пальбою и звоном. Екатерина II выразилась (Гримму): сегодня муттер родила большущего Николая, голос у него бас, длинный телом, а руки не менее моих, и кричит он; в жизнь мою в первый раз вижу такого рыцаря; рыцарь Николай уже три дня кушает кашку и беспрестанно ест, я полагаю, что никогда осьмидневный принц не лопал кашу, это неслыханно, он смотрит на всех во все глаза, голову поворачивает не хуже моего. Историк добавляет: этот Николай сделался 14 декабря 1825 г. императором и оправдал предсказание — он жил и умер рыцарем. 6 ноября 1796 года скончалась Екатерина II, и над Россиею пронесся грозный метеор,— пишет Н. Карамзин. Но императрица успела выбрать Николаю няню Лайон, шотландку, и он пламенно приаязался к саоей няне-львице (Лайон-Леон, каламбур Николая). 7 марта 1801 г. Павел I сказал гр. Кутайсову: подожди еще пять дней, и ты увидишь великие дела. Через пять дней его убили. За четыре часа до смерти Николай спросил: почему тебя зовут Павел I? — Потому что я первый из императоров, кого зовут Павел.— Тогда меня будут называть Николай I.— Если ты вступишь на престол. Павел ушел спать и был задушен, уничтожен. Императором теперь Александр, старший брат. Николая учат, он пишет: два, Богульянский и Кукольник, один толковал о римских, немецких и бог знает каких законах, другой что-то о мнимом естественном праае, в прибавку к ним еще Шторх с лекциями по политэкономии. И что же выходило? Что вышло, мы увидим, продолжая листать книги. О религиозно-нравственном воспитании: учили креститься да говорить наизусть молитвы, бедное образование,— пишет Николай. Первые книги: Индостанские виды и рисунки Чесменского сражения. Сцены храбрости австрийских солдат во время аойны 1799 г., а вообще-то оловянные и фарфоровые солдатики, гренадерские шапки, трубы, зарядные ящики, вырезание из бумаги крепостей, пушек и кораблей; иногда, подражая часовым, Николай аскакивал с постели, чтоб хоть немножко постоять на часах с алебардой или с ружьем у плеча, но днем боялся выстрелов и плакал, и прятался в беседке, вид пушек страшил его, еще боялся грозы и фейерверков и просил закрывать печные трубы и окна; однажды от стрельбы, гроз и т. д. Николай спрятался за альковом, и товарищ по играм Эдуард стал стыдить его; Николай ударил друга прикладом ружья с такой силою, что шрам у того остался на всю жизнь. В воспитательном журнале запись: в играх Николай кончает тем, что причиняет боль себе и другим, у него страсть кривляться и гримасничать, он груб, заносчив и самонадеян,— падал ли, ушибался — тотчас же говорил брань, рубил топором барабан, ломал игрушки, бил палкой товарищей.В 8 лет он говорит в резком тоне о политических делах (за столом), в 9 лет за ужином доказывает возвышенным голосом о диктанте, что никто не имеет права что бы то ни было ему диктовать; в ошибках сознается

только под нажимом (розг!), спорит с учителем об орфографии русских слов, неприлежен, в играх берет на себя первую роль, любит церковное пение, уже будучи императором и потом он пел с певчими, его учат: французскому, русскому и немецкому языкам, дают уроки греческого и латыни, географии и истории. Николай неплохо рвсовал; арифметика, геометрия и алгебра не дались, физика интересовала в 11 лет, но лучше шли уроки верховой езды. На коне, над людьми он был бесстрашен. Расписание Николая по дням (школьным): 7—8 час.— вставание, одевание, пьет чай, за обедом ест немного, а в ужин кусок черного хлеба с солью, спать ложится после 21 час., а до сна обязанность — записать в журнал, что делал днем, что думал,— это страшно не нравилось; здоровье отменное, лишь беспокоят желчь и глисты; его закаляли, чтоб играл в саду при дожде. Николай любит театр, играет роли в операх, балетах, комедиях, к 12 годам у него 8 учителей; особенно ненавидел Николай латинский язык. В 15 лет Николай не чтит учителей и науки, в журнале 1810 г. запись: ласкаясь к Аделунгу, Николай вздумал укусить его в плечо, а потом наступает ему на ноги, и так не раз. Аделунг — учитель логики и морали; пригласили новых учителей, генерала и полковника, те в один голос пишут: когда с ним говорят о том, что он должен дать государству, чего от него ждут, он предлагает посмотреть в окно, а там — дым, выходящий из трубы; в эти же годы он пристрастился острить, он хочет блистать острыми словцами,— пишут,— и сам первый во все горло хохочет. В начале войны 1812 г. Николаю 16 лет, его сверстники уже гремят саблями по врагу, а он? Когда получили известие о вступлении французов в Москву, Николай держит пари на 1 руб. с сестрой Анной, что к 1 января 1813 г. и России не останется ни одного француза; он выиграл, и 1 января Анна вручает 1 руб. (серебряный), Николай спрятал монету себе за галстук. Но в 1814 г. Александр призвал брата на войну, а императрица-мать напутствует сына, опасность не должна и не может удивить Вас, Вы не должны избегать ее, когда честь и долг требуют от Вас рисковать собою. Николай рискнул: он ехал на штурм Парижа из Петербурга, но в Германии свернул и посетил сестру, переодетый курьером, и только по носу сестра узнала Николаи и обняла его; за эти объятия Александр приказал задержать Николая в Везуле, чем и лишил возможности пожать лавры за штурм пустого Парижа. В Париже он обозревал различные учреждения Франции: политехническую школу, дом инвалидов, госпиталь, казармы. Больше ничего. В доме инвалидов сержант-француз, с лицом в рубцах, на двух костылях. В каком деле вы ранены? — спросил Николай. – При Березине. Казаки меня порубили, да мы упали вместе, они и не поднялись, а я тут с отмороженными ногами. Что нам нужно в вашей России? Дьявольская страна, в нее легко входить, а если и выйдешь, то в инвалидный дом. В 1815 г. Наполеон играет свои сто дней, союзные войска ановь во Франции, Николай в свите Александра, но союзники обошли русских. Тогда Александр демонстрирует пред Европой силы: 26 августа, в годовщину Бородина, при Вертю Александр производит примерный, а 28 августа парадный смотр в присутствии всех королей Европы, в строю идут 150000 русских войск при 540 орудиях, Александр лично командует и салютует монархам, Николай ведет вторую бригаду третьей гренадерской дивизии и в первый раз обнажает шпагу — перед фаяагорийским гренадерским полком. Отметим: в 19 лет Николай обнажил шпагу мирно, в кровь ее не макнул. Из Парижа Николай едет в путешествие по России, из Петербурга маршрут — Луга, Порхов, Великие Луки, Витебск, Смоленск, Могилев, Бобруйск, Чернигов, Киев, Полтава, Харьков, Екатеринославль, Елисаветград, Николаев, Одесса, Херсон, Перекоп, Симферополь, Севастополь, южный берег Крыма, Керчь, Таганрог, Новочеркасск, Воронеж, Курск, Орел и Тула. Из дневника Николая: в Белоруссии дворянство из богатых поляков не показало преданности России и присягнуло Наполеону, крестьяне их бедны, притом наблюдается общая гибель крестьянских провинций, жиды здесь вторые владельцы, они изнуряют до крайности несчастный народ, они здесь все — купцы, подрядчики, шинкари, мельники, перевозчики, ремесленники и пр., они настоящие пиявицы, истощающие губернии; удивительный факт, что в 1812 г. они отменно верны нам были и даже помогали, где только могли, с опасностию для жизни. В Порхове арестантский острог в жалком положении: деревянная изба без окон и отдушин и 22 инвалида на 66 арестантоа, без одежды, без лекарств, без суммы на содержание; караульные собирают милостыню; в острогах надобно б строить окна. Воронежский острог обнесен порядочной каменной стеной. Я спросил список арестантов и получил ответ от прокурора, что у него списка нет, а есть у караульного офицера, я послал за тем и он отозвался, что и у него нет списка, а должен быть у прокурора; я спросил, как же он делает перекличку, ежели не имеет списка, он ответил, что переклички не делает. Интересны также впечатления, навеянные на Николая поездкой по южному берегу Крыма,— пишет историк. Николай пишет: Крым — места любопытные, нет беднее и ленивее южных татар. Одно и то же фруктовое дерево, которое кормило деда, кормит и внука, а этот редко посадит молодое дерево, они живут на произвол природы — оливы, фиги, капорцы, груши, яблоки, вишни, орешники, все растет дико и без присмотра, все удается — померанцы, лимоны и пр. Если б Крым был не в татарских руках, то был бы совсем другим, прекрасным

краем, там, где переселенцы русские. О прекрасном крае, где переселенцы русские, Николай пишет: Поселение Елецкого полка. Теперь строится по плану магазин и 12 изб с офицерским домом. Госпиталь отменно дурен. 1800 русских крестьян при перевозе их в Крым так худо содержали, что половина их пропала, не дойдя до места. Вот и все, что увидел двадцатилетний Николай, а ездил он два с половиной месяца, на конях. Через 17 дней Николай едет в Англию. Императрица-мать и Александр обеспокоены, как бы он не увлекся английским. Он не увлекся. Он пробыл в Англии четыре месяца и получил полное понятие о жизни английских людей, беседуя с представителем британской армии. Лейб-медик принца Леопольда Штокмар пишет о Николае в Англии: это необыкновенно красивый, пленительный молодой человек, прямой, как сосна, с открытым лбом, маленьким ртом, тонкой чертой подбородка и пр. красивостями, его манера держать себя полна недурными жестами, когда в разговоре он хочет оттенить что-либо, то поднимает плечи кверху и несколько возводит глаза к небу; он ест умеренно и пьет одну воду. Мистрисс Кембел, статс-дама, отличавшаяся строгостию суждений о мужчинах, сказала: он дьявольски красив. Это будет самый красивый мужчина в Европе. На ночь солдаты приносили Николаю мешок из кожи, набитый сеном, и он спал на этом. Затем Николай едет в Брюссель, оттуда в Берлин, где будущий тесть, король Пруссии Фридрих-Вильгельм III подарит ему 3-й Бранденбургский кирасирский полк. Обнажив палаш, Николай принял подарок. 31 мая 1817 г. помолвленная невеста Николая Шарлотта выехала из Берлина в Петербург. Королева Луиза сказала о ней: наши дети — наше сокровище. Переезд через русскую границу 9 июня (с Шарлоттой). Вдоль пограничной полосы выстроились отряды русских и прусских войск. В 7 часов утра Николай в форме подаренного Бранденбургского полка сказал солдатам: друзья, помните, что я наполовину ваш соотечественник (немец). В 9 часов подъехала придворная карета, и Шарлотта, обойдя прусские ряды, направилась шатко к русской границе. Николай, протягивая руку, как бы желая помочь ей переступить пограничную черту, шепчет: «Наконец-то Вы у нас, дорогая!» и потом, чтоб слышали все: «Добро пожаловать в Россию!» Он ведет Шарлотту по рядам русских войск и говорит офицерам: это не чужая, господа, это дочь союзника и друга нашего. На пути к Петербургу на каждой станции Николай показывает Шарлотте войска и тут же производит им учения. Нацмер отметил в дневнике: невозможно поверить, чем только этот господин способен заниматься по целым дням. Этот господин Николай шагал, кричал и делал ружьем повороты, а Нацмер — прусский дипломат, сопровождающий Шарлотту (шпион). 16 июня Шарлотта в Дерпте, у нее на глазах слезы, она страшится России, русских, ее страх усиливается в Гатчине, в Царском Селе, на дворцы ей тяжело смотреть. Но обе императрицы пришли в восторг от Шарлотты, обнимают. 20 июня торжественный въезд Шарлотты в Петербург, Мы пишем подробно каждую дату, потому что историк и мемуаристы подчеркивают важность жизни жены Николая, имея в виду века. Ф. Ф. Вигель пишет о Николае тех дней: он необщителен и холоден, в чертах его белого лица суровость, тучи в первой молодости облегли чело его, многие в неблагосклонных взорах его уже читали историю. Сие чувство не могло привлекать к нему сердец. Скажем всю правду: он совсем не был любим. Принцесса ездит по Петербургу в золоченом ландо с двумя императрицами, прибывает в Зимний дворец, тут в первый раз Шарлотта приложилась к русскому кресту, войска идут церемониальным маршем, впереди Николай, женщины смотрят с балкона, «с этого балкона меня показали народу»,— вспоминает Шарлотта. Ночью, оставшись одна в комнате, Шарлотта сказала себе: я нахожусь в мировом царстве, и все видится мне в исполинских формах. 24 июня — миропомазание Шарлотты, нареченной Александрой Федоровной, но лучше нам называть ее Шарлоттой во избежание путаницы. Ее приобщили св. Тайн, 25 июня обручение с Николаем. 1 июля, в день рождения Шарлотты, обряд бракосочетания. Шарлотта пишет: я очень счастлива, что наши руки соединились, с доверием отдаю я свою жизнь в руки моего Николая. Венцы во время венчания держали принцы. Николай получил награды: назначили инспектором по инженерной части и шефом лейб-гвардии саперного батальона. Николай с Шарлоттой в Павловском дворце, веселятся 2 медовых месяца в комнатах. Шарлотта первая женщина у Николая. Беззаботное течение жизни при Павловском дворце нарушено лишь таким прискорбным случаем,— пишет историк,— 7 июля принц Вильгельм, брат Шарлотты, отправился осматривать лошадей и перед конюшней был укушен в ногу собакою. Николай собаку убил. Это первая убитая им собака. Однажды Шарлотта лишилась чувств, Николай принес ее во флигель, там дежурный камер-паж Дараган. Николай спросил: — Сколько тебе лет? — Семнадцать.— Я старше тебя на четыре года, а уже женат и скоро буду отец. Николай поцеловал Дарагана. Как пишет Дараган, Николай часто его целовал. Маркиз де Кюстин, француз, пишет: можно подумать, что Николай держит юнкерский полк для поцелуев, так часто он поднимал мальчиков в военной форме над землею и целовал их. Но это позднее, и не нам вмешиваться в эту окраску Николая, а истории. В то время, пока Шарлотта беременела, на маневрах 1817 г. главнокомандующий русской армией фельдмаршал светлейший князь Михаил Богданович Барклай де Толли, громаден ростом, по приказу Аракчеева нагибался к самым носкам солдат, сгибаясь втрое, ровняя шеренги. Над ним шел на коне Николай. Геройский опыт войны 12—15 гг. забыт, начался гул шагистики, Барклай недолго смешил солдат, отправлен в Эстляндию наместником, а его георгиевские кавалеры ушли в отставку, продавцами вин. 17 апреля 1818 г. около 11 час. утра родился будущий царь-освободитель Александр II. Шарлотта вспоминает: в 11 час. я услышала первый крик моего первого ребенка, я почувствовала что-то внушительное. Тут же русские поэты стали говорить, что ребенку делать дальше. Жуковский:

Жить для веков в величии народном,
Для блага всех свое позабывать,
Лишь в голосе отечества свободном
С смирением дела свои читать,—

да, действительно занятие для царя.

Рылеев:

Старайся дух постигнуть века,
Узнать потребность русских стран
Будь человек для человека,
Будь гражданин для сограждан.

Советы наперебой. Поэт Жуковский учит Шарлотту русской речи. После первого ребенка Шарлотта пишет: помню, я испугалась, смотря на себя в зеркало, волосы мои, завитые, распустились, я бледная, как мертвец, и неинтересная в глазетовом платье с кокошником, шитом серебром на голове. Потом у нее будет столько детей, что Шарлотта запутается в именах и напишет человечней: я имела в течение двух лет трех детей. 13 июля 1819 г. Александр сказал, что хочет передать престол Николаю и удалиться. Этот факт, правда, описан лишь двумя — Шарлоттой и Николаем; дуэт, пристрастный к венцу. 15 января 1821 г. в Пруссии в королевском дворце представление поэмы Томаса Мура «Лалла Рук». Живые картины, пение, музыкальные номера, сочиненные капельмейстером короля Фридриха — Спонтини. Эмира Бухарского Алариса играл Николай, а Лаллу Рук — Шарлотта. Принц Вильгельм (укушенный собакой) изображал собою Джегандер-шаха. Дараган, камер-паж, целованный, пишет: в то время император Александр в апогее своей красоты, сутуловатость и держание плеч вперед, мерно-твердый шаг, картинное отставление правой ноги, держание шляпы так, что всегда между двумя раздвинутыми пальцами приходилась пуговица от галуна кокарды, кокетливая манера подносить к глазу лорнетку,— им любовались! В юности Александр пишет Лагарпу-учителю: я жажду лишь мира и охотно уступлю свое звание за ферму возле вашей. Через три месяца он же пишет В. П. Кочубею: я вовсе не гожусь для звания, предназначенного мне в будущем, от которого дал клятву отказаться, мой план в том, чтобы по отречении от этого неприглядного звания (императора), поселиться где-нибудь с женою на берегах Рейна, где буду жить частным человеком. Первое письмо — февраль, второе — май 1776 г., Екатерина умерла в ноябре, это она его провоцировала на корону, мальчик мог лишь отказаться, ведь папа Павел мог бы его высечь или сдать в Сибирь. Папа Павел единственный законный престолонаследник, и пиша, Александр показывал отцу, что он пишет: это мы к тому, что версия о нелюбви Александра к власти слащава. О его отношении к убийству отца известно, но не в этом главное, а в пустяке: взойдя на престол, Александр 16 лет молчит и властвует. И только 7 сентября за обедом в Киеве говорит: когда кто-нибудь находится во главе такого народа, как наш, он должен оставаться на своем месте до тех пор, пока в состоянии садиться на лошадь, после этого он должен удалиться. Да и то это со слов Михайловского-Данилевского, флигель-адъютанта. Больше Александр не говорил об отречении ни разу, а то, что он ушел не в гроб, а в скит — это народы говорят, сибирские тракты. 19 сентября 1823 г. на брест-литовских маневрах лошадь полковника М. лягнула копытом ногу императора, он скрыл страдания и вышел к обеденному столу. После крещенского парада Александр заболел горячкой и рожистым воспалением на той ноге. Он тяжело перенес вторичные боли и с этого времени, как пишет Меттерних, в уме Александра усилилось утомление жизнью. Александр сказал генерал-адъютанту И. В. Васильчикову: в сущности я не был бы недоволен сбросить с себя это бремя короны, страшно тяготящей меня. Но он не сбросил бремя. События вокруг говорят: рок идет. 7 ноября 1825 г. в Петербурге наводнение такое же, как перед рождением царя в 1777 г., вода прибывала, юго-западный ветер стал бурей, Александр смотрит на это бедствие как на наказание за свои грехи. Император на лодке поехал в Галерную и спасал тонущих (ни одного, кстати, не спас), заболела жена, императрица Елизавета Алексеевна, и император уединился, умер друг — командующий гвардейским корпусом генерал-адъютант Ф. П. Уваров, а в кабинет Александру доносят: есть по разным местам тайные общества, имеют секретных миссионеров. Александр не снял венец, а ввел тройную полицию и стал следить... за графом Аракчеевым! Бли-

жайший сотрудник Аракчеева Г. С. Батенков пишет: квартальные следили за каждым шагом всемогущего графа,— и указал на одного из них — тот, будучи переодетым в партикулярное платье, спрятался торопливо за молочную лавчонку, когда увидел нас на набережной Фонтанки. Я знаю, что я окружен убийцами, которые злоумышляют на мою жизнь,— сказал Александр одному генералу в Польше, в июне. Мании маниями, но он знал и фамилии, не все, но *те*. Любимая поговорка Александра: десять раз отмерь, а один отрежь; вот он и мерил, не резал. 30 августа 1825 г. в день своего тезоименитства Александр слушал в последний раз божественную литургию. 1 сентября он уехал в Таганрог, 12 сентября в Таганроге он получает еще одно трагическое известие: домоправительница гр. Аракчеева Настасья Федоровна Минкина зарезана дворовыми людьми. Еще удар, сокрушительный. 20 октября Александр едет в Крым и 5 ноября возвращается больной, гастрически-желчная лихорадка. 15 ноября он, предчувствуя смерть, причащается св. Тайн. 19 ноября в 10 час. 50 мин. Александр скончался. Перебирая диагнозы 14 врачей (противоположные), а также легенды о старце Федоре Кузьмиче, распространенные фантазией старца Льва Николаевича, будем придерживаться физиологии: Александр скончался. Подтвердим тезу антизагадочной заметкой в газете «Русский инвалид, или военные ведомости», воскресенье, ноября 29 дня, 1825 г., внутренние известия, С.-Петербург: 27 ноября Божественное Провидение по неисповедимым судьбам своим поразило Российскую империю таким иесчастием, которого нельзя выразить. Фельдъегерь, прибывший сюда из Таганрога 27 сего месяца, принес горестное известие о кончине Его Величества Императора Александра. Узнав о сем неожиданном бедствии, высочайшие члены императорской фамилии, Государственный Совет, министры собрались в Зимнем дворце, где первый Николай, а за ним чиновники и полки императорской гвардии присягнули в верности и подданстве Его Величеству императору Константину. А. И. Оленин пишет: Николай, остановясь между нами и держа правую руку и указательный палец простертыми над своею головою, призывая сими движениями Всевышнего, произнес: Господа, я вас прошу по примеру моему немедленно принять присягу на верное подданство Константину,— тут Николай был прерван рыданиями Государственного Совета, и некоторые голоса произнесли: какой великодушный подвиг. В чем подвиг? Сейчас. Стали целоваться. Княая А. Н. Голицына Николай, обхватив обеими руками голову, целовал в уста, в очи, в лоб. Почему? Подвиг Николая видят в том, что он добровольно отрекся от престола в пользу старшего брата Константина, потому что много лет назад Константин письменно отрекался от престола в случае смерти Александра, а Александр говорил о венце Николаю, а Николай ни с того ни с сего отдает трон опять же Константину. Подвиг. Послали за Константином в Варшаву, тот отказался ехать, но формально не отказался от престола, он не прислал манифеста об отказе, он отнекивался непонятно от чего, он предпочел бросить тень на Николая, ну, что ж, пусть та тень и штрихует те дни, но Николай вынужден объявить себя императором. Так что распри братьев самодурны, за ними ничего нет, они келейны, вне политеса. Николай надел корону, но это не подвиг, а разноречия у историков по поводу тех дней. Одну неточность мы оспорим: Жуковский писал, что ангел Николай добровольно отдал трон Константину, хоть мог бы сесть сам (см. выше). Это поэтизмы. Не ангел, не мог, накануне пресловутого «жертвенного» выступления Николая (см. выше, где с пальцем вверх!), Николай ринулся, как гром, на престол. Дежурный штаб-офицер, полковник лейб-гвардии С. Трубецкой пишет, что Николай ломился в двери и лез на трон, а гр. Милорадович отвечал, что Николай не может и не должен наследовать Александру, что законы империи не дозволяют наследовать по завещанию, что отречение Константина не явное, а давнее, и ии народ, ни войско не поймут отречение Константина и припишут все измене. Совещвние длилось до 2 час. ночи, Николай доказывал свои права, но гр. Милорадович признать их не хотел и отказал наотрез в содействии. На том и разошлись. А остальное... самоотверженный жест с пальцем в сторону Бога, поцелуй губ Голицына, и слезы, и позы... братья ж — внуки Екатерины, они это умеют. Другое: тут нет нарушений законов, нет интриг, нет и недостойности. А вот 13 декабря 1814 г. в 23 час., когда Николай вышел на государственный совет, он был в свой рост, он пишет: н начал читать манифест о моем восшествии на престол, все встали и я тоже, был 1 час ночи в понедельник, что многие считали дурным началом. Роковой день,— по словам Николая — 14 декабря. Сумрак, утро, —8°, отдаем слово Николаю: сегодня вечером нас не будет на свете, но мы умрем, исполнив свой долг. Снегу мало, весьма скользко, начинало смеркаться, ибо уже три часа пополудни, Николай приводит к присяге войска, Главный Штаб, Сенат, Синод. Николай: шум и крики делались настойчивей, и частые ружейные выстрелы перелетали через войска, выехав на площадь, желал я осмотреть, не будет ли возможности, окружив толпу, принудить ее к сдаче без кровопролития, в это время сделан по мне залп, пули просвистали мне через голову, рабочие Исаакиевского собора из-за забора начали кидать в нас поленами, я послал генерал-майора Сухозанета объявить им, что ежели сейчас не положат оружия (полен!), велю стрелять,— «ура» и прежние восклицания были ответом, и вслед за этим залп; тогда, не видя иного способа, я скомандовал

«пли». Первый выстрел ударил высоко в Сенатское здание, и мятежники ответили неистовым криком и беглым огнем, второй и третий выстрелы ударили в самую гущу толпы, и мгновенно все рассыпалось,— первый бой Николая (и последний), ему 29 лет. В разгар мятежа генерал Головин, командир 2-гвардейской дивизии, спросил принца Евгения Вюртембергского: да что такое происходит? да какого мы ждем неприятеля? А генерал Бистром, командир всей гвардейской пехоты, в ответ: будь я проклят, если знаю, о чем спор. Николай сказал Лаферроне, как ему нелегко кровь лить у солдат. Слезы в изобилии текли из глаз Николая,— пишет Лаферроне. Я буду непреклонен,— сказал Николай, помолчав,— я обязан дать этот урок России и Европе. Бисмарк пишет о Николае: это идеальная натура, закалившаяся под влиянием изолированности русского самодержавия. Карамзин, историограф, о причинах николаевских выстрелов пишет по-другому: видел императора на коне среди войска и камней, пять-шесть упало к моим ногам. Когда грянула первая пушка, Шарлотта упала на колени и подняла руки к небу. Почему я женщина в эту минуту! — это крик Шарлотты. А императрица Мария Федоровна сказала: что скажет Европа! После дня 14 декабря у Шарлотты начались нервические припадки и трясение головы. Но голова у нее, кстати, тряслась и до 14 декабря, не наше дело. 15 декабря 1825 г. за победу над революцией всем нижним чинам в награду Николай дал по 2 рубля, по 2 фунта говядины и по 2 чарки вина. Он уволил ненавистного гр. Аракчеева от дел, роздал в знак поощрения мундиры императора Александра полкам лейб-гвардии, этой милости он лишил только Гренадерский и Московский полки, мятежные. Николай похоронил императора Александра и умерших вслед за ним историографа Карамзина и императрицу Елизавету Алексеевну, вдову Александра; если учесть еще наводнение, смерть друга Александра Уварова, казнь домоправительницы Аракчеева Минкиной,— прямо шекспировские трупы. По делу декабристов доносы шли со всей России, одни обвиняли в мятеже Царскосельский лицей, другие — Харьковский и Казанский университеты, а князь Максутов, к примеру, донес, что виноват Невский проспект и Красный мост, и посоветовал Николаю запереть в Петербурге все колокольни, чтоб не было сигнала к революции. Верховному уголовному суду преданы дела 121 декабриста. Первое заседание суда 3 июня, последнее 11 июля 1826 г. Сенатор Павлов предложил четвертовать шестьдесят трех, подвергнуть постыдной смерти еще трех, и одного простой смерти, но получалась картина неполная, шестьдесят семь штук, некуда деть пятьдесят четырех. Суд решил четвертовать четырех, отсечь голову тридцати одному, а прочих сослать в вечную каторгу. Николай смягчил дело. Пятерых он повесил, а остальным дал жизнь в тюрьме. О пятерых: офицеров не вешают, а расстреливают, ну, это воров вешают, вот и повесил их Николай, как воров из шайки. Он их вешвл 2 июля 1826 г. на Кронверкском валу Петропавловской крепости, Пестель и Каховский повисли сразу же, а Рылеев, Муравьев-Апостол, и Бестужев-Рюмин сорвались с петель, с грохотом упали. Николай их вешал во второй раз. Историк пишет: ходили слухи, что Николай сказал — по приговору не будет пролито крови, он удивит всех своим милосердием. И вдруг случилось обратное. Не случилось обратное. С повешенных разве льется кровь? — ни капли, Николай не соврал, он же отменил указ Верховного суда об отсечении 31 головы, вот тогда было б крови, кровеизобилие. Николай удивил, он удавил,— словоигра, острота. После повешения Николай бледнел, мрачнел, ходил в церковь, заперся в кабинете. Генерал-адъютант Дибич пишет: войско держало себя с достоинством, а злодеи с тою же низостию. Это во время повешения, отклик, то есть злодеи падали вниз, все ниже и ниже с виселиц. Потом увезли их в ночное время на устроенное для животных кладбище Голодай и там неизвестно где закопали. О Сенатской площади, о декабристах — пишут; присоединимся, но не забудем, что: 1) самому старшему из мятежников, Тизенгаузену, 47 лет, Лунину — 43, Краснокутскому — 38, очень немногим 36, остальные же, более 100 арестантов — до 30 лет, мичману Мише Бестужеву — 17. 2) Поджио в крепости, самоописание: — Сторож! — крикнул я.— Молчанье.— Часовой! — Вдруг ключ заскрипел в замке, входит сторож и расставляет на столе миску оловянную со щами — одну, другую с гречневой кашей и тарелку, на которой разложены четыре кусочка телятины.— Это обед? — спросил я.— Молчание.— Дай же,— я сам себе отвечал,— поизведаю эту стряпню! Щи — что за капуста! Что за жир, вдобавок подгорелый! Посмотрим телятину, на воде жареную. На каше должен был остановиться, сливочное масло до того меня покривило, что сторож счел меня за бунтовщика и вынес почти нетронутый обед.— Авось, не будет ли другое? — крикнул я, и при этом желании явился плац-адъютант.— Что вам угодно? — Прикажите внести мой чемодан, также и трубки и табак.— Здесь этого не полагается.— Я солдатского черного хлеба не могу есть, а в белом мне отказали.— Булка положена за чаем.— А табак? — Сердце царево в руце Божией, пожалуйста, потише. Под вечер принес мне сторож кружку чаю, четыре кусочка сахару и ломоть булки. Мучения, которые я испытывал ночью на ложе, давали мне понятия о прокрустовом одре (блохи). Но у меня была медвежья шуба с собою и я ее употребил... 3) На личных допросах Николай сказал Николаю Бестужеву: вы знаете, что все в моих руках, и если бы мог довериться в том, что впредь буду

иметь в вас верного слугу, то готов простить вам. Бестужев: Николаи! В том-то и несчастье, что вы все можете сделать, что вы выше закона, желаю, чтобы впредь жребий ваших подданных зависел от закона, а не от вашей угодности. 4) 14 декабря полковник Булатов отказался начальствовать над войсками на Сенатской. При личном допросе Николай: я удивлен, видя вас в числе мятежников, полковник! Булатов. это я удивлен, что вижу вас пред собою. - Что это значит? — Вчера два часа стоял я в 20 шагах от вас с двумя заряженными пистолетами и с твердым намерением убить вас, но возьмусь за курок, и сердце мне отказывает. Николаю понравилось. Полковник Булатов умер 19 января 1826 г. в каземате Петропавловской крепости, после очередного сеанса с Николаем он бился головою о стену и раздробил себе череп. 5) Правитель дел следственной комиссии А. Д. Боровков пишет о Якубовиче: он старался увлечь более красноречием, нежели откровенностию, так, стоя посреди залы в драгунском мундире, с черною повязкою на лбу, огромные черные усы, он сказал: цель наша — счастие отечества; нам не удалось — мы пали; но для устрашения грядущих смельчаков нужна жертва. Я молод, виден собою, известен в армии храбростию, так пусть меня расстреляют на площади подле памятника Петра Великого. 6) Николай Муравьев сослан в Сибирь без лишения чинов и дворянства и 18 апреля 1827 г. уже пошел в службу городничим г. Иркутска. 7) Николай говорил на допросе кн. Грабе, Горскому и остальным: вы должны сознаться во всем, сказать истинную правду и тогда надеяться на мое милосердие. 8) На личном допросе Рылеев признался в сказал в конце: свою судьбу вручаю тебе, Николай. Николай откликнулся, послал жене Рылеева 2000 рублей, через несколько дней она получила еще 1000 рублей от императрицы, и Рылеев пишет жене: молись за императорский дом, милости, оказанные нам Николаем и Шврлоттою, глубоко врезались в сердце мое (деньги врезались), что бы со мной ни было, буду жить и умру за них. Но жить ему не пришлось, он умер за них, дважды повешенный. 9) И. Ростовцев донес на декабристов и пишет: я не воображал, что Николай до твкой чрезмерной степени велик душою! Щеголев пишет: Николай выдавал себя не за того, он играл, в дни и месяцы сыска над декабристами Николай выказал свое лицо в неожиданно зловещем освещении, царь-актер, искусно меняющий личины. Не актер Николай, хоть и пел арии, он — всем неожиданность, царь-лжец, да никому и в голову не пришло, что Царь будет лгать малым сим, и не прекословили, веря в помазанность: Царь — высшее, его Слово правдиво. Николай — первый очеловечил престол, то есть он играл все же, но играл в царя, а оказался человеком, с тех пор на царя стали смотреть как на генерала, злого и логичного, от Богоносца не осталось и следа на земли. Нужно сказать, при Александре не было тайной канцелярии, и так 25 лет; Николай ввел Тайную полицию и назвал ее: Третье отделение собственной Николая канцелярии, шеф жандармов генерал-адъютант Бенкендорф, еще его звания — командующий николаевской главною квартирою (с девами!), а директором канцелярии III отделения назначил Николай еще одного. Бенкендорф пишет: под моим начальством средоточие высшей секретной полиции, которая в лице тайных агентов должна способствовать действиям жандармов. Николай пишет: лучше предупреждать зло, чем преследовать его наказанием, когда оно уже возникло (это о доносах). Бенкендорф спросил: каковы руководящие инструкции? Николай как раз держал в руках носовой платок, он протянул его генералу и сказал: вот тебе вся инструкция, чем больше отрешь слез этим платком, тем вернее будешь служить моим целям. 22 августа 1826 г. коронация Николая. Ясно, без облаков, климат у солнца блестящий, обряд венчания совершен Новгородским митрополитом Серафимом, ему содействует киевский митрополит Евгений и московский архиепископ Филарет, во время обряда ассистенты Николая братья Константин и Михаил. После речи Филарета Николай залился слезами, тот говорил о героизме в душе Николая. На другой день после коронации Константин уехал из Москвы в Варшаву, сказав другу Ф. И. Опочинину: теперь я отпет. Стали праздновать, Бенкендорф пишет: молодежь снова принимается за танцы и уже значительно менее занимается устройством государства, политикой обоих полушарий и мистическими бреднями. Средь торжеств Николай урвал день, чтоб ускакать в Тулу, и он осматривал там ружейный завод. Праздник окончен 23 сентября фейерверком; только заключительный, финальный букет состоял из 140000 ракет и грохотали 100 пушек. Из декораций фейерверка обратили на себя внимание Триумфальные ворота с надписью «УСПОКОИТЕЛЮ ОТЕЧЕСТВА НИКОЛАЮ» Отставленный от дел Аракчеев получает впервые в жизни взятку: он просился за границу, едет, и Николай дает ему на дорожные расходы 50 000 руб. Но граф Аракчеев не принимает наград, чем и прославлен. Историк пишет: он не замедлил дать пожалованным ему деньгам такое назначение, которое едва ли найдет себе в служебном мире много подражателей. 17 апреля граф обратился к императрице Марии Федоровне с просьбой принять от него 50 000 руб. для составления капитала, на проценты от которого воспитают в императорском военно-сиротском доме пять девиц сверх штата. Но граф Аракчеев не довольствовался сим поступком и довершил оказанное им благодеяние тем, что пожертвовал вдобавок к николаевским 50 000 руб. еще свои 2500 руб., дабы бедные девицы,— как писал он,— в сем году еще воспользовались дарованной мне от Николая и государей императоров милостию. Нужно прибавить, что все имущество гр. Аракчеева оценено в 38 890 руб. (В том же году (1826) закончен «Борис Годунов» Пушкина, поэт получил за драму от Николая 40 000 руб.). Вскоре скончалась мать Николая, императрица Мария Федоровна, 24 октября 1828 г. Императрица оставила многотомные записки, целый ящик! Это восходило к 70-м годам 18 векв и заканчивалось вот-вот, Мария Федоровна писала дневники изо дня в день. 14 января 1829 г., прочитав, Николай записки собственноручно сжег. Это первое уничтожение государственных бумаг Николаем. В то время маркиза де Кюстин пишет: Шарлотта, несмотря на слабое здоровье, танцевала полонезы на сельском балу с открытой головою я обнаженной шеей. Уж лучше б пожалел француз голову и шею своей императрицы — на эшафоте, было б национальней. Чем прославился этот в России вне пасквилянтства? — тем, что засматривался на миндальные глаза молодых ямщиков и торговцев пряностями, он талантлив, литератор, и мы охотно срисуем у него про бал: полные народом залы старого дворца, это море лоснящихся от масла голов, а над ними господствует благородная голова Николая; бал считается маскарадом потому, что мужчины носят кусок шелка, именуемого венецианским плащом, этот плащ комично болтается поверх мундиров; Россия — котел с кипящей водой, крепко закрытый, но поставленный на огонь. Я боюсь взрыва,— пишет Кюстин. Это неплохая метафора, хотя слово в слово он писал то же и об Италии, в об Испании, дежурный котел с кипятком. Но выходки француза насчет русских балов требуют ответа. Пролистаем. Не буду я списывать с Бальзака, влюбленного в польку (он считал ее русской, раболепство), а Бальзак в истории дендизма. Не хочу брать оружие у Стендаля, куда более осведомленного о России, он шел в поход 1812 г., его герои списывают письма любви к дамам с русских денди, но я не могу умолчать о гении дендизма тех лет, перед кем падают мировые масштабы — скажем, о Бреммеле из Барбе д'Орвильи: как-то, можно ль поверить? У денди явилась причуда носить потертое платье (это от русских!), они преступили все пределы дерзости, вздумали, прежде чем надеть фрак, протирать его на всем протяжении, пока он не станет своего рода кружевом или облаком, они хотели ходить в облаке, эти боги; работа эта очень тонкая, долгая, и для выполнения ее служил кусок отточенного стекла; а вот другой пример: Бреммель носил перчатки, которые облегали руки, как мокрая кисея, перчатки были изготовлены четырьмя художниками-специалистами, тремя для кисти и одним для большого пальца. Русские и погубили эту грозу английской скуки, моцарта праздной элегантности, они вместе выскабливали фраки стеклами, но не вынесли яд стрел, которые он метал своим изысканным ртом в них, обыграли в карты, до тла, хоть Бреммеля и предупреждали: не садись в карты с русскими. Николай же всю жизнь ходил в мундире, не снимая ни с кем (мундир!), он спал, не расстегиваясь, перед сном снимал только шинель и клал ее на себя, оставляя девиц открытыми. Внешность Николая, маркиз де Кюстин: на полголовы выше человеческого роста, он усвоил себе французскую привычку стягиваться корсетом, чтобы оттянуть живот, но от этого расширяются бока и выпуклость их грозит красоте организма, греческий профиль, вдавленный лоб, прямой нос, красивый рот, овальное лицо, он не забывает, что все на него смотрят, Николай актер, но без живого лица. О внешности Николая пишет еще И. П. Дубенский: Николай высокого роста, сухощав, грудь имел широкую, руки длинноватые, нос римский, рот умеренный, взгляд быстрый, голос звонкий, ближе к тенору, но говорил скороговоркой. Баронесса М. П. Фридерикс пишет: известно, что он имел любовные связи на стороне, какой мужчина их не имеет; хоть предмет его и жил во дворце (фрейлина В. А. Нелидова), но это делалось так скрыто, так благородно, так порядочно, так он себя держал осторожно перед женой, детьми, бесспорно, это великое в таком как Николай; после Николая эта особа (Нелидова) приходила читать Шарлотте, когда та отдыхала после обеда. Трудовой день Николая: раннее утро, смотр, парады, затем приемы, двухчасовая прогулка в экипаже — вместе с Шарлоттой, днем они не разлучались, он отпускал ее только поездить верхом и принять ванну от конского пота,— затем опять приемы, посещают ряд заведений, состоящих в ведении Николая и Шарлотты, потом Шарлотта сопровождает Николая в один из лагерей и оттуда оба спешат на бал. Ел Николай мало, овощи, не пил вин, одну дождевую воду, за ужином ел тарелку одного и того супа из протертого картофеля, не курил и не любил, чтоб другие при нем курили. Всегда одет. Спал на тоненьком тюфячке, набитом сеном. Его походная кровать стояла в спальне Шарлотты, покрытая шалью (прижизненный музей). Стены в кабинете Николая оклеены простыми бумажными обоями, на камине часы в деревянной отделке, над часами большой бюст гр. Бенкендорфа, когда Николай ложился, то брал бюст себе в ноги. Вольтеровское кресло, диван, письменный стол, несколько простых стульев, большое трюмо, у трюмо стояли сабли, шпаги, ружье, а на полочке, специально сделанной, склянка духов, щетка и гребенка. Петербург встает не рано, в 9—10 часов на улицах пусто. Костюм извозчиков такой же, как у большинства рабочих, мелких торговцев и т. д.; на голове суконная дынеобразная шапка, либо плоская шляпа с маленькими полями — этот головной убор похож на женский тюрбан или бе-

рет басков; и молодые, и старые носят бороды, тщательно расчесываемые; вагляд их лукав, так что когда видишь этих людей, кажется, что попал в Персию; длинные волосы падают с обеих сторон, закрывая уши, сади же острижены под скобку, бороды достигают груди; кафтан из синего, зеленого или серого сукна, без воротника, опоясан ярким шелковым кушаком; высокие кожаные сапоги. Николай вставал раньше всех в России, в зимние дни в 7 час. утра проходившие по набережной Невы у Зимнего дворца могли видеть Николая, сидящего в кабинете за письменным столом при свете четырех свечей, покрытых абажуром, и подписывающим вороха бумаг. Он знал поименно всех офицеров и нижних чинов Петербурга и окрестностей, в 8 утра он являлся на линейное и ружейное учение сапер, уезжал в 12 (с ним Шарлотта) в Петергоф, а затем 4 часа скакал 12 верст до лагеря и оставался там до вечерней зари, лично руководя прокладкой траншей. В гвардейском корпусе, состоящем из 24 пехотных и кавалерийских полков и 6 отдельных батальонов и дивизионов, он знал по фамилиям всех офицеров и фельдфебелей, всех пажей Пажеского корпуса, всех воспитанников школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров из кадетских корпусов. Ни один частный дом а Петербурге и общественное здание в России не возводились и не перестраивались без его ведома, все проекты он рассматривал сам. Войска в строю, мундиры и воротники, застегнутые на пуговицы, руки по швам тешили его глаз, военных отличали усы, усы их привилегия, никто, кроме них, не смел растить усы, права на усы лишены даже аоенные медики и капельмейстеры. У Николая 13 сподвижников, министры, князе-графы: Чернышев, Канкрин, Бенкендорф, Перовский, Уваров, Протасов, Толь, Клейнмихель, Нессельроде, Панин, Киселев, Адлерберг, Меншиков, из знакомых тут один Эдуард, друг детских игр, получивший от Николая шрам, он стал главнокомандующим над почтовым департаментом. В своем роде Канкрин, единственный не-носитель формы в России, нарушитель, министр финансов. Идя на прогулку по Зеркальной линии Гостиного двора, он одевался в военный генеральский костюм, на ногах теплые полуботфорты с кисточками (запрещенными), теплая шинель и рукавв с поднятым воротником, обвязанным шерстяным шарфом, лишь на голове форменная штука треуголка с султаном из белых перьев, а на глазах зеленый шелковый зонтик. Николай выговаривал ему, но не переубедил и сказал в сердцах: старик, старик!.. О том, как работали 13 министерств, пишет барон М. А. Корф: денежная отчетность в таком порядке, что о находящейся в суде частной сумме 650 000 руб. потерян всякий след, кому она принадлежит, никто не знал, и ее хранили под названием «сумма неизвестных лиц». Наконец члены 3-го департамента преданы суду — три, а члены 4-го — двадцать четыре раза! Картина тем ужаснее, что место действия в столице, окно в окно с кабинетом Николая. Сколь долговременный опыт ни закалил членов Государственного совета, однако и они при докладе этого дела были вне себя. С годами Николай занимается государственными делами единовластно. Н. М. Колмыков пишет со слов генерал-губернатора Москвы светлейшего кн. Д. В. Голицына: вскоре после моего назначения в Москву ко мне принесли массу протоколов, где определялась торговая казнь через палачей на площадях. Не мое дело, а суда. Я подписывать отказался. Вызвали в Петербург, Николай: в чем дело? — Ввиду отсутствия защиты о вине подсудимого мне невозможно подписать.— У тебя есть прокуроры и стряпчие, чтобы судить.— Нет, Николай,— позволил я себе сказать,— прокуроры и стряпчие не защитники, а преследователи, тут нужны адвокаты. Николай при слове «адвокаты» нахмурился и сказал: — А кто погубил Францию, как не адвокаты? Кто были Мирабо, Марат, Робеспьер? Нет, князь,— заключил Николай,— пока я буду царствовать, России не нужны адвокаты, без них проживем. На преступников налагались клейма — в 17 в. каленым железом, а со времен Петра I особыми штемпелями с наложенными на них стальными иглами, образовывавшие буквы. Иглы эти вонзались в тело, от них раны, которые «для неизгладимости» затирались порохом. Вместо пороха (он ценился!) Николай открыл смесь индиго и туши. По высочайше утвержденному 10 мая 1839 г. положению комитета гг. министров заготовлены Министерством образцы орудий для телесного наказания преступников, как-то: кнут, притяжные ремни и штемпеля. Л. А. Серяков пишет: я живо помню: кобыла — доска длиннее человеческого роста, дюйма 3 толщиною и поларшина ширина, на одном конце вырез для шеи, а по бокам вырезы для рук, так что, когда клали на кобылу, преступник обхватывал ее руками и уже на другой стороне руки скручивались ремнем, шея притягивалась также ремнем, равно как и ноги. Другим концом доска крепко врывалась в землю наискосок, под углом. Далее. Кнут состоял из довольно толстой и длинной рукоятки, к которой прикреплялся толстенный кнут, длиною аршина полтора, а на кончик кнута навязывался шести или восьмивершковый в карандаш толщиной четырехгранный — ремень. Шпицрутен — палка, в диаметре несколько менее вершка, в длину сажень, это гибкий, гладкий лозовый прут. Таких прутьев для предстоящей казни нарублено множество, многие десятки возов. Наступило время на второй неделе Великого поста. Морозы в те дни лютые. На плацу врыта кобыла, близ нее два палача, парни лет 25, широкие в плечах, в красных рубахах, плисовых шароварах и в сапогах с напуском. Около 9 утра

прибыли осужденные к кнуту, их клали на кобылу, по очереди, так что одного били, а другие стояли и ждали. Первого положили из тех, кому 101 кнут. Палач отошел шагов на пятнадцать, потом медленно-тихим шагом пошел, кнут тащился меж ног по снегу, когда палач подходил близко к кобыле, то высоко взмахивал правой рукой с кнутом, раздавался свист, затем удар; опять отходил и опять приближался и т. д. Первые удары делались крест-накрест, с правого плеча по ребрам под левый бок и слева направо, а потом начинали бить вдоль и поперек спины. Мне казалось, что палач с первого же раза весьма глубоко прорубил кожу, смахивая с кнута полную горсть крови. Казнимых рубили как мясо. После 20-30 ударов подходил к стоявшему тут же на снегу полуштофу, наливал стакан водки, выпивал и опять принимался. Все это делалось очень, очень медленно. Когда наказуемый не издавал уж ни стона, ему развязывали руки и доктор давал нюхать спирт. Если находили, что тот еще жив, опять привязывали к кобыле и наказывали далее. Под кнутом не один умер, помирали и на второй, и на третий день. Но кнутом казнь не оканчивалась, отбив число, снимали с кобылы и сажали на барабан, спина походила на высоко вздутое рубленое мясо, на нее накидывали тулуп, палач брал коробочку, вынимал рукоятку, на которой сделаны были букаы из стальных шпилек по $^{1}/_{2}$ дюйма длины, держа рукоятку в левой руке, палач приставлял штемпель ко лбу несчастного и правой рукой со асего размаха ударял по концу рукоятки, шпильки вонзались в лоб и так получалось требуемое клеймо, так же высекали буквы на обеих щеках. Казнь кнутом продолжалась до сумерек, и все это время бил барабан. Николай любил смотреть, как мучат мужчин, и часто наблюдал казни. Наказания же шпицрутенами — на другом плацу, за оврагом. Музыка, видите ли, там играет целый день — барабан да флейта! Много народу бежало! бегут! Два батальона солдат, тысячи полторы построены в две шеренги параллельно, лицом к лицу, каждый держит в левой руке ружье у ноги, а в правой шпицрутен. Вызывали штук по 15 осужденных, спускали с них рубахи до пояса, голову оставляли открытою, руки привязывали к примкнутому штыку так, что штык приходился против живота, вперед бежать невозможно, напорешься, а спереди тебя тянут за приклад два унтер-офицера. Ни остановиться, ни попятиться. Твердая инструкция. Вот всех установили, и под звон барабана и флейты они начинают идти друг за другом. Каждый солдат делает из шеренги (правой ногой!) шаг вперед, бьет шпицрутеном и встает на место. Наказуемый получает удары справа и слева, и голова его дергается то в ту, то в другую сторону. Во время шествия по этой зеленой улице слышим одни крики несчастных: братцы, помилосердствуйте! Если кто-то падал и не мог идти, подъезжают сани-розвальни, в них кладут обессилевшего и везут вдоль шеренг, удары притом продолжались до тех пор, пока тот и дохнуть не мог. В таком случае подходит доктор и дает нюхать спирт. Мертвых выволакивают вон, за фронт. Ни одному из наказанных не было менее 1000 ударов, большею же частию давали по 2 и 3 тысячи. Перемерло много. Вот как дословно пишет Л. А. Серяков: перемерло, впрочем, много казненных. Этому способствовали: недостаток докторов, отсутствие медикаментов, плохой уход за больными. Тут же в рапорте от 11 октября гр. Пален донес Николаю о тайном переходе двух людей (евреев) через р. Прут и прибавил, что только смертная казнь способна покончить с нарушителями карантина (гетто). Николай пишет на этом рапорте резолюцию: виновных прогнать сквозь 1000 человек 12 раз. Слава Богу, смертной казни у нас не бывало и не мне ее вводить. Он острит. Комитетом Министров возбужден вопрос о даровании крепостным «права на собственность», на что Николай отвечает: пока человек есть вещь, другому принадлежащая, нельзя движимость его признавать собственностью. Много таких фраз от Николая осталось. Историк пишет: законы наши восходят к Уложению царя Алексея Михайловича (1649 г.). Николай обратил заботливое внимание на отечественное законодательство. С 1754 г. одни издержки на содержание комиссией по законам составляют сумму до полутора миллионов рублей серебром. Плодом же усилий этих было несколько проектов и глав, не получивших силы закона. А число актов возрастало. Существуя в своей необъятной массе без правильного разбора, законы представляли изумительное противоречие между собою. В делах судебных, правовых в уголовных старое сливалось с новым. Законодательство наше представляло нестройную громаду, где терялся ум самого опытного правоведа. Усмотрел я,— пишет Николай,— что все труды (по законам) не достигли цели, и Я признал нужным принять их в Мое ведение. Опростим: Николай стал Закон. Николай издает полное собрание законов в 45 томах, объемлющее 176 лет и заключающее в себе 30 000 актов. Это для Истории. Через 20 лет Николай издал еще 20 томов уже своих личных законов, заключающих 20 000 актов, историк пишет: и вся эта громада представляется в стройном виде делом одного художника, светлым умом своим объемлющего все условия общественного здания. Все основано на мысли, что народ благоденствует. А. Ф. Львов, композитор, пишет: были сочиняемы инструментальные пьесы нарочно для царственного персонала. Николаю назначена партия на трубе, то есть корнет а пистон, на котором он любил играть. Во время репетиции Николай обыкновенно уводил меня в кабинет, и там я должен был сыграть на скрипке его партию. Внимательно прослушав 2 или 3 раза, Николай вос-

вращался и Шарлотте и играл в назначенной пьесе без ошибок. Не ошибался он ни в ритмах, ни в нотах. Один французский дипломат пишет: у Николая нет любимой лошади, собаки, птицы, женщины, всего этого у него в избытке, но не любил он никого, у него не было любимой еды, своего стула, посуды, одежды, безделушки даже. Человек без всяких примет. Николай говорит: деспотизм еще существует в России, ибо он составляет сущность Моего правления, но он согласен с гением народа. Речь Николая к депутатам петербургского дворянства 21 марта 1848 г.: Николай, изволив обнять их, целовал за службу и сказал: господа! внешние враги нам неопасны, одушевленные войска готовы с восторгом встретить мечом нарушителей наших границ. Из внутренних губерний Я получил донесения самые удовлетворительные. Но в теперешних обстоятельствах (революция во Франции) я вас прошу, господа, действовать. Подайте между собою руку дружбы, как дети, так, чтобы последняя рука дошла до меня, и тогда под моею главою (руководством) никакая сила земная нас не потревожит. Я прошу вас наблюдать за мыслями и нравственностью молодых людей. Ваш долг, господа, следить за ними. Господа! у меня полиции нет, я не люблю ее: вы моя полиция. Каждый должен доводить до моего сведения действия и поступки, какие он заметит. Будем идти дружною стопою, и мы будем непобедимы. Чтоб не очернить или не высветлить образ, не будем комментировать цитации, а лишь приводить их. Царь, возомнивший себя царем в безвременье, отсюда обилие бед, которых могло не быть, они плод самодурной фантазии. Военное дело, садизм, законы,— все это было для него искусство для искусства. Николай — персонаж, играющий навязанную ему рождением роль. Он жил на людях: что скажет Европа? Единственные люди ему — Европа. Николай не понимал, что император — это административная должность, думая, что он Провидение, и так держал руль. Отсюда вытекает, что Николай нереален, со всеми вытекающими отсюда последствиями. А последствия, вытекающие из тела государства,— кровь, заключим мы. Как-то на учении Николай до того забылся, что хотел схватить за воротник офицера. Тот ответил: Николай, у меня шпага в руке. Николай отступил назад. С. Соловьев, историк, пишет: Николай страшный нивелировщик: все люди перед ним равны. Как мы видим, получается многословная формула Николая. Надеждин, писатель, издатель Чаадаева, пишет: у нас одна вечная, неизменная стихия: Николай! Народ русский существует только в своем Николае, без него это ряд нулей. С этой же державной единицей нули превращаются в биллион. Вот мой символ веры. Замкнутая художественная вещь не означает прорыв безвременья, бриллиант замкнут в оправе, принадлежит всем, неподвижен, недвижим, безымянен, как Гоголь, николаевский. Безвременье — это когда идеи превращены в чтиво, в газеты. Это когда мы не знаем, с чего начать в юности, и плохо кончаем, смертью, бесповоротной. Это когда царь в каске. Это когда женщины, как цепные собаки, отдаются без воя, ворам. Это когда за спиною спеет пустыня, без человека. Это когда время тускло, неустойчиво, ждешь лета, а влажная зима мозолит глаза. Когда огни стоят в стеклах и лампочки не перечесть. Когда красный карандаш и нож теряют разницу и равновесие. Когда не живет душа. Когда дует и некому накормить. Когда ласточки, как львы, валетающие на треугольниках. Когда дети скворчат. Когда бездна без ремня. А вишни краеугольны Когда временам подходит слово «грязнословие». Когда сидишь и понимаешь, что одиночество не худший вид движения, а через зарю придет и человек с кувшинами на ногах. Когда никто никому не нужен, как в мирное время (надмирное) Когда ястреб строгает жизнь больше, чем плотник. Когда зверей уничтожили на корнях. Когда ругается горе. Когда плачут финны. Когда желтые маковки лука принимают за церковь греческого вероисповедания. Когда я, закинув голову, лежу на спинке кровати и никто меня не рубит (и голову, и спинку). Когда звезды сверкают холодным лбом. Историк пишет: ни одно счастливое усилие ума в области искусства не остается без николаевского привета. Без Пушкина нет нас, и мы пишем о нем, но то, что опущено перьями авторов: гроб. О гробовых досках Пушкина пишут не так пылко, как о ямбах и о вольности. Мы напишем про гроб. Гроб — это последнее здание (дом), в котором живет тело (останки живут!). Но прежде вспомним, что пишет Николай Пушкину, в пересказе Бенкендорфа: Николай надеется, что вы хорошо испытали себя, прежде чем сделать этот шаг (жениться!), и нашли в себе необходимые качества сердца и характера для составления счастья женщины, в особенности такой милой и интересной, как госпожа Гончарова. Пушкин не знал, что Гончарова — кандидатка Николая. После женитьбы, с 1 января 1832 г. Пушкин стал получать в министерстве иностранных дел, без должности, по приказу Николая, ему дали деньги на жизнь, в карман. 31 декабря 1833 г. Пушкин пожалован в камер-юнкеры, водить жену на глаза Николаю. Затем Пушкину дают должность читателя архивов с громадным окладом. 26 февраля 1834 г. Пушкин просит у Бенкендорфа ссуду из казны 20 000 руб. Дают, и он пишет: теперь они смотрят на меня, как на холопа, с которым можно поступать, как им угодно. Они смотрят, он пишет 26 июля 1835 г.— Бенкендорфу: из 60 000 моего долга половина — долги чести (карточные!). Я умоляю Николая оказать мне милость дать возможность заплатить деньги. Дали. Деньги дали, как и молил. Лемке пишет: когда Пушкин умер, толпы народа пошли отдать долг гробу. Похороны назначены в Исаакиевском соборе, об этом напечатано в извещении, вынос тела (в гробе!) торжественный, днем. Но Николай уносит гроб ночью, в присутствии вдовы, друзей Пушкина, Дубельта и 20 жандармов. Гроб несут не в Исаакиевский собор, а в конюшни. После отпевания в конюшенной церковке гроб скрывают в подвал. На следующую ночь ящик с гробом ставят на телегу, и Николай сажает на гроб 4 жандармов и одного А. И. Тургенева, и везут эту компанию в с. Михайловское. На станции П. жена писателя Никитенко видит телегу, на ней солому, под соломой гроб, обернутый в рогожу. 4 жандарма и один А. И. Тургенев носятся по двору, перепрягая курьерских лошадей. И крестьяне тут.— Что это? — спрашивает жена Никитенко.— А бог его знает, что. Вишь, какой-то Пушкин убит, и его мчат на почтовых в рогоже и в соломе, прости Господи, как собаку! — это крестьяне, в ответ. 19 февраля 1837 г. Паскевич — Николаю: жаль Пушкина, как литератора, талант его созревал, но человек он дурной. Николай — Паскевичу: мнение твое о Пушкине Я разделяю, и про него можно сказать, что в нем оплакивается будущее, но не прошедшее. Храните гордое терпенье,— писал Антон Дельвиг, барон (прощальная песнь воспитанников царскосельского лицея, 1817 г.). Храните гордое терпенье,— пишет Пушкин в послании в Сибирь, 1826 г. Союз поэтов, любимцы муз, святое братство. В 1830 г. Дельвиг начинает выпускать «Литературную газету». В 1830 г. выпуск ее заканчивается, запрет. Мотив — переход литературной борьбы в политическую. Вот что писал Дельвиг о гг. Полевом, Грече и Булгарине: эпиграммы демократических писателей 18 столетия приуготовили крики «аристократов к фонарю!» и ничуть не забавные куплеты «повесим их, повесим!» Барон Антон Дельвиг намекал, что гг., объявившие себя демократами (Полевой, Греч и Булгарин), пишут слогом топора и являются провокаторами революции в России. В черновиках Дельвига: партия Булгарин-Белинский, еще не объединенная... потом, правда, он это вычеркнул. Дельвиг знал, что Николай демократ. Началась буря с рыбой. Кит-Бенкендорф напал на Дельвига, сокрушая этого юношу в круглых очках, но барон был толст в стоек. Дельвиг: есть закон, и он запрещает преследовать редактора за статьи, пропущенные цензурой. Бенкендорф: закон есть для подчиненных, но не для начальства. Дельвиг поместил в печати четверостишие памяти жертв Июльской революции. Бенкендорф озверел и грозил сослать всех князей в Сибирь. Вмешался граф Блудов, управляющий министерством юстиции, он твердо обещал Бенкендорфу формальный арест, Бенкендорф принес извинения и разрешил газету. Но Дельвиг слег и умер. Никто не был при его смерти, его нашли завернутым в шелка, с кровью во рту, больничный столик был полон бокалов, Софья Михайловна (жена) не ночевала дома, гуляла с кем-то и в ту ночь. Зеркало было разбито в дым. Это от этой сцены пошло у Есенина: я один и разбитое зеркало. Что же с Дельвигом? Конечно, не Бенкендорф убил. В 32 года бойцу, умнейшему поэту, Бенкендорф не мешает. Но наступает момент, когда жизнь ведет черту над головою, а под чертой — ты, тварь, и более никого нет; дружбы вырваны, любовь — беда, а «творчество» у натур гениальных выносится за скобки жизни, всегда, это у графоманов стоят «проблемы творчества». Так умер Дельвиг, поэт гениальной чистоты, первый, объявивший Пушкина над литературой, великий друг, Дух Вторый. Распад Дельвига — это паденье золота пушкинской поры, смерть союза поэтов, он один мешал им разойтись: Пушкину к прозе, Жуковскому к воспитанию чужих детей (николаевских), кн. Вяземскому к карьере по просвещению, Баратынскому в никуда, в бесполезную жизнь, бестворческую. Время эстетики миновало. Эти поэты не столько родовиты, как аристократы речи. Лучший стилист из них, безусловно, Дельвиг. А мало листков от него осталось, что ж, ищут и никак не найдут архив (не ищут, потому в не находят!). Жихарев пишет: Чаадаев владел прекрасно четырьмя языками: русский, французский, английский, немецкий, легко справлялся с греческим и латинским. Всеобщая история и богословие, в этом Чаадаев был выше специалистов, но и в остальных науках солидно, это последний русский энциклопедист. Щеголеватость была потребностью его натуры. Дома и в одиночестве Чаадаев всегда безукоризненно одет, выбрит, причесан, граф Поццо ди Борго заметил, что будь на то его власть, он заставил бы Чаадаева беспрепятственно разъезжать по Европе, чтобы показывать европейцам un russe parfaitement комильфо. В Москве он пользовался репутацией лучшего танцовщика вообще. Никогда не писал по-русски. С Чаадаевым дружили: Александр I, Пушкин, Баратынский, Хомяков, Герцен; кн. Голицын, и Орлов — министры двора, гр. Закревский — люди противоположных положений и убеждений. Один называет себя его учеником, другой просит разрешения видеть комнаты гениального человека, и так далее. Чаадаев живет во флигеле, дом Левашовых на Басманной. О комнатах гениального человека Жуковский говорил, что флигель держался уже не на столбах, а одним только духом. Хомяков пишет: чем объяснить его известность, он не был ни деятелем — литератором, ни двигателем политической жизни, ни финансовою силою, а между тем имя Чаадаева известно всем русским людям, оно состояло в самой личности Чаадаева, в той выпуклости, с которой фигура вырисовывалась на фоне николаевского общества. Рассказ Тютчева в пересказе Феоктистова: задумал Чаадаев подарить

друзьям свой портрет масляными красками, найден живописец. Чаадаев заставил его переделывать портрет не менее 15 раз, и несчастный художник воскликнул: откровенно говоря, я не могу смотреть равнодушно на вас, писать два или три месяца одно и то же лицо — это ужасно! — Мне остается только пожалеть,— возразил ему с невозмутимым спокойствием Чаадаев, что вы, молодые художники, не подражаете вашим предшественникам, великим мастерам 15 и 16 веков, они не тяготились воспроизводить постоянно один и тот же тип.— Какой же это? — Тип Мадонны. 1 июля 1833 г. Чаадаев пишет Бенкендорфу: я вряд ли могу надеяться, что взоры Николая падут на меня. Взоры пали. Философическое письмо Чаадаева опубликовано в № 15 журнала «Телескоп», он пишет: мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принадлежали ни к одному из великих семейств человечества, ни к западу, ни к востоку, не имеем преданий ни того, ни другого. Мы существуем как бы вне времени, мы живем в самом тесном горизонте без прошедшего и будущего, мы явились в мир как незаконнорожденные дети без связи с людьми, нам нужно молотом вбивать в голову то, что у других инстинкт, наши воспоминания не дальше вчерашнего дня, мы чужды самим себе, мы идем по пути времен так странно, что каждый сделанный шаг исчезает безвозвратно, мы идем вперед, но по какому-то косвенному направлению. Через 2 дня после выхода Философического письма Николай читает и налагает резолюцию: нахожу, что содержание есть смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного. В тот же день Бенкендорф составил отношение московскому генерал-губернатору кн. Д. В. Голицыну, а Николай пишет на проекте: очень хорошо. Из текста проекта: жители столицы, будучи преисполнены достоинства Русского Народа, тотчас постигли, что подобная статья не могла быть писана соотечественником их, сохранившим полный свой рассудок, и потому изъявляют оне искреннее сожаление о постигшем его расстройстве ума. Здесь получены сведения, что мнение о несчастном положении г. Чаадаева единодушно разделяется всею московскою публикою. Вследствие чего Николаю угодно, чтобы приняли надлежащие меры к оказанию г. Чаадаеву всевозможных медицинских пособий. Николай повелевает, чтобы поручили лечение его искусному медику. Николай наказал Чаадаева сумасшествием на один год, Бенкендорф сделал приписку (а руки Чаадаеву): прошедшее России удивительно, ее настоящее великолепно, что же касается ее будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение. Прочтя предписание о собственном безумии и о светлом будущем России, Чаадаев смутился чрезвычайно,— пишет кн. Щербатова,— побледнел, слезы брызнули из глаз, он не мог выговорить ни одного слова. Наконец, собравшись с силами, трепещущим голосом сказал: справедливо, совершенно справедливо. Кстати, в той же книжке «Телескопа» статья Раумера, он пишет: у нас в России один центр всего, и этот центр есть наш Николай, в священной особе которого соединены все великие государственные способности. Герцен пишет о Чаадаеве: стройный стан, одевался очень тщательно, бледное лицо его совершенно неподвижно, когда он молчал, как будто из воску или мрамора «чело как череп голый», серо-голубые глаза, печальные тонкие губы. Десять лет стоял он, сложа руки, где-нибудь у колонны, у дерева на бульваре, в залах, в театрах, в Английском клубе, и воплощенным вето, живым протестом смотрел на вихрь и капризничал, делался странным. Было неловко с ним, стыдились неподвижного лица его, язвительного снисхождения, прямо смотрящего взгляда. Чаадаев получил в наследство 4556 душ и удобной земли 3000 десятин, свыше 1000 десятин леса, а брат выплачивал ему периодически по 70 000 руб. золотом. Пока Чаадаев отбывал срок сумасшествия, его посетили: маркиз де Кюстин, гр. Сиркур, Мериме, Лист, Гакстгаузен, 14 апреля 1856 г. он умер, пережив Николая на свой срок, на один год. Гоголь вне опасности в Риме, пишет гениально, просит у друга Ж. денег, но это он просит у Николая, ведь письма идут на стол нашему герою. Николай от души хохочет и шлет деньги на «Мертвые души», на чернила,— это мысль Николая, что Гоголь обличает мелкопоместное дворянство; от этой густопсовой идеи Гоголь и бежал в Рим через Академию Художеств. К слову, непонятно, как Гоголь перемалывал сверхсуммы, щеголь, едок, но это тогда ничего не стоило; и как Гоголя убили по возвращении в Россию, мучили, сливая кровь, били лед на висках, пиявки уши объели ему до корней, Гоголя убивали вне пуль и Кавказов, его и захоронили в живом теле, оно еще долго крутилось в гробу, как сверло, волосы рвались, зубы искусаны и сломаны, это при вскрытии земли нашли такие картинки. Гоголь завещал не хоронить его, не слагать в могилу без трупного запаха, сложили. Николай ни при чем, это люди Николая хоронят, их вдоволь. Гоголь — вопрос русский, святой, он жил без людей, без портрета, боялся женских ню, а разобрали его на косточки, чистя, медики, мужланы. Шарлотта любила Гоголя, по линиям сестринским. Гоголь — дух изысканный, звонкий, кровавый, равновеликий Высшему Духу, он один в империи взмахнул пером и, очертив вокруг себя мелом круг, сражался с нечистой силой, пока не пал, как в песне, и долго его закладывали в землю, а он возвращался и ходил по Риму с Ивановым, с Соболевским, а у нас его нет. Он очень загадочен, безвозрастной, в 22 года он писал, как Гомер. Гоголь сделал русский рисунок речи, раскрасил его маазками и вместо страниц ввел

в переплет картины. Этого не умел Пушкин в прозе, и не умел никто после Гоголя. Рядом с ним, но обиняком, стоит только одна книга — у нас — «Герой нашего времени». Шарлотта читает Героя, запершись на ключ, Николай ломает спальню и выхватывает книгу. Тут страшный нюанс: Николай кричит, как туча — как она смела читать, и что — Лермонтова! и где — в супружеской постели! Вообще-то Шарлотта и Лермонтов человечнейшая и симпатичнейшая история, они могли быть большими друзьями, да были б, ведь высшая знать, и кандидат Шарлотты А. В. Трубецкой — родственник Лермонтова, уж не говоря о прямой родне, надмиллионерах Арсеньевых. Ведь младший Трубецкой, Сергей, дрался с Лермонтовым плечом к плечу при р. Валерик и принимал после дуэли его последние вздохи, ведь Сергей пошел на слом судьбы (своей), став негласным секундантом поэта. А Столыпины, ведь Столыпин Алексей, Монго, двоюродный дядя и друг Лермонтова, внук министра Мордвинова, однополчанин, секундант тоже. Их было много тогда, этих чистых ребят, денди, жадные люди до боя, рано погибли, ни один не умер в мирной раме. В 20 лет Лермонтов — корнет лейб-гвардии гусарского полка, лейб-гусары носят алые доломаны и ментики; белая масть лошадей, присвоенная полку, любимейшая масть Лермонтова. Юноша пишет Лопухиной: если будет война, клянусь Богом, буду всегда впереди. Он и был. Мы любим детали, Лермонтов блестящий шахматист, и как он пел у Шарлотты голосом, играл на фортепьяно и скрипке, танцор, живописец и дуэлянт, к слову, в записках Мартынова любопытнейшая деталь: в Петербурге только двое, кто мог завязать печную кочергу двойным узлом — кн. Бельский и Лермонтов, но,— добавляет Мартынов,— у Лермонтова слишком длинные руки, ниже колен, нечеловеческие, поэтому он и связывался с кочергой. Согласимся: да, поэтому. Отметим: Мартынов ревнив, и пойдем дальше, поедем на Кавказ. В бою на р. Валерик Лермонтов действует в составе штурмовой колонны, он адъютант, в том бою потери в офицерах 2%, в адъютантах 20%. За храбрость и мужество в бою 11 июля генерал-адъютант Галафеев представил Лермонтова к ордену св. Владимира с бантом, а Николай не дал. В бою 10 октября ранен Руфин Дорохов, командовавший сотней отборных конных бойцов, казаки-охотники из кавалерии Левого фланга кавказской линии. Дорохов передает команду Лермонтову, и отряд с тех дней называется Лермонтовским. Н. А. Султанов, служивший в отряде, пишет: поступить в команду мог кто угодно, ему брили голову, приказывали отпустить бороду и вооружали двустволкой со штыком. Кавалеристов отряда отличала отчаянная отвага, преданность командиру и презрение к огнестрельному оружию. Лермонтов как командир вел общий с бойцами «образ жизни», спал на голой земле, ел из котла, небрежно относился к форме, к внешности. К. Х. Мамаев пишет: даже в этом походе он не подчинялся никакому режиму, и его команда, как блуждающая комета, бродила всюду, являясь там, где ей вздумается, в бою они искали самых опасных мест. Нужно знать того, кто отдал свой отряд поэту: Руфин Дорохов, сын героя-генерала 1812 г., дуэлянт, буйноповеденческая личность, разжаловался в солдаты много раз, воспет Д. Давыдовым. Лев Толстой, любивший салонное и жеманное, в романе «Война и мир» изменил в фамилии Дорохов Р на Л и вышел из-под пера Толстого некий Долохов, сильно измененный, офранцуженный, сентиментальный; граф дал ему нищую маму-старуху, которую тот Долохов кормит с ладони. Истинный Дорохов никого не кормил, а только воевал и дрался. В письме к М. Ю. Юзефовичу Дорохов пишет: славный малый, честная, прямая душа, не сносить ему головы, мы с ним подружились и расстались со слезами на глазах, какое-то черное предчувствие мне говорило, что он будет убит, жаль, очень жаль Лермонтова, он пылок и храбр, не сносить ему головы (письмо за полгода до смерти, до дуэли). Дорохов пишет стихи и пьесы, знаком с Пушкиным. Мартынов Николай, убийца, жил 60 лет, сын пензенского помещика, сверстник, соученик, корнет Кавалергардского полка, на Кавказе он не в ссылке, а в командировке, уже ротмистр, тоже участник экспедиции Галафеева, но в отряде Дорохова не был, вышел в отставку в чине майора и стал жить в Пятигорске; красивый, носит маленькую бородку и усы, выбритый подбородок, склонен к холе, волосы, расчесанные на пробор, локон к левому уху, с него снимал акварель Т. Райт, профиль. Мартынов писал стихи, поэмы и прозу, но современникам в этом виде незнаком, его опубликовал Н. Нарцов в 1904 г. в Тамбове. Что б ни произошло между ним и Лермонтовым, вскрытие письма, ревность к сестре, несосчитанные деньги, лермонтовские насмешки и пр.— это было всегда, с детства их дружбы, это повод для дуэли, но не причина. Причина глубока. Нам ее не вскрыть, чтоб не бросить черный луч на и так бесцветную муть Мартынова. Пожалуй, тут связь со стихами. Я приведу еще друзей Лермонтова, ведь и Дмитриевский, секундант, тифлисский чиновник — поэт, Лермонтов ценил его, тот печатался в «Сыне Отечества», у него хранилось бандо Екатерины Быховец, забрызганное кровью Лермонтова. Еще один, доктор Мейер («прототип» Вернера), знал философию, литературу, историю, писал стихи и новеллы, после выхода Героя говорит Сатину (в письме): ничтожен Лермонтов, ничтожен талант его. Не правда ли, странно дымный список пишущих возле поэта, и один из них убийца, а остальные исчезли, как огонь. Отбросим стихи, этот хлам божий, но когда героя убивает майор в отставке, пишущий поэму «Герзельаул» —

ужасная смерть! — без боя, не состязаясь, берет дуло, и пуля бьет незащищенное тело, пронзая от пятого ребра снизу до лопатки (мы и мишени жалели, стреляя, рвутся, не видать кругов!). Забавно, иа дуэль ехал и А. П. Беикеидорф, родственник того, шефа, и он — поэт! Лермонтов изиестен при дворце не понаслышке, со дня свадьбы А. Г. Столыпина с любимейшей фрейлиной М. В. Трубецкой, сестрою кандидата Шарлотты, вход во дворец — знак плюс, поэт знаком с Шарлоттой прямее, чем пишут. Шарлотта видит Лермонтова; увидев, просит достать стихи, и по ее желанию во дворце читают вслух «Демона», и Демон нравится Шарлотте. В том же году Лермонтов сталкивается на маскараде с двумя масками, в голубом домиио и розовом, голубое — цвет Шарлотты, розовое — ее дочери Марии, Лермонтов пишет им: как часто пестрою толпою окружен. Шеф Бенкеидорф негодует. Дуэль Лермоитова с Барантом на женской линии и плоскости, и Шарлотта взволнована, всюду твердит строки Лермонтова: в минуту жизни трудную. В июне Шарлотта дает «Героя нашего времени» Николаю, Шарлотта в восхищеньи, Николай резко отзывается о Печорине и ссылает Лермонтова иа Кавказ, где тот был уже более года, опять. Николай пишет Шарлотте 14 июня 1840 г., счастливого пути, господин Лермонтов, пусть ои прочистит себе голову. Под пулями. Через 11 месяцев и 1 день Лермонтов убит выстрелом в грудь навылет. Сейчас скажем условия дуэли: 1. барьер в 10 шагов; 2. встают иа крайних точках; 3. каждый стреляет, когда хочет; 4. осечки считаются за выстрелы; 5. после первого промаха противник имеет право вызвать выстрелившего на барьер. Право каждого на три выстрела с десяти шагов с вызовом отстрелявшегося опять нажимать курок. Ничего, кроме смерти, тут быть не могло. Не было ни врача, ни экипажа. Пишут, что секунданты надеялись на мирный исход, но за кого они принимали стрелявшихся? — вопрос, и ответ: они принимали и того, и другого за Лермоитова. Напомним, см. выше,— у Лермонтова кодекс чести, штыковой бой и ножи, на знамени его отряда *презрение к огнестрельному* оружию, дуэль с Мартыновым шестая из дуэлей Лермонтова, и никому он не тянул руку с миром, но и не стрелял, ни разу. Это знали обе кавказские линии, Петербург, Москва, Николай, секунданты, знал и Мартынов. И, зная, выстрелил и убил, прострелил насквозь, всего, виртуоз. Нужно отметить, что к дуэли с Лермонтовым готовился в те дни брат Баранта Проспер, и французский полковник Тэтбу плыл на шлюпе к поэту, чтоб стреляться. В том-то и щегольство этого Лермонтова — он не имел права стрелять, потому и шел на дуэли на пистолетах, охотно. Зная это, ие один пытался исадить пулю в блистательное (т. ск.!) тело, и посчастливилось Мартыиову, тому, с кем Лермонтов десять лет жил бок о бок, дружа семьями, ценя его красоту и и общем-то данность. За этими красивыми глазами билось сердце майора, женское. Источники упоминают, что 15 июля то начинались, то прекращались ливневые дожди, офицеры стрелялись под дождем, и сильная гроза и после дуэли. Труп лежал. Васильчиков поскакал в город за врачом,— нет врача. Глебов и Столыпин уехали в Пятигорск, наняли телегу и отправили с нею кучера Лермонтова Ивана Вертюкоиа и человека Мартынова Илью Козлова, те и привезли тело на квартиру. 6 августа в Одесском вестнике № 63 сообщение А. С. Андреевского: 15 июля около 5 часов вечера разразилась ужасная буря с молнией и громом: в это самое время между горами Машуком и Бештау скончался лечившийся в Пятигорске М. Ю. Лермонтов. Не некролог, а новелла, космично. Белинский: этой жизни суждено было проблеснуть блестящим метеором и оставить после себя длинную струю благоухания. Вот и Белинский пустил длинную струю благоухания. Лермонтов очень много знал, и в чем-то проговорился, поэтому Бог его и забрал к себе, быстренько, не дав развиться... этим разговорам,— пишет Джеймс Джойс. Узнав, Шарлотта пишет в дневнике 7 августа 1841 г.: гром среди ясного неба! Почти целое утро с Машей (дочерью), стихи Лермонтова. 12 августа Шарлотта пишет С. А. Бобринской: вздох о Лермонтове, о его разбитой лире, о русской литературе, он мог бы быть выдающейся звездой. В этот же день Шарлотта дарит Марии обе книги Лермонтова. Николай, узнав о смерти Лермонтова, говорит: собаке — собачья смерть! Опять собака! (см. выше). Даты жизни Лермонтова: 1814—1841. Уже в числах-перевертышах скрыт фатум. Прибавим к исследованиям роковых дат: все крупные правительственные заговоры в России после 1841 г. имели честь быть в лермонтовские дни. Две мировых войны для России 1914, 1941 гг. О поэзии: в 1941 г. покончили с собою Вирджиния Вулф и Марина Цветаева, обе поклонницы Лермонтова. В 1941 г. умер Джеймс Джойс, считающий всю жизнь свою главным в себе влияние Лермонтова. Достоевский называл прозу Лермонтова единственной в русской литературе, да она и одна у нас в бриллиантовой чистоте (голубого бриллианта!), в антисоциальности. Достоевский не литература, а гениальная импровизация, он — Инквизитор-Импровизатор, без искусств, над культурой. Это от юношеских ран с Петрашевским, казнью, ссылкой, от пускания благоуханных струй Белинского — Достоевский несвободен. Петрашевский утопист, читал книжные новинки из Европы кому попало, а приверженец Петрашевского студент Филиппов основал в Петербургском университете общество по искоренению грубости нравов у студентои. Чтоб распространить шире вежливость и деликатность, они ввели дуэли: если студент оскорбит товарища, он должен драться с ним на дуэли.

Студенческий суд рассматривает проступок и присуждает виноаного к поединку: если обиженный слабосильный и не умеет защищаться, суд назначал лицо, с которым обидчик должен драться на пулях. Для этого вскладчину нанимали учителей фехтоаания и стрельбы и занимались, а сам Филиппов стал знаменитым рубакой и грозой тех, кто оскорблял слабых. За это Николай арестовал кружок. Петрашевского он обвинил, что тот сумел распространить эти шпаги и револьверы по всей России, где петрашеацы излагали пламенным языком идеи братства и спорили о труде для всех и о безоблачной любви. 22 декабря 1849 г. их привезли на Семеновскую площадь. Свежевыпавший снег, окружение войск, на валу толпы народа; и солнце, только что взошедшее красным шаром, блистало, облака сгущенные. Солнца не видел я восемь месяцев,— пишет Д. Д. Ахшарумов,— кто-то взял меня бесцеремонно за локоть и сказал: вон туда ступайте. Я увидел среди площади подмостки квадратной формы, со входною лестницею, и все обтянуто черным трауром — наш эшафот. Там стояли: Петрашевский, Львов, Филиппов, Спешнев и некоторые другие... Кареты все еще подъэжали и оттуда один за другим выходили заключенные в крепости. Вот Плещеев, Ханыков, Кашкин, Европеус, а вот и милый мой Ипполит Дебу... Все прощались. Теперь нечего прощаться, становите их,— закричал генерал. Всех нас было 21 человек. Явился какой-то чиновник со списком в руках и стал, читая, вызывать нас каждого по фамилии. После него подошел священник с крестом в руке и сказал: сегодня вы услышите справедливое решение вашего дела, последуйте за мной. Нас поаели на эшафот... Нас интересовало, что будет с нами далее. Вскоре внимание наше обратилось на серые столбы, врытые с одной стороны эшафота. Для чего столбы у эшафота? — Привязывать будут, военный суд, казнь расстрелянием. Войдя на него (эшафот), мы столпились все вместе, нас поставили даумя рядами: один, меньший, наиболее суровых преступников: Петрашевский, Спешнев, Момбелли, Львов, Дуров, Григорьев, Толль, Ястржембский, Достоевский... Другой ряд — Филиппов, Дебу старший и Ипполит, Плещеев, Тимковский, Ханыков, Головинский, Кашкин, Европеус, Пальм. Расставлены. Войскам скомандовано: на караул! — и этот ружейный прием, исполненный вмиг несколькими полками, раздался ударным звуком. За тем скомандовано (нам): шапки долой! Холодно, а шапки все ж прикрывают голову. Чиновник в мундире читает изложенные вины каждого в отдельности, дело закончилось словами: полевой уголовный суд приговаривает всех к смертной казни — расстрелянием, и 19 сего декабря Николай собственноручно писал: быть по сему. Мы стояли в изумлении. Затем нам поданы белые балахоны и колпаки, саваны, и солдаты, стоявшие сзади, одевали нас в предсмертное одеяние. Кто-то сказал: каковы мы в этих одеяниях! Взошел на эшафот священник, тот же самый, с Евангелием и крестом, и поставлен аналой (столик для икон и книг). Священник: братья, пред смертью надо покаяться, кающемуся Спаситель прощает грехи, я призываю вас к исповеди. Никто не отозвался. Тогда подошли к Петрашевскому, Спешневу и Момбелли и стали привязывать их к серым столбам веревками, по одному на столб. Приказ: колпаки надвинуть на глаза. Раздалась команда: «Клац», и группа солдат — 16 — стоящих у эшафота, направили ружья и прицелу на Петрашевского, Спешнева и Момбелли. Момент этот был поистине ужасен. Но вслед за тем увидел я, что ружья, прицеленные, вдруг подняты стволами вверх, от сердца отлегло, отвязывают привязанных, приехал какой-то экипаж, флигель-адъютант читает бумагу, и в ней извещалось о даровании нам Николаем жизни и взамен смертной казни, каждому, по виновности, особое наказание. По окончании чтения с нас сняли саваны и колпаки, взошли на эшафот люди, вроде палачей, одетые в старые цветные кафтаны, и, став позади ряда Петрашевского-Достоевского, стали ломать шпаги над головами поставленных на колени ссылаемых в Сибирь. После нам дали каждому арестантскую шапку, овчинные, грязной шерсти тулупы и такие же сапоги, на середину эшафота принесли кандалы и, бросив эту тяжелую массу железа на дощатый пол эшафота, взяли Петрашевского, и выведя на середину, двое, по-видимому кузнецы, надели на ноги его железные кольца и стали молотком заклепывать гвозди... Бело-туманно, идут поезда живых уток, тонут волны — холодно, лодки стоят на цепи, похожие на котлы, ему снились Горы (Николаю!) и реки, леса, озера и равнины, грудная клетка России, и что в ней маятник лежит. Николай берет рукой пустую клетку, сердце качает, толкнет — идет, и ходит, если из руки в руку бросать, а так стоит, лежит, и Россия лежит географически, орлы над нею летят, медведи под Петербургом стройные, как сосны, на Невском волки помои едят, кости собаки едят; то сердце России, что Николай толкал сонный, стучит, его Николай рисует в альбомы, без подписи, нарисует себя, а поверх мундира сердце, а в центре букву Р. Россия, или две Р: Россия — родина, или три Р: Россия — родина русских. Русских Николай очень любил. Николаю снилась бочка капусты, а в ней Бенкендорф квасится, граф, в мундире, без шлипы, и большой палец вверх показывает, что хорошо ему, перед кончиной они обсуждали, как быть, Николай хотел сохранить тело друга, оказывается, годен капустный рассол в стеклянной бочке, Бенкендорф согласился сразу ж: хорошо, да, но Николай квасить не хотел, а облили (мастера) гроб капустой. Николаю снились китайцы, и он волновался. Снились старые руки любов-

ниц, снились ему собаки, катушки, Наполеон в сапогах, в дырочках, пулями пронзенный, в животе дыра, и там пуговиц полный живот, иабито. Снилось, что в ночном горшке варят двух цыплят, ощипанного и неощипанного, с вишнями. Николаю снилась Европа, и каждая страна, будто ребенок, тянет ручки к Николаю: Австрия, Пруссия, Франция, Испания, Италия — как девочки, а Англия — как мальчик, толстолицый, вынут из смокинга, курит, рыдая, Индия снилась, как девочка, как Пушкин. Лермонтов ему снился из ночи в ночь, Николай бегал к Шарлотте, старый, и жаловался: Лермонтов снится, будто он руку рубит себе и складывает. И Шарлотта записывает в дневнике: опять Лермонтов снился, и Николай вне себя, пытает, не снитсн ли и мне Лермонтов, на мои уверения, что не снитси, не верит, дает мне в кровать веревку, чтоб Лермонтов не снился, хорошо, что Бенкендорф в бочке ему снится отдельно, а Лермонтов отдельно, будто тот стоит на скале с надписью «Дарьял» и Николая длиннющей своей рукою щекочет, пуп ищет. Т. наз. декабристы ие снились, а привидится две-три жены, он их и шлет в Сибирь, стары, толку нет, одни лодки слез от них. Ему снился костюм кн. Меттерниха, толстого хлопка (материя) белый, золота на миллион распластано в виде лавров. Николай такой себе сшил бы на бал, на красной подкладке. Снилась ему бутылка литра, он видел, как пил Веллингтон. Снились ему волки и львы, кошки и мячи, и все это прыгало. Спал Николай в шинели, в карманах по револьверу, под подушкой кинжалы, на одеяле хлысты. Снился ему шоколад, он любил его, снилась ему луна, а на ней архитектурный чертеж отца, а еще жуки, воздушный дом и паровая дорога, Николаевский вокзал и Польша, дышащая огнями. Ему снились солдаты ровными рядами от Архангельска до Астрахани, Николай мечтал о винчестерах. И еще о мягком кресле в кабинете, которое выглядело б как твердое. Снились ему в супе (диетическом) кусочки куриного мяса и шкварки, мелкокрошеные, так, чтоб выглядели издали ломтиками картофельными. И еще Николай мечтал, и снились ему портянки к сапогам из тончайшего батиста и байки, чтоб обязательно свежие, ежедневно в год 365 пар портянок, ну и что недорогие. Он пробовал закручивать ноги в шелк, как Людовик XV и маркиза Помпадур, но от шелка пот. Ему снились флаконы духов, и что он спит надушенный в женском белье к мужскому телу, однажды он проснулся в чепце, это его изумило, только потом дошло, что он лыс наголо, и чепец от утреннего солнца и чтоб не простудить голову. Николай любил, чтоб его мыли руками греки и турки, их держали на особом окладе, без русского языка. Шарлотта и кандидатка Николая Россет-Смирнова пишут слово в слово в дневнике: Николаю часто снилось яичко, свежеочищенное, он его и сосал, высасывал яйцо до отворотов, проснувшись, он в поту пил морс подолгу. Николаю снился таз, полный воды, и плывут юноши со штыками, окрашенные, под маникюр, а он вх ложкой черпает. Николаю снилась табуретка с разбитым сиденьем, и он низ лица мажет помадой. И еще: как идет он в лес в мундире и снимает малиновые ягоды, и кладет руку в рот, откинувшись. И из ночи в ночь ему снились русские, сытые, со щеками из свеклы, Севастополь сдан. Еще ему снился Ниагарский водопад здесь, в России, на Волге если ее завернуть за Урал, то вполне можно сделать водопад, ничуть не хуже. Еще, сидя ночами и чертя по бумаге (он же инженер!), Николай придумал дамбу, чтоб не заливало Петербург, а залило все прибалтийские страны, чтоб оказать им помощь и, войдя в них, остаться с русским народом, населив его вдоль морей мира, этот план радоаал Николая, и ему снилось: то государства рушатся под напором контрольной воды, а то наоборот, тонет Исаакий, и на нем сотни тысяч сидят, ждут, кто спасет, ими набивают лодки и отправляют реставрироаать город на Неве. Ему снились дети в солдатских шинелях, стрелявшие в Англию. Ему снились коровы, слоноподобные, вымя, как гамак, и кормят русских, и гуси, сало их для смазки сапог целых армий, ему снились русские войска с моноклями, и бьют беспощадно из всех дул, стреляя в рост по крымской воде. Ему снился свой портрет в Турции, Египте, в Аравии, и в Персии, в Китае и в Индии. Несут ему вьюки жемчужин, цинк, бром, никель, хром, медь, уголь и рис индийский, без англичан, рис русский — как звучно. Ему снилась машина по Гумбольдту, чтоб выходили оттуда железные люди, с понятием, ему снились двуглавые орлы, море, и волны бьются ему о бока, в вышине висит розовый шар, он страдал от кандидаток, от их детей (его), у него был план вывезти детей в Польшу, не по праву рожденных (своих!) и составить из них там сейм, да поляки не захотели. Николаю хотелось спать, снов, что он послан со звезды, страдать, он сравнивал себя с Петром Великим и видел, что он больше, ему снилось много голых женщин, мужчин, особенно выбритые животные — козы, а также голые части у дочерей. Ему снились шляпы, высокие, предметы зла, французского. Ему снилось Рождество: цветные свечи с блюдечками, ему снились ружья, вынимаемые из моря, с английскими замками. Николай читал, что одним ружьем издалека англичанин убивает в день 20-30 русских людей, которые сидят на бастионах, болтая ногами, у нас таких ружей нет. Духовное завещание Николай написал еще в 1844 г., 4 мая, в день Вознесенья. Это черновик, в тот день закат был прозрачный. Первыми шли статьи, как распределить личное, собственность между членами Царской Семьи: кому дворец, кому дачу, кому деревни, и кому дать разных вещей — сапог, шинелей, табакерок, столов, кому кровать

и пр. Весь карманный капитал денег, к примеру, он делит между тремя дочерьми: Марией, Ольгой и Александрой. Еще он подчеркивает, чтоб выплачивали пенсию кучеру его Якову, комнатной прислуге, рейткнехтству, старикам-инвалидам он завещает тоже платить пенсию, государственную. Николай пишет: с моего детства два лица были мне друзьями и товарищами, дружба их ко мне никогда не изменялась, генерал-адъютанта Эдуарда я любил как родного брата, сестра его Юлия добрая, обоим им прошу назначить в Мою память пенсию сверх получаемых еще по 15 000 руб. серебром. Николай благодарит лейб-медиков Арендта, Маркуса, Мандта, Рейнгольта за то, что имели счастие служить ему. Благодарю графа Чернышева, кн. Меншикова, гр. Нессельроде, гр. Канкрина, гр. Блудова, г. Киселева, тех, кого мог неумышленно огорчить, меня прошу простить. 29 июля 1844 г. дочь Александра умирает, и Николай приписывает в завещании: вещи, предназначенные дочери моей Александре, оставляю сыну Александру, медальон и печать, которые покойиая дочь моя подарила мне яа одре — завещаю жене моей Шарлотте, а после ее смерти сыну Александру. Историк пишет: читая сие трогательное приложение к завещанию, мы вспоминаем, как пишет Карамзин о древности: без этого завещания мы не знали б всей прекрасной души Мономаха. Так и теперь: его (Николая) назидательная семейная жизнь может научить ценить прекрасные качества души его. 27 января Николай заболел гриппом, 9 февраля вопреки советам врачей он выехал в экзерциргауз для осмотра маршевых батальонов Измайловского и Егерского полков. Мороз —22°. Осмотрев, зашел к сестре Елене, от нее к военному министру. Возвратясь, чувствует себя хуже, кашель и одышка. Ночь Николай провел без сна. Но на другой день опять выехал и осматривал батальоны Семеновского и лейб-гвардии Саперный резервный полубатальон. С этого дня болезнь усилилась, Николай уже не выходил, 11 числа он не смог быть у обедни, слег. Несмотря на болезнь, Николай говорил о государстве. 17 числа опасность велика, и медики решились сказать наследнику престола. К вечеру того же дня исчез последний луч (надежды). Николай спросил Шарлотту: где лекарства? Друг мой,— сказала Шарлотта,— для христианина лучшее лекарство и облегчение от принятия св. Тайн.— Как, в постели? — закричал Николай,— я рад причаститься, но когда буду на ногах, когда Бог даст мне облегчение, а лежачий, а неодетый, могу ли я? разве я в такой опасности? Видя слезы на лице Шарлотты, Николай спросил: ты плачешь? — Нет,— ответила Шарлотта, плача. В 2 часа ночи дежурный медик (пишет): в эту минуту Николай вдруг понял, устремил на медика выразительный взор и сказал просто: скажите — что же? — умираю ли Я? говоря «умираю ли Я» он возвысил голос. Медик сказал: да. Он держал Николая за руку, она не дрогнула, Николай поднял глаза и спросил: что вы нашли во мне своим стетоскопом? каверны? — Нет,— сказал медик,— но начало паралича в легких.— И у вас достало духу объявить Мне мой смертный приговор? — О да,— сказал медик, Николай подал ему руку и сказал: благодарю. Вошла Шарлотта. Николай приказал дать телеграммы в Варшаву и Париж, и что он прощается с Москвой.— А со мной? — спросила Шарлотта.— И с тобою. К одру стеклись находившиеся в Петербурге члены царственного дома, дети детей его,— пишет гр. Блудов. Наследнику он сказал: служи России. Он шутил с детьми дочери Марии, но и им внушал службу России. Главнейшее внимание его к Шарлотте, она сказала: зачем я не могу умереть с тобою? — и он ответил: ты должна жить для них,— показывая на целые лестницы детей; еще Николай сказал: живите в тесном союзе любви семейной. Николай продолжал жить еще несколько часов и благословил генерал-адъютанта гр. Орлова и министров, гвардию, армию, флот, геройских защитников Севастополя. Удивив своей памятью, он не забыл и прислугу, и дворцовых гренадеров, потом спросил медика: скоро ли аы дадите мне отставку? скоро ли все будет кончено? — Не так еще скоро.— Не лишусь ли я памяти? — О нет,— сказал медик и добавил: пока вы здесь. Николай пожал ему руку. Последняя речь к окружению: после России я вас любнл более всего на свете. До последних минут Николай жал руки Шарлотте и наследнику. Однажды он встрепенулся и сказал: я хочу пожать руки русскому народу.— Но их 70 миллионов, столько рук не нажмешься,— возразил гр. Киселев.— Ну что ж, ради этого я готов,— сказал Николай.— Что,— спросил гр. Киселев,— жать? жить? Но час взошел, и 26 февраля в 20 минут пополудни не стало Николая. Шествие с останками Николая в соборную церковь св. апостола Петра и Павла, небо чисто и облито светом, на площади народ, спокойный, колокола церквей оглашают воздух рокотом. Когда колесница с трупом тронулась, народ быстрым движением пал на колени. Шествие: знамена, обвитые крепом, с опущенным оружием, глухими барабанами, смущенная толпа. И колесница с ящиком. Если правда и прямодушие будут изгнаны с земли, то они найдут себе убежище в сердцах государей,— это речь Людовика XI. Историк пишет: печальное шествие напоминало самые лучшие страницы из жизни Николая. Еще один, кн. Чернышев: могила Николая — колыбель человечества. Еще один: на неостывшем еще теле (он лежал 9 дней!) наброшена шинель, обычный наряд его и единственная роскошь. Впереди кортежа едет верхом церемониймейстер и дает направление шествию, идут хоры музыки, эскадроны кавалерии, роты гвардии, конюшенные офицеры, придворные лакеи,

скороходы, камер-пажи с их офицерами, вот знамя императорской фамилии, военное, знамена опущены, лошадь под богатою попоной, ведомая двумя штаб-офицерами, бьет ногой и будто бы спрашивает, почему на ней нет сегодня ее обычного всадника, Николая, за нею едут гербовые знамена областей, составляющих Русскую Империю: Ростовское знамя, Казанское, Астраханское, Новгородское, Московское, их более 40, потом другие знамена, вот черное знамя с русским государственным гербом и за ним лошадь, покрытая черным сукном, ведомая двумя чиновниками, вот рыцарь в золотых латах с обнаженным мечом, верхом на лошади, покрытой роскошным чепраком, за ними пеший латник в черных латах с обнаженным мечом, опущенным вниз, ритуальная символика, это жизнь и смерть, идут, едут. Несут гербы: Сибирский, Финляндский, Польский, Астраханский, Казанский, Новгородский, Владимирский, Киевский и Московский, потом Государственный большой герб, предшествуемый и несомый генерал-майорами, далее следуют государственные сословия в виде депутатов от них, цехи, учебные заведения, министерства, сенат, государственный совет. Проходят мимо два взвода кавалергардского полка в золотых касках. Несут иностранные ордена Николая на глазетовых подушках, их 34 штуки. Несут русские ордена (Николая). Несут короны царств и областей, присоединенных к России: царства Казанского сквозная, в драгоценностях, Астраханского с изумрудом (огромным) наверху, в алмазах, жемчугах и яхонтах, Сибирская из золотой парчи. Кавказских корон еще нет, ни одной. За ними следуют регалии, государственные: держава, скипетр и императорская корона. А за этим и тем катится колесница с ящиком Николая. Торжественное шествие духовников, певчие, дьяконы, протодьяконы, священники, архимандриты, архиереи, и преосвященный митрополит новгородский и петербургский, священники со св. иконами и духовник Николая. За духовной процессией едет колесница, обитая серебряной парчой с высоким балдахином, широкий гробовой покров из золотой парчи усеян русскими орлами, а по краям обшит горностаем, четыре генерал-адъютанта окружают гроб, стоя на ступеньках колесницы, в нее впряжены восемь лошадей под богатыми попонами, генерал-адъютанты и генерал-майоры свиты поддерживают кисти покрова, 60 пажей несут зажженные факелы с красным пламенем. За колесницей идет новый император — сын Николая, он подавляет рыдания (в себе). Ряды траурных карет императорской семьи, отряды пешей и конной гвардии с крепом, развевающимся на касках и рукоятках сабель. Николая положат в Петропавловский собор, к останкам Петра I, по завещанию. Панихида окончилась. Ночью пойдет народ, он был царь народа. Историк пишет: народ допущен в собор облобызать его оледенелую руку.— Я умираю,— произнес он в роковую минуту,— но пусть узнают верноподданные Мои, что я благословил их заочно. Вот заочники и целовали его кожу на костях. Еще один историк пишет: он хотел пожать руку каждому из 70 миллионов жителей России, но отговорили. Еще один историк о Николае: народолюбивая душа твоя. И еще один: настанет время, когда беспристрастная летопись впишет в скрижали все деяния Николая, очертит личность Великого и скажет: он соединил в себе блеск и твердость чистейшего алмаза. Правдивый и верный своему слову, он свято хранил общенациональное и ненавидел ложь и притворство. Долг, строгий долг был для него Закон, Отечество — алтарь!

17 ноября 1986 г.— 17 ноября 1987 г.

Сергей ПАХОМОВ

◆◆◆

Отпылило лето, отпылала осень,
Что ни день, то с градом вперемешку
дождь,
Стало меньше света, стало больше сосен,
На полях соломой догнивает рожь.

В лужах с грязной пеной, на дороге
тучной,
Отражает время запустенья вид.

Над речной излукой слышен скрип
уключин:
Кто-то сумасшедший рыбу сторожит.

Сердце будоражит человек упрямый,
Пусть скрипит и дальше, я не буду
спать.
Напишу про город, где болеет мама,
И про то, как ночью страшно умирать.

◆◆◆

Сегодня холодно... укройся,
И поле тихо... и луна,
И кажется, для беспокойства
Причин не сыщется, и нам
Покажется, для беспокойства
Причины нет. Зима пришла.
Сегодня холодно... укройся,
Луна исчезла со стола.

Нет, просто блюдце со свечою...
Я все проспал. Зима пришла.

Сомкнула белою рукою
Ручьев и речек удила.
И в печке щелкают дрова,
Как оружейные затворы,
И полегла у косогора,
Вчера шуршащая трава.
Я все проспал. Зима пришла.
Земля оттаяна крестами,
Как сорочиными следами...
Луна исчезла со стола.

◆◆◆

Когда поля живут дорогой,
А та — просыпанным зерном,
Мы восклицаем: слава богу —
Весна случилась за окном.

Мы восклицаем: слава богу —
Сошли морозы и метель,

И зацветает понемногу
На крышах юная капель.

Но, восклицая слава богу,
Глядим, задумавшись, в окно
На почернелую дорогу,
Где порассыпано зерно.

◆◆◆

В глуши пролетарского рая,
Где теплятся своды церквей,
Мне кажется, я умираю
Душою усталой своей.

Здесь мир — круговая порука,
Здесь вечное небо в золе,
И люди, повитые скукой,
Бредут, проступая во мгле.

Здесь можно сходить в Дом культуры,
Пройдясь переулком глухим,

И видеть, как чахлые куры
Плывут сквозь полуденный дым.

На танцах веселые парни
Кровянкой украсят твой быт,
И, сбитый со стенки ударник,
Навряд ли кого помирит.

Но лучше, спокойней — к соседу,
Там есть для утехи бурда.
Мне кажется, я не уеду
Отсюда уже никогда.

скороходы, камер-пажи с их офицерами, вот знамя императорской фамилии, военное, знамена опущены, лошадь под богатою попоной, ведомая двумя штаб-офицерами, бьет ногой и будто бы спрашивает, почему на ней нет сегодня ее обычного всадника, Николая, за нею едут гербовые знамена областей, составляющих Русскую Империю: Ростовское знамя, Казанское, Астраханское, Новгородское, Московское, их более 40, потом другие знамена, вот черное знамя с русским государственным гербом и за ним лошадь, покрытая черным сукном, ведомая двумя чиновниками, вот рыцарь в золотых латах с обнаженным мечом, верхом на лошади, покрытой роскошным чепраком, за ними пеший латник в черных латах с обнаженным мечом, опущенным вниз, ритуальная символика, это жизнь и смерть, идут, едут. Несут гербы: Сибирский, Финляндский, Польский, Астраханский, Казанский, Новгородский, Владимирский, Киевский и Московский, потом Государственный большой герб, предшествуемый и несомый генерал-майорами, далее следуют государственные сословия в виде депутатов от них, цехи, учебные заведения, министерства, сенат, государственный совет. Проходят мимо два взвода кввалергардского полка в золотых касках. Несут иностранные ордена Николая на глазетовых подушках, их 34 штуки. Несут русские ордена (Николая). Несут короны царств и областей, присоединенных к России: царства Казанского сквозная, в драгоценностях, Астраханского с изумрудом (огромным) наверху, в алмазах, жемчугах и яхонтах, Сибирская из золотой парчи. Кавказских корон еще нет, ни одной. За ними следуют регалии, государственные: держава, скипетр и императорская корона. А за этим и тем катится колесница с ящиком Николая. Торжественное шествие духовников, певчие, дьяконы, протодьяконы, священники, архимандриты, архиереи, и преосвященный митрополит новгородский и петербургский, священники со св. иконами и духовник Николая. За духовной процессией едет колесница, обитая серебряной парчой с высоким балдахином, широкий гробовой покров из золотой парчи усеян русскими орлами, а по краям обшит горностаем, четыре генерал-адъютанта окружают гроб, стоя на ступеньках колесницы, в нее впряжены восемь лошадей под богатыми попонами, генерал-адъютанты и генерал-майоры свиты поддерживают кисти покрова, 60 пажей несут зажженные факелы с красным пламенем. За колесницей идет новый император — сын Николая, он подавляет рыдания (в себе). Ряды траурных карет императорской семьи, отряды пешей и конной гвардии с крепом, развевающимся на касках и рукоятках сабель. Николая положат в Петропавловский собор, к останкам Петра I, по завещанию. Панихида окончилась. Ночью пойдет народ, он был царь народа. Историк пишет: народ допущен в собор облобызать его оледенелую руку.— Я умираю,— произнес он в роковую минуту,— но пусть узнают верноподданные Мои, что я благословил их заочно. Вот заочники и целовали его кожу на костях. Еще один историк пишет: он хотел пожать руку каждому из 70 миллионов жителей России, но отговорили. Еще один историк о Николае: народолюбивая душа твоя. И еще один: настанет время, когда беспристрастная летопись впишет в скрижали все деяния Николая, очертит личность Великого и скажет: он соединил в себе блеск и твердость чистейшего алмаза. Правдивый и верный своему слову, он свято хранил общенациональное и ненавидел ложь и притворство. Долг, строгий долг был для него Закон, Отечество — алтарь!

17 ноября 1986 г.— 17 ноября 1987 г.

Сергей ПАХОМОВ

◆◆◆

Отпылило лето, отпылала осень,
Что ни день, то с градом вперемешку
дождь,
Стало меньше света, стало больше сосен,
На полях соломой догнивает рожь.

В лужах с грязной пеной, на дороге
тучной,
Отражает время запустенья вид.

Над речной излукой слышен скрип
уключин:
Кто-то сумасшедший рыбу сторожит.

Сердце будоражит человек упрямый,
Пусть скрипит и дальше, я не буду
спать.
Напишу про город, где болеет мама,
И про то, как ночью страшно умирать.

◆◆◆

Сегодня холодно... укройся,
И поле тихо... и луна,
И кажется, для беспокойства
Причин не сыщется, к нам
Покажется, для беспокойства
Причины нет. Зима пришла.
Сегодня холодно... укройся,
Луна исчезла со стола.

Нет, просто блюдце со свечою...
Я все проспал. Зима пришла.

Сомкнула белою рукою
Ручьев и речек удила.
И в печке щелкают дрова,
Как оружейные затворы,
И полегла у косогора,
Вчера шуршащая трава.
Я все проспал. Зима пришла.
Земля оттаяна крестами,
Как сорочиными следами...
Луна исчезла со стола.

◆◆◆

Когда поля живут дорогой,
А та — просыпанным зерном,
Мы восклицаем: слава богу —
Весна случилась за окном.

Мы восклицаем: слава богу —
Сошли морозы и метель,

И зацветает понемногу
На крышах юная капель.

Но, восклицая слава богу,
Глядим, задумавшись, в окно
На почернелую дорогу,
Где порассыпано зерно.

◆◆◆

В глуши пролетарского рая,
Где теплятся своды церквей,
Мне кажется, я умираю
Душою усталой своей.

Здесь мир — круговая порука,
Здесь вечное небо и золе,
И люди, повитые скукой,
Бредут, проступая во мгле.

Здесь можно сходить в Дом культуры,
Пройдясь переулком глухим,

И видеть, как чахлые куры
Плывут сквозь полуденный дым.

На танцах веселые парни
Кровянкой украсят твой быт,
И, сбитый со стенки ударник,
Навряд ли кого помирит.

Но лучше, спокойней — к соседу,
Там есть для утехи бурда.
Мне кажется, я не уеду
Отсюда уже никогда.

Галина
ГАМПЕР

◆◆◆

Рассвет сулит ни кровь, ни пот,
Косит на нас прозревшим оком.
Кто под руку попался, тот
И осчастливлен ненароком,
Наверняка в напрямик,
И навсегда (по всем приметам)...
Дай Бог ему в сей дивный миг,
Случившемуся в мире этом.
Так года два тому назад,
Твердили мы, надеждой пьяны.

А нынче зябко прячем взгляд,
Как руки голые в карманы.
Я лишь утрировала знак,
Отметивший сердца и лица,
Не то чтобы заряд иссяк,
Но, чуть сместившись, цель двоится.
И слово обретает гул,
Как камешек, чреватый лавой.
И впрямь пророческий посул
Сквозит изнанкою кровавой.

◆◆◆

Все мы в комплексах, так повелось,
И спортивно-концертных, и прочих.
В их тени нам неплохо жилось,
И плевать нам хотелось на зодчих,
И на то, что мы все не вполне —
Тот безволен, другой несгибаем...
Где мы бродим с тобой при луне?
«Комплекс Ленина»[1] мы огибаем,

Круг за кругом — идем по прямой
(Место выгула псов и влюбленных)...
Повезло, а тем паче зимой,
Нам, живущим не в парковых зонах.
И внутри, и снаружи сильны
Наши комплексы тем, что чреваты...
Нам неведом лишь комплекс вины,
Ибо все, кроме нас, виноваты.

◆◆◆

Прозренье — тяжкая работа
Души, тем более вначале.
Мы выросли от анекдота
До исповеди и печали.
От горькой матерной частушки
Под водочку (при дешевизне)...
Содвинем дружеские кружки
Мы на пиру, подобном тризне,

На тризне, что подобна пиру.
Прижмем к груди гитаро-лиру,
Прижмем, тихонько струны тронем,
Мы мертвых заново хороним
Непоправимой правды зоны,
За далью даль бедой разъята.
Ребята, говорю, ребята,
В ответ молчат мужи и жены.

Новоселье

Да, «Мир дому сему» — так и светится в нашем окне,
Этот росчерк неоновый — больше смущает, чем греет,
Ибо как мы ни склонны к тому, чтобы верить вполне,
Но боимся, что тут-то как раз и беда одолеет.
И живешь начеку, будто ты от рожденья чекист
(в перестроечный бум что еще может выдать подкорка?).
Кто из нас без греха, кто пред Богом и ближними чист?..
Потому и дрожим, и в приметы впиваемся зорко.
Перспектива в окне мне впервые под старость дана,
Это не фигурально, е натуры пейзаж обозначен,
С детства взгляд мой наружу всегда подсекала стена.
Воспринять ли как знак, только боязно, слишком прозрачен.

---

[1] Спортивно-концертный комплекс им. Ленина в Ленинграде.

ДВАДЦАТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

Амо
САГИЯНА

В переводах
Михаила Дудина

Кто знает?..

Предчувствием чуда
Крадется беда:
Конь ржет ниоткуда,
И мчится вода.

Кому-то навстречу
Неведомо где...
А что я отвечу
Коню и воде?

Я эти тревоги
От сердца гоню.
— Счастливой дороги
Воде и коню!

Вода эта рядом
Конем — на карниз,

А конь — водопадом
Пластается вниз.

Кто чудом беды
На глазах у меня
Движенье воды
Превращает в коня?

Кто легкою тенью
Воды и коня
Служить вдохновенью
Толкает меня?

Кто, верящий в слово,
Мне скажет ответ,
Что я еще снова
Сегодня поэт?

У нас нет выхода...

Давно нашу землю отняли у нас.
Очаг в нашем доме разбитом угас,
И нет ни земли и ни крыши.
Мы камень ломали в расщелинах скал
И каждый судьбу свою в камне искал,
Надеясь на мужество свыше.

Обманом и ложью отмеченный путь
Из мрака столетий в грядущую жуть.
Надежда на выход пропала.
Но есть молодежь! И в тебе, молодежь,
Немало безумцев сасунских найдешь,—
Сасунской решимости мало.

У этих безумцев исчезла Хандут.
Кто их вдохновит на решительный труд?
Кто горькой победе научит?
Мы долго томились по нашей весне
В своем затяжном и мучительном сне.
Проснулись — бессонница мучит.

В пещерах времен наша жизнь протекла,
И боль вековая нам плоть пропекла,
Лишила нас радости нашей.
Нет, мы не хозяева сами себе!..
Как будто и не было в нашей судьбе
Засеянных предками пашен!..

Куда мы идем?..

Зачем мы пришли и куда мы идем
Сквозь время по миру печальным путем?
Повсюду нас словом и взглядом корят:
Вы здесь не живете — про нас говорят,

Здесь место не ваше, а наше, не вы
Хозяева гор, облаков и травы,
Хрустальных вершин и седых пропастей,
И храмов своих и своих крепостей!

И нам остается горючая соль
Слезы материнской и давняя боль
Пещер одиночества, каменный плен
Последней надежды разрушенных стен.
Восстань! Поднимись, мой упрямый
народ;
К заоблачным высям кремневых пород.
Ованом-Горланом судьбу разбуди
Отважного сердца могучей груди!
Пусть снова поднимется гордый Давид
И мир справедливой судьбой одарит,
Для радости жизни долин в высот
Священную гору от плена спасет.

Жаворонкам

Куда вы скрылись, жаворонки? Вас,
Быть может, кто-то сбил в недобрый час
С дороги к нам; движенье легких крыл
Коварным наважденьем перекрыл,
Прибавил нам печалей и забот.
Без ваших песен хлеб на вкусе не тот,
Особенность исчезла в нем уже,
Как что-то сокровенное в душе.
Где вы сейчас обосновались? Где,
В какой вселенной, на какой звезде?
Вернитесь к нам! Мы — старые друзья.
А если вам сейчас лететь нельзя,—
После меня вернитесь в наше поле,
Пусть будет больше песен, меньше боли!

◆◆◆

Когда я полях рассвет кропил
Росой ночные тени,
Я песню жаворонка пил
И слушал рев олений,
И ликовал весь мир земной
Весенней радостью со мной.

И вновь через тоску веков
Я здесь иду без цели
И пью холодный свист ветров
И слышу стон ущелий.
И к миру этому мой дух
По божьей милости не глух.

◆◆◆

Я побывал у тех вершин,
Где схоронил коня.
Он честный путь свой завершил
На службе у меня.

Я побывал на той горе
Вечернею порой.
Там тучи в лунном серебре
Бежали над горой.

Одна из них, белым-бела,
Моим конем была

И взглядом моего коня
Смотрела на меня.

Чтоб приласкать его скорей
Я побежал туда,
Но над могилою своей
Конь рухнул без следа.

И в тех местах не наугад
Он память бережет
И, превратившись в водопад,
В ущелье диком ржет.

◆◆◆

Горная тропинка,
В середине дня
К голубой вершине
Уведи меня.

Дай мне надышаться
На вершине той
Самой величавой
Снежной чистотой.

Там на крыльях Бога
Я над ней промчусь
И слезами Бога
Плакать научусь.

К голубой вершине
Возвращусь потом
И засну спокойно
Непробудным сном.

◆◆◆

Смурные дни летят, как тени,—
Я ничего не смыслю в них.
В едином мире много мнений,—
Я ничего не смыслю в них.

Темны нечестных игр картины,—
Я ничего не смыслю в них.

Вступают в споры властелины,—
Я ничего не смыслю в них.

Наш век без совести и чести
Идет к концу своим путем.
Душа черствеет с веком вместе,—
Я ничего не смыслю в том.

◆◆◆

На свете есть такие люди,
Которые в урочный час,
Все то, что было, есть и будет
И нас хотят отнять у нас.

Грозят расправою и дразнят,
Из ножен выхватив ножи.
Что ж! Пусть идут и пусть погрязнут
В болоте зла, греха и лжи.

◆◆◆

За что нас предают проклятьям
И ненавидят в эти дни?..
У нас немало было братьев,—
А мы сейчас совсем одни.

На нас, какой в угоду цели,
Клеймо отверженных горит.
За что? За то, что мы посмели
О старой боли говорить!

◆◆◆

Они вокруг тебя кишат,
Приглядываясь к кушу,
Грехи и слухи потрошат
И пожирают душу.

Но ненависть на твой порог
Какая бы ни перла,—
Ты станешь костью поперек
Расщеренного горла.

◆◆◆

Я прожил жизнь. Я видел жизнь в упор.
Увиденное — адская геенна,
Где каждый шаг — безумие, позор
Предательства и мелкая измена.

Мы потеряли правды рубежи
И всюду аплодировали лжи.

Мы шли к теплу, а вышли в ледяной
Мир, хитрым отчуждением разъятый.
Перед своей и общею бедой
Что я скажу своей душе распятой?..

◆◆◆

Гранатовому дереву, когда ты
Еще была в волшебном царстве сна,—
Сегодня утром красные гранаты
На красных крыльях птица принесла.

Как наша осень красками богата,
Как связи нашей жизни велики:
На каждом зрелом зернышке граната
Горел румянец от твоей щеки.

◆◆◆

Охотник выстрелил.
И в стае на одну птицу стало меньше,
А в мире на одно преступление больше.
И в жизни, изголодавшейся по совести,
Стало меньше на два крыла жизни
И на одну долю жалости.
А в храме моей души
Треснул еще один колокол.

◆◆◆

Мы о тебе еще поговорим,
Ты подожди спокойно,— после смерти.
Своей судьбою отблагодарим
Твою судьбу достойно,— после смерти.
Я прожил жизнь со всеми наравне
И чувствую себя устало и недужно.
При жизни мало было нужно мне,
А после смерти... ничего не нужно.

Печальна панихида — долг души,
Последнего прощания в тиши.

◆◆◆

Снова старая боль нам терзает усталые души.
Снова стон из Тер-Зора врывается в наш непокой.
Снова смерть нас испытывает и душит
Нашу веру трясущейся в страхе рукой.
Наше прошлое с нами величьем легенды и сказки
В наших судьбах судьбою Давидовой озарено.
Если мы и умрем, то умрем, как живем — по-армянски,—
Так, как чистой пшеницы в земле умирает зерно.

◆◆◆

Мне хочется исчезнуть в никуда.
Вокруг меня замерзшая вода
Слепого равнодушия. Застой
Засохших мыслей страсти холостой,
Нашествие пороков я зараз,
И торжество честолюбивых фраз.
Вокруг меня — моей судьбы беда.
Мне хочется исчезнуть в никуда.
Мне стал невыносимым вечный плен
Глобальных и локальных перемен,
Пустых и оптимальных новостей,
Могучего безвластия властей,
Деление печали на двоих,
Терпения в слабостей моих
И неопределенного труда.
...Мне хочется исчезнуть в никуда.

◆◆◆

Над белой вершиной на белом коне,
Как ветер, не зная предела,
Над белой вершиной на белом коне
Зеленая юность летела.
Под белой вершиной в зеленой тени
Над пропастью слова и дела,
Под белой вершиной в зеленой тени
Моя голова поседела.

◆◆◆

Мне надоела гласность напоказ
Неразрешимых споров и вопросов.
Пойду схожу в последний, может, раз —
Послушаю молчание утесов.

И вникну в смысл классических речей
Ручьев и речек, чуждых суесловью,
Залетных птиц в тени карагачей,
Наполню слух безгрешною любовью.

От запаха заката опьянев,
Поверю в жизни верную удачу.
Засну. Очнусь. Забуду боль и гнев
И сумрак влажных сумерек оплачу.

◆◆◆

Под песню жаворонка поле
Пьет солнце. И зеленый мак
Вдруг разгорается на воле,
Как вечной жизни вечный знак.
Закат, как мак, пылает алый.
С землею купол неба слит.
И под крылом огня усталый
Неслышный жаворонок спит.

Курцио
МАЛАПАРТЕ

КАПУТ

Роман

ЧАСТЬ I. ЛОШАДИ

На стороне Германтов

Принц Швеции Евгений остановился посреди залы.

— Посмотрите,— сказал он.

Из-за оакхиллских дубов и сосен парка Вальдемаршуддена, из-за морских рукавов, что врезаются в берег до Ниброплана, до самого сердца Стокгольма, ветер донес нежный и печальный жалобный звук. Это не был меланхоличный зов корабельной сирены, доносящийся с моря в порт, и не туманный крик чаек: то был невнятный и жалобный женский голос.

— Это лошади в Тиволи, в луна-парке, там, у Скансена,— тихо сказал принц Евгений.

Подойдя к смотревшим в парк большим окнам, мы приложились лбами к стеклам, окутанным легкой дымкой подплывшего с моря голубого тумана. Вниз по дорожке, по склону холма, хромая, спускались три белые лошади, а за ними шла девочка в желтом платье. Они проследовали в решетчатые ворота и сошли к небольшой песчаной части берега, где сгрудились куттеры, каноэ и красно-зеленые рыбачьи барки.

Был ясный, почти по-весеннему мягкий сентябрьский день. Осень уже красила листву старых оакхиллских деревьев. С мыса, где находилась вилла Вальдемаршуддена, резиденция принца Евгения, брата короля Швеции Густава V, было видно, как по рукаву моря проходили большие серые пароходы с нарисованными на бортах большими шведскими флагами с желтыми крестами по голубому фону. Чайки на лету издавали похожие на плач ребенка, жалобные, хриплые крики. Там, вдоль набережных Ниброплана и Страндвагена видно было, как качаются белые пароходы с милыми названиями шведских деревень и островов. Они челноками снуют между Стокгольмом и архипелагом. За арсеналом поднималось облако белого дыма, которое то и дело белыми молниями пронизывал полет чаек. От Бельманнсро и Хассельбаккена ветер доносил музыку оркестров, крики моряков, солдат, девушек и детей, собравшихся посмотреть на акробатов, жонглеров и послушать бродячих музыкантов, целыми днями развлекающих публику у входа в Скансен.

Принц Евгений внимательно следил за лошадьми, прикрыв глаза светлыми прозрачными веками в зеленых жилках. В профиль в ускользающем свете заката слегка полноватые губы гурмана, которым белые усы придают почти детски ласковое выражение, орлиный нос, высокий лоб, увенчанный бело-седыми вьющимися волосами, рассыпающимися как у только что проснувшегося ребенка; его розовое лицо походило на медальерный рисунок лица Бернадоттов. Из всей королевской семьи Швеции более всех походил на наполеоновского генерала как раз принц Евгений, и его четкий, резко очерченный, почти жесткий профиль странным образом противоречил мягкому взгляду, изящной манере говорить, улыбаться, двигать красивыми белыми руками с бледными и тонкими пальцами, руками Бернадоттов. За несколько дней до этого я ходил в один стокгольмский магазин посмотреть на вышивки короля Густава V, выполненные им долгими зимними вечерами в Тессинском дворце и во время летних белых ночей в замке Дроттнингхольм в окружении родных и самых близких придворных. Он делает это с тонким изяществом, и его вышивки напоминают древнее венецианское, фламандское, французское искусство. Принц Евгений не вышивает, он — художник. Его

Журнальный вариант.

манера одеваться,— свободный и небрежный монмартрский стиль пятидесятилетней давности, времен, когда принц Евгений и Монмартр были молоды.

— Каждый день в этот час они спускаются к морю,— тихо сказал принц Евгений.

В розово-голубом ясном свете закатного солнца эти три белые лошади и девочка в желтом платье выглядели грустно и очень красиво. Войдя в воду по колена, лошади ржали и трясли головами, и гривы рассыпались по дугам их выгнутых шей. Заходило солнце. Уже много месяцев я не видел заката солнца. После длинного северного лета, после бесконечного, непрерывного дня без восходов и без закатов, небо, наконец, начало томиться над лесами, морем и городскими крышами. Будто тень (а может быть, просто отражение тени, тень от тени) сгущалась на востоке. Мало-помалу нарождалась ночь, лениво, изящно, а на западе небо пылало над лесами и озерами, сворачиваясь на закатном огне, словно дубовый лист на медленном огне осени.

Меж деревьев в парке, на фоне бледного и легкого северного пейзажа копии «Мыслителя» Родэна и Ники Самофракийской из ярко-белого мрамора неожиданно и решительно напоминали парижский стиль конца ушедшего парнасского столетия, который в Вальдемаршуддене выглядел по-своему и обманчиво. В обширной зале, рабочей комнате принца Евгения, где мы стояли, упершись лбами в стекла больших окон, еще жил слабый и устаревший отголосок парижского эстетизма примерно 1888 года, того времени, когда принц Евгений держал мастерскую в Париже (он жил на улице Монсо под именем г-на Оскарсона), беря уроки у Пюви де Шаванна и у Бонна. На стенах висело несколько полотен его молодости: пейзажи Иль-де-Франса, Сены, долины Шартрёза, Нормандии, портреты натурщиц с рассыпавшимися по обнаженным плечам волосами. Здесь висели картины Цорна и Жозефсона. Дубовые ветки осенних пурпурных листьев с золотыми прожилками стояли в амфорах из марибергского фарфора и в рестрандских вазах, разрисованных в стиле Матисса Исааком Грюневальдом. Один из углов залы занимала большая печь в белых изразцах, спереди украшенная рельефом из двух скрещенных стрел, над которыми круглилась дворянская корона. В вазе из орефорского хрусталя цвела великолепная мимоза, когда-то привезенная принцем Евгением с юга Франции. Я на мгновение закрыл глаза: и впрямь от нее исходил аромат Прованса, Авиньона, Нима, Арля, и я вдыхал благоуханный воздух Средиземного моря, Италии, Капри.

— Я хотел бы тоже, как Аксель Мунт, жить на Капри,— сказал принц Евгений.— Он, кажется, живет там среди цветов и птиц. Я иногда спрашиваю себя,— улыбаясь, добавил он,— так ли на самом деле он любит цветы и птиц?

— Цветы его очень любят,— ответил я.

— И птицы тоже его любят?

— Они принимают его за старое дерево,— сказал я,— за сухое дерево.

Прикрыв глаза, принц Евгений улыбался. Аксель Мунт провел это лето в замке Дроттнингхольм, куда каждый год его приглашает король, он уехал в Италию всего несколько дней тому назад. Я жалел, что не застал его в Стокгольме.

Шесть-семь месяцев тому назад, перед моим отъездом в Финляндию, заехав на Капри, я поднялся на башню Материта поприветствовать Акселя Мунта, который хотел передать со мною несколько писем для Свена Хеддина, Эрнста Манкера и других своих стокгольмских друзей. Аксель Мунт ждал меня под своими соснами и кипарисами: прямой и деревянный, он стоял, накинув на плечи старое зеленое пальто, косо надвинув на всклокоченные волосы мягкую шляпу, и живо и хитро поглядывал из-за темных очков, придававших ему чуть таинственный и угрожающий вид, какой бывает у слепцов. Мунт держал на поводке овчарку и, несмотря на то, что собака выглядела ласковой и тихой, как только он увидел меня за деревьями, принялся кричать, чтобы я не подходил слишком близко.

— Не подходите,— кричал он, рьяно сдерживая собаку, как бы не давая ей кинуться и разорвать меня, делая вид, что ему крайне трудно было сдержать пса, что он вот-вот не сможет больше противиться яростным рывкам злого зверя, тянувшего поводок. А собака в это время мирно и весело смотрела на меня, виляя хвостом. Я медленно шел вперед, изображая страх, с удовольствием поддаваясь этой невинной комедии.

Когда Аксель Мунт бывает в хорошем расположении духа, он развлекается, импровизируя острые сценки и искусственно создавая возможность подтрунить над своими друзьями. Может быть, это был его первый безоблачный день после многих месяцев яростного одиночества. Он провел печальную осень во власти черных фантазий и злых меланхолий. На целые дни он закрывался в этой многострадальной башне, которую, словно старую кость, глодали острые зубы порывистого юго-западного ветра с Искии и северного ветра, приносящего на Капри сернистые испарения Везувия. Он закрывался на ключ в своей сырой тюрьме, среди выдуманных им старинных картин и греческих мраморных скульптур, своих мадонн XV века, вырезанных из кусков мебели времен Людовика XV.

В тот день Мунт выглядел умиротворенным. В какой-то момент он принялся рассказывать о каприйских птицах: к вечеру, в закатный час, он выходит из своей башни, медленно и осторожно пробирается среди деревьев парка, накинув на плечи старое зеленое пальто, косо надвинув на всклокоченные волосы мягкую шляпу, и, спрятав глаза за темными очками, идет до того места, где деревья редеют, тенями своими создавая в траве как бы зеркало неба. Там он стоит, прямой, худой, деревянный, как ствол иссушенного солнцем и разбитого бурями дерева. Он счастливо усмехается в свою бороду старого фавна и ждет. С радостным чириканьем птицы стайками слетаются к нему, садятся на плечи, на руки, на шляпу, поклевывают ему нос, губы, уши. Стоя так, прямо и неподвижно, Мунт на нежном каприйском диалекте разговаривает со своими маленькими друзьями до самого заката, когда солнце погружается в глубокое зеленое море, а птицы все сразу улетают к гнездам, выводя прекрасную прощальную руладу.

— Ах, эта каналья Мунт! — сказал принц Евгений, и его голос чуть дрожал от теплого чувства.

Мы тогда прогулялись по парку под соснами, в которых шумел ветер, затем Аксель Мунт повел меня в самую верхнюю комнату своей башни. Раньше, по всей видимости, здесь был просто чердак, а теперь Мунт сделал из него спальню и проводил в ней дни черного одиночества, когда, закрывшись там, как в тюремной камере, он затыкал уши ватой, чтобы вовсе не слышать человеческого голоса. Он сел на скамейку, поставив толстую трость между колен и закрутив вокруг запястья поводок. Собака улеглась у его ног и смотрела на меня ясными и грустными глазами. Аксель Мунт поднял голову: внезапная тень легла на его лоб. Он говорил, что не может спать, что проводит ночи в застарелой тревоге, прислушиваясь к свисту ветра в деревьях и отдаленному голосу моря.

— Надеюсь, вы не собираетесь рассказывать мне о войне,— сказал он.

— Я не стану говорить вам о войне,— ответил я.

— Спасибо,— сказал Мунт.

Потом вдруг он спросил меня, правда ли, что немцы ужасающе жестоки.

— Их жестокость происходит от страха,— ответил я,— они больны страхом. Это больной народ, безумный народ.

— Да, безумный народ,— сказал Мунт, ударяя тростью об пол. И после долгого молчания он спросил меня, правда ли, что немцы жаждут крови и разрушения.

— Они боятся,— ответил я.— Они боятся всего и всех. Они убивают и разрушают от страха. Они не боятся смерти: ни мужчины, ни женщины, ни старики, ни дети. Ни один немец не боится смерти. Они не боятся и боли. В некотором смысле можно сказать, что немцы любят боль. Но они боятся всего, что живо, всего, что живо помимо них, и всего того, что отличается от них. Они заболели странной болезнью. Сверх того, они боятся слабых, безоружных людей, больных, женщин, детей. Они боятся стариков. Их страх вызывал во мне жалость. Если бы Европа могла пожалеть их, они, может быть, вылечились бы от своей ужасной болезни.

— Они так свирепы? Так правда, что они уничтожают людей без всякой жалости? — прервал меня Аксель Мунт, нетерпеливо ударяя тростью об пол.

— Да, это правда,— ответил я,— они убивают безоружных людей, вешают евреев на деревьях на деревенских площадях, как крыс, заживо сжигают их в домах, расстреливают рабочих и крестьян в колхозных и заводских дворах. Я видел, как они смеются, едят, спят в тени трупов, развешанных по веткам деревьев.

— Это безумный народ,— сказал Мунт, снимая темные очки и тщательно протирая стекла носовым платком. Он сидел с опущенными веками, и я не мог видеть его глаз. Потом он спросил меня, правда ли, что немцы убивают птиц.

— Нет, это не правда,— ответил я,— у них нет времени на птиц. У них едва хватает времени на людей. Они уничтожают евреев, рабочих, крестьян, с дикой злобой сжигают города и деревни, но птиц они не убивают. Ах! В России есть прекрасные птицы. Может быть, они красивее каприйских птиц.

— Красивее каприйских птиц? — спросил Аксель Мунт с раздражением.

— Красивее и радостнее,— ответил я.— На Украине есть бесчисленные великолепные птичьи семейства. Тысячами они летают, щебечут в листве акаций, они легко садятся на серебристые ветви берез, на колосья хлебов, на золотые ресницы подсолнухов и клюют семечки, посматривая вокруг большими черными глазами. Их пение слышится под грохот пушек, под стрекот пулеметов, под мощный рокот самолетов над огромной украинской равниной. Они садятся на плечи солдат, на седла и гривы лошадей, на стволы пушек и на ружья, на башни танков, на сапоги мертвых. Они не боятся мертвых. Это живые и веселые маленькие птички, серые, зеленые, красные, желтые. У некоторых только грудки красные или голубые, у других — шейка, хвост. Есть и белые птички с голубой шейкой, я видел и совсем белых (они очень маленькие и гордые), без пятнышка. Утром, на рассвете, они начинают нежно петь в хлебах, а немцы пробуждаются от своего печального сна, поднимают головы и слушают их веселую песню. Птицы тысячами летают над полями боев на Днестре, Днепре, на Дону, они свободно и весело щебечут. Они не боятся войны, не боятся Гитлера, эсесовцев, Геста-

по. Они не прячутся в деревнях и не смотрят затаенно на разгром, они летают и поют в небесной лазури и по верху следуют за маршем войск по бесконечной равнине. Ах! Они, право, красивы, украинские птицы!

Аксель Мунт поднял голову, снял темные очки, посмотрел на меня живыми глазами с хитринкой, улыбнулся.

— Хорошо, что немцы не убивают птиц! — сказал он.— Я счастлив, что они не убивают птиц.

Долгое и нежное ржание послышалось с моря. Принц Евгений вздрогнул и закутался в широкое пальто из серой шерсти, висевшее на спинке стула.

— Пойдемте, посмотрим на деревья, они красивы в этот час.

Мы вышли в парк. Становилось холоднее, и небо на востоке стало цвета коричневого серебра. Медленное угасание дня, возвращение ночи после бесконечного летнего дня создавало впечатление мира и безмятежности. Мне казалось, что война кончилась. Я провел лето в Лапландии, на Петсамо и Лизе, в обширных лесах Инари, в арктической мертвой и лунной тундре, под жестоким, не заходящим солнцем. И эти первые осенние тени возвращали меня к ощущению тепла, покоя, безмятежности жизни, не отравленной постоянным присутствием смерти. Наконец, я кутался во вновь обретенную тень, как в шерстяной плед. В воздухе витало тепло, уютный женский аромат.

Всего несколько дней тому назад я приехал в Стокгольм после долгого пребывания в больнице в Хельсинки, и я вновь обрел в Швеции ту мягкость безмятежной жизни, которая когда-то составляла очарование Европы. После стольких месяцев дикого одиночества на Крайнем Севере, среди лапландцев, охотников на медведей, пастухов-оленеводов, рыбаков, ловивших семгу, теперь давно забытые сцены мирной и трудовой жизни, которые я с удивлением наблюдал на стокгольмских улицах, словно пьянили меня. Будто я заблудился, сбился с пути, не туда попал. Женщины более всего возвращали меня к сознанию того, что в мире существует стыд,— атлетическое и гордое изящество светло-прозрачных шведок с волосами цвета старого золота, с чистыми улыбками, с маленькими, высоко сидящими грудями, словно две награды за спортивные победы, словно две памятные медали к 85-летию короля Густава V. Тень от первого заката солнца придавала женскому изяществу трудно выразить какую таинственность, сокровенность.

По улицам, в лазоревом свете, под бледно-голубым шелковистым небом, в воздухе, освещенном белыми отсветами фасадов домов, проходили женщины, словно голубое золото комет. Их улыбка была нежна, тепла, их взгляд — восхитителен, невинен. Сплетенные пары на скамейках в Хумбл Гардене под влажными от ночной росы деревьями казались мне идеальным повторением слившихся влюбленных Жозефсона а Фестлиг Син. Казалось, что небо над крышами, дома вдоль моря, парусники и пароходы, стоявшие на якоре в Стреме и вдоль Страндвагена, сделаны из голубого мариберг-ского и рестрандского фарфора, того голубого цвета, что окрашивает и море между островами архипелага, у Мелярена около Дроттнингхольма, и лес вокруг Зальцесбадена, и облака над последними крышами Вальхоллавагена — того голубого цвета, что таится в северной белизне, в северном снеге, в северных реках, озерах, лесах, голубого цвета шведской неоклассической архитектуры, грубой, покрытой белым лаком мебели стиля Людовика XV, которой обставлены крестьянские дома в Норрланде и Лапландии и о которой мне рассказывал густым басом Андерс Эстерлинг, прогуливаясь меж белыми колоннами с дорическими позолоченными каннелюрами в зале заседаний Шведской Академии в Гамл Штаде. Все кругом окрасилось в цвет молочной голубизны стокгольмского неба на рассвете, когда призраки, всю ночь блуждавшие по улицам города (Север — это страна призраков: деревья, дома, животные здесь — это призраки деревьев, домов, животных), походя на голубые тени, тихо возвращаются восвояси, скользя по тротуарам. Я выслеживал их, эти призраки, из окон Гранд Отеля или из окон дома Стриндберга, дома из красного кирпича, дома № 10 на Карлаплане, где теперь живет Майоли, секретарь итальянской миссии, а этажом выше — чилийская певица Розита Серрано. Ее десять бассетов бегали вверх и вниз по лестнице и лаяли, низкий и нежный голос Розиты покрывал аккорды гитары, а я смотрел вниз, на площадь, наблюдая, как блуждали там призраки. Стриндберг встречал их на лестнице, когда возвращался домой на рассвете, он заставлял их на стуле у себя в прихожей или в кровати, а бывало, они выглядывали из окна, бледно вырисовываясь на фоне бледного неба, и подавали знаки невидимым прохожим на улице. Под шепот воды в фонтане посреди Карлаплана слышно было, как листья деревьев шумели на легком ветру, который болотным туманом испаряло утреннее море.

Мы сидели в парке, в маленьком храме неоклассического стиля, там, где острой вершиной высится над морем утес, и я смотрел, как белые дорические колонны едва проступали на фоне голубизны осеннего пейзажа. Мало-помалу, что-то горькое нарождалось во мне. Словно во мне нарастала печальная обида на причиненное зло.

Жестокие слова просились на уста, и я напрасно старался унять их. Так, почти бессознательно, я заговорил о русских пленных, которые ели трупы своих в лагере под Смоленском на глазах у бесстрастных немецких солдат и офицеров. Меня охватил ужас и стыд от моих слов. Я хотел просить прощения у принца Евгения за свою жестокость, а он молчал, закутавшись в серое пальто, и голова его склонилась на грудь. В какой-то момент он поднял голову, пошевелил губами, словно желая заговорить, но продолжал молчать. И в его взгляде я увидел болезненный упрек.

В его глазах, на его лице найду ли я ту же холодную жестокость, которая появилась на лице обергруппенфюрера Дитриха, когда я рассказал ему историю о лагере под Смоленском. Дитрих рассмеялся. Я встретил начальника личной охраны Гитлера, обергруппенфюрера Дитриха, балагура Дитриха, в особняке итальянского посольства на берегу Ванзее около Берлина — меня чрезвычайно заинтересовало его побледневшее лицо, невероятная холодность его глаз, огромные уши, маленький рыбий рот. Дитрих рассмеялся:

— Им было вкусно? — спросил он.

Он смеялся, широко раскрывая маленький рыбий рот с розовым нёбом. Найду ли я на лице принца Евгения ту же жестокость, которую я увидел в лице Дитриха? Что, если принц Евгений тоже рассеянно спросит меня бархатным и усталым голосом:

— Им было вкусно?

Но принц Евгений поднял глаза и посмотрел на меня с болезненным упреком.

Печать глубокого страдания легла на его лицо. Он понимал, что мне было плохо, и смотрел на меня, молча, с чувством теплой жалости. Если бы он заговорил, если бы сказал мне хоть слово, если бы он дотронулся до моей руки, я, наверное, расплакался бы. Но принц Евгений молча смотрел на меня, а во мне все поднимались, просились на уста жестокие слова. И вдруг я заметил, что уже начал рассказывать ему историю, как однажды ехал в машине на ленинградском фронте. Я ехал по большому лесу, недалеко от Ораниенбаума, вместе с немецким офицером, лейтенантом Шульцем из Штутгарта, а точнее из долины Неккара, «долины поэтов», как рассказывал мне Шульц, и он заговорил со мною о Гельдерлине, о безумии Гельдерлина.

— Он не был безумцем,— говорил Шульц,— это был ангел.

И он медленно и неопределенно повел рукой, желая изобразить в ледяном воздухе полет невидимых крыльев, он смотрел вдаль, как бы следя глазами за полетом ангела. Лес был густой и большой, слепящий снег легкими голубыми мазками светился на стволах деревьев, машина с мягким шелестом скользила по обледенелой дороге.

— Гельдерлин в Черном Лесу летал среди деревьев, как большая птица,— говорил Шульц.

Я молчал, глядя в окно на густой страшный лес, прислушиваясь к шелесту колес по обледенелой дороге. Шульц декламировал стихи Гельдерлина.

В этот момент, там, где лес был особенно густым и могучим и где еще одна дорога пересекала нашу, прямо перед нами, на перекрестке двух дорог, из тумана появилась фигура солдата по пояс в снегу. Он неподвижно стоял, вытянув правую руку и указывая нам дорогу. Когда мы проезжали мимо него, Шульц поднес руку к виску в знак приветствия и благодарности солдату.

В конце следующего отрезка дороги, на другом перекрестке, на большом еще расстоянии от нас, показался другой солдат, он тоже стоял по пояс в снегу, вытянув правую руку и указывая нам дорогу.

— Они же умрут от холода, бедные парни,— сказал я.

Шульц обернулся и посмотрел на меня:

— Об этом не беспокойтесь, они не умирают от холода!

И он смеялся, смеялся. Я спросил, почему он думал, что этим беднягам не грозила опасность замерзнуть.

— Потому что они привыкли к холоду! — ответил Шульц. Он смеялся, смеялся, похлопывая меня по плечу, потом остановил машину и, обернувшись ко мне, улыбаясь во весь рот, сказал:

— Хотите посмотреть на него вблизи? Вы сами спросите, холодно ему или нет.

Мы вышли из машины и подошли к солдату, который так и стоял неподвижно, вытянув правую руку и указывая нам дорогу. Он был мертв. У него были мутные глаза и приоткрытый рот. Это был мертвый русский солдат.

— Это наша дорожная полиция,— сказал Шульц.— Мы называем ее «тихой полицией».

— Вы уверены, что он не говорит?

— Что он не говорит? Да! Попробуйте, спросите у него самого.

— Лучше мне не пробовать. Уверен, что он ответит,— сказал я

— Ах, это забавно! — воскликнул Шульц, смеясь.

— Да, забавно, nicht wahr? [1]

[1] Не так ли? *(нем.)*

Затем я спросил с безразличным видом:

— Когда вы ставите их здесь на место, они бывают живыми или мертвыми?

— Конечно же, живыми! — ответил Шульц.

— Потом они, конечно же, умирают от холода? — спросил я тогда.

— Нет, нет, они умирают не от холода. Посмотрите сюда.

И Шульц показал мне сгусток крови, бугорок красного льда на виске мертвого.

— Да, забавно!

— Ja, ja, забавно, правда? — сказал Шульц. Затем он прибавил, смеясь: — Нужно же, чтобы русские пленные хоть на что-нибудь годились!

— Замолчите,— тихо сказал принц Евгений. Он просто сказал: — Замолчите!

Я все ждал, что бархатным и усталым голосом он рассеянно скажет:

— Ну да! Нужно же, чтобы русские пленные, хоть на что-нибудь годились!

Но он молчал, в я,— от собственных слов меня охватил ужас и стыд. Может быть, я ждал, что принц Евгений протянет руку и пожмет мою. Я чувствовал себя униженным, переполненным горечью и жестоким озлоблением.

Из самой чащи оакхиллской дубовой рощи слышались постукивания нетерпеливых копыт по сырой земле, приглушенное ржание. Принц Евгений поднял лицо, мгновение прислушивался, потом встал и молча направился к дому. Я молча последовал за ним. Мы вошли в его мастерскую и сели за столик, где в прекрасных прозрачных голубоватых чашках русского фарфора времен Екатерины II был подан чай. Чайник и сахарница были из старинного шведского серебра, не такого сияющего, каким бывает русское серебро от Фаберже, но слегка поблекшего, с темным отливом, как у старой оловянной посуды, которую в балтийских странах называют tenn. До нас слабо долетало ржание лошадей. Оно сливалось с шепотом ветра в листве деревьев. Накануне я ходил в Уппсалу посмотреть на знаменитый сад Линне и могилы древних королей Швеции, на эти большие земляные надгробия, похожие на могилы Горациев и Куриациев на Аппиевой дороге. Я спросил у принца Евгения, правда ли, что шведы в старину на могилах своих королей приносили в жертву лошадей.

— Иногда они приносили в жертву королей на могилах лошадей,— ответил принц Евгений и хитро рассмеялся: он был доволен, видя, что я опять беззаботно-спокоен, без тени жестокости в голосе и во взгляде. В деревьях парка шумел ветер, и я думал о лошадиных головах, развешанных по ветвям дубов Уппсалы над могилами королей, о больших лошадиных глазах, полных влажного блеска, того, что появляется в женских глазах, когда в них светится удовольствие или жалость.

— Вы никогда не задумывались о том,— сказал я,— что шведский пейзаж — это вид лошадиной природы?

Принц Евгений улыбнулся.

— Знаете ли вы,— спросил он,— рисунки лошадей Карла Хилла? Карл Хилл — безумец,— добавил он,— ведь ему казалось, что деревья — это зеленые лошади.

— Карл Хилл,— сказал я,— рисовал лошадей, как будто лошадь — это пейзаж. Есть что-то странное в шведской природе: то же безумие, что мы замечаем в природе лошади. И то же благородство, та же нежная чувственность, то же свободное и отвлеченное воображение. И не только в больших, торжественных, невероятно зеленых деревьях в лесу проявляется природа лошади, лошадиное безумие шведского пейзажа, а и в сияющей шелковистости далеких вод, лесов, островов, облаков, в этих воздушных, легких и глубоких пространствах, где белые цвета, теплый пурпур, холодные голубые, бирюзовые, влажные зеленые, светло-голубые сияющие цвета составляют легкую и ускользающую гармонию, как будто цвет никогда долго не задерживается на лесах, лугах, воде, а летит, словно бабочка (если дотронуться до шведского пейзажа, на пальцах останется краска, как от крыльев бабочки). Шведский пейзаж гладок, как лошадиная шерсть, у него быстро меняющиеся цвета, воздушная легкость и сияние, муаровый блеск лошадиной шерсти, когда лошадь несется по убегающей траве и под убегающей листвой, в шуме охоты, на зеленом фоне деревьев и лугов, под серо-розовым небом. Посмотрите,— продолжал я,— как солнце встает над лесом голубых сосен, над ясными березовыми рощами, над старым серебром водной глади, над голубоватой зеленью лугов. Полюбуйтесь, как солнце встает на горизонте, влажным сиянием освещая пейзаж,— то же сияние светится и в большом возбужденном глазу лошади. Есть что-то ирреальное в шведской природе, в ее капризной фантазии, полной того же безумного лиризма, который светится в глазу у лошади. Шведский пейзаж — это лошадь, идущая в галоп. Прислушайтесь к ржанию ветра в деревьях. Прислушайтесь к ржанию ветра в листве и в травах.

— Это лошади в Тиволи, они возвращаются с моря,— сказал принц Евгений, прислушиваясь.

— Однажды я пошел на ипподром, тот что у казармы королевского гусарского полка в Стокгольме. Был последний день скачек, когда в состязание пускали лучших

лошадей. Деревья, лошади, трава на лугу, вяло-серый цвет стен большого крытого теннисного корта, светлые одежды женщин в публике, голубая форма гусарских офицеров — в серебряном воздухе все это выглядело полным чувственного изящества полотном Дега, растушеванным серо-розовыми и чрезвычайно изысканными зелеными тонами. (В тот день как раз жеребец по кличке Фюрер лейтенанта Эрикссона из Норрландского королевского артиллерийского полка во время скачек понес, сбил перекладины, опрокинул барьеры, но перескочил через другие препятствия. Публика хранила молчание, чтобы только гитлеровская Германия на другом берегу моря не придралась бы к несвоевременным аплодисментам или свисту на ипподроме я не ухватилась бы за удобный случай как за повод для вторжения в Швецию. И еще, в тот же день, из тонких соображений сохранения нейтралитета здесь отказались от участия в скачках жеребца по кличке Молотов. На нем сидел — очень не кстати, не вовремя! — офицер с английским именем, капитан Гамильтон из Готасского королевского артиллерийского полка. Это произошло либо из-за особенно осложнившихся в тот период отношений между Швецией и СССР, так как СССР потопил несколько шведских кораблей на Балтике, либо потому, что не захотели противопоставлять на публике имена Фюрера и Молотова). Вокруг наследного принца, сидевшего посреди длинной скамьи без спинки, на трибунах собралось двести — триста человек обычной для Стокгольма элегантной публики, и дипломатический корпус серой дырой зиял на фоне зеленых, красных, желтых, бирюзовых платьев и голубых военных мундиров.

Вдруг раздалось громкое ржание, легкое, бархатистое, нежное ржание Роккавеи Его Величества принца Густава Адольфа, и все лошади на ипподроме ответили ему. Это был словно зов любви. И Беккхаштатеп ротмистра Анкаркрона из королевских гусар, и Мисс Кидди лейтенаната Нихольма из Норрландского королевского драгунского полка, и Барбиан лейтенанта Нилена из Свеасского королевского артиллерийского полка пустились гарцевать по лугу под строгим взглядом наследного принца, а в это время из-за деревьев и с края луга, из конюшен королевских гусар и с другой стороны дорожки слышалось ржание невидимых лошадей. Постепенно голос ветра, гудки кораблей, туманный жалобный крик чаек, шелест листьев на деревьях, шум незаметного теплого дождя — все это вновь набралось силы и смелости и заглушило лошадиное ржание. Но в то короткое мгновение мне явственно показалось, что я услышал во всей его чистоте голос шведской природы: лошадиный голос, мягкий, поистине женский голос.

Принц Евгений пожал мне руку и сказал, улыбаясь:

— Я счастлив, что вы...— Потом он добавил с чувством: — Не уезжайте в Италию, поживите еще в Швеции, вы вылечитесь от всего, что пережили.

Дневной свет мало-помалу слабел: цвет ночных фиалок медленно разливался по комнате. Мной постепенно завладело некое чувство стыда. Я испытывал стыд и ужас от всего, что выстрадал за эти годы войны. Как всегда, когда, направляясь в Финляндию или возвращаясь оттуда, и делал короткую остановку в Швеции, на этом счастливом острове посреди развращенной голодом, ненавистью и отчаянием Европы, я вновь обрел ощущение спокойной, безмятежной жизни, чувство человеческого достоинства. Я опять почувствовал себя свободным, но это было болезненное и жестокое чувство. Через несколько дней я должен был ехать в Италию. И теперь сознание, что нужно было уезжать из Швеции, проезжать Германию, опять видеть искаженные ненавистью и страхом, влажные от больного пота немецкие лица, наполняло меня чувством отвращения и унижения. Через несколько дней я опять увижу и итальянские лица, людей, потерявших надежду, бледных от голода, я узнáю самого себя в затаенной тревоге этих лиц, в глазах толпы в трамваях, автобусах, в кафе, на тротуарах под висящими на стенах и в витринах большими портретами Муссолини, под одутловатой и белесой головой с подлыми глазами, лживыми губами. И мной постепенно овладевало чувство жалости и протеста.

Принц Евгений молча смотрел на меня. Он понимал, что происходило во мне, он понимал щемившую мне сердце тревогу и принялся весело рассказывать об Италии, Риме, Флоренции, о своих итальянских друзьях, которых он уже долгие годы не видел.

Потом я заметил, что взгляд принца Евгения обратился к висевшему на стене полотну. Это была знаменитая картина «На балконе», которую он писал в молодые годы, в бытность свою в Париже, примерно в 1888 году. Молодая женщина, баронесса Сельсинг, облокотилась на перила балкона и смотрит на улицу — одну из тех, что лучами расходится от площади Этуаль. Коричневая с зелеными и голубыми бликами юбка, мягко-светлые волосы, прикрытые маленькой дамской шляпкой, какую носят женщины Мане и Ренуара, четко видны на полотне на фоне белых прозрачных и серо-розовых тонов фасадов и влажно-зеленых деревьев на улице. Под балконом проезжает карета, это черный фиакр, и сверху лошадь кажется деревянной: жесткая, худая, она придает нежно-изящной парижской улице некий оттенок детской игры. И лошади спускающегося от площади Этуаль омнибуса выглядят так, будто их недавно отлакировали или покрыли блестящей эмалью, отсвечивающей и на листьях каштанов. Будто

и они тоже — лошадки деревянной карусели на провинциальном празднике (выполненные в тонком колорите провинциализма, как и деревья, дома, небо над крышами и улицей). Его небо — это еще небо Верлена и уже небо Пруста.

— Париж тогда был очень молод,— сказал принц Евгений, подходя к полотну. Он смотрел на баронессу Сельсинг на балконе и тихо, с некоей стыдливостью рассказывал мне о молодом Париже, о Пюви де Шаванне, Арсениусе, Вепперберге, о тех счастливых годах. Тогда Париж был очень молод. Это был Париж мадам де Мариенваль, мадам де Сент-Еверт, герцогини Люксембургской и мадам де Камбреммер (и молодого маркиза де Босержана), этих богинь Пруста, чьи глаза воспламеняли глубины партера молниями сатанинских, пышных огней, он рассказывал о белоснежных божествах, словно пухом крыльев убранных белыми цветами: их одежды из перьев казались одновременно созданными из венчиков цветов; они разговаривали с прелестной изысканностью нарочитой сдержанности в духе Мериме или Анри Мейака. Принц Евгений вспоминал о полубогах Жоккей-Клуба, живших а расиновской атмосфере «Федры». Это был Париж маркиза де Паланси, проходившего в прозрачной тени ложи, будто проплывала рыба за стеклом аквариума. А еще это был Париж площади Тертр, первых монпарнасских кафе, Сиреневых Ворот, Тулуз-Лотрека, Ла Гулю и Жана Ле Дезоссе.

Я хотел прервать рассказ принца Евгения, чтобы спросить у него, видел ли он когда-нибудь, как герцог де Германт входил в ложу а театре и жестом приказывал сесть маячившим в глубине треклятым чудовищам морским, я хотел попросить его рассказать о прекрасных и легких, как Диана, женщинах, об элегантных мужчинах, спорящих друг с другом на сочном языке Свана и месье де Шарлюса, и я уже почти задал ему вопрос, который с некоторого момента жег мне губы, я почти уже спросил его прерывающимся от волнения голосом:

— Вы, конечно же, знали мадам де Германт?

Но принц Евгений, отойдя от полотна, обратил лицо к усталому свету закатного солнца и уже выплыл из нежной и золотистой тени «на стороне Германтов», где сам он тоже как бы скрывался, словно проступая сквозь толщу воды и стекло аквариума и походя на те самые чудища морские. Усевшись в кресло в другом конце комнаты, выбрав самое удаленное от баронессы Сельсинг место, он заговорил о Париже, как если бы Париж в его глазах художника был только цветом, ощущением цвета, ностальгией по цвету (по этим розовым, серым, зеленым, голубым краскам прошлого). Наверное, для него Париж был только молчащим цветом, цветом, лишенным голоса: его визуальные воспоминания, образы его молодых лет, проведенных в Париже, теперь звуки тех лет давно отзвучали — жили в его памяти своей особой жизнью, двигались, зажигались и отлетали, как крылатые доисторические чудища. Молчаливые образы его молодости, его молодого и далекого Парижа бесшумно рушились у него на глазах и крушение счастливого мира его молодости не нарушало вульгарным шумом целомудренной чистоты молчания.

Подчиняясь печальному очарованию его голоса, образов, вызванных его голосом, я поднял глаза и посмотрел сквозь деревья парка на дома Стокгольма цвета пепла в слабом освещении закатного солнца. Я увидел, как вдали над королевским дворцом, над церквями Гамл Штада, распласталось голубое небо, как медленно его затенял вечер, оно походило на небо Парижа, на небо Пруста цвета блекло-голубой оконной замазки, которое из моего парижского жилища на площади Дофин я видел над крышами левого берега, над шпилем Сент-Шапели, над мостами Сены, над Лувром: и этот угасший пурпур, розовое пламя, серые и голубые облака и их тонкое сочетание с аспидной чернотой крыш, тихо сжимали мне сердце. В этот момент я подумал, не пришел ли и сам принц Евгений «со стороны Германтов», кто знает? Возможно, он был одним из персонажей, о которых напоминает имя Эльстира. И я уже собирался задать ему вопрос, уже собирался дрогнувшим от волнения голосом попросить рассказать мне о ней, о мадам де Германт, когда принц Евгений замолчал и после долгого молчания, во время которого, казалось, он собрал как будто бы все силы, чтобы защитить образы своей молодости, прикрыть их щитом своих полузакрытых век, спросил меня, не был ли я в Париже во время войны.

Мне не хотелось ему отвечать. Я испытывал некий болезненный стыд, я не хотел сейчас говорить о Париже, о Париже моей молодости, и я покачал головой, медленно покачал головой, глядя ему прямо в глаза, а потом сказал:

— Нет, я ни разу не был в Париже во время войны, я не хочу видеть Париж, пока идет война.

На образы далекого Парижа мадам де Германт на моих глазах постепенно стали накладываться надрывающие душу дорогие образы еще более молодого Парижа, беспокойного, печального Парижа. Словно лица выплывающих из тумана за стеклом кафе прохожих, на память мне приходили лица Альбертины, Одетты, Сен-Лу, тени подростков, что толпились за спиною Свана и месье де Шарлюса, лица с печатью алкоголизма, бессонниц, чувственности, лица персонажей Аполлинера, Матисса, Пикассо, Хемингуэя, голубые и серые призраки Поля Элюара.

— Я видел немецких солдат во всех городах Европы,— сказал я,— но не хочу увидеть их а Париже.

Принц Евгений опустил голову на грудь и сказал рассеянно:

— Париж, увы!

Вдруг он поднял голову и опять медленно прошел в противоположный конец комнаты к портрету баронессы Сельсинг. Молодая женщина смотрела с балкона на намокшую под осенним дождем мостовую, она видела, как лошадь, тянувшая фиакр, и лошади, запряженные в омнибус, прядали головами под зелеными деревьями, уже занявшимися первым осенним огнем. Принц Евгений поднес руку к полотну, дотронулся длинными бледными пальцами до фасадов домов, до неба над крышами и до листвы, он приласкал этот парижский вид, этот парижский колорит, розовые, серые, зеленые, голубые легко положенные краски, это прозрачное и чистое парижское освещение. Потом обернулся и, улыбнувшись, посмотрел на меня. Тогда я заметил, что глаза его были влажны от слез, что по его лицу медленно катилась слеза. Торопливым жестом принц Евгений смахнул слезу и с улыбкой сказал:

— Не говорите Акселю Мунту, прошу вас. Этот старый хитрец расскажет всему свету, что сам видел, как я плачу.

Родина всадников

После ясной прозрачности бесконечного летнего дня, когда нет восходов и закатов солнца, свет незаметно начал терять яркое сияние молодости, лик дня стал покрываться морщинами, и мало-помалу вечер сгустил на земле первые легкие, все еще светлые тени. Деревья, камни, дома, облака медленно расплывались в мягком осеннем пейзаже, похожем на возбужденно-мягкие в предвкушении ночи пейзажи Элиаса Мартина.

Из Тиволи доносилось лошадиное ржание. И я сказал принцу Евгению:

— Это голос мертвой кобылы из деревни Александровская на Украине, это голос той мертвой кобылы.

Уже наступил вечер, выстрелы партизан слышались под огромным красным знаменем солнечного заката, качавшимся на пыльном ветру над горизонтом. Я ехал в нескольких милях от Немировского, рядом с Балтой, на Украине. Было лето 1941 года. Я хотел до наступления ночи добраться до Немировского и там, в безопасности, переночевать. Но становилось слишком темно, и я решил остановиться а покинутой деревне, расположенной в центре низины, пересекающей с севера на юг огромную равнину между Днестром и Днепром.

Деревня называлась Александровская. В России все деревни, часто даже по названиям, похожи одна на другую. Многие деревни в районе Балты называются Александровской: есть еще одна примерно в одиннадцати милях на запад от Балты, есть третья — на запад от Гедиримова, по пути в Одессу, где проходит железная дорога, и четвертая — примерно в девяти милях к северу от Гедиримова. Та, где я остановился на ночлег, была около Немировского, на берегу речки Кодимы.

Я оставил мой старый «форд» у обочины дороги, у изгороди перед домом довольно зажиточного вида. У деревянной калитки валялся труп лошади. Я на мгновение остановился посмотреть: это была великолепная кобыла темно-рыжей масти с длинной белой гривой. Она завалилась на бок, задние ноги ее попали в лужу. Я толкнул неплотно прикрытую калитку, прошел двор, приложил ладонь ко входной двери, и та со скрипом отворилась. Дом был брошен, в комнатах по полу валялись бумаги, газеты, одежда. Ящики столов были выдвинуты, шкафы распахнуты, кровати разворошены. Это был безусловно не крестьянский дом. Может быть, я попал к еврею? В комнате, где я решил переночевать, матрас был вспорот. Оконные стекла уцелели. Стояла жара. «Собирается гроза»,— подумал я, закрывая окно.

В неверном свете теперь уже наступившей ночи большие черные глаза подсолнухов с длинными золотистыми ресницами мигали в огороде. Они в оцепенении смотрели на меня, покачивая головами на ветру, уже влажном от далекого, грядущего дождя. Румынские кавалеристы проходили по дороге, возвращаясь с водопоя и ведя под уздцы красивых лошадей с крутыми боками, со светлыми гривами. Румынские песочного цвета мундиры желтоватыми пятнами светлели в темноте, и солдаты походили на огромных насекомых, влипших в густой и смолистый воздух, предвестник недалекой грозы. Желтые лошади, поднимая облака пыли, шли за ними.

У меня в вещевом мешке еще оставалось немного хлеба и сыра, и я принялся есть, обходя комнату. Я снял сапоги и ходил босиком по глинобитному полу, по которому полчищами бегали огромные черные муравьи. Я чувствовал, как они ползали по ногам, щекотали между пальцами, делали вылазки по моим лодыжкам. Я смертельно устал и даже не мог жевать, до того у меня отяжелели челюсти, зубы болели от устало

сти. В конце концов, я бросился в кровать и закрыл глаза, но не смог заснуть. Близкие и далекие выстрелы то и дело дырявили ночь. Это стреляли партизаны, прячась в хлебных полях и зарослях подсолнухов, далеко уходящих по всему пространству украинской равнины в сторону Киева, в сторону Одессы. Потом, по мере того, как сгущалась тьма, лошадиный трупный запах стал вливаться в ароматы трав и подсолнухов. Мне не удавалось заснуть. Лежа в кровати с закрытыми глазами, я не мог заснуть — так я был разбит усталостью.

Вдруг запах мертвой кобылы вошел ко мне в комнату и остановился у порога. Я чувствовал, как он смотрел на меня. «Это мертвая кобыла»,— подумал я в полусне. Воздух стал тяжел, как ватное одеяло, надвигавшаяся гроза давила на соломенные деревенские крыши, всей своей тяжестью прибивала к земле деревья, хлеба, пыль на дороге. Моментами до меня доносился шум реки, будто бег босых ног шелестел по траве. Ночь становилась густой, черной и клейкой, как черный мед. «Это мертвая кобыла»,— подумал я.

С полей слышался скрип повозок, румынских и украинских carızze на черных колесах, которые тянули косматые и тощие лошаденки, по бесконечным украинским дорогам тащившие вслед за армией амуницию, вещи, оружие. Скрип повозок доносился именно с полей. А я все думал, что мертвая кобыла дотащилась до комнаты и смотрела на меня с порога. Не знаю, не смогу сказать, каким образом я дошел до мысли, что мертвая кобыла дотащилась до порога комнаты. Я изнемогал от усталости, меня дурманила дремота. Мне не удавалось разобраться в осаждавших меня мыслях, как будто темень, жара и трупный запах заволокли комнату черной и липкой грязью, в которой я постепенно тонул, барахтаясь все слабее. Не знаю, отчего я подумал, что кобыла не совсем издохла, что она была только ранена, что ее раненая часть уже гнила, разлагалась, и что она при этом все равно еще жива, как те пленные, которых татары когда-то привязывали живыми к трупам и держали, живот к животу, лицо к лицу, рот ко рту, до тех пор, пока мертвый не пожирал живого. А между тем, трупный запах стоял здесь, у двери, и смотрел на меня. И я почувствовал, что он стал подходить, медленно приближаться к кровати.

— Вон отсюда, прочь! — вскричал я по-румынски. Потом подумал, что кобыла, может быть, была вовсе не румынской, а русской, и закричал:

— Пошла, пошла!

Запах остановился. Но через какое-то мгновение он опять стал медленно подходить к кровати. Тогда я испугался, выхватил пистолет, который с вечера сунул под матрас, сел в кровати и нажал на включатель электрического фонаря.

Комната была пуста, на пороге — никого. Я встал с кровати, босиком дошел до двери и остановился на пороге. Ночь была пуста. Я вышел во двор. Подсолнухи мягко похлопывали на ветру, гроза, хмурясь на горизонте, заволакивала небо тучами, которые казались огромными черными легкими, дышавшими с трудом,— раздуваясь и опадая, как огромные легкие. Я видел, как небо то ширилось, то сжималось, я видел, как дышало небо. Эти огромные легкие наискось пронизывали сернистые вспышки, высвечивая на мгновение их венозные и бронхиальные разветвления. Я открыл калитку и вышел на дорогу. Труп лошади валялся в луже, голова лежала на пыльной обочине дороги. У лошади раздуло брюхо и все оно было в трещинах. Поблескивал влажный круглый мутный глаз. Светлая грива в пыли, в комьях грязи в сгустках крови жестко топорщилась на холке, как лошадиный хвост на шлеме древнего воина. Прислонившись спиною к изгороди, я присел у дороги. Медленно, тихо отлетела черная птица. (Вот-вот пойдет дождь). По небу метались смутные вихри, по дороге носились тучи пыли, с легким и длительным свистом они проносились мимо, и частички пыли покрывали мне лицо, веки, словно муравьи, копошились в волосах. (Вот-вот пойдет дождь). Я вернулся в дом, снова лег в кровать. Руки и ноги болели, я весь покрылся потом. И внезапно заснул.

Но вот трупный запах опять вошел, остановился у порога. Я еще не совсем проснулся, глаза мои еще были закрыты, и я чувствовал, что запах смотрит на меня. Это было мягкое и жирное зловоние, густой и липкий, тяжелый запах — желтый в зеленых пятнах. Я открыл глаза. Наступал рассвет. Над комнатой висела белесая паутина сумрачного света, но мало-помалу вещи стали медленно проступать из тени, и эта медлительность будто искажала их, вытягивала, деформировала из горлышка бутылки. Между дверью и окном, у стены, стоял настежь раскрытый шкаф, в нем качались пустые вешалки, ветер трепал занавески на окнах, пол покрывали кучи бумаг, одежды, сигаретных окурков, и бумаги шелестели на ветру.

Вдруг вошел запах: маленький жеребенок показался на пороге. Он был тощий и косматый. От него несло разлагавшимся лошадиным трупом. Уставившись на меня, отдуваясь, он подошел к кровати, вытянул шею, понюхал меня. От него ужасающе несло тухлятиной. Когда я спустил ноги с кровати, он вдруг отскочил, стал биться о шкаф и ускакал с испуганным ржанием. Я натянул сапоги и вышел на дорогу. Жеребенок лег рядом с мертвой кобылой.

— Постой! — крикнул я проходившему мимо с ведром воды румынскому солдату и попросил позаботиться о жеребенке.

— Это жеребенок мертвой кобылы,— сказал солдат.

— Да,— сказал я,— это жеребенок мертвой кобылы.

Жеребенок уставился на меня, ерзая спиной о бок трупа матери. Солдат подошел к нему, приласкал, потрепал по шее.

— Нужно отвести его от матери,— сказал я солдату,— если он здесь останется, он тоже начнет гнить. Пусть он станет талисманом для вашего эскадрона.

— Да,— сказал солдат,— да-да, бедненький! Он принесет удачу эскадрону.

Солдат снял с себя кожаный ремень, надел его на шею жеребенка, тот сначала не захотел вставать, потом разом поднялся и, оборачиваясь к мертвой матери, стал отбиваться, заржал. Таща за собой жеребенка, солдат ушел к своему биваку в лесу. Какое-то время я следил за ним глазами, потом открыл дверцу машины и включил зажигание. Я забыл вещевой мешок в комнате, опять вошел в дом, взял мешок, ногой толкнул дверь, сел в машину и поехал по дороге на Немировское.

Река странно сияла в белесом свете восхода. Небо сумрачно, как-то по-зимнему хмурилось. Ветер дул в сторону реки, по горизонту катили низкие тучи пыли, густые и красноватые, как клубы дыма от пожарища. В камышах по обе стороны реки хрипло кричали водяные птицы. Поднимались дикие утки и медленно, плавно летели над самой водой среди тростников и камышовых зарослей, подрагивавших в колком утреннем воздухе. И повсюду гнетуще висел в воздухе запах гниения, разложения.

Время от времени я равнялся с длинными вереницами румынских военных повозок. Смеясь, громко болтая между собой, солдаты вели лошадей или же спали на мешках с хлебом, ящиках с порохом, кучах саперных и больших лопат. Со всех сторон несло гнилой вонью. Вдоль берегов, на песчаных отмелях посреди реки, иногда заметно было, как шевелился камыш, будто какой-то зверь спешил спрятаться там при появлении людей. Тогда солдаты кричали:

— Крысы! Крысы!

Они хватались за ружья, снимали их с повозок или срывали с плеча и стреляли по камышу, а оттуда разбегались в разные стороны девушки, растрепанные женщины, мужчины в длинных черных плащах, мальчуганы. Это были попрятавшиеся в камыши евреи из соседних деревень.

В каком-то месте, на заболоченном пространстве между дорогой и рекой, валялся перевернутый советский танк. Его небольшая пушка торчала из башни и раскрылась искореженная взрывом снаряда дверь люка. Изнутри, из залившейся в танк грязи торчала рука. Это был труп танка. От танка несло машинным маслом и горючим, горелой краской, жженой кожей, железной гарью. Это был особый запах. Новый запах. Новый запах новой войны. При виде трупа боевого танка меня захлестнуло жалостью, но совсем другой жалостью, чем та, что возникает от вида лошадиной падали. Это была машинная падаль. Разлагавшаяся машина. Она уже начинала гнить. Здесь валялось гнившее в грязи железо.

Я остановился, вышел на край болотной лужи, подошел к танку. Ухватив за руку водителя, я попытался вытянуть его наружу. Его залило грязью, и мне трудно было одному вытащить его тело. Я принялся тянуть изо всех сил, пока не почувствовал, что он начал поддаваться, и вот, постепенно, из грязной жижи появилась голова. Небольшая бритая голова. Сгусток грязи. Я провел рукой по лицу, отер с него маску грязи и под моей ладонью появилось маленькое серое лицо с черными бровями и черными глазами. Это был татарин, татарин-танкист. Я принялся опять тянуть, чтобы всего его вытянуть из танка, но скоро изнемог. Грязь пересилила меня. Тогда я отошел, сел в машину и поехал дальше, туда, к дымному облаку, поднимавшемуся на другой стороне поля, у большого синего леса.

Тем временем, солнце вставало на зеленом горизонте и все резче и пронзительнее становился глухой вопль. Солнце молотом било по наковальне — по чугунным болотным озерцам. По воде пробегал трепет, над ней звенел протяжный звук, похожий на вибрирующий металлический звон — так трепетной дрожью звук скрипки звенит по коже вдоль руки скрипача. По обе стороны дороги, там и сям, в хлебных полях валялись перевернутые автомобили, сгоревшие грузовики, разверстые танки, брошенные, изувеченные взрывами пушечных снарядов. Но не видно было вокруг ни одного человека, ничего живого. Не было даже трупа человека, трупа лошади. На целые мили вокруг валялось на земле мертвое железо. Машинная падаль, сотни и сотни жалкой стальной падали. От полей и воды поднимался запах разлагавшегося железа. Посреди пруда торчал из грязи труп самолета. На нем ясно виднелась фашистская свастика — это был «мессершмитт».

Запах гнившей стали заглушал запах человека, лошади (этот запах прошлых войн), даже аромат хлебов и сладкий аромат подсолнухов тонули в гнилой вони

горелого железа, гнившей стали, мертвых машин. Тучи пыли, которые ветер поднимал с дальних концов обширной равнины, не приносили запаха органического вещества, повсюду царил запах железных опилок. В пыльном воздухе, по мере того как я проникал в самое сердце равнины и приближался к Немировскому, запах железа и гари усиливался. Как будто уже и сама трава издавала въедливый и неприятный запах горючего. Вонь от горючего и горелого железа задушила запах человека, животных, растений, трав, земли.

В нескольких километрах от Немировского мне пришлось остановиться. Немецкий фельджандарм с висевшей на шее на цепи сияющей медной бляшкой, которая походила на цепь и знак какого-нибудь знатного ордена, приказал мне остановиться. Verboten.[1] Дальше нельзя. Nein, nein, nein.[2] Тогда я поехал по боковой проселочной дороге. Я старался как можно ближе подъехать к Немировскому. Я хотел посмотреть собственными глазами на русский «карман», который немцы яростно атаковали со всех сторон. Поля, овраги, деревни, хуторы, колхозные конторы — все было переполнено немецкими войсками. Verboten повсюду. Zurück [3] повсюду. Когда солнце начало склоняться к закату, я решил поехать назад. Лучше было вернуться назад, к Балте, попробовать поехать на север, по направлению к Киеву.

Я снова отправился в путь и, проехав большой отрезок дороги, остановился, чтобы где-нибудь в пустой деревне перекусить черным хлебом с сыром. Здесь огонь уничтожил бóльшую часть домов. Пушечная канонада слышалась сзади, с юго-запада, прямо за моей спиной. На фасаде одного дома висел большой плакат с серпом и молотом. Я вошел. Это было советское служебное помещение. Огромный портрет Сталина висел на стене. Румынские солдаты карандашом написали под портретом: „aiurea“, что значит: «да неужели!». Сталин был изображен стоящим на возвышении, на фоне танков и заводских труб, по небу летели эскадрильи. Справа, в красном облаке, вставал огромный металлургический завод, целое скопище подъемных кранов, стальных мостов, высоких труб, больших зубчатых колес. Внизу надпись большими буквами гласила: «Тяжелая промышленность СССР готовит оружие для Красной Армии». А под этой надписью румыны написали: „aiurea!“, что значит: «да неужели!».

Я присел на письменный стол, заваленный бумагами. По полу тоже валялись бумаги, одежда, книги, брошюры. И я вспомнил мертвую кобылу у дома, где провел эту ночь в деревне Александровская, я вспомнил одинокий труп несчастной лошади, завалившейся на обочине дороги, среди множества мертвых машин, стальной падали. Я думал о бедной, одинокой вони от мертвой кобылы, которую перебивал запах железной гари, горючего, стальной гнили — о новом запахе этой новой войны машин. Я думал о солдатах из «Войны и мира», о дорогах России, усеянных трупами русских и французов и лошадиной падалью. Я думал о запахе мертвечины, мертвых людей, мертвых животных, о раненых солдатах из «Войны и мира», оставленных по обочинам дорог войны умирать под хищными клювами ворон. Я думал о татарских всадниках, вооруженных луками и стрелами, всадниках с берегов Амура, которых наполеоновские солдаты прозвали «амурами», о неутомимых, наводивших ужас, невероятно, проворных татарских всадниках, налетавших из леса с тыла и уничтожавших задние ряды врага, об этом древнем и благородном народе всадников: они рождались и жили рядом с лошадьми, ели конину и пили кумыс, одевались в лошадиные шкуры. Они спали в юртах из лошадиной кожи и их хоронили в седле, в глубоких ямах, верхом на лошади.

Я думал о татарах русской армии, прекрасных механиках СССР, ударниках труда и стахановцах, ударной силе советской тяжелой промышленности. Я думал о татарах Красной Армии, прекрасных танкистах, прекрасных механиках бронированных дивизий и авиации. Я думал о молодых татарах, которых три пятилетки превратили в машинистов, из табунщиков в ударников металлургических заводов Сталинграда, Харькова, Магнитогорска. Aiurea, «да неужели!» — так карандашом по-румынски написали под портретом Сталина.

Конечно, ведь это были румынские крестьяне, бедные румынские крестьяне, которые никогда не видели вблизи машины, ни разу не дотронулись до бруска, ни разу не отвернули гайки, не разобрали мотора. Бедные румынские крестьяне, которых маршал Антонеску, «красная собака», как его прозвали его же офицеры, насильно ввергнул в эту войну, их, крестьян, против огромной армии рабочих-механиков СССР.

Тогда я подошел к портрету Сталина и стал отрывать край плаката с румынской надписью. В это время я услышал во дворе шум шагов. Пошел к двери посмотреть: это пришли румынские солдаты. Они спросили меня, сколько было времени.

— Шесть часов,— спросил я.

— Multumesc,— сказали они, что значит «спасибо», и пригласили меня выпить с ними чашку чая.

---

[1] Воспрещается *(нем.)*.
[2] Нет, нет, нет *(нем.)*.
[3] Назад *(нем.)*.

— Multumesc,— сказал я и пошел за ними через деревню. Немного пройдя, мы вошли в полуразрушенный дом, где пять-шесть других румын любезно встретили меня и пригласили сесть, преждложили миску ciorba de puiu, куриного супа, и чашку чая.

— Multumesc,— сказал я.

Мы принялись беседовать. Солдаты рассказали мне, что их оставили в этой деревне как пункт связи, а бóльшая часть их дивизии находилась впереди, справа, в дюжине миль отсюда. В деревне — ни живой души — до румын здесь побывали немцы.

— Немцы,— важным голосом произнес солдат, а все остальные рассмеялись.

— До нас здесь прошли немцы,— повторил другой солдат, словно извиняясь.

Все беззвучно рассмеялись, поедая куриный суп.

— Aiurea! — сказал я.— Да неужели!

— Правда,— заверил меня один из румын, тот, что был капралом.— До нас здесь прошли немцы. Правда.

— Да неужели! — повторил я.

— Господин капитан,— сказал капрал,— если ты не веришь, спроси у пленного. Мы не сжигаем деревни, не причиняем зла крестьянам. Мы бьем только евреев. Эй, слушай! — крикнул он, обернувшись к углу комнаты.— Правда ведь, до нас здесь прошли немцы?

Я посмотрел в темный угол и увидел человека, сидевшего на полу, спиной прислонившись к стене. Мундир цвета хаки, на бритой голове — пилотка, ноги — босые. Татарин. Худое лицо, гладкая кожа обтягивала широкие скулы (серая и блестящая кожа), внимательные, чуть затуманенные усталостью или голодом черные глаза. Он тускло и пристально смотрел на меня, снизу вверх.

— Где вы его взяли? — спросил я у солдат.

— Он был в танке, который там, на площади. У танка что-то стряслось с мотором, он не мог двинуться, но продолжал стрелять. Немцы торопились вперед, они ушли и оставили нас сражаться с танком. Там было два человека. Они стреляли до конца, пока не кончились снаряды. Нам пришлось выбить дверь железным ломом. Он вот не хотел сдаваться. У него больше не осталось снарядов, он засел внутри и не хотел открывать. Другой, пулеметчик, был мертв. А этот — водитель. Мы должны доставить его на румынский командный пункт в Балту. Но здесь уже никто не ездит, грузовики идут по большой дороге. Вот уже три дня, как здесь никто не проезжал.

— Почему вы отобрали у него сапоги? — спросил я.

Солдаты дерзко засмеялись и дерзко посмотрели на меня.

— Хорошие сапоги! — сказал капрал.— Смотрите, господин капитан, вот сапоги у этих русских свиней!

Он встал, порылся в мешке, вынул оттуда пару татарских сапог из мягкой кожи и без каблуков.

— Их лучше одевают, чем нас! — прибавил капрал, показывая на стоптанные сапоги и продранные штаны.

— Потому что их родина лучше вашей,— сказал я.

— У этих свиней нет родины,— сказал капрал.— Они как звери.

— У зверей тоже есть родина,— сказал я тогда.— И она лучшей нашей. Она для них гораздо лучше, чем румынская родина, немецкая, итальянская.

Солдаты уставились на меня, не понимая. Они смотрели на меня и молча жевали куски курицы из супа. Капрал сказал смущенно:

— Пара сапог вроде этих стоит не меньше двух тысяч лей.

Солдаты покачали головами, поджимая губы.

— Да,—говорили они,— пара сапог как эти... не меньше двух тысяч лей, не дешевле.

Это были крестьяне, а румынские крестьяне не знают, что такое животные, они не знают, что у животных тоже есть родина. Они не знают, что такое машины, что у машин тоже есть родина, что у сапог тоже есть родина, и она — лучше нашей. Это крестьяне, и они даже не знают, что это значит, крестьянин. По заказу Брэтиану румынским крестьянам дали землю: им дали землю, как если бы дали кусок земли лошади, корове, овце. Они только знают, что они румыны и верующие. Они кричат: «Да здравствует король!», они кричат: «Да здравствует маршал Антонеску!», они кричат: «Смерть СССР!», но они не знают, что такое король, что такое маршал Антонеску, что такое СССР. Они знают, что пара сапог вроде этих стоит не меньше двух тысяч лей. Это бедные крестьяне, они не знают, что СССР — это машина, что они воюют с машиной, с тысячью машин, с миллионом машин. Но зато они знают, что пара сапог, как эти, стоит две тысячи лей, не дешевле.

— У маршала Антонеску,— сказал я,— есть пара сапог, сто пар сапог гораздо лучше, чем эти.

Солдаты смотрели на меня, не мигая, поджав губы.

— Сто пар? — спросил капрал.

— Сто пар. Тысяча пар,— сказал я.— Гораздо лучше, чем эти. Вы никогда не

видели сапогов маршала Антонеску? Они очень красивые. Из желтой кожи, английского фасона, с золотым бантом под коленом. Очень красивые. Сапоги маршала Антонеску гораздо красивее, чем у Гитлера и у Муссолини. У Гитлера довольно красивые сапоги. Я их видел вблизи. Я никогда не говорил с Гитлером, но видел его сапоги вблизи. Они без шпор. Гитлер никогда не носит шпор, он боится лошадей, но, хотя и без шпор, его сапоги довольно красивые. У Муссолини сапоги тоже довольно красивые, но они никчемные. Они не годятся ни для пешей ходьбы, ни для езды на лошади. Они хороши только для того, чтобы в них стоять на почетной трибуне во время парадов, чтобы смотреть, как мимо проходят солдаты в стоптанных сапогах и с ржавыми ружьями.

Солдаты смотрели на меня, поджимая губы.

— После войны,— сказал я,— мы отберем сапоги у маршала Антонеску.

— И у господина Гитлера,— сказал один солдат.

— И у господина Муссолини,— сказал другой.

— Конечно, у Муссолини и у Гитлера тоже,— сказал я.

Все засмеялись, и я спросил у капрала:

— Сколько могут стоить сапоги Гитлера?

Солдаты перестали смеяться, потом вдруг, не знаю, почему, они обернулись и посмотрели на пленного. Тот так и сидел в углу и раскосыми глазами смотрел на меня в упор из-под прикрытых век.

— Ты дал ему поесть? — спросил я у капрала.

— Да, господин капитан.

— Неправда. Ты не давал ему есть,— сказал я.

Тогда капрал взял тарелку, налил в нее куриного супа и протянул пленному.

— Дай ему ложку,— сказал я,— суп руками не съешь.

Все смотрели на капрала, когда он брал со стола ложку, обтирал ее руками и протягивал пленному.

— Спасибо, большое спасибо,— сказал пленный.

— La dracu! — сказал капрал, что значит «к черту».

— Что вы будете делать с пленным? — спросил я.

— Нам нужно доставить его в Балту,— ответил капрал,— но здесь никто не ездит. Мы стоим не на проезжей дороге, придется вести его пешком. Если какой-нибудь грузовик не пройдет здесь сегодня, завтра мы пешком поведем его в Балту.

— Вам проще его убить, так ведь? — спросил я у капрала, пристально посмотрев на него.

Все засмеялись и посмотрели на капрала.

— Нет, господин капитан,— ответил капрал, медленно заливаясь краской,— я не могу. Нам приказ доставить его в Балту. Когда у нас есть пленные, нам приказано, хотя бы одного, доставлять на командный пункт. Нет, господин капитан.

— Если ты поведешь его пешком, нужно вернуть ему сапоги. Он не пройдет пешком до Балты.

— О! Он дойдет босиком до Бухареста,— сказал капрал, ухмыляясь.

— Хочешь, я отвезу его в Балту в машине. Дай мне солдата для охраны, и я его отвезу.

Капрал, кажется, обрадовался, и солдаты тоже.

— Ты поедешь, Григореску,— сказал капрал.

Солдат Григореску надел патронную сумку, взял ружье, которое стояло у стены (у него была французская, широкая и плоская лядунка, а ружье — французский Лебел с длинным треугольным штыком). Григореску снял со стены висевшую на гвозде миску, прицепил ее к поясу, плюнул на пол и сказал:

— Пошли!

Пленный сидел в углу и из-под прикрытых век смотрел прямо на нас.

— Пойдем,— сказал я ему по-русски. Татарин медленно встал. Он был высокого роста, такой же, как и, у него были узковатые плечи и тонкая шея. Он пошел за мной, немного ссутулясь. Солдат Григореску шел за ним с ружьем наготове.

Поднялся сильный ветер. Небо сурово нависло тяжелой чугунной плитой. Резкие порывы пыльного ветра трепали в разные стороны голоса хлебных полей, реки. Время от времени слышались похрустывания леса и потрескивания подсолнухов.

— La revedere, до свидания,— сказал я капралу, пожав ему руку.

— La revedere, господин капитан, до свидания.

Я вышел из деревни и двинулся по дороге в ямах и глубоких рытвинах (следы от гусениц танков сильно впечатались в мягкий слой грязи и пыли). Солдат Григореску и пленный шли за мной, и я чувствовал взгляд татарина, сверлившего мне спину глазами.

Из глубин огромной равнины к нам приближалась гроза, она постепенно заволакивала все небо, распластавшись там огромной лягушкой. Зеленая туча в белых пятнах — видно было, как лягушка тяжело дышала, как от ее дыхания приходило в движение ее мягкое брюхо, а с дальних краев горизонта слышалось глухое кваканье. По обе стороны дороги и в полях валялись сотни сгоревших машин, завалившейся на бок стальной падали — расставив ноги, смрадно, непристойно, жалко. И вот мало-помалу мне показалось, что я стал узнавать дорогу. Конечно же, на днях я уже проезжал здесь, может быть, даже утром: вот же опять река и болотистые лужи с камышами по берегам. В свинцовом зеркале воды плавал отсвет белесого брюха огромной лягушки, двигавшейся по небу с глухим кваканьем. Несколько горячих и тяжелых дождевых капель продырявили дорожную пыль с шипением раскаленного железа, которое опускают в воду. Наконец, из сумерек появились дома, и я узнал деревню Александровскую, пустую деревню, в которой я провел прошлую ночь.

— Лучше нам здесь остановиться,— сказал я солдату Григореску,— поздно ехать. До Балты далеко.

Я остановил машину у дома, где спал прошлой ночью. Пошел дождь, сильно, с приглушенным рокотом, поднимая густую желтую пыль. Труп кобылы все валялся у края дороги, у изгороди. У нее был мутный белесый глаз. Мы вошли в дом. Все было точно так же, как утром, когда я уходил отсюда, в том же неподвижном и призрачном беспорядке. Я сел на кровать и посмотрел, как солдат Григореску снимал лядунку, подвешивал миску на ручку шкафа. Пленный прислонился к стене, руки его висели вдоль тела, он прямо смотрел на меня, не моргая, раскосыми глазами.

Я постоял у двери. Ночь была черна, как черный камень. Я вышел во двор и сел на край дороги около трупа кобылы. Дождь заливал мне лицо, и вода текла по спине. Я жадно дышал запахом мокрой травы, и в этом возбуждающем свежем аромате мало-помалу разлился мягкий и жирный запах падали, побеждая затхлую вонь гнилой стали и разлагавшегося железа, гнившего металла. Мне казалось, что древний человеческий и звериный закон войны взял верх над новым законом механической военной силы. С запахом мертвой кобылы я вновь обретал себя, словно оказался на древней человеческой родине, на вновь обретенной родине.

Через какое-то время я вернулся в дом и лег на кровать. Я смертельно устал, у меня болели все кости, и сон стучал в голове, как кровь во вздувшейся вене.

— Давай по очереди сторожить пленного,— сказал я солдату Григореску.— Ты тоже наверняка устал. Разбуди меня через три часа.

— Нет, нет, господин капитан,— сказал солдат.— Я не хочу спать.

Солдат Григореску связал пленному ноги и руки узловатой веревкой, и татарин сидел в углу комнаты, прислонившись к стене, между окном и шкафом. Густая и жирная вонь лошадиной падали стояла в комнате. Желтый свет керосиновой лампы качался по стенам, в огороде подсолнухи потрескивали под дождевыми каплями. Скрестив ноги, солдат уселся на пол напротив пленного и положил ружье со штыком на колени.

— Спокойной ночи,— сказал я, закрыв глаза.

— Спокойной ночи, господин капитан,— сказал солдат.

Мне не удавалось заснуть. Гроза разразилась с яростной силой. С треском разорвалось небо, внезапные потоки воды ливнем низверглись из туч и обрушились на равнину, дождь шел тяжело и резко, как будто падали камни. И словно подхлестнутый дождем трупный запах густо и жирно вполз в дом, нависая под низким потолком. Пленный сидел неподвижно, опершись затылком о стену, и, не мигая, прямо смотрел на меня. У него были связаны руки и ноги. Маленькие и бледные руки цвета пепла, перехваченные у кистей узловатой бечевкой, инертно висели между колен.

— Почему ты его не развяжешь? — спросил я у солдата Григореску.— Боишься, что убежит? Развяжи ему хотя бы ноги.

Солдат медленно наклонился и медленно развязал пленному ноги, а тот все смотрел на меня бесстрастными глазами.

Через несколько часов я проснулся. Солдат сидел на полу перед пленным, ружье лежало у него на коленях. Татарин сидел, упершись затылком в стену, и все смотрел на меня.

— Иди, поспи,— сказал я солдату, спрыгнув с кровати,— теперь твоя очередь.

— Нет, нет, господин капитан, я не хочу спать.

— Иди, говорю тебе, поспи.

Солдат встал, прошел по комнате, по полу таща за собой ружье, бросился на кровать, повернулся лицом к стене и зажал в руках ружье. Он казался мертвым. У него были светлые от пыли волосы, изодранный мундир, дырявые сапоги. Он и впрямь выглядел мертвым.

Скрестив ноги, я сел на пол перед пленным, положил пистолет на колени. Татарин, не мигая, смотрел на меня из-под век, прикрывавших раскосые глаза. Казалось, глаза его остекленели. У него был взгляд, какой бывает у мертвых: веки приспущены под дугами бровей, а глаза — две едва заметные сухие черные щели. Я наклонился вперед и развязал ему руки. Пока мои пальцы сражались с узловатой бечевкой, я смотрел на его маленькие, гладкие, пепельного цвета руки с почти белыми ногтями. Изрезанные по всем направлениям короткими и глубокими морщинками (кожа у него была по-

ристой, как будто я смотрел на нее сквозь лупу), покрытые тонкими мозолями на ладонях руки его, однако, были нежными, тонкими, необычно мягкими на ощупь. Они висели инертно, мертво поддавались моим рукам, но я чувствовал в них силу, ловкость, подвижность, упрямство и, вместе с тем, легкость, бесконечную тонкость, которые отличают руки хирурга, часовщика, механика-сборщяка.

Это были руки молодого трудящегося, ударника третьего пятилетнего плана, молодого татарина, ставшего механиком, водителем бронированного танка. Эти тонкие руки, тысячелетиями привыкшие к шелковистой шерсти лошади, к лошадиным гривам, тонкой коже седел и сбруи, всего за какие-то несколько лет приучились обращаться не с кожей, а со сталью, не с лошадиным сухожилием, а с механической пружиной, не с уздечкой, а с рычагом управления. Всего несколько лет хватило, чтобы превратить молодых донских, волжских татар, татар из киргизских степей и с берегов Каспия и Арала из табунщиков в квалифицированных рабочих металлургической промышленности СССР, из всадников в ударников труда, из степных кочевников в ударников и спецов пятилетки. Развязав последний узел бечевы, я предложил ему сигарету.

У пленного болели руки, пальцы затекли, ему никак не удавалось ухватить сигарету из пачки. Тогда я сам вложил ему в губы сигарету и зажег ее, зажег и свою.

— Благодарю, спасибо,— сказал татарин и улыбнулся мне. Я тоже ему улыбнулся, и мы долго сидели так, молча, покуривая. Запах мертвечины заполнил комнату — жирный, мягкий, сладковатый. Я со странным удовольствием дышал этим запахом мертвой кобылы. И пленный тоже, казалось, вдыхал этот запах с неким тонким и грустным удовольствием. Его ноздри подрагивали, странно подергивались. Только тогда я заметил, что в его бледном, пепельного цвета лице, в раскосых, ничем не возмутимых глазах светился пристальный, мертвый взгляд, вся жизнь его собралась в ноздрях. В трупном запахе лошади он вновь обретал свою древнюю родину. Древний запах его родины был запахом мертвой кобылы. Мы посмотрели друг другу в глаза, молча вдыхая с тонким и грустным удовольствием жирный и сладковатый запах. Запах падали был запахом его родины, его древней родины! Ничто нас более не разделяло, оба мы были живы и были братьями в этом древнем запахе мертвой кобылы.

Принц Евгений поднял голову и обратил глаза к двери: его ноздри подрагивали, словно запах мертвой кобылы остановился у порога и смотрел на нас. А здесь пахло травой и листьями, морем и лесом. Ночь уже наступила, но слабое сияние еще витало в небе. В этом мертвом свете далекие дома Нибропланa, пароходы и парусники, стоявшие на якоре вдоль набережных Страндвагена, деревья парка, призрачные тени «Мыслителя» Родэна и Ники Самофракийской искаженно отражались в ночном пейзаже, как на рисунках Эрнста Жозефсона и Карла Хилла, которым в меланхолическом их безумии пригрезилось, что животные, деревья, дома, корабли отражаются в пейзажах как в неровном зеркале.

— Его руки походили на ваши,— сказал я.

Принц Евгений, слегка смутившись, посмотрел на свои руки. У него были красивые белые руки Бернадоттов с бледными и тонкими пальцами.

И я сказал ему:

— Руки механика, танкиста, ударника третьей пятилетки не менее красивы, чем ваши. Это руки Моцарта, Страдивариуса, Пикассо.

Принц Евгений улыбнулся и, слегка краснея, сказал:

— Тем более я горжусь своими руками.

ЧАСТЬ II. КРЫСЫ

«God shave the king» [1]

— Я — король, der König,— сказал рейхсминистр Франк, генерал-губернатор Польши, разводя руками и кидая на гостей взгляд горделивого удовлетворения.

А я смотрел на него и улыбался.

— Немецкий король Польши,— повторил Франк.

Я еще раз посмотрел на него и улыбнулся.

— Почему вы улыбаетесь? Разве вы никогда не видели королей? — спросил Франк.

— Я разговаривал и обедал со многими королями во дворцах и замках,— ответил я,— но ни один из них никогда не говорил «Я — король!»

— Вы избалованное дитя,— милостиво сказала фрау Бригитта Франк, немецкая королева Польши.

[1] Боже, храни короля *(англ.)*.

— Вы правы,— сказал Франк,— настоящий король никогда не скажет: «Я — король!» Но я не настоящий король, хотя мои берлинские друзья называют Польшу королевством Франка. Я решаю, жить или умереть польскому народу, но я не король Польши. С королевским великодушием и благожелательностью относясь к полякам, я все же не настоящий польский король. Поляки не заслуживают такого короля, как я. Это неблагодарный народ.

— Поляки никак не могут быть неблагодарным народом,— сказал я.

— Я стал бы самым счастливым человеком на земле, если бы поляки возблагодарили меня за все, что я делаю для них. Но, чем больше я стараюсь умалить их беды и относиться к ним справедливо, тем больше они презирают то добро, которое я творю у них на земле. Это неблагодарный народ.

Шепот одобрения тронул губы гостей.

— Этот народ полон достоинства и гордости,— сказал я с любезной улыбкой,— а вы его хозяин. Чужеземный хозяин.

— Немецкий хозяин. Они не заслуживают чести иметь немецкого хозяина.

— Действительно, они этого не заслуживают. Жаль, что вы не поляк!

— Ja, schade [1]! — воскликнул Франк, разражаясь веселым смехом, которому вторили все сидевшие за столом гости. Вдруг Франк прекратил смех и приложил обе руки к груди.— Поляк! — сказал он.— Но посмотрите на меня. Как я могу быть поляком? Я что, похож на поляка?

— Вы ведь католик?

— Да,— несколько удивленно ответил Франк.— Я немец из Франконии.

— Значит, католик,— сказал я.

— Да, немецкий католик,— ответил Франк.

— Значит, у вас есть нечто общее с поляками. Ведь католики все равны между собой. Как добрый католик, вы должны уважать поляков, таких же, как и вы, католиков.

— Я католик, добрый католик,— сказал Франк,— но вы думаете, этого достаточно? Мои сотрудники тоже католики, они родом из старой Австрии. Но не думайте, что достаточно быть католиком, чтобы управлять Польшей! Вы не представляете себе, как трудно управлять католическим народом.

— Я никогда не пробовал,— с улыбкой сказал я.

— Поостерегитесь! Тем более,— добавил Франк, склонившись над столом и с таинственным видом тихо произнося слова,— тем более, что в Польше, на каждом шагу, нужно считаться с Ватиканом. За спиной каждого поляка, догадайтесь, кто стоит?

— Польский священник,— сказал я.

— Нет,— сказал Франк.— Папа. Святой отец собственной персоной.

— Это наверное, неприятно,— заметил я.

— Правда, за моей спиной стоит Гитлер. Но это не одно и то же.

— Нет, это не одно и то же,— согласился я.

— А за спиной каждого итальянца тоже стоит Святой отец? — спросил Франк.

— Итальянцы никого не хотят иметь за спиной,— ответил я.

— Ah! So! — воскликнул Франк,— ах, да!

— Избалованное дитя! — милостиво сказала немецкая королева Польши.

— Интересно,— вновь заговорил Франк,— как устраивается Муссолини, как он договаривается с папой?

— В отношениях между Муссолини и папой,— сказал я,— поначалу тоже были серьезные затруднения. Оба живут в одном и том же городе, оба претендуют на непогрешимость. Ссора неизбежно должна была произойти. Но они договорились. И теперь все идет ко всеобщему благу. Когда рождается итальянец, Муссолини берет его под опеку: сначала он отдает его в детский приют, потом в школу, позже дает ему ремесло, зачисляет в фашистскую партию и до двадцатилетнего возраста заставляет работать. В двадцать лет он призывает его в армию и держит два года в казармах, затем отпускает, отправляет опять на работу, после совершеннолетия разрешает жениться. Если рождаются дети, он поступает с ними так же, как с их отцом. Когда, состарившись, отец больше не может работать и ни на что более не годен, он отправляет его домой, дает ему пенсию и ждет, когда тот умрет. Наконец, когда тот умирает, Муссолини отдает его папе, чтобы папа делал с ним все, что пожелает.

Немецкий король Польши поднял руки, покраснел, посинел, стал давиться от смеха. Все присутствовавшие махали руками и кричали:

— Ah! Wunderbar! Wunderbar! [2]

Наконец, Франк выпил большой бокал вина и сказал все еще дрожавшим от возбуждения голосом:

— Ах, итальянцы! Какой политический гений! Какое чувство юридического права!

[1] Да, жаль *(нем.)*.

[2] Великолепно! Великолепно! *(нем.)*

Жаль,— добавил он, вытирая лицо от пота,— что не все немцы католики! Вопрос единой веры очень упростил бы все в Германии: как только католик умирает, мы отдаем его папе. А кому же отдавать протестанта?

— Эту проблему,— сказал я,— Гитлер давно решил.

— Вы лично знакомы с Гитлером? — спросил меня Франк.

— Нет, я никогда не удостаивался подобной чести,— ответил я.— Я видел его только один раз, в Берлине, на похоронах Тодта. Я стоял в толпе на тротуаре.

— Какое у вас от него впечатление? — спросил Франк.

Он ждал моего ответа с видимым любопытством.

— Мне тогда показалось, что он не знал, кому вручить тело Тодта.

Новый взрыв смеха встретил мои слова.

— Могу вас уверить,— сказал Франк,— что Гитлер уже давно решил вопрос. Nicht wahr? — сказал он и, смеясь, вопросительно посмотрел на присутствовавших.

— Да, да, конечно! — кричали все кругом.

— Гитлер — человек возвышенный. Вы тоже так думаете?

И так как я колебался, он пристально посмотрел на меня и прибавил, любезно улыбаясь:

— Я хотел бы знать ваше мнение о Гитлере.

— Он — почти человек,— ответил я.

— Как?

— Почти человек, я хочу сказать, не человек, по сути дела.

— Ах, да! Понятно, вы хотите сказать «выше человека», nicht wahr? Да, Гитлер — это, по сути дела, не человек, Он выше человека.

— Господин Малапарте,— вдруг сказал сидевший в конце стола субъект,— написал в одной из своих книг, что Гитлер — женщина.

Это был начальник Гестапо генерального губернаторства Польши, Человек Гиммлера. Голос его звучал холодно, мягко, грустно, рассеянно. Я поднял глаза, но у меня не хватило духу посмотреть на него. Мое сердце замерло будто в сладостном ожидании от этого холодно-мягкого, печального и далекого голоса.

— Вот именно,— сказал я после минуты молчания,— Гитлер — это женщина.

— Женщина? — воскликнул Франк, уставившись на меня глазами, полными удивления и беспокойства.

Все молча смотрели на меня.

— Он, по сути дела, не человек, почему же он не может быть женщиной? — сказал я.— Женщины заслуживают всего нашего уважения, любви, восхищения. Вы говорите, что Гитлер — отец немецкого народа, nicht wahr? Почему же ему не быть его матерью?

— Его матерью? — воскликнул Франк.— Die Mutter?

— Матерью,— сказал я.— Матери зарождают в себе новых сыновей, рождают их в муках, вскармливают их кровью и молоком. Гитлер — это мать нового немецкого народа: он зародил его в своем чреве, родил в муках, вскормил своей кровью и ...

— Гитлер не мать немецкого народа, а его отец! — строгим голосом сказал Франк.

— Как бы там ни было,— сказал я,— немецкий народ — это его порождение. Вне всякого сомнения.

— Да,— сказал Франк,— вне всякого сомнения. Все народы новой Европы и, первые среди них, поляки должны гордиться тем, что Гитлер — их справедливый и строгий отец. Но знаете ли вы, что думают поляки о нас? Что мы — варварский народ.

— И это оскорбляет вас? — спросил я с улыбкой.

— Мы — народ-хозяин, а не народ-варвар. Народ-хозяин.

— Ах, не говорите так.

— Почему же? — спросил Франк в глубоком удивлении.

— Потому что хозяева и варвары — это одно и то же,— ответил я.

— Вот уж не согласен с вами,— сказал Франк.— Мы — народ-хозяин, а не народ-варвар. Разве вам кажется, что этот вечер вы проводите среди варваров?

— Нет,— ответил я,— но среди хозяев.— И я прибавил с улыбкой: — Должен сознаться, что, когда сегодня я входил в Вавель, мне показалось, что я входил в итальянский дворец эпохи Возрождения.

Победная улыбка осветила лицо немецкого короля Польши. Он посмотрел на всех поочередно, как бы изучая присутствовавших взглядом, полным горделивого удовлетворения. Он был счастлив. Я знал, что мои слова его буквально осчастливят. В Берлине, перед моим отъездом в Польшу, в своем кабинете на Вильгельмплац Шеффер, смеясь, посоветовал мне:

— Постарайтесь не иронизировать с Франком. Это смелый человек, но не понимает иронии. Если совсем уж не сможете удержаться, то во спасение свое скажите ему, например, что он настоящий итальянский вельможа эпохи Возрождения. Он простит вам все грехи остроумия.

Я вспомнил слова Шеффера в подходящий момент.

Так я сидел за столом у Франка, немецкого короля Польши, в старинном королевском дворце Вавеле в Кракове. Франк сидел прямо передо мною, на стуле с высокой спинкой, сидел строго, как если бы он восседал на троне Ягеллонов и Собесского. По всей видимости, он был вполне убежден, что воплотил в себе старинную королевскую и рыцарскую польскую традицию. Наивная гордость светилась в его лице с одутловатыми и бледными щеками и орлиным носом, выдававшим его тщеславие и неуверенность в себе. Его черные отброшенные назад волосы блестели, открывая высокий лоб цвета слоновой кости. В нем было что-то детское и старческое одновременно, в этих мясистых, будто надутых как у обиженного ребенка, губах, в этих слегка припухших глазах под плотными и тяжелыми, может быть, слишком большими для его глаз, веками, в этой манере вздергивать брови, отчего на висках у него легли две прямые и глубокие морщины. Кожа на его лице покрылась легкой пеленой пота, и свет от больших голландских люстр и серебряных подсвечников на столе, отражаясь в богемском хрустале и саксонском фарфоре, будто накладывал на его лицо целлофановую маску.

— Мое единственное желание,— говорил Франк, упираясь обеими руками в край стола и откидываясь на спинку стула,— это поднять польский народ до уровня европейской цивилизации, сделать из этого бескультурного народа...— Но он остановился, словно в его мозгу пронеслось какое-то подозрение, пристально посмотрел на меня и прибавил по-немецки: — Хотя... вы же друг поляков, nicht wahr?

— Oh! Nein,— ответил я.

— Как? — спросил Франк по-итальянски,— вы не друг поляков?

— Я никогда не скрывал,— ответил я,— что я искренний друг польского народа.

Франк уставился на меня в глубоком удивлении. Поразмыслив некоторое время, он спросил меня, медленно выговаривая слова:

— А почему только что вы ответили мне «нет»?

— Я ответил вам «нет»,— сказал я с любезной улыбкой,— примерно по той же причине, по которой на Украине один русский рабочий ответил «нет» немецкому офицеру. Я был в деревне Печанка на Украине летом 1941 года и однажды утром поехал осмотреть служебные помещения большого колхоза около деревни, колхоза Ворошилова. Русские оставили Печанку за два дня до этого. В Печанке был самый большой и богатый колхоз, который мне до сих пор довелось увидеть. Все было оставлено в полном порядке, но хлев был пуст и конюшни тоже. Не оказалось ни зернышка хлеба в закромах, ни сухой травинки на сеновалах. По двору ходила лошадь, но это была старая, слепая хромая лошадь.

Во дворе, вдоль сарая стояли сотни сельскохозяйственных машин, по большей части советского производства, но были и венгерские, итальянские, немецкие, шведские, американские. Отходя, русские не сжигали колхозов, не уничтожали зревшего хлеба и полей подсолнухов, не ломали сельскохозяйственных машин: они увозили с собой тракторы, уводили лошадей, домашний скот, брали мешки с хлебом и семечками, но не трогали сельскохозяйственных машин, даже молотилок, оставляли их в полном порядке. Они увозили только тракторы. Рабочий в синей спецовке смазывал большую молотилку, наклонившись над колесами и шестернями. Я остановился посреди двора и смотрел издали, как он работал. Он смазывал свои машины, продолжал заниматься делом, словно война была далеко, словно война вовсе не коснулась деревни Печанки. После нескольких дождливых дней показалось солнце, было тепло, в лужах грязной воды отражалось голубое небо, по которому пробегали легкие белые облака.

В какой-то момент во дворе появился немецкий офицер из группы СС, за ним шло несколько солдат. Офицер, расставив ноги, остановился посреди двора и осмотрелся. Он, то и дело, оборачивался, разговаривая со своими солдатами, и в его розовой пасти сияли золотые зубы. Вдруг он заметил наклонившегося для смазки машины рабочего и позвал его:

— Du, komm her! [1]

Рабочий подошел, хромая. Он тоже хромал, наверное, он и остался потому, что был хром. В правой руке он держал большой гаечный ключ, в левой — желтую медную масленку. Проходя мимо лошади, он тихо сказал ей что-то, слепая лошадь потерлась мордой о его плечо и, хромая, прошла за ним несколько шагов. Рабочий остановился перед офицером, снял кепку. У него были густые черные волосы, серое лицо, тусклые глаза. Это, конечно, был еврей.

— Ты еврей? — спросил его офицер.

— Нет, я не еврей,— покачав головой, ответил рабочий.

— Кто? Ти нье еврин? Ти еврин! — сказал офицер по-русски.

— Да, да, еврей, да, я еврей,— ответил рабочий по-русски.

Офицер долго молча смотрел на него. Потом спросил, медленно выговаривая слова:

— Почему только что ты ответил мне «нет»?

---

[1] Эй, подойди сюда *(нем.)*.

— Потому что ты спросил меня по-немецки,— ответил рабочий.

— Расстрелять! — сказал офицер.

Рот Франка раскрылся в добросердечном смехе, и все присутствовавшие, откидываясь на спинки стульев, шумно рассмеялись.

— Этот офицер,— сказал Франк, когда веселье гостей улеглось,— ответил очень достойно, а мог ответить гораздо хуже, nicht wahr? Но он — неостроумный человек. Будь он остроумен, он обратил бы все в шутку. Я люблю людей тонкого ума,— любезно склоняясь, прибавил он по-французски.— Вот в вас есть много остроумия. Остроумие, ум, искусство, культура — отныне все это — на почетном месте в немецком городе Кракове. Я хочу возродить в Вавеле итальянский двор эпохи Возрождения, среди моря славянского варварства сделать из Вавеля остров цивилизации и вежливого обхождения. Вы знаете, что мне уже удалось создать в Кракове? Польское филармоническое общество. Все оркестранты, конечно, поляки. Фюртванглер и Караян приедут в Краков весной и будут дирижировать циклом концертов. Ах! Шопен,— вдруг воскликнул Франк, подняв глаза к потолку и пробегая пальцами по скатерти, как по клавишам рояля.— Ах! Шопен. Белокрылый ангел! Разве важно, что он польский ангел? На небе музыки есть место даже для польских ангелов. А между тем, поляки не любят Шопена!

— Не любят Шопена? — с горечью спросил я.

— Недавно,— печальным голосом продолжал Франк,— во время концерта, посвященного Шопену, краковская публика не аплодировала. Ни одного хлопка, ни единого порыва любви к этому белому ангелу музыки. Я смотрел на полный зал: публика сидела молча и неподвижно. Я старался понять причину этого ледяного молчания, я смотрел, как тысячами глаз блестели эти бледные лица, еще согретые легким, ласковым прикосновением крыла Шопена, на эти губы, которые еще чувствовали на себе печальный и нежный поцелуй белого ангела, и всем сердцем я пытался оправдать эту молчаливую, мраморно-ледяную неподвижность польской чопорной публики. Ах! Но я завоюю этих людей искусством, поэзией, музыкой! Я стану польским Орфеем! — и он странным образом принялся смеяться с закрытыми глазами, откинувшись головой на спинку стула. Он побледнел, ему было трудно дышать, у него на лбу каплями выступил пот.

Но в этот момент фрау Бригитта Франк, немецкая королева Польши, подняла глаза и обернулась к двери. При этом движении ее глаз дверь растворилась и на огромном серебряном подносе в зал вплыл косматый дикий кабан в ловушке из ароматной черники.

Это был кабан, которого Кейт, начальник протокольного отдела генерального губернаторства Польши, убил своей собственной рукой в люблинских лесах. Свирепая голова была усыпана черникой, будто зверь засел в куст ежевики в лесу, готовясь кинуться на неосторожных охотников и на их злую свору собак. По обе стороны белели его загнутые клыки, на блестящей спине в жиру, на хрустящей корочке, потрескавшейся от жара печи, торчала жесткая черная щетина. В глубине сердца я чувствовал тайную симпатию к этому благородному польскому кабану, этому звериному «партизану» люблинских лесов. В его темных глазах поблескивало что-то серебряно-кровяное: холодный пурпурный отблеск, что-то могучее и затаенное, что бывает видно в пылающем сильным внутренним огнем взгляде. Тот же серебряно-пурпурный отсвет я видел в глазах крестьян, дровосеков, польских рабочих на фермах по берегам Вислы, в татрских лесах в Закопане, на фабриках в Радоме и Ченстохове, на соляных копях в Величке.

— Achtung! [1] — сказал Франк и, подняв руку, всадил в спину кабана широкий нож.

То ли виною тому был горевший в большом камине огонь, то ли обилие пищи, драгоценных французских и венгерских вин, но я почувствовал, как заливалось краской моё лицо. Я сидел за столом немецкого короля Польши, в большом зале вавельского замка, в древнем, благородном, богатом, ученом королевском городе Кракове, вокруг расположился так называемый малый двор этого наивного, жестокого, тщеславного человека, по-немецки пытавшегося изображать итальянского вельможу эпохи Возрождения, и мое лицо пылало от стыда. В начале трапезы Франк принялся говорить о Платоне, Марсиле Фичине, о садах Орти Оричелларии (Франк учился в Римском университете, он в совершенстве знал итальянский, говорил с легким романтическим акцентом, который унаследовал от Гете и Грегоровиуса, он проводил целые дни в музеях Флоренции, Венеции, Сиенны, он знавал Перузу, Лукку, Феррару, Мантую, он влюблен в Шумана, Шопена, Брамса, он божественно играет на рояле), затем перешел к Донателло, Полициано, Сандро Ботичелли. Очарованный музыкой собственных слов, он чуть прикрыл глаза.

[1] Внимание *(нем.)*.

Он улыбался фрау Бригитте Франк с той же изящной любезностью, что и Цельсий у Аньоло Фиренцуолы, когда римлянин улыбался прекрасной аморрейке. Беседуя, он нежным взглядом ласкал фрау Вахтер и фрау Гасснер тем же взглядом, которым Борсо д'Эсте во дворце Скифаноя ласкал украшенные цветами обнаженные плечи и розовые лица феррарок. Он обращался к губернатору Кракова, молодому и элегантному Вахтеру из Вены, одному из убийц Долфусса, с той же любезной серьезностью, с коей Лоренцо Великолепный обращался к молодому Полициано, когда на вилле Амбра собирались веселые гости. И Кейт, Вользеггер, Эмиль Гасснер, Сталь отвечали на его вежливые слова с таким же достоинством и с той же вежливостью, которые Бальдассар Кастильоне рекомендует всякому примерному придворному в его службе при любом приличном дворе. Только сидевший в конце стола Человек Гиммлера слушал и молчал. Возможно, он-то слышал тяжелые шаги в смежных комнатах, где нашего великолепного сеньора прослушивали не охотники, держа на руках в кожаных перчатках ястребов, а суровые наряды СС с пулеметами наготове.

Вот так же лицо залилось краской и тогда, когда я проезжал в машине по пустынным и заснеженным равнинам, лежащим между Краковом и Варшавой, Лодзем и Радомом, Леополисом и Люблином, когда по дороге я все время видел печальные города и мрачные деревни, населенные бледными и исхудалыми людьми, на лицах которых лежала печать голода, тревоги, рабства, отчаяния, а в их светлых глазах горел тот чистый взгляд, который и является взглядом попавшего в беду польского народа. К вечеру я приехал в Deutsche Haus [1], в каком-то городе, где стоял туман и где я остановился на ночлег. Меня встретили глухие голоса, жирный смех, горячий запах пищи и напитков, и мне показалось, что каким-то чудом я попал на немецкий двор, выдуманный экспрессионистом Георгом Гросом. Вокруг богато накрытых столов я видел нарисованные Гросом затылки, рты, уши и холодные, пристальные немецкие глаза, рыбьи глаза. Теперь, как и тогда, от горького стыда запылало мое лицо, когда я, медленно обведя взглядом гостей немецкого короля Польши, сидевших за столом в большом вавельском зале, представил себе толпу бледных и исхудалых людей, топтавшихся на улицах Варшавы, Кракова, Ченстохова, Лодзи, толпу людей с голодными, тревожными лицами, бродивших по тротуарам, покрытым грязным снегом, представил себе печальные дома и гордые дворцы, откуда каждый день потихоньку выносили ковры, серебро, хрусталь, фарфор, все их прежние знаки богатства и горделивой славы.

— Что вы делали сегодня на улице Батория? — спросил Франк с хитрой усмешкой.

— На улице Батория? — спросил я.

— Да, думаю, что эта улица так и называется, nicht wahr? — спросил Франк, обернувшись к Эмилю Гасснеру.

— Да, Баторегоштрассе,— ответил Гасснер.

— Так что же вы там делали у барышень..., как их зовут?

— Барышни Урбвяские.

— Барышни Урбанские? Но это две старые барышни, если я не ошибаюсь, две старые девы! Что же вы делали у барышень Урбанских?

— Вы всё знаете,— сказал я,— и вы не знаете, что я там делал? Я отнес хлеба барышням Урбанским.

— Хлеба?

— Да, итальянского хлеба.

— Итальянского хлеба? И вы привезли его из Италии?

— Я привез его из Италии. Мне приятней было бы привезти барышням Урбанским букет роз из Флоренции. Но от Флоренции до Кракова дорога дальняя, а розы быстро вянут. Поэтому я привез хлеба.

— Хлеба? — воскликнул Франк.— Вам кажется, что в Польше не хватает хлеба? И он широким жестом показал на серебряные подносы, полные белых ломтей хлеба, мягкого польского хлеба с легкой хрустящей и гладкой, как шелк, корочкой. И простодушное удивление изобразилось на его бледном одутловатом лице.

— Польский хлеб горек,— сказал я.

— Да, правда, итальянские розы слаще. Вы должны были привезти барышням Урбанским букет флорентийских роз. Это был бы галантный подарок из Италии. Тем более, что, возможно, вы встретились в их доме не только с самими старыми барышнями, nicht wahr?

— О! Вы злой человек,— сказала фрау Вахтер по-французски и изящно погрозила Франку пальцем. Фрау Вахтер — из Вены и любит говорить по-французски.

— Княжну Любомирскую, nicht wahr? — продолжал, смеясь, Франк.— Лили Любомирскую. Лили, ах, Лили!

Все рассмеялись. Я молчал.

— Лили тоже любит итальянский хлеб? — спросил Франк и его слова были встречены дружным смехом гостей.

[1] Немецкий дом *(нем.)*.

Тогда я обратился к фрау Вахтер и сказал ей по-французски:

— Я человек неостроумный и не сумею ответить. Не возьметесь ли сделать это за меня?

— О! Я знаю, вы-то неостроумный человек,— любезно сказала фрау Вахтер,— но ведь так просто ответить, что поляки и итальянцы — два дружественных народа. А хлеб дружбы сладок, так?

— Спасибо,— сказал я ей.

— Ah, so! — вскричал Франк и после минуты молчания прибавил: — Я же забыл, что вы большой друг польского народа, я хочу сказать благородных поляков.

— Все поляки — благородные люди,— сказал я.

— Действительно,— сказал Франк,— не вижу никакой разницы между князем Радзивиллом и кучером.

— И вы не правы,— сказал я.

Все посмотрели на меня удивленно, а Франк улыбнулся.

Но в этот момент тихо открылась дверь и жирный гусь вплыл в зал на серебряном подносе, лежа на спине среди запеченого в его жиру картофеля. Это был жирный польский гусь с широкой грудкой, с дородными бочками, мускулистой шеей. Не знаю, почему я подумал, что ему не перерезали горло ножом, как это делается всегда по старому доброму обычаю, а что его расстреляли у стены эсэсовцы. Будто я услышал команду: «Feuer!» [1] и резкий звук залпа. Гусь, безусловно, упал с поднятой головой, глядя прямо в лицо жестоким угнетателям Польши.

— Feuer! — вскричал я громким голосом, как будто хотел понять, что же означал этот крик, глухой всплеск звука, сухая команда, будто я ждал, что услышу в большом вавельском зале резкий звук залпа. Кругом все прыснули от смеха. Засмеялись, откидываясь за спинки стульев, и фрау Бригитта Франк смотрела на меня сияющими от чувственной радости глазами на пылающем и слегка влажном лице.

— Feuer! — вскричал Франк в свою очередь и все засмеялись еще пуще, наклоняя голову к правому плечу, уставившись на гуся и сощурив левый глаз, словно целясь в него. Тогда я тоже засмеялся, но стыд овладевал всем моим существом, я почувствовал себя «на стороне гуся». О! Да, я почувствовал себя на стороне гуся, а не на стороне тех, кто берет ружье к плечу и кричит: «Feuer!», и не на стороне тех, кто говорит: «Gans Kaputt!» [2]

Я чувствовал себя на стороне гуся и, разглядывая его, я подумал о старой княгине Радзивилл, о дорогой старой Бишетте Радзивилл. Она стояла под дождем на развалинах вокзала в Варшаве в ожидании поезда, который должен был отвезти ее в Италию. Шел дождь, и Бишетта стояла уже в течение двух часов под полусгоревшими балками вокзала, на исковерканном немецкими бомбами перроне.

— Не беспокойтесь за меня, дорогой мой, я — старая курица,— говорила она Соро, молодому секретарю Итальянского посольства и время от времени потряхивала головой, чтобы сбросить капли дождя, собиравшиеся на полях ее фетровой шляпы.

— Если бы я знал, где достать зонтик! — говорил Соро.

— Зонтик, что вы! В моем возрасте это было бы так смешно! — отвечала она смеясь, и своим особым голосом, со свойственной только ей манерой говорить, забавно поднимая брови, рассказывала небольшой группе родных и друзей, которым удалось добиться от Гестапо разрешения проводить ее на вокзал, о мелких неприятностях и бесконечных перипетиях своего переезда по территориям, занятым русскими и немцами. Чувство жалости, милосердия и гордости не позволяло ей обратить взор к огромной трагедии Польши. Дождь потоками струился по ее лицу, смывая краску со щек. Ее белые волосы с желтым отливом выбивались из-под фетровой шляпки и висели слипшимися прядями, истекая водой. Вот уже битых два часа стояла она здесь под дождем, туфли ей заливала жидкая грязь от намокшего угля, которым был засыпан перрон, но была весела, оживлена, полна остроумия. Только так! То у одного, то у другого она спрашивала о новостях, о родных и друзьях, мертвых, уехавших, интернированных, и, когда кто-нибудь ей сообщал: «О нем больше ничего не известно», Бишетта вскрикивала:

— Ну, что вы, нет, нет! — словно ее лишали увлекательнейшей сплетни, веселой истории.

— Ах, это так мило! — восклицала она, когда ей сообщали: «Такой-то жив».

А если случалось, что сообщение было: «Такой-то умер, такой-то в концентрационном лагере», Бишетта принимала оскорбленный вид и восклицала:

— Возможно ли такое? — как если бы она хотела сказать: Вы попросту смеетесь надо мной,— как будто ей рассказывали неправдоподобную историю. Она заставила

[1] Огонь *(нем.)*.

[2] Гусь капут *(нем.)*.

Соро рассказать все последние варшавские сплетни, а когда в поле ее зрения попадали немецкие солдаты и офицеры, проходившие по перрону, она говоряла:

— Бедные люди! — с неуловимой интонацией прежних времен, будто жалела, что своим присутствием вводила людей в замешательство, будто ей их было искренне жалко. Будто разгром Польши был ужасным несчастьем, разразившимся над головами этих бедных немцев.

Подошел немецкий офицер со стулом в руках. Он склонился перед Бишеттой и молча предложил ей сесть. Она выпрямилась и сказала с самой милостивой улыбкой, на которую была способна, и тоном, в котором не было и тени презрения:

— Спасибо, я принимаю вежливое обхождение только от моих друзей.

Офицер смешался, сначала он не решался показать, что понял ее намек, потом покраснел, поставил стул на перрон и молча удалился, убрался.

— Смотрите,— сказала Бишетта,— что за мысль, стул! — Она посмотрела на стул, оставшийся стоять на перроне под дождем, и сказала: — Невероятно, как будто эти бедные люди находятся у себя дома!

Я думал об этой старой польской даме, стоявшей под дождем, об одиноком пустом стуле и чувствовал себя на стороне гуся, на стороне княгини Радзивилл и одинокого стула под дождем.

— Feuer! — повторил Франк. Гусь падал под ружейным залпом у стен разбитого варшавского вокзала и улыбался исполнявшим приказ эсэсовцам. «Эти бедные люди!» Я чувствовал себя на стороне гуся, на стороне Бишетты и одинокого стула под дождем, там, на перроне, среди развалин варшавского вокзала.

Все смеялись. Не смеялась только королева, сидевшая прямо и торжественно, как на троне. Она была одета в широкое зеленого бархата платье клешем, без пояса, с широкой пурпурной лентой по подолу. Длинные широкие рукава, которые по старинному немецкому обычаю начинались на плече круглыми складками и расширялись к низу. На зеленый клеш была наброшена большая кружевная накидка того же цвета, что и лента на подоле. Прическа королевы была просто: ее волосы собирались в пучок на макушке. Жемчужная нить диадемой вилась два раза вокруг ее головы. Толстая и приземистая, у запястий сияя золотыми браслетами, нацепив кольца, которые ей были малы и врезались в толстые пальцы, она сидела в готической позе, придавленная своим бврхатным клешем, словно тяжелой кольчугой.

Бесстыдная чувственность разжигала ее блестевшее лицо. И все-таки нечто невинное, меланхоличное, отрешенное светилось во взгляде. Все ее лицо было обращено к пище, которая загромождала драгоценные мейсенские тарелки, к искрившимся в богемском хрустале ароматным винам, и выраженяе несдержанной алчности, чтобы не сказать разнузданного обжорства, вздрагивало в ее ноздрях, лоснилось на полных губах, а на щеках просвечивало сквозь паутину мелких морщинок, которые вслед за отягченным дыханием то разбегались, то сбегались к носу и ко рту. Во мне возникло смешанное чувство отвращения и сострадания. Она что, голодна? Я готов был прийти на помощь: встать, наклониться к столу и затолкать ей пальцами в рот большой кусок гуся, напичкать ее картошкой, начинить, начинить ее едой. Все время я опасался, что она того и гляди предастся пороку обжорства, осядет в своем зеленом клеше и опустит голову прямо в полную жирной еды тарелку. Я смотрел на ее пылающее лицо, придавленную тяжелой кольчугой бархата полную грудь и всякий раз все-таки удерживался от стремления помочь потому, что видел этот отрешенный и невинный взгляд, девичий свет в ее влажных глазах.

Другие гости жадно ели и пили и тоже не сводили глаз с лица королевы. Они кидали на нее блестящие взгляды, будто и они тоже боялись увидеть ту же картину — как она вот-вот поддастся своему неизбывному голоду и опустит голову прямо в тарелку, полную кусков жирного гуся и жареной картошки. В экстазе и со страхом они то и дело, держа вилки у губ и подняв рюмки, посматривали с открытым ртом на фрау Бригитту Франк. Сам король внимательно следил за мельчайшими жестами королевы, готовый предупредить всякое ее желание, угадать всякое движение или мимолетное выражение ее лица.

Но королева восседала неподвижно, невозмутимо, время от времени, роняя на гостей невинный и отрешенный взгляд. Чаще прочих она удостаивала взглядом губернатора Кракова, молодого Вахтера, худого и элегантного человека с невинным лицом, белыми руками, столь белыми, что даже кровь Долфусса не запачкала их. Она бросала взгляд и на аббата Эмиля Гасснера, тоже уроженца Вены, человека с ироничеcкой и фальшивой улыбкой, с бегающими глазами, которые он со смиренным видом и будто боязливо опускал всякий раз, как девственный взгляд королевы останавливался на нем. Но еще чаще взгляд ее тянулся к главе немецкой партии национал-социалистов генерального губернаторства Польши, атлетическому Сталю, человеку с холодным и жестким готическим лицом. Его лоб был увенчан невидимым дубовым

венком, а сам он так и тянулся к невозмутимой статуе этой закованной в тяжелую кольчугу зеленого бархата королевы, сжимавшей в жирной руке хрупкую ножку хрустального бокала. Она с отрешенным видом слушала его, как бы во власти тайной, высокой и чистой, но настойчивой мысли.

Сам я только изредка мог оторваться от созерцания королевы и тогда блуждал взглядом по лицам собравшихся, задерживаясь глазами на улыбчивой фрау Вахтер, белой руке фрау Гасснер, розовой и потной лысине начальника протокольного отдела Кейта, который рассказывал об охоте на кабана в люблинских лесах, о сворах охотничьих собак на Волыни, об облавах в лесах Радзивиллов. Еще я смотрел на статссекретарей Бепила и Бюлера, затянутых в мундиры из серого сукна с красными нарукавными повязками и черной фашистской свастикой. На висках у них проступал пот, щеки горели, глаза сверкали, и то и дело они вскрикивали: «ja, ja!» на каждый «nisht wahr?» своего короля. Я смотрел также на барона Вользеггера, старого тирольского дворянина с ослепительно белыми волосами, с мушкетерской бородой и светлыми глазами на пылавшем лице. Я все спрашивал себя, где мне уже приходилось видеть это любезное и свиреное лицо. Перебрав в памяти отдаленные времена, год за годом и страну за страной, я вспомнил Донауешинген в герцогстве Вюртембергском, парк замка князей Фюрштенберг, где из окруженной статуями Дианы и нимф мраморной раковины начинвет свой путь Дунай. Я тогда наклонился над колыбелью младенца-реки, долго смотрел, как, дрожа, выбивалась струйка воды, потом пошел и постучался в дверь замка, пересек большой холл, поднялся по широкой мраморной лестнице, проник в большую залу, на стенах которой висели полотна Гольбейна, его «Страстей» в серых тонах, и там же, на светлой стене увидел портрет кондотьера Валленштейна. Я улыбнулся далекому воспоминанию, улыбнулся и барону Вользеггеру. Потом, неожиданно, мой взгляд упал на Человека Гиммлера.

Мне показалось, что я впервые его увидел, и я содрогнулся. Он тоже смотрел на меня! Наши взгляды встретились. Этот человек с запретным именем, с непроизносимым именем, был среднего возраста, ему можно было дать не более сорока лет, у него были тонкие бледные губы, невероятно светлые глаза. Эти глаза, может быть, были серыми, а может быть, и голубыми или просто белыми, рыбьими. Длинный рубец шрама проходил у него по левой щеке. Но что-то меня в нем смутило: его уши, невероятно маленькие, бескровные, а мочки казались прозрачными, как воск, молоко. Я вспомнил Амброзия из сказки Апулея, того Амброзия, которому, пока он сторожил мертвеца, лемуры отгрызли уши и потом ему вновь прикрепили их воском. В его лице сквозило нечто дряблое, голое, хотя череп был грубой и сильной лепки, а костяк лица казался хорошо смонтированным, очень жестким. И все-таки, на вид этот череп мог легко поддаться усилиям пальцев — как череп новорожденного ребенка, как череп ягненка. Его узкие щеки, длинное лицо, косые глаза тоже были ягнячьими: в этом лице было нечто звериное и, в то же время, детское. У него был белый и влажный лоб, как у больного. И даже проступивший каплями на этой восковой и мягкой коже пот наводил на мысль, что человек этот страдал лихорадочной бессонницей: у него был влажный лоб туберкулезника, когда тот на рассвете в изнеможении лежит на спине.

Человек Гиммлера молчал, он молча смотрел на меня, и мало-помалу я обнаружил, что странная улыбка, робкая и какая-то очень нежная, смягчала выражение его тонких и бледных губ. Он смотрел на меня, улыбаясь. Сначала я подумал, что он улыбался именно мне, что он смотрел на меня и улыбался, но вдруг я заметил, что глаза его были пусты, что он не слушал слов окружавших его людей, что он не слышал шума голосов и смеха, стука вилок и звона бокалов: в этот момент он витал в чистых и высоких небесах жестокости (той «страждущей жестокости», коей и является истинная немецкая жестокость), в чистых и высоких небесах жестокости, страха и замкнутости. На его лице не видно было ни тени грубости, более того, на нем была робость, потерянность, сверхъестественное одиночество, ужас. Левая бровь у него поднималась острым углом вверх. Холодное презрение, жестокая гордыня его как раз приходилась на эту вздернутую бровь. Но все черты и движения его лица соединялись в едином выражении страждущей жестокости, сверхъестественной и печальной замкнутости.

И вот, мне показалось, что в нем что-то таяло, что-то живое, человеческое, свет, цвет — может быть, взгляд, детский взгляд — нарождалось в глубине его пустых глаз. У меня возникло ощущение, что он медленно, как некий ангел, выбирался со своего высокого, далекого и бесконечного чистого неба. Он спускался, как паук, как ангел-паук, медленно спускался по высокой белой стене, по отвесной высокой стене, осторожно, как узник, скользил, выползал из своей тюрьмы.

На его бледном лице постепенно появилось выражение глубокой подавленности. Он выползал из глубин одиночества, как рыба выплывает из укрытия. Он плыл ко мне и неотступно смотрел на меня. Бессознательное сочувствие начинало примешиваться к чувству ужаса, которое вызывали во мне его голое лицо и белый взгляд. Я стал смотреть с чувством жалости, находя даже некое извращенное удовольствие в той смеси ужаса и сочувствия, которую это неумолимое чудовище внушало мне.

Вдруг Человек Гиммлера наклонился к столу и с робкой улыбкой тихо сказал:

— Я тоже друг поляков.— И прибавил по-французски: — Они мне очень нравятся.

Меня так смутили слова и поразительно мягкий и печальный голос Человека Гиммлера, что я не заметил, как король, королева и все гости встали из-за стола. На меня посмотрели. Я тоже встал и все пошли вслед за королевой. Во весь рост она показалась мне еще более жирной, она приняла вид доброй немецкой бюргерши. Зелень ее бархатного клеша как будто даже угасла. С простоватым достоинством она тихо продвигалась вперед, на миг задерживаясь у порога каждой комнаты, как бы вкушая глазами холодное, наглое и глупое великолепие меблировки, выбранной в стиле dritter Reich [1], самым наглядным примером которого является обстановка берлинской Канцелярии. Проходя порог, она делала несколько шагов, опять останавливалась и, простирая руку, показывала мне на мебель, картины, ковры, светильники, статуи героев Арно Брекера, бюсты фюрера, шпалеры, украшенные готическими орлами и свастикой, и с милостивой улыбкой говорила:

— Schön, nicht wahr? [2]

Вся огромная масса Вавеля, которую двадцать лет тому назад я видел по-королевски освобожденной от лишней мебели, теперь от подземелий до верхушки самой высокой башни была загромождена мебелью, накраденной во дворцах польской знати или полученной в результате хищений и грабежей, учиненных во Франции, Бельгии, Голландии при помощи и содействии целых комиссий, состоявших из антикваров и экспертов из Мюнхена, Берлина, Вены, следовавших за немецкими войсками по всей Европе. Отражаясь на покрытых блестящей кожей стенах и на портретах Гитлера, Геринга, Геббельса, Гиммлера и других гитлеровских начальников, сильный свет от больших люстр под потолком падал на расставленные повсюду мраморные и бронзовые бюсты (в коридорах, на площадках лестниц, по углам комнат, на мебели, на мраморных колоннах или в нишах), изображавшие немецкого короля Польши в разных позах и исполненные либо в декадентском духе Якоба Буркхардта, Ницше, Стефана Георге, либо в героической эстетике Третьей симфонии Бетховена и „Хорста Весселя“, либо в декоративной манере старых гуманистов Флоренции и Мюнхена. Запах свежей краски, новой кожи, только что отлакированного дерева плавал в спертом воздухе.

Но вот, наконец, мы вошли в большой зал, щедро набитый мебелью dritter Reich, французскими коврами и кожаными панелями. Это был кабинет Франка. Все пространство между двумя высокими застекленными дверями, выходившими на внешнюю лоджию Вавеля (внутренняя лоджия выходит на великолепный двор, созданный итальянскими архитекторами эпохи Возрождения) было занято огромным столом красного дерева, в котором отражалось пламя свечей, горевших в тяжелых золоченых бронзовых канделябрах. Этот огромный стол оказался пуст.

— Вот здесь я думаю о будущем Польши,— сказал Франк, разводя руками. Я улыбнулся. Про себя я подумал о будущем Германии.

По знаку Франка обе застекленные двери распахнулись, и мы вышли в лоджию.

— Вот немецкий Burg [3],— сказал Франк, показывая мне рукой на внушительную массу Вавеля, которая резко выделялась на фоне ослепительного, замечательно-чистого снега. Вокруг старого дворца польских королей лежал город, он закутался в снежный саван и распластался под светлым небом, освещенным робким лучом тонкого серпа луны. Синий туман поднимался над Вислой. Далеко на горизонте видно было, как прозрачно и изящно высились Татры. То и дело глубокую тишину ночи нарушал лай собак эсесовской охраны перед могилой Пилсудского. Холод был столь жесток, что у меня заслезились глаза. Я на мгновение прикрыл их.

— Прямо как во сне, nicht wahr? — сказал мне Франк.

Когда мы вернулись в кабинет, фрау Бригитта Франк подошла и тихо сказала, фамильярно положив мне руку на плечо:

— Пойдемте со мной, я хочу открыть вам его секрет.

Через дверку в стене кабинета мы проникли в маленькую комнату с оштукатуренными и совершенно голыми стенами. Ни одного предмета мебели, ни ковра, ни картины, ни книги, ни цветка,— ничего, кроме великолепного Плейела и деревянного табурета. Фрау Бригитта Франк подняла крышку пианино и, опершись коленом в табурет, провела пальцами по клавишам.

— Прежде, чем прийти к важному решению, или в момент крайней усталости, крайней удрученности, иногда даже в самый разгар важнейшего собрания,— сказала фрау Бригитта Франк,— он закрывается здесь, в этой келье, садится за пианино и ищет отдохновения души у Шумана, Брамса, Шопена, Бетховена. Хотите, я вам признаюсь, как я называю эту комнату? Я называю ее «орлиным гнездом».

---

[1] Третий рейх *(нем.)*.

[2] Красиво, правда? *(нем.)*

[3] Город *(нем.)*.

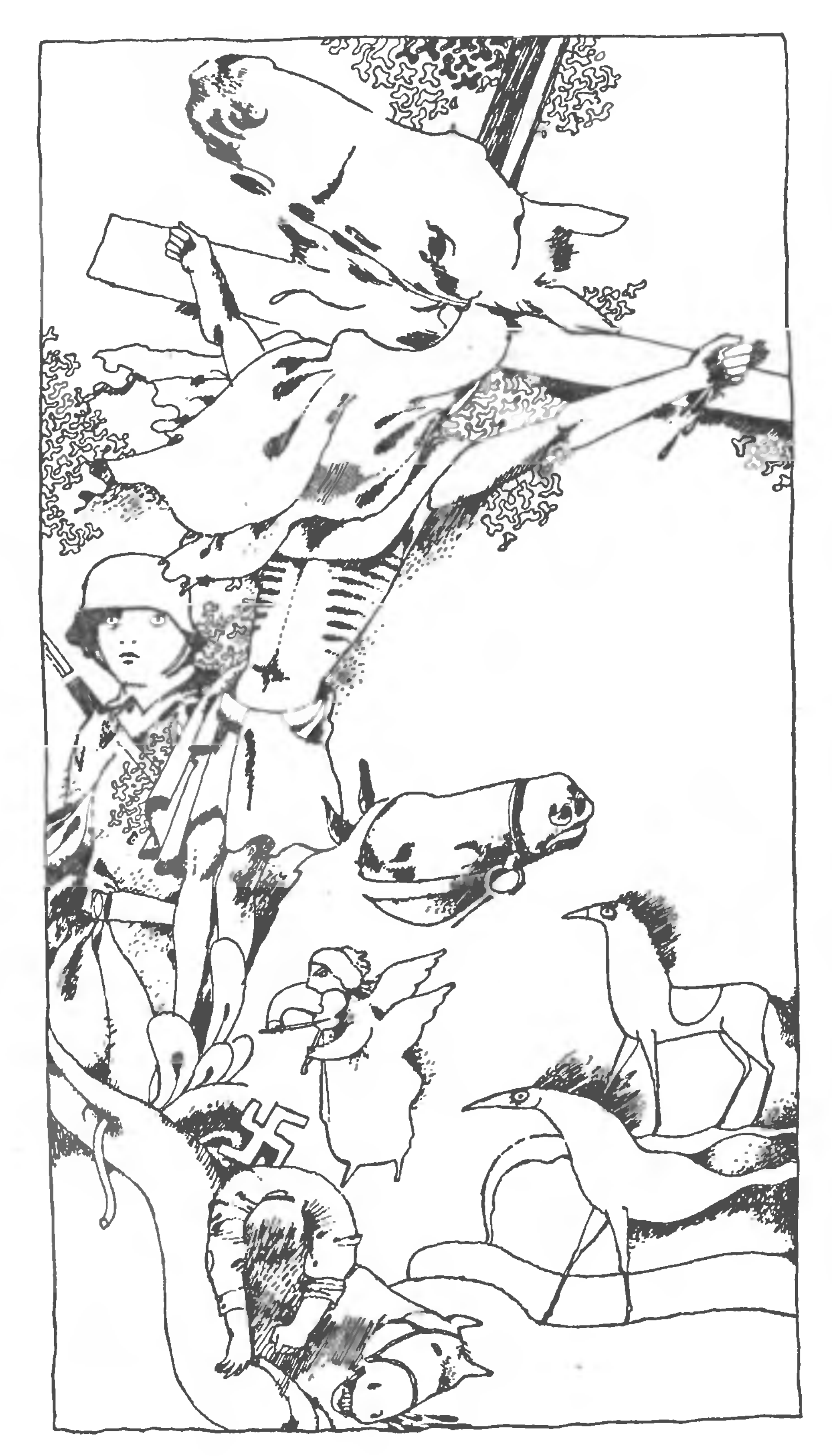


Рис. Б. Аникина.

Я молча поклонился.

— Это необыкновенный человек, nicht wahr? — продолжала она, смотря на меня полным гордости и восхищения взглядом.— Это художник, чистая и утонченная душа. Только такой художник, как он, может управлять Польшей.

— Да, большой художник,— сказал я.— И вот за этим пианино он управляет польским народом?

— О! Вы так хорошо все понимаете,— сказала Бригитта Франк взволнованным голосом.

Мы молча вышли из «орлиного гнезда». Не знаю, почему я надолго погрустнел и смутился. Мы собрались в личных апартаментах Франка и, удобно рассевшись на венских диванах и в креслах, покрытых мягкой замшей, курили и беседовали. Два лакея в голубых ливреях с коротко стрижеными по прусской моде волосами подали кофе, пирожные, ликеры. Их шаги приглушал мягкий французский ковер, полностью закрывавший весь пол. На венецианских лаковых зеленых с золотом столиках стояли бутылки старого французского коньяка знаменитых марок, коробки с гаванскими сигарами, серебряные подносы с засахаренными фруктами и знаменитыми шоколадками Веделя.

Подействовала ли на присутствовавших теплая семейная атмосфера или мягкое потрескивание огня в камине? Но, мало-помалу, разговор стал сердечным, почти дружеским. И, как это водится теперь в Польше, когда немцы собираются между собой, кончилось тем, что заговорили о поляках. Немцы говорили о них как всегда, со злым презрением, но со странной примесью некоего извращенного, патологического чувства, чего-то вроде женского чувства досады, сожаления, любовного разочарования, бессознательной зависти и ревности. Вот и опять мне припомнилась дорогая старая княгиня Радзивилл, когда она стояла под дождем среди развалин варшавского вокзала и с интонацией прежних времен говорила:

— Эти бедные люди!

— Польские рабочие,— говорил Франк,— не лучшие в Европе, но и не самые худшие. Они очень хорошо умеют работать, если захотят. Я думаю, что мы можем на них рассчитывать. Особенно на их дисциплинированность.

— У них при этом есть очень серьезный недостаток,— сказал Вахтер.— Они все время примешивают патриотизм к техническим вопросам труда и производства.

— И не только к техническим, но и к моральным вопросам,— сказал барон Вользеггер.

— Современная техника,— вставил Вахтер,— не терпит вторжения посторонних элементов в вопросы труда и производства. А из всех посторонних элементов в вопросах производства рабочий патриотизм — самый опасный.

— Да, конечно,— сказал Франк.— Но патриотизм рабочих — это нечто другое, чем патриотизм знати и буржуазии.

— Родина рабочего — это машина, это завод,— тихо произнес Человек Гиммлера.

— Это коммунистическая идея,— сказал Франк.— Я думаю, что это формула Ленина. В сущности, она выражает истину. Польский рабочий — хороший патриот. Он любит родину. Но он знает, что лучший способ спасти свою родину — это работать на нас. Он знает, что если он не захочет работать на нас,— продолжал он, смотря на Человека Гиммлера,— если он будет сопротивляться...

— Мы знаем много всего,— сказал Человек Гиммлера.— А польский рабочий не знает этого или не желает знать. Я сам предпочел бы не знать,— прибавил он с робкой улыбкой.

— Если вы хотите выиграть войну,— сказал я,— вы не можете уничтожить родину рабочего. Вы не можете уничтожить машины, заводы, промышленность. Вопрос касается не только поляков, он всеевропейский. В других странах Европы, которые вы занимаете, вы тоже можете уничтожить родину знати, родину буржуазии, но не родину рабочего. Мне кажется, что именно в этом заключается весь или почти весь смысл современной войны.

— Крестьяне,— произнес Человек Гиммлера.

— Если нужно,— сказал Франк,— мы раздавим рабочих под тяжестью крестьян.

— Вы проиграете войну,— сказал я.

— Г-н Малапарте прав,— сказал Человек Гиммлера,— мы проиграем войну. Нужно, чтобы польские рабочие нас любили. Мы должны заставить польский народ любить нас.

Говоря так, он смотрел на меня с улыбкой, потом замолчал и отвернулся к огню.

— Поляки, в конце концов, нас полюбят,— сказал Франк.— Это народ-романтик. Новой формой польского романтизма завтрашнего дня станет любовь к немцам.

— Что касается польского романтизма, то на сегодня...— сказал барон Вользеггер.— Есть старая венская пословица: я тебя люблю, а ты спишь.

— Вот-вот! — сказала фрау Вахтер.— Я тебя люблю, а ты спишь. Смешно, правда?

— Да, смешно! — сказала фрау Бригитта Франк.

— Ну, конечно, польский народ, в конце концов, нас полюбит,— сказал Вахтер.— Но пока он спит.

— Я думаю, что он скорее делает вид, что спит,— сказал Франк.— В сущности, поляки большего и не просят, чем только дать себя любить. О народе можно судить по его женщинам.

— Польки славятся красотой и изяществом,— сказала Бригитта Франк.— А по-вашему, что, они такие уж хорошенькие?

— Я нахожу их восхитительными,— сказал я.— И не только в смысле их изящества и красоты.

— Лично мне не кажется, что они так уж прекрасны, как о них говорят,— сказала фрау Бригитта Франк.— Красота немецких женщин более строга, истинна, классична.

— Все-таки среди них есть и очень хорошенькие, и очень изящные,— сказала фрау Вахтер.

— В Вене, в добрые старые времена,— сказал барон Вольэеггер,— полек считали даже более элегантными, чем парижанок.

— Ах! Парижанки!

— Разве еще есть парижанки? — спросила фрау Вахтер, изящно склоняя голову к плечу.

— Я тоже нахожу, что польская элегантность ужасно провинциальна и вышла из моды,— сказала фрау Бригитта Франк.— Конечно, в этом полностью повинна война, которая продолжается уже два с половиной года, а между тем, немецкие женщины сегодня самые элегантные в Европе.

— Кажется,— сказала фрау Гасснер,— польские женщины не очень-то моются.

— О, да, они ужасные грязнули,— сказала фрау Бригитта Франк, встряхнув своим бархатным клешем-колоколом, который издал зеленый и долгий звук на всю комнату.

— Это не их вина,— сказал барон Вольэеггер.— У них нет мыла.

— Скоро,— сказал Франк,— они не смогут прикрываться этим. В Германии нашли способ делать мыло из продукта, который ничего не стоит и имеется повсюду в изобилия. Я уже заказал большое количество мыла для польских дам, пусть моются. Это мыло делается из экскрементов.

— Из экскрементов? — вскричал я.

— Да. Из человеческих экскрементов, естественно.

— И хорошее мыло получается?

— Великолепное,— сказал Франк.— Я испробовал его, когда брился, и был вполне очарован.

— Оно хорошо мылится?

— Наичудеснейшим образом. Бриться прекрасно. Мыло прямо королевское.

— Хорошее королевское мыло! — воскликнул я.

— Только... — добавил немецкий король Польши.

— Только... — сказал я, и дыхание мое оборвалось.

— У него есть только один недостаток. Запах и цвет — как у экскрементов.

Взрыв смеха встретил его слова.

— Ах! Wunderbar! — кричали они все. И я увидел, как сладостная слеза покатилась по щеке фрау Бригитты Франк, немецкой королевы Польши.

Закрытые города

Я ехал в машине из Радома в Варшаву по засыпанной снегом огромной польской равнине. Когда я въезжал в Варшаву, разбитые бомбардировками мрачные пригороды, Маршалковска, вдоль которой вереницей стояли скелеты почерневших от пожарищ домов, развалины вокзала, черные, вспоротые здания выглядели еще более жестоко в белесом свете сумерек. Здесь-то мои глаза отдыхали от слепившей по дороге снежной белизны.

Улицы были пустынны. Пробегали редкие прохожие, жались по стенам, а на перекрестках стояли немецкие патрули с автоматами наготове. Саксонская площадь показалась мне огромной, призрачной. Я поднял глаза ко второму этажу гостиницы «Европейская» и поискал окно номера, где прожил два года —1919 и 1920, когда был молоденьким атташе посольства Италии. Окно светилось. У парадного входа во дворец Брюля я остановился, прошел холл, поставил ногу на первую ступеньку парадной лестницы.

Немецкий губернатор Варшавы Фишер пригласил меня на этот вечер к обеду, который он давал в честь генерал-губернатора Франка и фрау Бригитты Франк и на который приглашались несколько главных лиц генерального губернаторства Польши. Ранее здесь помещалось министерство иностранных дел Польской Республики, а теперь это была резиденция немецкого губернатора в Варшаве. Дворец Брюля высился, невредимый, в двух шагах от развалин гостиницы «Англетер», где во время своей остановки в Варшаве жил Наполеон. Во дворец Брюля попала одна-единственная бомба, она обрушила потолок над парадной лестницей и внутренней лоджией в бывших роскошных апартаментах министра иностранных дел Польской Республики, полковника Бека, теперь занятых Фишером. Я поставил ногу на первую ступеньку и, прежде чем подняться по лестнице, посмотрел наверх.

Там, наверху, по обеим сторонам уставленной двумя рядами тонких, без оснований и капителей, небольших колонн из очень гладкого белого искусственного мрамора в стиле современного тощего и рьяного классицизма, словно в огнях рампы, в ярком освещении ламп, расставленных между колоннами снизу доверху, вдоль всей лестницы, я увидел две массивные статуи из человеческой плоти: они угрожающе нависали надо мной, когда я медленно поднимался по ступенькам из розового мрамора. Одетая во сплошь затканное золотой вышивкой платье с голубыми жесткими складками, походившими на каннелюры пилястр, в высоком сооружении из светлых медноватых волос, причесанных причудливым образом, так, что весь ее монументальный вид наводил на мысль о коринфской капители, поставленной на дорическую колонну, торжественно стояла фрау Фишер. Из-под платья виднелись две огромные ступни и две округлые ноги с мясистыми икрами, которые казались стальными в сером блестящем шелке чулок. Руки ее не то что были опущены, они были жестко вытянуты вдоль бедер и как бы оттянуты большой тяжестью. Высокая и внушительная масса туловища губернатора Фишера высилась рядом с ней. Жирный, богатырского сложения Фишер был затянут в вечерний фрак берлинского покроя со слишком короткими рукавами. У него была очень маленькая и круглая головка, розовое, одутловатое лицо, высоко посаженные глаза, покрасневшие веки. Время от времени,— может быть, то была выработанная из-за его природной робости привычка — он тщательно и медленно облизывал губы. Он расставил ноги, руки держал напряженно-опущенными, слегка отставив их от туловища и сжав громадные кулаки — ни дать ни взять статуя боксера. В перспективе, так, как я их видел, пока медленными шагами поднимался по лестнице, эти две массивные фигуры казались еще и запрокинувшимися назад, как две статуи на фотографии, снятой снизу вверх, и, как это бывает на фотографиях, руки, ноги, ступни казались огромными, непропорциональными по сравнению с остальным туловищем, безобразно увеличенными и бесформенными. С каждой новой пройденной ступенькой я чувствовал, как во мне росло опасение, которое я всю жизнь испытывал, когда, сидя в театре, в первом ряду партера, видел, как певец, исполняя арию, подходил к самой рампе и вставал, нависая надо мной, широко открыв рот и вытянув руку. И вот, вдруг, обе массивные статуи из плоти одновременно подняли руки и вместе громко проговорили:

— Heil Hitler!

И в тот миг губернатор и фрау Фишер на моих глазах рассеялись в холодном голубом свете ламп и на их месте возникли две длинные и худые тени мадам Бек и полковника Бека. Мадам Бек улыбалась и протягивала мне руку, слегка наклонившись вперед, любезно стремясь помочь мне подняться по последним ступенькам, а полковник Бек, худощавый, вытянувшийся человек с маленькой птичьей головкой, с сухой английской элегантностью легко кланялся, незаметно подгибая левое колено. У них был вид двух бледных призраков ушедших в глубь времен известных лиц, а ведь они были здесь только что, чуть ли не вчера. Они двигались с важностью призраков на фоне развалин Варшавы, среди которых, воздевая руки к небу и крича, шла толпа истощенных людей, с белесыми от тревоги и ярости лицами. Мадам Бек, словно и не замечая проходившей за ее спиной толпы, улыбалась, любезно протягивая мне руку. А полковник Бек, стоя с испуганным белым лицом, делал вид, будто посматривает на то, что творилось за ним, поворачивая маленькую птичью головку на тонкой шее, и голубой свет ламп отражался на его полированном черепе, на торчащем длинном носу. Пытаясь как-то прикрыть декорацию, он опирался спиной на развалины Варшавы, на улицы, кишевшие несчастными людьми, одетыми в жалкие драные меха, линялые и рваные плащи, с непокрытыми головами или в старых выцветших под дождем и снегом шапках. Шел снег. Время от времени, среди тысяч потухших взглядов толпы зажигался один живой и, пылая огнем ненависти и отчаяния, провожал переходившего улицу немецкого солдата в сапогах со шпорами. На фоне гостиниц «Бристоль» и «Европейская», кинотеатров Нови Свята, церкви Св. Андрея, где в урне покоится сердце Шопена, на фоне развалин по улицам Маршалковска и Краковского предместья, выбитых витрин Веделя и Фукса, женщины, оборачиваясь друг к другу, обменивались усталыми взглядами и растерянными кивками головой, а стайки катавшихся по льду детей замирали и дети глазели на то, как ходили взад и вперед немецкие офицеры и солдаты по двору дворца Потоцких, теперешней ставки немецкой комендатуры. Вокруг разожженных посреди площадей больших костров сидели на корточках на снегу молчаливые группы мужчин и женщин, они тянулись руками к огню и, оборачиваясь, смотрели на две бледные тени, изящно двигавшиеся на верху мраморной лестницы дворца Брюля. Время от времени кто-нибудь воздевал руки к небу и кричал. В сопровождении эсэсовцев проходили закованные в наручники люди, и они тоже

поворачивали головы к мадам Бек, которая любезно протягивала мне руку и улыбалась, к полковнику Беку, беспокойно вертевшему птичьей головкой на слабенькой шее, прислоняясь спиной к мрачной декорации и пытаясь как-то прикрыть, спрятать ее у себя за спиной. Полковник Бек все хотел скрыть за спиной серую и грязную картину разрушенной Варшавы, походившую на стену, на которой известка выпачкана кровью, ободрана, вся в пробоинах от ружейных залпов. За столом у губернатора Фишера в апартаментах полковника Бека, кроме генерал-губернатора Франка и фрау Франк, я обнаружил почти всех краковских придворных из Вавеля: фрау Вахтер, Кейта, Эмиля Гасснера, барона Вользеггера и Человека Гиммлера, разве что здесь было еще тричетыре сотрудника Фишера, сидевших с сероватыми и отсутствовавшими лицами.

— Вот мы все опять и собрались,— сказал Франк, с сердечной улыбкой обратившись ко мне. И прибавил, повторяя знаменитое высказывание Лютера: — Hier stehe ich, kann nicht anders...[1]

— Aber ich kann stets anders, Gott helfe mir[2]! — ответил я.

Взрыв смеха встретил мои слова. Смутившись от подобной «увертюры к застольной беседе», как выразился Франк на своем языке лихого эрудита, которым он обычно пользовался в начале пиршеств и совершенно неприличествовавшем для уха добропорядочной дамы и католички, фрау Фишер постаралась мне улыбнуться, раскрыла было рот, сделала усилие, чтобы заговорить, но покраснела, обвела взглядом гостей и сказала:

— Guten Appetit[3].

Фрау Фишер была молодой и цветущей женщиной с выражением глупости и нежности на лице. Если судить по тому, как на нее смотрели мужчины, она, вероятно, была хорошенькой и, если отвлечься от ее вульгарности, заметной только человеку не немецкого происхождения, ее можно было бы назвать вполне рафинированной женщиной. Ее гладкие и золотистые с медным отливом волосы вполне выдавали усердие, с коим над ними поработали раскаленные щипцы, закрутившие их в длинные букли, уложенные на лбу наподобие волос Медузы: змеевидные, пружинистые и расходящиеся в разные стороны локоны парикмахер заколол, чтобы они хорошо держались на подложенном внутрь пучке настоящих волос, чуть более темных, чем ее собственные. Опершись о край стола, она робко улыбалась и, стоя в детской позе, неумело держа свои толстые, жирные, белые руки, молчала, ограничиваясь только ответами «ja» всем, кто к ней обращался. Фрау Бригитта Франк и фрау Вахтер поначалу посматривали на нее с нарочитой и недоброжелательной иронией, но, в конце концов, отвели от нее глаза и обратили все свое внимание на еду и на разговор, который генерал-губернатор Франк вел с тщеславным красноречием, которое вошло у него в привычку. Фрау Фишер молча слушала его и как бы в экстазе смотрела на него большими кукольными глазами. Она очнулась от своего экстаза только тогда, когда к столу прибыла жареная лань. Губернатор Фишер рассказал, что он сам убил эту лань пулей между глаз, и фрау Фишер сказала, улыбаясь:

— So ist das Leben[4].

Наша трапеза, как сказал Франк, поистине была посвящена Диане Охотнице. Говоря это, он улыбнулся фрау Фишер и учтиво поклонился. Сначала подали фазанов, потом зайцев, теперь лань. И начавшийся с Дианы и ее диких страстей (охот, воспетых Гомером и Вергилием, охот, изображенных немецкими средневековыми художниками, охот, прославленных итальянскими поэтами эпохи Возрождения), разговор дошел до охоты в Польше, до запасов дичи в имениях польской знати, до волынских собачьих свор, до преимуществ немецких собачьих свор над польскими и венгерскими. Затем, мало-помалу, как всегда, разговор скользнул к самой Польше и полякам, а уже от них, как полагается, перешел к евреям.

Ни в одном месте так, как в Польше, фашистская Германия, по-моему, не показала столь явно и оголенно своего истинного лица. В результате своего длительного военного опыта я обнаружил, что Германия не боится человека с ружьем в руках, мужественно сражающегося с ней, сильного человека, который умеет постоять за себя. Германия боится безоружных, слабых, больных. Тема страха и происходившей от страха немецкой жестокости стала основной темой моего исследования. У того, кто поймет его правильно, оценит его в современном и христианском духе, этот страх вызовет жалость и отвращение, и он нигде не вызывал во мне такой жалости и отвращения, как здесь, в Польше, где на моих глазах проявилось во всей ее сложности патологически-извращенная, женоподобная его подоплека. Страх перед угнетенными, безоружными, слабыми, больными, страх перед стариками, женщинами, детьми, страх

[1] На том стою и не могу иначе *(нем.)*
[2] А я могу иначе, помоги мне Господь! *(нем.)*
[3] Приятного аппетита *(нем.)*.
[4] Такова жизнь *(нем.)*.

перед евреями толкает Германию к жестокости, к самым холодно-рассудочным, методически научным актам жестокости. Хотя немцы и силятся скрыть свой таинственной природы страх, их фатально влечет говорить об этом и всегда в наименее подходящие минуты. В особенности за столом, когда жар от вина и еды или же обретенная от общения друг с другом уверенность в себе, или еще — бессознательная необходимость доказывать самим себе, что никакого страха у них на самом деле нет, толкают немцев на то, чтобы обнажить, выдать себя и говорить о голоде, казнях, резне. Они делают это с извращенным самодовольством, которое обнаруживает в них не только злопамятность, ревность, любовное разочарование, ненависть, но еще и жалкий и сверхъестественный ужас перед своим же собственным гнусным нравственным падением, перед содеянным. Удивительное благородство униженных, больных, слабых, безоружных людей — немец чувствует его, завидует ему и ненавидит его, может быть, более, чем любой другой народ в Европе. И он мстит. В его поразительном страхе есть нечто от добровольного падения. В наглости и грубости гитлеровского немца есть глубокая необходимость в самопонощении, в немилосердной жестокости, нечто от ужаса перед собственной гнусностью.

Я с жалостью и отвращением слушал разговоры окружавших меня людей. И бесполезно было стараться скрыть свои чувства. Заметив мою неловкость, а может быть, еще и стремясь приобщить меня к своему состоянию патологической униженности, Франк с иронической улыбкой обратился ко мне и спросил:

— Вы видели гетто, mein lieber[1] Малапарте?

Несколько дней тому назад я ходил в варшавское гетто. Я переступил порог «закрытого города», обнесенного высокой стеной из красного кирпича, которую немцы выстроили, чтобы запереть в гетто, как в клетке, отверженных, безоружных «диких зверей». У входа, который охранял наряд СС с пулеметами в руках, висело объявление за подписью губернатора Фишера, по которому рискнувшему самовольно выйти из гетто еврею грозила смертная казнь. В варшавском гетто, точно так же, как в «закрытых городах» Кракова, Люблина, Ченстохова, с первых же шагов я был сражен леденящей тишиной, царившей на улицах, битком набитых оборванными, напуганными людьми. Я попытался пройти по гетто без сопровождения, обойтись без гестаповца, который тенью шел за мною повсюду, но приказы губернатора Фишера отличались строгостью и точностью, поэтому и теперь мне пришлось подчиниться и покорно выдерживать общество Черного Стража, высокого молодого блондина с худым лицом и светлым холодным взглядом. У него было очень красивое лицо, высокий, чистый лоб, а стальная каска отбрасывала ему на лицо тень какой-то таинственности. Он шел среди евреев, словно Ангел смерти, посланный израильским богом.

Стояла легкая, прозрачная тишина, и будто видно было, как она парила в воздухе. Под этой витающей тишиной слышен был похожий на зубовный скрежет легкий скрип шагов тысячи ног по снегу. Заинтересованные моим мундиром итальянского офицера мужчины поднимали бородатые лица и смотрели на меня, щуря глаза, покрасневшие на морозе от лихорадки и голода. Слезы блестели на ресницах и текли в грязные бороды. Если случалось, что в толпе я задевал кого-то, я извинялся, говорил «prosze Pana», и тот, кому я это говорил, поднимал голову и смотрел на меня в оцепенении, не веря своим ушам. Я улыбался и повторял: «Prosze Pana», потому что я знал, что моя вежливость была для них вроде чуда: после двух с половиною лет страха и ненавистного рабства это был первый случай, когда офицер вражеской армии (я не был немецким офицером, я был итальянским офицером, но того, что я не был немецким офицером, еще было не достаточно, нет, этого еще было не достаточно), говорил вежливо «prosze Pana» бедному еврею из варшавского гетто.

Время от времени приходилось переступать через мертвого, я шел в толпе, не видя, куда ступали ноги, и иногда наталкивался на вытянувшийся на тротуаре труп. По обычаю в головах и в ногах у него стояли подсвечники. Мертвецы лежали в снегу, пока не приезжала повозка. Повозок было мало, и всех мертвецов не успевали увозить сразу, трупы лежали днями и днями, вытянувшись на снегу между пустыми подсвечниками. Много трупов лежало на полу в подъездах домов, в коридорах, на лестничных площадках или прямо в кроватях в комнатах, набитых бледными и молчаливыми существами. Бороды их были в снегу и в грязи. У некоторых были открыты глаза, они смотрели на проходившую мимо толпу, долго провожая людей белыми взглядами. Они были прямые и твердые, будто деревянные статуи. Мертвые евреи Шагала. Бороды их казались синими на худых, белесых от снега и смерти лицах. Такого чистого синего цвета, который напоминал некоторые морские водоросли. Это был удивительно синий цвет, он напоминал море, дивный синий цвет моря в определенные дивные дневные часы.

Тишина на улицах закрытого города, эта леденящая тишина, по которой дождем

[1] Мой дорогой *(нем.)*.

пробегал зубовный скрип шагов, давила на меня до такой степени, что я начал громким голосом говорить сам с собой. Все повернулись и уставились на меня с выражением глубокого удивления и со страхом в глазах. Тогда я стал заглядывать в глаза людей. Почти все лица мужчин были бородаты. А те безбородые лица, что я встретил, выглядели ужасно, настолько обнажились на них голод и отчаяние. Восковую кожу на лицах подростков покрывал красноватый и черноватый пушок. Лица женщин и детей будто были сделаны из папье-маше. И на всех этих лицах уже лежала синеватая тень смерти. И вот на таких лицах цвета серой бумаги или белых, как мел, глаза казались странными насекомыми, копошившимися в глубине глазниц, перебиравшими мохнатыми лапами, высасывая то небольшое количество света, которое там еще теплилось. Когда я подходил, эти омерзительные насекомые начинали ворочаться беспокойнее. На миг оставляя свою добычу, они выползали из глубины глазниц, как из берлоги, и со страхом смотрели на меня. Эти глаза обладали невероятной живостью, их снедала лихорадка или они были влажны и меланхоличны. Некоторые из них, как скарабеи, отсвечивали зеленоватыми искрами. Другие краснели, чернели, белели, часто тускло, непроницаемо, словно их заволокла тонкая пленка катаракты. Женские глаза обладали мужественной твердостью. Они с явным презрением выдерживали мой взгляд, потом прямо, не скрываясь, смотрели на сопровождавшего меня Черного Стража, и я видел, как тенью ложилось на них выражение страха и омерзения. Но ужасны были детские глаза, я не мог на них смотреть! И над этой черной толпой, одетой в длинные черные балахоны, с черными ермолками на головах, висело грязно-ватное небо.

На перекрестках по двое стояли люди со звездой Давида, отпечатанной красным цветом на их желтых повязках — еврейская милиция. Они держались неподвижно и невозмутимо среди бесконечного движения санок, запряженных тройками детей, детских колясок и тележек, наполненных мебелью, кучами тряпья, металлического лома, всевозможным жалким и мизерным товаром.

Иногда люди стояли группами где-нибудь на углу улицы, топая по снегу, похлопывая себя по плечам руками и разводя их в стороны, они жались друг к другу по десять, по двадцать человек, обхватывали друг друга, чтобы хоть немного согреться. Мрачные маленькие кафе на улицах Налевска, Пшижинек, Закожимска были набиты бородатыми стариками, стоявшими там в молчании, прижавшись, один к другому, может быть, с целью согреться, а возможно, для того, чтобы придать себе мужества, как это делают, сбившись в кучу, животные. Когда мы появились на пороге, те, что стояли у двери, в страхе бросились подальше. Послышались испуганные крики, стенания, потом вновь воцарялась тишина, которую нарушало только затрудненное дыхание, вырывавшееся из вздымавшихся грудей: тишина стада согласившихся на смерть животных. Все смотрели на сопровождавшего меня Черного Стража. Все уставились на лицо этого Ангела смерти, на лицо, которое все узнавали и все видели сто раз у врат Иерихона, Содома, Иерусалима. Лицо Ангела смерти, вестника божьего гнева. Тогда тем, кого я случайно побеспокоил при входе, я с улыбкой стал говорить: «Prosze Pana», и я знал, что эти слова были для них чудесным даром. Я говорил с улыбкой: «Prosze Pana» и видел вокруг себя, как на лицах из грязной бумаги рождалась бедная улыбка, удивление, радость, благодарность. Я говорил: «Prosze Pana»,— и улыбался.

Молодые люди бригадами обходили улицы, подбирая мертвецов. Они входили в подъезды, поднимались по лестницам, входили в комнаты. В большинстве своем это были бывшие студенты. Бо́льшая их часть прибыла сюда из Берлина, Мюнхена, Вены, других вывезли из Бельгии, Франции, Голландии или Румынии. Раньше многие из них были богаты и счастливы, жили в красивых домах, выросли среди роскоши мебели, старых картин, книг, музыкальных инструментов, драгоценного серебра и хрупких безделушек. Теперь они с трудом тащились по снегу с обернутыми в лохмотья ногами и в оборванной одежде. Они говорили на французском, богемском, румынском языках или на мягком венском диалекте немецкого. Это были молодые интеллигентные люди, а их разъедали паразиты, они были избиты и поруганы, оскорблены, измучены всем тем, что им довелось перенести в концентрационных лагерях и во время их ужасного странствия из Вены, Берлина, Мюнхена, Парижа, Праги или Бухареста сюда, в варшавское гетто, но на их лицах сиял прекрасный свет, в их глазах можно было прочесть их юношескую волю помочь друг другу, прийти на помощь своему народу в час его безмерной беды. В их жестах сквозил благородный и решительный вызов. Я остановился и смотрел, как они исполняли свой долг милосердия. Я тихо говорил по-французски:

— Придет день, и вы будете свободны и счастливы, придет день.

Молодые люди поднимали головы и, улыбаясь, глядели на меня. Потом медленно переводили глаза на Черного Стража, который тенью ходил за мною, они смотрели на этого Ангела смерти с красивым и жестоким лицом, на ангела из Священного Писания, на вестника смерти и наклонялись к трупам, и совсем близко от синих лиц мертвецов они прятали счастливую улыбку.

Они осторожно поднимали мертвых, словно это были деревянные статуи. Они клали

их на повозки, которые тащили исхудалые и оборванные такие же молодые люди, а на снегу оставался отпечаток лежавших там трупов и виднелись ужасные, особые желтые пятна, которые мертвые оставляют за собою на всем. Стаи худых собак, нюхая воздух, бежали за погребальной процессией, и стайки детей в лохмотьях, на лицах которых виден был голод, недосыпание и страх, подбирали в снегу тряпье, обрывки бумаги, пустые банки, картофельные очистки, все драгоценные отбросы, остающиеся на пути, по которому проходит нищета, голод и смерть.

Иногда из домов слышалось слабое пение, монотонная жалоба, которая сразу же обрывалась, как только я появлялся на пороге. Запах грязи, мокрой одежды, мертвечины наполнял воздух в скорбных комнатах, где жалкие скопища старцев, женщин, детей жили, как живут заключенные в камере. Одни сидели на полу, другие стонли, прислонившись спинами к стене, некоторые лежали на кучах соломы и бумаги. Больные, умирающие, мертвые лежали на кроватях. Все мгновенно замолкали, уставившись на меня и на Ангела смерти, который шел за мной. Некоторые продолжали пожевывать какой-нибудь жалкий кусок. Другие — это были молодые люди с изможденными лицами, с увеличенными стеклами очков глазами — стояли вместе у окна и читали. Это был некий способ скрасить ужасающее ожидание смерти. Бывало и так, что при нашем появлении, кто-нибудь вставал с пола, отходил от стены или от своих собратьев и медленно шел нам навстречу, тихо говоря по-немецки:

— Пойдем!

В гетто в Ченстохове, несколько дней тому назад, когда я показался на пороге одного дома, молодой человек, сидевший на полу у окна, встал и пошел мне навстречу с удивительно облегченным видом. Живя до сего дня в тревожном ожидании, он подумал, что, наконец, пришел его час и встретил как избавление миг, которого только что еще так страшился. Все молча смотрели на него, ни слова не слетело с их губ, ни жалобы, ни крика, даже когда я легко отстранил рукой молодого человека, мягко улыбнувшись ему, и сказал, что я пришел не за этим, что я не был из Гестапо, даже не был немцем. Улыбаясь ему и мягко отстраняя его, я увидел, как постепенно на его лице зарождалось разочарование, к нему возвращалось беспокойство, из которого мой внезапный приход вырвал его на несколько мгновений. В Краковском гетто тоже, едва я появился на пороге, что-то читавший в углу комнаты скелетоподобный юноша, закутанный в отвратительную шаль, поднялся мне навстречу. Я спросил, какую он читал книгу, и он показал мне обложку. Это был том писем Энгельса. Тем временем, он стал готовиться к выходу из дома. Он застегнул ботинки, заткнул грязные тряпки, которые заменили ему носки, поискал рукой под пиджаком воротник рубашки, этого рубищарубашки, обернулся, кивком головы попрощался со сгрудившимися в комнате людьми, и все смотрели на него внимательно, не произнося ни слова. Он уже был на пороге, когда вдруг резко повернул обратно, снял с себя шаль и легким движением невесомых рук обернул ею плечи прикованной к постели старухи, после чего догнал меня на лестнице. Он долго не хотел понять, что ему нужно было вернуться назад, пока я с улыбкой убеждал его в этом.

Вспомнив, что юноша перед уходом снял с себя шаль, я тут же припомнил и двух совсем голых евреев, которых я один раз встретил, придя в гетто утром. Они шли между двумя эсэсовцами. Один из них был бородатый старик, другой — совсем еще ребенок, ему могло быть, от силы, шестнадцать лет, не более. Когда я рассказал об этой истории губернатору Кракова Вахтеру, тот очень любезно ответил, что, когда Гестапо забирает кого-нибудь, многие евреи раздеваются и отдают одежду близким и друзьям: они уже более не нуждаются в одежде. Тогда, ледяным зимним утром, они шли голыми по снегу, а температура была —35°.

Я обернулся к Черному Стражу и сказал:

— Пойдемте отсюда!

Я шел по тротуару рядом с Черным Стражем, у которого было красивое лицо, светлый и жесткий взгляд из-под стальной каски, и мне показалось, что я шел с иудейским Ангелом смерти. Каждый миг я ждал, что он остановится и скажет:

— Мы пришли.

И я подумал о Иакове и о его борьбе с Ангелом смерти. Дул ледяной ветер цвета лица мертвого ребенка. Уже опускался вечер, и день умирал у стен, как больная собака.

Когда мы спустились по улице Налевска к выходу из закрытого города, на одном углу толпились молчаливые люди. В кругу толпы, тоже молча, дрались две девушки, таская друг друга за волосы, царапая друг другу лицо. При нашем неожиданном появлении толпа быстро рассеялась, и обе девушки бросили драться. Одна из них подобрала что-то с земли (это была сырая картофелина) и ушла, обтирая с лица кровь тыльной стороной руки. Другая неподвижно смотрела ей в след, приводя в порядок волосы, заправляя, как могла, растерзанную, разорванную одежду. Это была бледная несчастная девушка, худая, со впалой грудью, и в глазах у нее стояли голод, стыд и смущение. Вдруг она мне улыбнулась.

А я покраснел. Мне нечего было ей дать. Мне хотелось помочь ей, дать ей что-нибудь, но у меня в кармане было только немного денег, а от мысли предложить ей деньги меня переполнял стыд. Я не знал, что сделать и на что решиться. Я стоял перед ней и ее улыбкой и не знал, что сделать и что сказать. Но я пересилил себя и протянул ей руку с несколькими бумажками в десять злотых, но девушка, побледнев, остановила мою руку, сказала мне с улыбкой: «Dzenkuie barzo», — большое спасибо, и, медленно отталкивая мою руку, с улыбкой посмотрела мне прямо в глаза, потом быстро отвернулась в другую сторону и ушла, на ходу поправляя волосы.

В этот момент я вспомнил, что у меня в кармане была сигара, которую мне дал вице-губернатор Родома, доктор Эген. Тогда я побежал за девушкой, нагнал ее и предложил ей сигару. Девушка посмотрела на меня в раздумьи, покраснела и взяла сигару, по-моему, только, чтобы доставить мне удовольствие. Она ничего не сказала, она даже меня не поблагодарила, она ушла, не оборачиваясь, держа сигару в руке. Время от времени, она подносила ее к лицу и дышала ее запахом, как если бы я поднес ей цветок.

— Вы ходили в гетто, mein lieber Малапарте? — с иронической улыбкой спросил меня Франк.

— Да,— холодно ответил я.

— Очень интересно, nicht wahr?

— О, да! Очень интересно,— подтвердил я.

— Я не люблю ходить в гетто,— сказала фрау Вахтер.— это очень печально.

— Очень печально? Почему? — спросил губернатор Фишер.

— Так грязно! — сказала фрау Бригитта Франк.

— Да, так грязно! — сказала фрау Фишер.

— Варшавское гетто — безусловно, лучшее во всей Польше, оно организовано лучше других,— сказал Франк.— Настоящий пример для других. В подобного рода делах губернатор Фишер набил себе руку.

Губернатор Варшавы покраснел от удовольствия.

— Жаль,— сказал он со скромным видом,— что у меня так не хватает места. Будь у меня чуть больше места, я смог бы все устроить еще лучше.

— Да, да, жаль,— сказал я.

— Подумайте только,— продолжал Франк,— ведь на том месте, где жило триста тысяч человек до войны, теперь находится полтора миллиона евреев. Не моя вина, что им там тесновато.

— Евреи любят так жить! — сказал Эмиль Гасснер, усмехнувшись.

— С другой стороны,— сказал Франк,— мы не можем заставить их жить так, как они не любят.

— Это было бы против человеческих правил! — заметил я.

Франк с иронией посмотрел на меня.

— А, между тем,— сказал он,— евреи жалуются. Они обвиняют нас в том, что мы не уважаем их свободы.

— Я думаю, вы не придаете серьезного значения их протестам? — спросил я.

— Вы ошибаетесь,— сказал Франк,— мы все делаем для того, чтобы они не протестовали.

— Ну, конечно! — сказал Фишер.

— Что касается грязи,— продолжал Франк,— нельзя отрицать, что они живут в ужасных условиях. Немец никогда бы не согласился жить в подобном состоянии! Даже в шутку! — И он повторил, громко смеясь: — Даже в шутку!

— Да, это была бы,— сказал я,— довольно лихая шутка.

— Немец не в состоянии жить так, как живут они,— сказал Вахтер.

— Немецкий народ — это цивилизованный народ,— вставил я.

— Да! Вот именно! — сказал Вахтер.

— Нужно признать, что евреи не полностью виноваты в том, как они живут,— сказал Франк.— Пространство, в котором они ограничены, слишком мало́ для такого многочисленного населения. Но, в сущности, евреи любят жить в грязи. Грязь — это их естественная среда. Возможно потому, что они все больны, а больные обожают прятаться в грязи. Печально констатировать, что они мрут, как крысы.

— Мне кажется, что они не очень-то дорожат честью быть живыми. Я хочу сказать, честью жить по-крысиному.

— Когда я говорю, что они мрут, как крысы, у меня нет ни малейшего желания их как-то критиковать,— сказал Франк.— Я просто констатирую факт.

— Не нужно забывать, что в условиях, в которых они живут, очень трудно помешать евреям умирать,— сказал Эмиль Гасснер.

— Мы много сделали, чтобы в гетто уменьшилась смертность,— заметил барон Вользеггер осторожным тоном.— Но...

— В краковском гетто,— сказал Вахтер,— я приказал, чтобы семьи умершего платили за похороны, и я добился прекрасных результатов.

— Уверен,— сказал я с иронией,— что смертность стала спадать, день ото дня.

— Вы угадали, она уменьшается! — сказал Вахтер, заливаясь смехом.

Все стали смеяться, глядя на меня.

— Почему бы не поступить с ними, как с крысами,— спросил я,— подсыпать им яд. Так будет быстрее.

— Травить их не стоит труда,— сказал Фишер.— Они и так мрут невообразимо. За последний месяц только в варшавском гетто их умерло сорок две тысячи.

— Это весьма удовлетворительная цифра,— сказал я.— Если так будет продолжаться и дальше, через два года гетто опустеет.

— По поводу евреев невозможно ничего рассчитать заранее,— сказал Франк.— На практике все прогнозы наших экспертов оказались ошибочными. Чем больше их умирает, тем больше их становится.

— Евреи упрямо рожают детей,— сказал я.— Это из-за детей.

— Ах, дети! — воскликнула фрау Бригитта Франк.

— Да, они такие грязные! — сказала фрау Фишер.

— А, значит вы заметили в гетто детей? — спросил меня Франк.— Они ужасны, nicht wahr? Такие грязные! И все больны, покрыты коростой, изъедены паразитами. Если бы они не вызывали жалости, они попросту были бы отвратительны. Прямо скелеты. Детская смертность очень высока в гетто. Какова цифра детской смертности в варшавском гетто? — спросил он, обратившись к губернатору Фишеру.

— Пятьдесят четыре процента,— ответил Фишер.

— Евреи — это больная раса, они полностью вырождаются,— сказал Франк.— Они не умеют вырастить и воспитать ребенка, как это умеют делать немцы.

— Германия,— сказал я,— это страна с высокой культурой.

— Ну да, вот именно, что касается воспитания детей, детской гигиены, Германия — это первая страна в мире,— сказал Франк.— Наверное, вы заметили огромную разницу между немецкими и еврейскими малышами?

— Малыши в гетто — это не дети,— сказал я.

(Еврейские малыши в гетто — не дети,— думал я, когда посещал гетто в Варшаве, Кракове, Ченстохове. Немецкие дети, видите ли, чистые. Еврейские дети — грязные, schmutzig. Немецкие дети хорошо накормлены, хорошо обуты, хорошо одеты. Еврейские дети голодают, полуодеты и ходят по снегу без туфель. У немецких детей есть зубы. У еврейских детей зубов нет. Немецкие дети живут в чистых домах, в теплых комнатах, они спят в белых кроватках. Еврейские дети живут в омерзительных домах, в холодных комнатах, переполненных людьми, и спят на кучах бумаги и тряпья рядом с кроватями, на которых вытянулись мертвецы или люди умирают в агонии. Немецкие дети играют, у них есть куклы, резиновые мячи, деревянные шкатулки, волчки — все, что нужно ребенку для игры. Еврейские дети не играют: им не во что играть, у них нет игрушек. И еще! Они не умеют играть. Да, выродившиеся дети! Какое отвращение! Их единственное развлечение — идти за похоронными повозками с наваленными на них мертвецами. Они даже не умеют плакать! У них есть еще одно развлечение — пойти посмотреть, как расстреливают их родителей и братьев, там, за стеной. Их единственное развлечение — пойти посмотреть, как расстреливают их мать. Настоящее развлечение для еврейского ребенка!)

— Конечно, нашим техническим службам не легко справиться с подобной смертностью,— сказал Франк.— Нужно было бы, по крайней мере, отрядить на это двести машин, а у нас в распоряжении есть только несколько десятков ручных повозок. Мы даже не знаем, где хоронить мертвецов. Это серьезный вопрос.

— Я надеюсь, что вы их все же хороните,— сказал я.

— Естественно! Вы что, думаете, что мы их отдаем на съедение их родным? — сказал, смеясь, Франк.

Все смеялись. Да, конечно, я тоже рассмеялся. Такая веселая мысль, что их можно не хоронить! Мне на глаза наворачивались слезы (от смеха!) при мысли о подобной возможности. Фрау Бригитта Франк держалась обеими руками за грудь, запрокинувшись на стуле, она смеялась с широко раскрытым ртом.

— Да, смешно! — сказала фрау Фишер.

Обед близился к концу. Мы подошли к обычной церемонии, которую немецкие охотники называют «воздание чести ножу». «Бокалы на столике нашем глядели на нас, как Орфей умирающий»,— как сказал Франк, вспомнив Аполлинера, и наше пиршество закончилось на жарком из молодой лани, убитой в лесах Радзивиллов, которую два слуги в голубых ливреях принесли, как полагается, по старому польскому обычаю, на вертеле, что придало особый охотничий дух пиршеству, устроенному после псовой охоты. Появление лани на вертеле, в спину которой было всажено древко с красным гитлеровским флажком с черной свастикой, на время отвлекло сотрапезников от разговора о гетто и о евреях. Торжественно поднявшись, все присутствовавшие прокричали «ура» в честь фрау Фишер, а та, с пылающим от возбуждения лицом, улыбаясь и робко кланяясь, предложила честь разрезать дичь фрау Бригитте Франк. Изящно склонившись, принимая из рук фрау Фишер охотничий нож с рукояткой из оленьего рога,

широкое лезвие которого было вставлено в серебряные ножны, фрау Бригитта Франк любезно повернувшись направо и налево, тем самым показывая, что жертва предназначается гостям, начала церемонию тем, что с силой всадила нож в спину лани.

Медленно, ловко, терпеливо, изящно, что вызывало у присутствовавших возгласы удивленного восхищения и аплодисменты, фрау Бригитта Франк вырезала из спины, ляжек и груди лани толстые и широкие ломти нежного розового мяса, до самых внутренностей хорошо прожаренного на жарком пламени, и принялась раздавать их с помощью Кейта, сама выбирая очередного счастливца, каждый раз умело предваряя это покачиваниями головой, взглядами, гримасами и другими знаками изящного раздумья и кокетливой нерешительности. По причине моей, как выразился Франк, «добродетели» иностранца, меня обслужили первым. Вторым, к моему немалому удивлению, оказался сам Франк, а последним к еще большему моему удивлению вовсе не оказался хозяин дома Фишер, а был Эмиль Гасснер. Единодушные аплодисменты встретили завершение церемонии, и на них фрау Бригитта Франк ответила глубоким и вполне изящным поклоном, чего я, признаться, от нее не ожидал. Нож остался торчать в спине лани рядом с красным флажком с черной свастикой. Право, вид этого ножа и флажка, всаженных в спину благородного животного, внушил мне неприятное чувство, которое еще и усугубилось моим отвращением к словам, зазвучавшим в разговоре гостей и хозяев, опять принявшихся говорить о евреях и о гетто. Поливая ломти лани соком, губернатор Фишер рассказывал, как хоронят евреев в гетто:

— Слой тел, слой извести,— говорил он,— слой тел, слой извести,— словно говоря: — ломоть мяса, потом соус, ломоть мяса, потом соус...

— Наиболее гигиеничная система,— сказал Вахтер.

— Что касается гигиены,— сказал Эмиль Гасснер,— евреи больше заразны, когда живы, чем, когда они мертвы.

— Ich glaube es! [1] — воскликнул Фишер.

— Мертвые меня не беспокоят,— сказал Франк,— меня беспокоят дети. К несчастью, мы не в состоянии многого сделать в отношении сокращения детской смертности в гетто, но я все-таки хотел бы что-нибудь сделать для облегчения страданий этих несчастных малышей. Я хотел бы вырастить их в духе жизнелюбия, я хотел бы научить их ходить по улицам гетто и улыбаться.

— Улыбаться? — спросил я.— Вы хотите научить их улыбаться? Чтобы они ходили по гетто и улыбались? Еврейские дети никогда не научатся смеяться, даже если вы будете учить их кнутом. Они и ходить никогда не научатся. Разве вы не знаете, что еврейские дети не ходят? У еврейских детей вместо ног крылья.

— Крылья? — воскликнул Франк. Лица присутствовавших застыли в глубоком оцепенении. Все уставились на меня в молчании, затаив дыхание.

— Крылья? — воскликнул Франк. Неудержимый смех разверз ему пасть. Он поднял обе руки и стал трясти ими над головой, как крыльями.— Чип! Чип!— чирикал он птичкой задыхавшимся от смеха голосом. И все присутствовавшие тоже подняли руки над головой крича: «Ах! Да, да! Чип-чип! Чип!»

Наконец, обед закончился, и фрау Фишер поднялась и повела нас в гостиную, туда, где когда-то находился рабочий кабинет полковника Бека. Кресло, в котором я сидел, спинкой касалось статуи из белого мрамора, изображавшей греческого атлета в так называемом мюнхенском стиле. Свет был неяркий, ковры мягкие, огонь от дубовых поленьев потрескивал в камине. Было жарко. В воздухе пахло коньяком и табаком. Вокруг меня смеялись тем самым немецким смехом, который я никогда не мог слышать без недомогания. Смех покрывал глухо звучавшие голоса.

Кейт смешивал в хрустальных бокалах красное бургундское вино — теплое и терпкое вино Вольни — с бледным муммским шампанским. Этот коктейль назывался «кровь турка» и был традиционным напитком немецких охотников после облавы.

— Так,— сказал Франк, в какой-то момент обернувшись ко мне с искренне удрученным видом,— так значит у еврейских детей есть крылья, да? Если вы это расскажете в Италии, итальянцы поверят. Вот так и рождаются легенды о евреях. Если послушать, какие истории англичане и американцы рассказывают в газетах, можно подумать, что немцы в Польше с утра до вечера, не покладая рук, убивают евреев. Между тем, вы в Польше находитесь вот уже больше месяца и вы не можете сказать, что видели собственными глазами хотя бы одного немца, который бы причинил еврею даже самую малую толику зла. Погромы — это легенда, как и крылья у еврейских детей. Пейте спокойно,— прибавил он, поднимая богемский бокал, полный «крови турка»,— пейте и не беспокойтесь, mein lieber Малапарте, это не еврейская кровь. Прозит!

— Прозит! — сказал я, подняв бокал. И я принялся рассказывать о событиях, произошедших в достопочтенном городе Яссы в Молдавии.

Перевела с итальянского Н. ШАПОШНИКОВА

Продолжение следует

[1] Не сомневаюсь в этом *(нем.)*.

Роберт
КОНКВЕСТ

БОЛЬШОЙ ТЕРРОР

Последний акт

Суд возобновил заседание 11 марта — слушались прения сторон и заключительные слова обвиняемых. Все утро, до перерыва, заняла речь прокурора Вышинского. Он начал яростной тирадой:

«Не в первый раз Верховный Суд нашей страны рассматривает дело о тягчайших преступлениях, направленных против блага нашей родины, против нашего социалистического отечества — отечества трудящихся всего мира. Но едва ли я ошибусь, сказав, что впервые нашему суду приходится рассматривать такое дело, как это, рассматривать дело о таких преступлениях и таких злодействах, как те, что прошли перед вашими глазами, что прошли перед глазами всего мира на этом суде, о таких преступниках, как эти преступники, сидящие сейчас перед вами на скамье подсудимых.

С каждым днем и с каждым часом развертывавшееся судебное следствие по настоящему делу показывало все больше и больше, все страшнее и страшнее цепь позорных, небывалых, чудовищных преступлений, совершенных подсудимыми, всю отвратительную цепь злодеяний, перед которыми меркнут и тускнеют злодейства самых закоренелых, самых гнусных, самых разнузданных и подлых преступников».

Потом Вышинский подошел к самой сути дела — с точки зрения сталинской логики:

«Историческое значение этого процесса заключается раньше всего в том, что на этом процессе с исключительной тщательностью и точностью показано, доказано, установлено, что правые, троцкисты, меньшевики, эсеры, буржуазные националисты и так далее и тому подобное являются не чем иным, как беспринципной, безыдейной бандой убийц, шпионов, диверсантов и вредителей...

Троцкисты и бухаринцы, то есть „право-троцкистский блок“, верхушка которого сидит сейчас на скамье подсудимых, это — не политическая партия, не политическое течение, это банда уголовных преступников, и не просто уголовных преступников, а преступников, продавшихся вражеским разведкам, преступников, которых даже уголовники третируют, как самых падших, самых последних, презренных, самых растленных из растленных».

Перемежая свои доводы эпитетами типа «зловонная куча человеческих отбросов», Вышинский протянул контрреволюционную линию вспять к шахтинскому делу и процессу Промпартии. Ошельмовав всю прошлую деятельность Бухарина и остальных, прокурор перечислил их теперешние «преступления». О Зеленском, например, он сказал так:

«Здесь я только укажу на эту позорнейшую практику подбрасывания в предметы продовольствия стекла и гвоздей, в частности в масло, что било по самым острым жизненным интересам, интересам здоровья и жизни нашего населения. Стекло и гвозди в масле? Это же такое чудовищное преступление, перед которым, мне кажется, бледнеют все другие подобного рода преступления».

Далее Вышинский объяснил:

«В нашей стране, богатой всевозможными ресурсами, не могло и не может быть такого положения, когда какой бы то ни было продукт оказывался в недостатке... Теперь ясно, почему здесь и там у нас перебои, почему вдруг у нас при богатстве и изобилии продуктов нет того, нет другого, нет десятого. Именно потому, что виноваты в этом вот эти изменники».

Вот поистине метод объяснения экономических провалов, способный вызвать зависть у любого правительства!

Прокурор накинулся на Бухарина — «эту проклятую помесь лисицы и свиньи» — и на Рыкова за их линию поведения на суде:

«В этой связи надо сказать о Бухарине, который хотел здесь показать, что, в сущности говоря, он не за поражение СССР, и не за шпионаж, и не за вредительство, и не за диверсию, так как и вообще он к этому практическому делу иметь отношения не должен, ибо он „теоретик“, который занимался проблематикой всеобщих вопросов».

Вышинский был особенно раздражен тем, что Бухарин и Рыков отказались принять на себя ответственность за убийство Кирова:

«Если представить, что Рыков и Бухарин в этом убийстве не участвовали, то надо признать, что два основных руководителя „право-троцкистского блока“, принявшего решение об убийстве Кирова, почему-то стояли в стороне от этого злодейского акта. Почему? Люди, которые организовывали шпионаж, организовывали повстанческое движение, террористические акты и, по их собственным признаниям, получили установку от Троцкого на террор, в 1934 году вдруг стояли в стороне от убийства одного из крупнейших сподвижников Сталина, одного из

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1989, № 9—12; 1990, № 1—9.

крупнейших руководителей партии и правительства...

Бухарин и Рыков признали, что у них в плане были намечены убийства руководителей партии и правительства, членов Политбюро... Почему мы должны допустить, что, вступив на путь переговоров с Семеновым об организации убийства членов Политбюро, Бухарин исключает из этого списка подлежащих умерщвлению одного из влиятельнейших членов Политбюро, зарекомендовавшего себя непримиримой борьбой с троцкистами, зиновьевцами и бухаринцами? Где логика такого поведения? Этой логики нет.

Наконец, Рыков признал, что в 1934 году он дал Артеменко задание следить за правительственными машинами. С какими целями? С террористическими. Рыков организует убийство членов нашего правительства, членов Политбюро. Почему Рыков делает исключение для Сергея Мироновича Кирова, который все же был убит по решению этого проклятого блока? Он этого исключения не сделал».

Коснувшись «медицинских убийств», прокурор тоже заявил, что Бухарин признал все, кроме осведомленности о реальных действиях или ответственности за них.

Наконец, Вышинский затронул и юридические вопросы. «Есть мнение среди криминалистов,— сказал он,— что для наличия соучастия требуется общее согласие и умысел каждого из преступников, из сообщников на каждое из преступлений. Но эта точка зрения — неправильная. Она не может быть нами принята и никогда не применялась и не принималась. Она узка и схоластична. Жизнь шире этой точки зрения».

Вслед за тем обвинитель потребовал смертной казни для всех обвиняемых, кроме Раковского и Бессонова. «Расстрелять, как поганых псов! — закричал прокурор.— Требует наш народ одного: раздавите проклятую гадину!

Пройдет время. Могилы ненавистных изменников зарастут бурьяном и чертополохом... Мы, наш народ, будем по-прежнему шагать по очищенной от последней нечисти и мерзости прошлого дороге, во главе с нашим любимым вождем и учителем — великим Сталиным — вперед и вперед, к коммунизму!»

На вечернем заседании выступили с речами защитники подсудимых-врачей, обвинявшие во всем Ягоду.

Затем каждый из подсудимых произнес свое последнее слово. Бессонов указал на то, что, будучи уже под подозрением, он добровольно вернулся в Москву из-за границы. Большинство остальных просто осуждали себя самих, а также Бухарина и Рыкова. Иванов в своем последнем слове сделал замечание, прозвучавшее зловещим предсказанием дальнейших репрессий: «Потому Бухарин не договаривает, я думаю, здесь всей правды, что он в течение всех лет революции боролся с ней и сегодня продолжает оставаться врагом, потому, что он хочет сохранить те остатки враждебных сил, которые еще прячутся в своих норах».

Крестинский рассказал о своей блистательной партийной карьере, которую начал восемнадцатилетним юношей в 1901 году, о своем руководстве подпольными большевистскими организациями, о многочисленных арестах, о работе в качестве помощника Ленина по организационным вопросам. Он произнес также выразительную фразу: «Я считаю необходимым подчеркнуть, что о террористических актах, перечисленных во втором разделе обвинительного заключения, я не имел ни малейшего представления и узнал о них, лишь когда мне была вручена копия обвинительного заключения».

Объясняя свой отказ признать себя виновным на первом допросе, Крестинский сказал: «...мне казалось, что легче умереть, чем создать представление у всего мира о моем хотя бы отдаленном участии в убийстве Горького, о котором я действительно ничего не знал».

Рыков был мертвенно бледен и дрожал, однако привел убедительные доводы в свою защиту. Он признал свою вину в целом, затем добавил:

«Но государственным обвинителем выдвинуто против меня обвинение в преступлении, в котором я непосредственного участия не принимал и которое признать не могу. Это обвинение в вынесении решения или в даче директивы об убийстве Кирова, Куйбышева, Менжинского, Горького, Пешкова... Тут подробно были изложены те улики, которые по этому поводу выдвигаются против меня, они покоятся на заявлении Ягоды, который ссылается на Енукидзе. Ничего более, уличающего меня, не было приведено на судебном следствии. Убийство Кирова было предметом обсуждения двух судебных разбирательств. Перед судом прошли и непосредственные участники, и организаторы, и руководители этого убийства. Я не помню, чтобы тогда было названо мое имя».

Затем Рыков стал настойчиво подчеркивать одно выразительное обстоятельство. А именно, что когда речь на суде зашла о так называемой попытке покушения на Ленина, состоявшейся за двадцать лет до процесса, обвинитель представил свидетелей, состоялись очные ставки и были выслушаны прямые показания. «Почему же по вопросу о моем участии в убийстве пяти ответственнейших политических деятелей можно выносить решение с косвенными уликами? Мне кажется, что это было бы неправильно. Я, во всяком случае, отрицаю свою виновность в участии в этих пяти убийствах». «До ареста,— сказал Рыков,— считал, что Горький умер естественной смертью. Лишь на суде впервые узнал о принадлежности к нашей контрреволюционной организации таких ее членов, как Иванов».

Закончил Рыков формальным признанием вины: «...эта ответственность с моей стороны, конечно, превышает все разноречия по поводу отдельных фактов и отдельных деталей, которые до настоящего времени имеют свое место». Он призвал оставшихся на свободе правых разоружиться «как можно скорее».

Раковский заявил: «Я признался во всех преступлениях. Какое значение имело бы для существа дела, если бы и здесь перед вами стал бы устанавливать факт, что о многих преступлениях и о самых ужасных преступлениях „право-троцкистского блока" я узнал здесь, на суде, и с некоторыми участниками я познакомился впервые здесь? Это не имеет никакого значения». После этого Раковский пустился в разоблачения троцкизма, а также подчеркнул, что его показания полностью удовлетворили обвинение.

Розенгольц пересказал свое революционное прошлое, начав с того, как он десятилетним ребенком прятал нелегальную литературу. Он закончил последнее слово упоминанием о своих детях.

Любопытный факт: в отчетном докладе XVIII съезду ВКП(б) Сталин дважды назвал имя Розенгольца первым среди «заговорщиков» 1938 года. Первый раз, говоря вообще об «очищении советских организаций от шпионов, убийц и вредителей, вроде Троцкого, Зиновьева, Каменева, Якира, Тухачевского, Розенгольца, Бухарина и других извергов», вторично при упоминании расстрелянных в 1938 г.: «Розенгольц, Рыков, Бухарин и другие изверги» (XVIII съезд ВКП(б), стр. 26; Сталин. Собр. соч., т. XIV, стр. 368—369). Вероятно, это отражает особую враждебность к Розенгольцу со стороны диктатора — это совпадает и с мелким уколом Вышинского в адрес Розенгольца по поводу «талисмана», несомненно исполненным по приказу свыше.

Ягода — говоривший, по свидетельству присутствовавших, «тихим и подавленным тоном» [1] — тоже рассказывал о своей подпольной партийной работе с четырнадцатилетнего возраста. В числе своих последующих заслуг он упомянул гигантские строительные работы — каналы, иначе говоря, лагерный принудительный труд. В одном пункте Ягода продолжал сопротивляться Вышинскому: «Я — не шпион и не был им. Я думаю, что в определении, что такое шпион или шпионаж, мы не разойдемся. Но факт есть факт. У меня не было связей непосредственно с заграницей, нет фактов передачи мною каких-либо сведений. И я не шутя говорю, что если бы я был шпионом, то десятки стран могли бы закрыть свои разведки — им незачем было бы держать в Союзе такую массу шпионов, которая сейчас переловлена».

Врачи, секретарь Горького Крючков и секретарь Куйбышева Максимов-Диковский ссылались на угрозы Ягоды. Левин сделал ляпсус, сославшись на свое чрезвычайное уважение к Горькому, и его одернули за это «кощунство». Плетнев говорил о своей медицинской работе, он сообщил, что НКВД разрешил ему писать последнюю монографию уже во время следствия; о «блоке» он ничего не знал.

Буланов критиковал своих сообвиняемых: «...мне кажется, может быть, я ошибаюсь, у некоторых из них проскальзывает желание еще и теперь обмануть партию, хотя каждый обязательно начинал с того, что он целиком и полностью разделяет, признает и отвечает, но это формалистика, общедекларативные заявления. Они пытаются в целом ряде случаев отрицать свою вину, ссылаясь на то, что они что-то не знали».

Речь Бухарина, в еще большей степени, чем речь Рыкова, была блестящим продолжением его линии поведения на процессе. Бухарин признал себя руководителем «право-троцкистского блока» и принял на себя политическую ответственность за все преступления. Вот примеры того, как он это делал: «Я признаю себя ответственным и политически, и юридически за пораженческую ориентацию, ибо она господствовала в „право-троцкистском блоке", хотя я утверждаю: лично я на этой позиции не стоял...

Я считаю себя, далее, и политически, и юридически ответственным за вредительство, хотя я лично не помню, чтобы я давал директивы о вредительстве. Об этом я не говорил. Я положительно разговаривал один раз на эту тему с Гринько. Я еще в своих показаниях говорил, что я в свое время Радеку заявил, что считаю этот способ борьбы малоцелесообразным. Однако, гражданин государственный обвинитель представляет меня в роли руководителя вредительства».

Во время последнего слова Бухарина, успешно подорвавшего позиции обвинения, «Вышинский, не имея возможности вмешаться, напряженно сидел на своем месте; он был явно растерян и пытался скрыть это демонстративным позевыванием». Принимая на себя групповую ответственность, Бухарин в то же время отрицал, что какая-либо группа, помимо центрального «блока» политических деятелей, вообще существовала:

«Гражданин Прокурор разъяснил в своей обвинительной речи, что члены

[1] V. and E. Petrov. «Empire of Fear», p. 46.

шайки разбойников могут грабить в разных местах и все же ответственны друг за друга. Последнее справедливо, но члены шайки разбойников должны знать друг друга, чтобы быть шайкой и быть друг с другом в более или менее тесной связи. Между тем я впервые из обвинительного заключения узнал фамилию Шаранговича и впервые увидел его на суде. Впервые узнал о существовании Максимова. Никогда не был знаком с Плетневым, никогда не был знаком с Казаковым, никогда не разговаривал с Раковским о контрреволюционных делах, никогда не разговаривал о сем же предмете с Розенгольцем, никогда не разговаривал о том же с Зеленским, никогда в жизни не разговаривал с Булановым и так далее. Кстати, и Прокурор меня ни единым словом не допрашивал об этих лицах... Следовательно, сидящие на скамье подсудимых не суть какая-либо группа».

По поводу того, что «блок» сформировался еще в 1928 году, задолго до прихода Гитлера к власти, Бухарин спросил: «Как же можно утверждать, что блок был организован по заданиям фашистских разведок?» Той же линии Бухарин держался и по поводу шпионажа:

«Гражданин Прокурор утверждает, что я наравне с Рыковым был одним из крупнейших организаторов шпионажа. Какие доказательства? Показания Шаранговича, о существовании которого я не слыхал до обвинительного заключения».

«Обвинение доказало,— продолжал Бухарин,— что он встречался с Ходжаевым и вел политические разговоры. На этом основании считают доказанными шпионские контакты. В этом нет логики».

Таким же образом Бухарин отвел обвинение в терроре: «Я категорически отрицаю свою причастность к убийству Кирова, Менжинского, Куйбышева, Горького и Максима Пешкова». Об эпизоде с Лениным в 1918 году он сказал следующее:

«Намерение физического уничтожения — это я категорически отрицаю, и здесь никак не поможет та логика, о которой говорил гражданин государственный обвинитель, что насильственный арест означает физическое уничтожение. Учредительное собрание было арестовано, однако никто там физически не пострадал. Фракция „левых" эсеров нами была арестована, однако там ни один человек не пострадал физически. „Левыми" эсерами был арестован Дзержинский, однако он физически не пострадал».

Потом Бухарин многозначительно заметил: «Признание обвиняемых есть средневековый юридический принцип». При этих словах Вышинский покраснел.

Так Бухарин опроверг обвинения по конкретным фактам. Но он признал их в общем и целом. Да, дескать, он был контрреволюционным заговорщиком «в этом зловонном подполье». Он «переродился» во врага социализма. Бухарин далее напал на тех западных комментаторов, которые предполагали, что признания на суде не были добровольными, и отверг возможную защиту со стороны западных социалистов. Он заявил, что виновен в предательстве, в организации кулацких восстаний, в подготовке террористических актов (каких именно — неизвестно). Он выразил надежду, что его казнь станет «последним тягчайшим уроком» всем тем, кто еще колебался, поддерживать ли Советский Союз и его руководителей. 12 марта в 9 часов 25 минут вечера суд удалился на совещание. Вернулись судьи на рассвете 13 марта, в четыре часа утра. Приговор: высшая мера всем, кроме Плетнева, получившего 25 лет, Раковского — 20 лет и Бессонова.

Что касается исполнения казней, то есть одна странность. Украинская советская энциклопедия (дополнительный том, статья «Гринько») датирует смерть Гринько 15 марта 1938 г. Иными словами, его казнь не последовала, как обычно, немедленно, хотя дата смерти Икрамова в Малой советской энциклопедии (3-е изд., т. 3, стр. 126) указана 13 марта. Слухи о том, что доктору Левину якобы тоже заменили расстрел лагерями (см. приложение к книге Gustav Herling, *A World Apart*), не подтверждены. Они основываются на том, что в 1940-41 годах в лагере под Ярцево встречали некоего доктора Левенштейна, который отбывал 10 лет как «горькист». Но «горькистов» по лагерям было много, а имя Левенштейн и не соответствует Левину и плохо его маскирует. Был, кстати, кремлевский врач по фамилии Левинсон (его имя упомянуто в «Правде», 13.06.1937).

Один старый большевик заметил, что признания на «большом процессе» были обусловлены не только использованием родственников обвиняемых в качестве заложников, но и полной политической безнадежностью, царившей среди обвиняемых. Кроме того, говорят, что Сталин, невзирая на результаты предыдущих процессов, опять обещал сохранить жизнь бухаринцам. Они знали, что в большинстве случаев он этих обещаний не выполнял, но в подобных обстоятельствах даже ничтожная надежда действует чрезвычайно сильно. Тем не менее Бухарин должен был понимать, что его поведение на процессе, где он уступал предъявленным требованиям лишь в минимальной степени, будет стоить ему головы. Он сказал на суде, что почти уверен в своей смертной казни. Он и Рыков, в отличие от Зиновьева и Каменева, были готовы к смерти. Они приняли смерть мужественно, не склонившись перед палачами [1].

[1] См. V. Kravchenko. «I Chose Freedom», p. 283.

В 1965 году в западной прессе появилось так называемое «последнее письмо» Бухарина. Эта публикация совпала по времени со слухами о предстоящей скорой реабилитации Бухарина и Рыкова. Фактически же весомым в этом отношении был только краткий пассаж в заключительном слове члена ЦК КПСС академика Поспелова на совещании историков 1962 года: «Достаточно изучить внимательно документы XXII съезда КПСС, чтобы сказать, что ни Бухарин, ни Рыков, конечно, шпионами и террористами не были».От обвинения в том, что существовал заговор убить Ленина, в котором он будто бы принимал участие, Бухарин теперь тоже очищен. В «Истории КПСС» издания 1959 года, под редакцией Б. Н. Пономарева, просто сказано, что левые эсеры «обратились к Бухарину с предложением о смещении В. И. Ленина с поста Председателя Совнаркома и о создании нового правительства из левых эсеров и „левых коммунистов"» (стр. 260). Та же «История КПСС» издания 1962 (стр. 271), как и последнего издания 1969 года (стр. 245), содержит еще и следующую фразу: «Бухарин не принял предложения левых эсеров, но их обращение к нему показывает, как враги пытались использовать в своих интересах фракционную борьбу „левых коммунистов"». Но зато по-настоящему реабилитированы Икрамов, Крестинский, Зеленский, Ходжаев и Гринько — а это обращает в пыль и обвинения против всех остальных. И тем не менее полной реабилитации двух главных обвиняемых так и не последовало. Что касается содержания «последнего письма», то оно обращено к будущим руководителям партии. Письмо обвиняет НКВД в использовании «патологической подозрительности» Сталина. Эта «адская машина», говорится в письме, способна превратить любого члена партии в «террориста» или «шпиона». Письмо декларирует, что Бухарин ни в чем не виновен, что он с радостью отдал бы жизнь за Ленина, что любил Кирова и ничего не предпринимал против Сталина. У него не было никаких связей с подпольной борьбой Рютина и Угланова.

Конечно, подлинность «последнего письма» Бухарина нужно еще проверять и проверять. Профессор Оксфордского университета Г. М. Катков, изучив имеющийся на Западе оригинал, заверил меня, что язык и литературный стиль письма далеки от ясного и грамотного изложения, характерного для Бухарина, даже если сделать скидку на обстоятельства, в которых «письмо» могло быть написано [1].

Обещание сохранить жизнь женам обвиняемых было, похоже, выполнено. Еще недавно была в живых вдова Бухарина [2]. Различные источники сообщают о том, что в лагерях встречали жену и сестру Ягоды, жену Иванова, жену Раковского видели в Бутырской тюрьме. Евгения Гинзбург рассказывает о встрече в 1937 году с женой Рыкова — чрезвычайно возбужденной и ничего не знавшей о судьбе мужа. Она же рассказывает, что жена Угланова была летом 1939 г. этапирована из Ярославского изолятора во Владивостокский пересыльный лагерь. На протяжении 1938 г. дочь Рыкова, отец Бухарина и жена Розенгольца еще находились на свободе.

В течение всего периода процесса, с 28 февраля, когда было впервые о нем объявлено, и до самой казни жертв, советские газеты были, конечно, полны «требований» трудящихся, выдвинутых на митингах, чтобы «грязной банде убийц и шпионов» не было пощады. Передовые статьи и просто статьи о процессе повторяли это на все лады. Проходившая в то время в Академии Наук конференция по проблемам физиологии приняла резолюцию с благодарностью НКВД. «Народный акын» Джамбул написал для «Правды» очередное произведение, озаглавленное «Уничтожить!». Приговор суда был встречен многочисленными выражениями «радости» народа.

Жизнь, «отбросившая в сторону» «право-троцкистский блок», изображалась в печати как цепь героических подвигов. В частности, под огромными заголовками шли сообщения об экспедиции Папанина, Кренкеля, Федорова и Ширшова на Северный полюс. Полярники были высажены на дрейфующую льдину на несколько месяцев до того, а во время процесса давались захватывающие сообщения об их снятии со льдины, которая стала давать трещины. Папанинцы прибыли в Ленинград на ледоколе «Ермак» и пароходе «Мурманец» 16 марта 1938 года, сразу после казни осужденных на процессе, и каждый день газеты заполнялись сообщениями о митингах встречи с полярниками, о различных приемах в их честь, о награждениях и так далее.

А потом началась подготовка к выборам в Верховные Советы союзных республик. Избирательная кампания должна была показать, что советские люди с надеждой смотрят в будущее и отметают всякие темные силы. Как многозначительно сообщил Сталин на XVIII съезде партии в 1939 году, «в 1937 году были приговорены к расстрелу Тухачевский, Якир, Уборевич и другие изверги. После этого состоялись выборы в Верховный Совет СССР. Выборы дали Советской власти 98,6 процентов всех участников голосования. В начале 1938 год были приговорены к расстрелу Розенгольц, Рыков, Бухарин и другие изверги. После этого состоялись выборы в Верховные Советы союзных республик. Выборы дали Советской власти 99,4 процента всех участников голосова-

ния. Спрашивается, где же тут признаки „разложения" и почему это „разложение" не сказалось на результатах выборов?».

Что насается эффекта, произведенного «большим процессом», то, опять-таки, ни нелепость «заговора», ни частичные отказы подсудимых признать себя виновными на эффект не повлияли. Ведь подобные нелепости происходили и раньше, они стали в какой-то мере привычными. Опять, стало быть, раскрыли широкую сеть убийц. По меньшей мере восемь групп «работали над подготовкой убийства Сталина, Молотова, Кагановича, Ворошилова и Ежова». На сей раз дело было представлено так, что убийцы эти не только находились под покровительством видных лиц в партии и армии, но даже поддерживались самим НКВД. Редко какие террористы за всю историю находились в таком привилегированном положении, как эти предполагаемые «заговорщики». Помимо полудюжины членов правительства, в том числе самого главы тайной полиции, «убийцы» имели на своей стороне высших сотрудников НКВД Паукера и Воловича, ответственных за личную охрану намеченных жертв! А результаты оказались поистине незначительными. Даже «убийства», представленные на процессе, были выполнены врачами. Если включить в число «заговорщиков» и «убийц» всех обвиненных на процессе докторов, то общий итог деятельности многочисленных «групп» выразится в убийстве Кирова, в легком испуге Молотова при незначительной встряске его автомобиля, в «отравлении» Куйбышева, Горького и Менжинского и в доведении до смерти сына Горького плохим лечением после вредительской простуды. Не очень впечатляющий итог. К тому же вывод, что лучший способ убийства кого-либо — это ожидание, пока жертва сама заболеет, вряд ли вдохновит любителей решительных действий.

Была на суде и одна курьезная деталь, тоже не замеченная поклонниками процесса. В обвинительном заключении, между прочим, говорилось: «Следствием установлено, что ряд совершенных в ДВК диверсионных актов был подготовлен и проведен участниками антисоветского заговора по прямым директивам японских разведывательных органов и врага народа Л. Троцкого. Так, по директиве японской разведки, было организовано крушение товарного поезда с воинским грузом на ст. Волочаевка и на перегоне Хор — Дормидонтовка поезда № 501, когда было убито 21 человек и ранено 45 человек. По тем же указаниям японцев были совершены диверсии на шахтах №№ 10 и 20 в Сучане». В приговоре сказано, что подсудимые признаны виновными и по этому пункту — в то время как на процессе не было сделано ни малейшей попытки представить какие-либо свидетельства о дальневосточных крушениях. О них вообще не упоминалось.

Причины этой аномалии неясны, но можно думать, что подготовленные по данному эпизоду «свидетели» были в последний момент сочтены ненадежными или отказались от показаний.

Другая странность процесса состояла в том, что снова был назван в числе заговорщиков целый ряд важных лиц, которые нигде так и не появились. Как заметил, например, Гринько, «блок» включал «целый ряд других людей», «которые не сидят сейчас на скамье подсудимых». Главные роли в заговоре — столь же важные, как роли основных подсудимых — были отведены Енукидзе, Рудзутаку и Антипову. Роли А. П. Смирнова, Карахана, Угланова, В. Шмидта и Яковлева представлены явно значительнее, чем участие в деле второразрядных обвиняемых. В качестве заговорщиков были названы также члены ЦК партии Варейкис, Любимов, Лобов, Кабаков, Сулимов, Разумов, Румянцев и Комаров.

Енукидзе и Карахан, как известно, были расстреляны без открытого суда. Но почему? И почему нигде не появились остальные «заговорщики»? Таких вопросов в то время никто не ставил.

Накопец, последнее, очень важное обстоятельство. Расчет Бухарина на то, что его тактика на процессе разоблачит всю фальшь обвинений, оказался, по-видимому, чересчур тонким. Было, разумеется, совершенно ясно, что он отрицал все прямые акты террора и шпионажа. Но на кого это подействовало? Серьезные независимые наблюдатели все равно не верили обвинениям — и не поверили бы даже в том случае, если бы Бухарин «признался» по всем пунктам,— как не верили внимательные люди и обвинениям против Зиновьева. Но впечатление более широкой политической аудитории, для которой и ставились судебные спектакли, было простым: «Бухарин сознался». Даже для тех, кто заметил, что «признания» Бухарина были лишь частичными, его принятие на себя общей ответственности за организацию террористического заговора перевешивало тот факт, что конкретные обвинения в террористических актах он отвел. Вообще говоря, последнее обстоятельство даже выигрышно оттенило тезис Вышинского, что Бухарин, вынужденный признать главное, старался увильнуть от ответственности за конкретные преступления. Сталин еще раз одержал победу. Ибо он, в отличие от интеллигента Бухарина, понимал, что политический эффект не зависит от простой логики. Ведь в двадцатые годы оппоненты Сталина не раз побеждали его на съездах по всевозможным спорным пунктам, а практическая победа все равно осталась за ним.

Глава двенадцатая

ЧУЖЕСТРАНЦЫ

Органы НКВД могли распространить категорию «врага народа» на любого, кто осмеливался обронить хоть слово критики.

Владислав Гомулка

На высшем уровне

В системе сталинского террора были две особые области: зарубежные операции и действия против иностранцев в СССР. Среди последних наиболее очевидными жертвами были иностранные коммунисты в аппарате Коминтерна. Особенно тяжелые потери несли те компартии, которые в своих странах были на нелегальном положении. Прежде всего, руководство этих партий было, так сказать, под рукой, в Москве. Затем, в таких странах, как Германия или Югославия, Италия или Польша не было демократического общественного мнения, способного протестовать. Среди английских или американских коммунистов жертв не зарегистрировано; руководители этих партий не подвергались, таким образом, риску ни у себя дома, ни в Советском Союзе, тогда как активистам других партий, входящих в состав Коммунистического интернационала, преследования грозили с обеих сторон. Странным образом английские и американские коммунисты были защищены самим характером режимов, над свержением которых они работали.

Создавая Коминтерн, Ленин снял сливки с наиболее активной части левого революционного движения в Европе. Если бы он этого не сделал, то европейские левые могли бы стать широким и объединенным движением и, может быть, преградить дорогу фашизму [1]. Вместо этого был создан ряд отдельных партий, построенных строго по большевистскому образцу и подчиненных во всем Коминтерну. А Коминтерн, в свою очередь, всегда оставался под эффективным советским контролем. Через некоторое время после организации Коминтерна всем партиям были подобраны подходящие, с точки зрения Москвы, руководители, и партийная тактика стала диктоваться им из Москвы — почти неизменно с катастрофическими результатами.

Последняя вспышка независимости в Коминтерне произошла в мае 1927 года. На заседании Исполкома Коминтерна слово взял Тельман и в присутствии Сталина, Рыкова, Бухарина и Мануильского предложил осудить документ Троцкого по китайскому вопросу. Все присутствующие уже готовы были это сделать, когда вдруг итальянская делегация — Пальмиро Тольятти и Игнацио Силоне — заявила, что не видела документа. Тут выяснилось, что документа не видел вообще никто. Итальянцы заявили, что хотя они и уверены в неправоте Троцкого, но не могут подписать формальное осуждение документа, которого не читали. Им объяснили, что Политбюро ЦК ВКП(б) не считало желательным распространение документа. Заседание было отложено — с тем, чтобы старый болгарский коммунист Василь Коларов разъяснил вопрос упорным итальянцам. Он сказал им весьма откровенно, что дело шло не об установлении какой-либо истины, а о борьбе за власть. Коминтерн, дескать, обязан присоединиться во всем к большинству в Политбюро — для того он и существует. Но итальянцы продолжали настаивать на своем, и тогда Сталин проделал типичный для него маневр: он отступил и снял вопрос с повестки дня [1].

Этот призыв к независимому суждению в Коминтерне был, повторяем, последним.

Рассказавший об этом миру Силоне покинул после этого партию, в Тольятти... Тольятти, видимо, решил, что перед ним выбор: либо подчиниться Сталину в надежде оказывать в будущем некоторое влияние, либо сойти со сцены. Он выбрал первое и держался своего выбора много лет, став соучастником гораздо более серьезных актов вероломства в последующие годы.

С тех пор — особенно после еще мирного удаления различных сторонников Троцкого и Бухарина — Коминтерн стал просто одним из элементов сталинской политической машины. Уже в 1930 году видный югославский коммунист высказал мнение, что Коминтерн состоит либо из ограниченных людей типа Пятницкого и Реммеле, либо из людей, некогда примечательных, но теперь измученных и деморализованных [2].

По самому характеру своей деятельности Коминтерн и его органы особенно легко поддавались обвинению в связях с иностранными государствами. Так «на основании фальсифицированной, ложной информации большинство руководящего актива КПЗУ в 1928 году было объявлено замаскированной агентурой фашизма» [3].

---

[1] Любопытно, что советский академик А. Д. Сахаров бросает этот упрек Сталину («Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе»...).

---

[1] I g n a z i o S i l o n e в сборнике «The God That Failed», New York, 1950, p. 109.

[2] A. C i l i g a. «The Russian Enigma», p. 61.

[3] «Коммунист», 1963, № 10, с. 45 («За правильное освещение истории Коммунистической партии Западной Украины»); см. также Стенографический отчет Всесоюзного совещания по усовершенствованию подготовки научно-педагогических кадров в исторической науке. М., 1964 [«Совещание историков»], с. 69 (Выст. А. К. Касименко).

В 1936 году произошел аналогичный разгром коммунистической партии Латвии, причем «многие видные деятели партии были объявлены „врагами народа" и репрессированы. Проведение этих мероприятий фактически означало роспуск КПЛ»[1]. Отметим, что компартия Латвии мало отличалась от обычной местной организации ВКП(б) — в ранний период деятельности она и была местной организацией. Многие латыши — как, например, Ян Рудзутак,— занимали высокие посты в советском руководстве, а потом, в годы террора, их латышское происхождение было поставлено им в вину.

Осуждению и разгрому подверглась также и компартия Эстонии — как «скомпрометированная». К моменту советской аннексии Эстонии в 1940 году в живых осталось так мало эстонских коммунистов, что на один из высших постов пришлось поставить человека эстонского происхождения, до того работавшего заместителем начальника станции на Северном Кавказе.

Был полностью арестован и Центральный Комитет компартии Литвы[2]. В качестве обвинения здесь фигурировало сотрудничество с литовским правительством.

Но все это были только цветочки. Настоящий шторм над зарубежными коммунистами разразился в 1937 году.

Работники аппарата Коминтерна и приезжавшие в Москву руководящие деятели иностранных компартий размещались в гостинице «Люкс» на улице Горького (ныне гостиница «Центральная»). Когда на них обрушился террор, обитатели гостиницы стали влачить какое-то странное, не совсем реальное существование. Гостиница, заполненная иностранцами, боявшимися даже высунуть нос на улицу, напоминала пограничную деревню из американских кинобоевиков, на которую каждую ночь налетали бандиты. Иногда события принимали драматический характер. Один из польских коммунистов, за которым пришли ночью, стал защищаться, открыл огонь и ранил нескольких работников НКВД, пока, наконец, его не одолели[3].

28 апреля 1937 года был арестован Гейнц Нойман, бывший член Политбюро ЦК компартии Германии. В свое время Нойман был одним из ведущих иностранных членов Кантонской коммуны (вместе со своим другом Ломинадзе). В начале тридцатых годов он был выведен из руководства КПГ, но с 1935 года представлял свою партию в Москве.

Артур Кестлер в своей автобиографической книге «Стрела в синеве» описывает жену Ноймана — «темноволосую, маленькую, энергичную и веселую» женщину. Много позднее она написала захватывающие мемуары, в которых рассказывает об аресте мужа. В час ночи к ним в номер вошли три работника НКВД в форме (госпожа Нойман пишет не НКВД, а ГПУ) в сопровождении директора гостиницы «Люкс» Гуревича — тоже агента НКВД. Они разбудили Ноймана, запретили супругам говорить между собой по-немецки и начали обыск. Он продлился до утра, причем был изъят чемодан документов и шестьдесят книг якобы оппозиционного содержания. Когда Ноймана выводили, он обернулся и сказал жене: «Не плачь».

— Довольно! Проходите! — приказал старший агент. Нойман повернулся, сделал несколько шагов назад, обнял и поцеловал жену.

— Теперь плачь,— сказал он.— Есть о чем плакать.

В декабре 1937 года Ноймана куда-то увезли с Лубянки, где он сидел до тех пор. По-видимому, около того времени его и приговорили, потому что в январе 1938 года жене был предъявлен ордер на конфискацию имущества. Есть сведения, что летом 1938 года Нойман находился в Бутырской тюрьме, все еще не подписав никакого признания. После этого жена Ноймана получила пять лет как «социально опасный элемент».

Примерно в тот же период исчезли еще три члена Политбюро КПГ — Герман Реммеле, Фриц Шульте и Герман Шуберт. Шуберта арестовали в июле 1938 года по доносу австрийской коммунистки. Эта женщина донесла, что когда в советской прессе было объявлено о «связях Троцкого с нацистами», Шуберт якобы вспомнил ленинскую сделку с немцами в 1917 году о проезде через Германию. После доноса на Шуберта немедленно напал Тольятти, а уж затем последовал арест[1]. Среди других жертв из руководства КПГ можно назвать руководителя военного аппарата партии Ганса Киппенбергера, секретаря ЦК по организационным вопросам Лео Флига, главных редакторов «Роте Фанэ» Гейнриха Зиссскинда и Вернера Гирша, арестованных вместе с четырьмя помощниками. (Жена маршала Геринга, по-видимому, знала семью Гирша и выхлопотала ему освобождение из немецкой тюрьмы и выезд в СССР.) Есть сведения, что Герман Реммеле в лагере сошел с ума и стал бросаться в драку с каждым встречным, будь то заключенный или охранник.

Любопытно отметить судьбу ветерана КПГ Гуго Эберлейна. Он был единственным подлинным делегатом на конференции, создавшей Коминтерн. Остальные «представители» зарубежных стран были большей частью просто советскими служащими иностранного происхождения: Польшу, например, представлял Уншлихт. Тогда Эберлейн имел инструкции Розы Люксембург сопротивляться организации нового интернационала. Этим инструкциям он жестко следовал (хотя при окончательном голосовании не голосовал против, а воздержался).

Когда начался террор, одна швейцарская газета сообщила, что Эберлейн арестован в Москве. Он сейчас же опроверг это сообщение, и была даже устроена пресс-конференция, на которой Эберлейн прочел свое опровержение. А на следующий день его арестовали. Есть сведения, что его, больного астмой, очень жестоко допрашивали в Лефортовской тюрьме, а потом приговорили к двадцати пяти годам лишения свободы. Он умер в 1944 году.

Для ареста иностранцев меньшего масштаба годился любой повод — как для ареста советских граждан. Один немецкий коммунист, например, был арестован за то, что сказал: «Геббельс — единственный нацист, имеющий хоть какие-то принципы». Это было расценено как «контрреволюционная агитация». Другой член КПГ был обвинен в антисоветской агитации за то, что будто бы участвовал в оппозиционной группе внутри немецкой коммунистической партии с 1931 по 1932 год. Даже и это обвинение было, кстати сказать, фальшивым. В главе, выразительно названной «Весь Коминтерн», Евгения Гинзбург рассказывает, как в 1937 году повстречалась в Бутырской тюрьме с германской коммунисткой. На теле женщины были шрамы от гестаповских пыток, а ногти вырвали палачи НКВД.

Среди арестованных было немало евреев. Еврейское происхождение не спасало их от обвинений в шпионаже в пользу фашистов — как не спасло оно от такого же обвинения еврея Иону Якира. Один следователь заявил еврею-заключенному, что «еврейские беженцы из Германии это агенты Гитлера за границей». После того как Германия оккупировала Чехословакию, такими «агентами» стали и чехи. Известен случай, когда арестованный чех подписал признание, что стал немецким шпионом в начале первой мировой войны, когда не существовало ни Чехословакии, ни Советского Союза.

Загадочная судьба постигла «гения пропаганды КПГ» Вилли Мюнценберга. В 1938 году Мюнценберг, находившийся во Франции, был вызван в Москву. Он уже знал, что выехавший незадолго до того из Парижа в Москву Флиг был арестован немедленно по выходе из вагона. (Флиг, очевидно, и есть тот «одетый с иголочки», «немецкий еврей, коммунист, член Коминтерна», который именно при таких обстоятельствах попал в камеру Бутырской тюрьмы, в которой сидел Иванов-Разумник: «С круглыми от изумления глазами, совершенно потрясенный, он сразу же завел пластинку № 1 „вофюр? воцу?" [„за что? зачем?"]. Мы объяснили ему, что он — немецкий фашистский шпион»)[1]. Поэтому Мюнценберг ехать в Москву отказался. В 1940 году он сидел во французском лагере для интернированных. В связи с наступлением немцев французы сняли охрану, и Мюнценберг вместе с еще одним лагерником решили бежать в Швейцарию. Через несколько дней тело Вилли Мюнценберга было найдено в лесу под Греноблем. Лицо его было изуродовано, так что версия самоубийства представлялась весьма маловероятной[2].

После советско-германского договора 1939 года в московских тюрьмах были собраны около 570 немецких коммунистов. Многие из них были к тому времени приговорены к различным срокам заключения, но большинству просто сказали, что специальная комиссия НКВД постановила выслать их из страны как нежелательных иностранцев. Среди этих немецких коммунистов были евреи, а также люди, специально разыскивавшиеся нацистами за вооруженное сопротивление во время уличных боев в начале тридцатых годов. Все они в разное время бежали в «свою» коммунистическую страну — Советский Союз. И вот их всех передали на мосту близ Брест-Литовска гестаповцам, причем работники НКВД аккуратно сверяли списки с офицерами гестапо.

В числе переданных была вдова поэта Эриха Мюзама, был композитор Ганс Давид — еврей, впоследствии умерщвленный в газовой камере Майданека[3].

Были и обратные случаи: из нацистских лагерей люди попадали в советские. В воспоминаниях Элиноры Липпер фигурирует женщина, отсидевшая три года в нацистском концлагере, переданная в СССР и получившая 8 лет как «троцкистка». В книге Далина и Николаевского рассказано о венском еврее, который выдержал почти год в немецком концлагере Дахау, а потом был передан в СССР и отправлен в лагерь, где покончил самоубийством. Актриса Карола Негер (Neher), включенная в список НКВД для передачи

---

[1] «Совещание историков», с. 286 (Выст. А. К. Рашкевица).
[2] Arvo Tuominen. «Kremls Klockor». Helsinki, 1958, с. 210.
[3] Margarete Buber-Neumann. «Als Gefangene bei Stalin und Hitler». München, 1949, s. 15.

[1] Herbert Wehner. «Erinnerungen». Bonn, 1957, s. 160

[1] Иванов-Разумник. Тюрьмы и ссылки, с. 344.
[2] A. Koestler. «Arrow in the Blue». London, 1945, vol. 2, p. 407; см. также Ruth Fischer. «Stalin and German Communism». Cambridge, 1948, Chap. 27, note 5.
[3] Weissberg, p. 487—489.

в гестапо в Брест-Литовске, исчезла в Советском Союзе.

Поразительна судьба еще одного из переданных НКВД немцам — юноши Торглера. Его отец, Эрнст Торглер, в прошлом лидер коммунистической фракции в Рейхстаге, был главным немецким обвиняемым на Лейпцигском процессе Димитрова и других. Сыну было тогда тринадцать лет, и он участвовал в митингах протеста, организованных на Западе против Лейпцигского процесса. Потом, естественно, мальчика увезли в Советский Союз. Здесь через несколько лет он был арестован как немецкий шпион и получил длительный срок. Торглера ввдели в лагерях на севере Коми АССР, где он работал могильщиком.

Как сообщают, к тому времени он близко сошелся с юными советскими уголовниками. После заключения пакта Гитлер—Сталин молодой Торглер разделил судьбу переданных гестапо немецких коммунистов.

Очень тяжелы были также потери компартии Венгрии. Самой крупной жертвой был руководитель венгерской революции 1919 года Бела Кун. В свое время, в дни революции в Будапеште, Бела Кун развязал беспощадный террор. Позже, бежав к большевикам после поражения революции, Бела Кун получил руководящий пост в Крыму, только что отвоеванном у Врангеля. Здесь он проявил себя столь жестоким, что даже Ленин потребовал его снятия и объявления ему выговора. Бела Куна перевели в Коминтерн, и известно, что он несет ответственность за провал коммунистических выступлений в Германии в 1921 году. Виктор Серж в своих мемуарах описывает Бела Куна как «воплощение интеллектуального убожества, нерешительности и авторитарной коррупции».

Падение Бела Куна произошло на заседании Исполкома Коминтерна в мае 1937 года. Выступивший с речью Мануильский набросился на него с нападками за его якобы оскорбительное поведение по отношению к Сталину и связь с румынской тайной полицией с 1919 года. Остальные члены Исполкома — включая Вильгельма Пика, Отто Куусинена, Пальмиро Тольятти, Клемента Готвальда и Вань Миня — хранили молчание. Бела Кун, явно не знавший о подготовленном нападении, смертельно побледнел. Потом, как рассказывает бывший генеральный секретарь компартии Финляндии Аво Туоминен, Кун «зарычал, как смертельно раненый лев: „Это гнусная провокация, это заговор, чтобы меня убить! Но я клянусь, что не хотел оскорбить товарища Сталина. Я хочу все объяснить самому товарищу Сталину!“ Но все уже было предрешено. Когда, бледный и потрясенный, Бела Кун выходил иэ комнаты в молчании, за ним шли два сотрудника НКВД».

Кун, однако, не был арестован немедленно. Через несколько дней ему позвонил по телефону Сталин и дружелюбно попросил принять французского журналиста, чтобы опровергнуть слухи об аресте Бела Куна. Это было проделано; опровержение было опубликовано; а спустя еще несколько дней Бела Куна арестовали. Кун сам несколько раньше арестовал ряд членов Политбюро компартии Венгрии.

Бела Куна поместили в Лефортовскую тюрьму и подвергли пыткам. Есть сведения, что во время допросов его заставляли стоять на одной ноге на протяжении от десяти до двадцати часов. Когда он после допросов возвращался в камеру, его ноги были опухшими, а лицо черным до неузнаваемости. Некоторое время Бела Кун содержался в одной камере с бывшим флагманом Муклевичем. Затем его перевели в Бутырки, где он и находился до самой казни по обвинению в шпионаже.

Казнен Бела Кун 30 ноября 1939 года. Можно предположить, что в его случае были соблюдены известные формальности — следствие, суд и т. д. Так можно думать потому, что в Малой польской энциклопедии о Куне есть такая фраза — «приговорен на основе фальсифицированного обвинения».

Жена Бела Куна, Ирина, женщина хрупкого телосложения, была арестована 23 февраля 1938 года и приговорена к восьми годам. Она попала на Колыму, но выжила и была впоследствии освобождена. Зять Куна, венгерский поэт Гидаш, тоже отбыл срок в лагерях.

Среди других руководителей венгерской революции 1919 года были арестованы еще двенадцать народных комиссаров коммунистического правительства Будапешта. В числе их — патриарх венгерского коммунизма Дечо Бокани, а также Йожеф Погани, под именем Джона Пеппера представлявший Коминтерн в американской компартии. Из этих двенадцати двое сумели выжить в лагерях. Были арестованы и бесследно исчезли и другие венгерские коммунисты — например, партийный теоретик Лайош Мадьяр.

В ходе террора погибло также много итальянских коммунистов — например, Эдмондо Пелузо, в свое время участвовавший в Кантонской коммуне вместе с Нойманом. Из тюрьмы, где его пытали, Пелузо сумел переправить друзьям письмо. Он просил о помощи, писал, что с каждой пыткой уходят его силы, и заклинал друзей верить в его невиновность. Но так как в то время всем мерещились ловушки и провокации, то и бывшие друзья Пелузо, получившие письмо, сочли его полицейской ловушкой и ничего не предприняли.

Более того, несколько итальянских коммунистов, прошедших лагеря и впоследствии освободившихся, неожиданно обнаружили, что их рассказам о тюремной и лагерной жизни не очень верят. Зять самого Тольятти был арестован в 1937 году. Ему выбили зубы и неизлечимо повредили позвоночник, но впоследствии выпустили живым. О том, что с ним происходило в заключении, Роботти никому не рассказывал. А в декабре 1961 года, в своей речи на пленуме ЦК итальянской компартии, Роботти объяснил свое поведение: он сказал, что о терроре в Советском Союзе следует говорить не итальянским, а советским коммунистам!

Однако счастливую судьбу Роботти разделили немногие. Хотя большинство руководящей группы компартии Италии спаслось благодаря полному повиновению Тольятти и благосклонности к нему Сталина, около двухсот итальянских коммунистов все-таки исчезло. У Евгении Гинзбург находим упоминание об итальянской коммунистке в Ярославской тюрьме: женщина страшно кричала, потому что ее били и обливали ледяной водой из шланга.

Разгром югославской компартии начался с ареста в Москве летом 1937 года ее Генерального секретаря Горкича. Еще до того арестовали его жену польку, обвинив ее в том, что она была английским шпионом. Вслед за Горкичем был арестован почти весь состав ЦК компартии Югославии и большое число находившихся в СССР югославских коммунистов. В речи на пленуме ЦК Союза Коммунистов Югославии 19 апреля 1949 года Тито сообщил, что больше ста человек из числа этих арестованных «нашли смерть в сталинских тюрьмах и лагерях». Среди погибших были такие люди, как секретарь ЦК партии по оргвопросам Владо Чопич, приехавший в Москву прямо из Испании, где он был командиром Интернациональной бригады.

Около того времени в Москву приехал и сам Тито. Ему дали номер на четвертом этаже гостиницы «Люкс». Позже он рассказывал, что каждый вечер ложился спать, не зная, выйдет ли утром свободно из номера или проснется среди ночи от зловещего стука в дверь [1]. Тито указывает, что в Коминтерне существовала тенденция распустить всю компартию Югославии, как было сделано с компартиями Польши и Кореи. Однако в конце концов ему разрешили сформировать новый ЦК. После этого Тито постарался перевести свой ЦК в Югославию и Западную Европу, где было больше шансов спастись от разгрома.

Бывший первый секретарь ЦК компартии Финляндии Аво Туоминен приводит длинный список расстрелянных руководителей компартии и сообщает, что «почти все финны, жившие тогда на территории Советского Союза, были объявлены врагами народа». Обвинения против руководящих финских коммунистов, пишет Туоминен, были состряпаны на основе «признаний», полученных от арестованного Отто Вилена «сталинским методом избиения» [1].

Крохотная румынская компартия потеряла двух главных руководителей. Один из них, Марсель Паукер (не путать с его однофамильцем — крупным работником советских карательных органов), был арестован, как говорят, по доносу своей жены Анны Паукер [2]. Его обвинили в сотрудничестве с Зиновьевым и расстреляли без суда. В том же 1937 году был расстрелян Александру Доброжану. По-видимому, наиболее вероятной причиной уничтожения этих двух румынских коммунистов были их прежние связи с Христианом Раковским, которому предстояло стать одним из главных обвиняемых на бухаринском процессе.

Об этом микротерроре в рядах румынской компартии ничего не сообщалось вплоть до 1952 года, пока в Бухаресте не был арестован член Политбюро румынской рабочей партии Василе Лука. В связи с его арестом пошли нападки на «предательскую клику Паукера». (Судьба Луки, признаться, сильно напоминает сатиру Орвелла «Скотский хутор» [стр. 66—67] [3], о которой мы уже упоминали в гл. 2 [3]). В ней фигурирует боров по имени Снежок, объявленный «изменником». Хотя Снежок был смелым военачальником и ему животные обязаны своей главной победой, их уверили, что на самом деле Снежок во время боя помогал противнику. Точно то же самое проделали с Василе Лукой: про него, до тех пор известного героя венгерской революции 1919 года, было теперь сказано, что он командовал пулеметным соединением противника.)

Тяжелые репрессии перенесла компартия Болгарии. Сообвиняемые Георгия Димитрова по Лейпцигскому процессу Попов и Танев были арестованы и приговорены к тюремному заключению. Танев так и погиб в заключении, а Попов выжил и в 1955 году был реабилитирован. Будущий сталинский правитель Болгарии Вылко Червенков некоторое время прятался от ареста в квартире Димитрова, пока Димитров осторожно заступался за него

---

[1] См. Fitzroy Maclean. «Disputed Barricade». London, 1957, p. 103—104.

[1] «Uusi Kavalenti», 22 июня 1956 г.
[2] См. D. Dallin. «Soviet Espionage». New Haven, 1956, p. 100.
[3] George Orwell. «Animal Farm». В русском переводе «Скотский хутор», Франкфурт-на-Майне, 1950.

и в конце концов отвел от Червенкова угрозу ареста. Были и другие жертвы. В Вологодском лагере одного болгарина бросили в яму и не давали ему никакой еды, пока через тринадцать дней он не умер [1].

И так было со всеми эмигрантскими коммунистическими группами. Но самый тяжелый удар обрушился на поляков. Польская компартия занимала особое место во взаимоотношениях с Москвой. Здесь нет места для изложения сложной истории польского коммунизма, зародившегося вначале в виде двух фракций старой польской социал-демократической партии и левого крыла польской социалистической партии. Скажем лишь, что очень многие польские коммунисты вышли из социал-демократической партии Литвы и Царства Польского. Эта партия, вместе с еврейским Бундом и латышскими социал-демократами, была приглашена на началах автономии на IV съезд РСДРП в 1906 году, когда меньшевики и большевики находились еще в формальном объединении. В состав Центрального Комитета РСДРП были избраны на съезде два представителя польской партии — А. С. Варский и Ф. Э. Дзержинский.

В целом поляки поддерживали большевиков, хотя и с оговорками. Тогдашний лидер польских коммунистов Роза Люксембург писала в частном письме, что полезно заручиться поддержкой большевиков, несмотря на их «татаро-монгольскую дикость». Хотя Ленин вскоре занялся созданием фракций в польской партии и открыл полемику с Розой Люксембург и другими, эти фракции и полемика носили, так сказать, «домашний» характер, отличаясь этим от отношений большевиков с другими зарубежными организациями. Члены польской и русской организаций часто переходили из одной в другую — из польской в русскую и наоборот. Когда Польша стала независимым государством, поляки, работавшие с большевиками и оставшиеся на советской территории, стали попросту членами РКП(б). Можно вспомнить хотя бы о Дзержинском, Радеке, Менжинском и Уншлихте (то же самое произошло и с латышскими коммунистами — например, Эйхе и Рудзутаком). Польский коммунист мог по собственному желанию перевестись в РКП(б). Так, скажем, Юлиан Мархлевский в 1920 году был сделан главой марионеточного польского правительства, сформированного в тылу Красной Армии при вторжении в Польшу. А после разгрома наступления Мархлевский объявился уже в качестве советского дипломата.

Было только естественно, что в той части компартии Польши, которая находилась в середине тридцатых годов на советской территории, террор шел тем же темпом, как и в рядах самой ВКП(б). Ведь, скажем, Варский был практически старым большевиком в том же смысле, как Рыков и Каменев.

Положение поляков в России в известной степени напоминало положение ирландцев в Англии: их было много, и они играли заметную роль в жизни охватывавшей их более крупной страны. Террор коснулся не только членов компартии Польши, но и всего польского населения Советского Союза. По переписи 1926 года в СССР насчитывалось 792 000 поляков. Перепись 1939 года (хоть и ненадежная в определенных отношениях) дает цифру всего в 626 000. Точные цифры польских потерь определить нелегко. Согласно одному подсчету, проведенному польским коммунистом, были расстреляны десять тысяч поляков из числа живших в Москве. А всего за период, окончившийся процессом Бухарина, в стране было расстреляно пятьдесят тысяч поляков.

Аресты польских коммунистов на протяжении тридцатых годов происходили несколько раз. Но в период террора вся партия в целом стала жертвой беспрецедентной кампании, направленной буквально на уничтожение — как организационно, так и физически. От всего польского коммунистического движения и его последователей осталось не более семидесяти—восьмидесяти человек. В речи, произнесенной 27 марта 1956 года, секретарь ЦК ПОРП Ежи Моравский сказал: «Почти все руководители и активные члены КПП, находившиеся тогда в Советском Союзе, были арестованы и отправлены в лагеря».

Действительно, когда в 1944 году потребовалось создать коммунистическое польское правительство, его пришлось собирать «с бору по сосенке». К тем нескольким, кто имел счастье попасть в польскую тюрьму и выжить там — подобно Гомулке — были добавлены люди типа президента Берута (в прошлом известен как следователь НКВД Рутковский) или экономического руководителя Минца, до того работавшего лектором в одном из институтов Средней Азии.

Но вернемся к 1937 году. 20—21 августа были расстреляны Варский, Будзинский и другие. Есть сообщения, что во время следствия Варский сошел с ума и вообразил, что находится в руках гестапо.

После этого в Москву «для консультации» был приглашен ряд руководителей КПП, находившихся в Польше. Среди них были члены Политбюро КПП Ринг и Генриховский. Генриховский быстро сообразил, что происходит вокруг, и несколько недель не выходил из своего

[1] См. V. K r a v c h e n k o. «I Chose Justice», p. 279.

номера в гостинице «Люкс», выскальзывая лишь на несколько минут по вечерам за самыми необходимыми покупками. Но все равно в конце концов все «приглашенные» члены польского Политбюро бесследно исчезли.

За период с 1937 по 1939 год были расстреляны все двенадцать членов ЦК КПП, находившиеся в СССР, а также сотни других партийных работников. Среди уничтоженных были все представители польской компартии в Исполкоме и Контрольной комиссии Коминтерна, в том числе ветеран Коминтерна Валецкий.

Незадолго до своего ареста Валецкий показал пример того, в какой степени были запуганы и унижены старые революционеры. Вскоре после ареста Ноймана его жена встретила Валецкого в коридоре гостиницы «Люкс». Они всегда были в дружеских отношениях. «Я улыбнулась ему и кивнула,— вспоминает госпожа Нойман,— но он сделал вид, что меня не заметил, и на лице его было смущенное, виноватое выражение».

Обычно, «прочищая» какую-либо иностранную партию, Сталин использовал внутрипартийную борьбу за власть, чтобы подобрать новое руководство. Но в этом случае обвинение пало на всех. В 1937 году, так сказать, «обе фракции» КПП оказались «исполнителями заданий контрреволюционной польской разведки» [1]. По-видимому, последнее официальное заявление от имени компартии Польши было сделано 8 июня 1938 года, после чего партия вскоре была распущена. Представляя Коминтерн на XVIII съезде ВКП(б), Мануильский заявил, что «наиболее засоренной вражескими элементами оказалась компартия Польши, в руководство которой проникли агенты польского фашизма». (Правда, Мануильский в своем докладе упомянул и о полицейских агентах также и в рядах венгерской и югославской партий.)

Последняя группа польских партийных руководителей, в том числе Вера Кощева [4)], была расстреляна в 1939 году, когда произошла расправа со всем аппаратом Коминтерна. Погибли также левые поэты Штанде, Вандурский и другие литераторы. Среди них наиболее значительным был Бруно Ясенский. Он был арестован 31 июля 1937 года, 17 сентября 1938 года приговорен к пятнадцати годам и умер от тифа во Владивостокском пересыльном лагере.

Его бывшая жена Клара получила 10 лет как «шпионка». Судьба Ясенского — хороший пример тех трудностей, с которыми приходится сегодня сталкиваться исследователю, пытающемуся проследить жизненный путь даже видных личностей. Польские коммунисты расследовали обстоятельства гибели Ясенского настолько тщательно, насколько это было в их силах. Но и теперь два польских источника дают разные даты его смерти, а официальный советский источник — еще одну, третью, дату. Кроме того, один польский источник дает неверную дату ареста Ясенского. Люди, сидевшие вместе с Ясенским и попавшие на Запад, склоняются к тому, что верна советская дата смерти [5)].

Разумеется, полный роспуск коммунистической партии Польши был исключительной мерой. Роспуск партии был просто связан с тем, что все ее кадры были физически уничтожены. В абсолютных цифрах польская компартия вряд ли понесла больше потерь, чем, скажем, партийные организации на Украине. Но Сталин попросту не мог распустить партию на Украине, потому что ведь ему требовался какой-то член партии в Киеве, чтобы управлять Украиной. А в Польше в тот момент ему никакие партийные активисты для управления страной не требовались. Несомненно, Сталин полагал, что когда понадобится, он сумеет наскрести нужное число «руководящих товарищей». Как мы знаем, так оно и вышло на практике несколько лет спустя. Кроме того, польские коммунисты старой выучки, если бы они сохранились в живых, наверняка отнеслись бы враждебно к предстоящему пакту с гитлеровской Германией и разделу Польши.

Жены арестованных иностранцев страдали наравне с женами советских жертв. Но у них не было родственников, способных хоть как-то поддержать их в беде. И потому жены-иностранки оказались полностью брошенными на произвол официальных властей. Сперва они выдержали долгую борьбу с директором гостиницы «Люкс», который, в конце концов, переселил их из прежних номеров в отдельное старое здание в глубине двора, уже заполненное другими женами. Потом их выбросили и оттуда.

Обыкновенно выяснялось, что бумаги иностранок были не в порядке, и женщины были вынуждены каждые пять дней стоять в очередях, чтобы возобновлять их. Было невозможно получить работу. Все, что они могли делать,— это продавать книги и личные вещи.

Общим стремлением было у них не говорить детям, что случилось с отцами. Госпожа Нойман вспоминает такой разговор между детьми:

— А твой папа тоже арестован?

— Нет, мой папа в отпуску на Кавказе.

Услышав такой ответ, одиннадцатилетняя собеседница, дочь одного из арестованных, разрушает иллюзии другого участника разговора:

— Ах, он на Кавказе! А почему тогда

[1] «Коммунистический интернационал», 1938, № 1—3.

твоя мама носит деньги в тюрьму? Хорошенький Кавказ!

Но с течением времени стали арестовывать самих жен. Все жены польских коммунистов, например, были взяты в одну сентябрьскую ночь 1937 года. СупругаНоймана получила 8 лет лагерей, и это было обычным приговором.

Советские представители в аппарате Коминтерна были также уничтожены по обвинению в том, что они содействовали проникновению врага в иностранные компартии. Исключением был лишь Мануильский, действовавший на протяжении всего террора как агент Сталина. Человек третьеразрядных способностей, он охотно стал в Коминтерне своеобразным эквивалентом какого-нибудь Мехлиса или Шкирятова — и потому выжил.

В своем докладе о деятельности Коминтерна на XVIII съезде партии, после упоминания о компартии Польши, Мануильский многозначительно добавил: «Вина работников Коминтерна состоит в том, что они позволили себя обмануть классовому врагу, не вскрыли своевременно его маневры, запоздали с мероприятиями против засорения компартии вражескими элементами». Это главным образом относилось к двум членам ЦК ВКП(б) — Пятницкому и Кнорину. Пятницкий был главным советским надсмотрщиком в Коминтерне, если не считать самого Мануильского. Он был членом Исполкома Коминтерна с 1923 года и возглавлял в нем ключевой организационный отдел; «и этот человек кончил за тюремной решеткой» [1]. Как полагают, он был казнен 3 октября 1939 года в связи с делом Бела Куна.

Другой советский представитель в Исполкоме Коминтерна В. Г. Кнорин руководил деятельностью компартии Германии и нескольких других компартий. Латыш по происхождению, Кнорин был, как говорят, честным человеком, но догматиком. Есть сведения, что еще в 1936 году он подвергался нападкам за то, что якобы допускал какие-то националистические уклоны. Его арестовали в июне 1937 года как «агента гестапо» и жестоко пытали. Кнорин был казнен в 1939 году, как и Пятницкий.

Подчиненные этих людей пали вместе с ними. Один из списков, подписанных Сталиным, содержит триста имен присужденных к высшей мере коммунистических партработников [2]. Заведующий отделом зарубежных связей Миров-Абрамов был арестован в 1937 году вместе со всем своим штатом. Говорят, что его обвинили в шпионаже в пользу... пятнадцати различных иностранных держав! [3] Летом 1937 года арестовали и заведующего отделом кадров Коминтерна Алиханова. В целом волна террора смела с лица земли практически весь аппарат Коммунистического интернационала, и только на самом верху коминтерновской иерархии уцелела горстка покорных, готовых на все работников вроде Куусинена, Димитрова или Тольятти.

За пределами

Расправляться с иностранцами в Москве было сравнительно легко. Но для осуществления террора за рубежом нужна была особая, секретная, техника.

В декабре 1936 года в составе Главного управления государственной безопасности (ГУГБ НКВД) под личным управлением Ежова был негласно организован отдел специальных операций. В его распоряжении находились подвижные группы, специально созданные для выполнения убийств за пределами СССР [1].

Проблема была в том, что Ежову оказалось не так легко дотянуться до старых кадровиков НКВД, работавших за границей по заданиям иностранного отдела. Эти люди могли отказаться выехать на родину по вызову, если подозревали, что вызывают их для ареста. Поэтому к ним применялись два различных метода. Первый состоял в том, что, арестовав всех начальников отделов на Лубянке, Ежов не тронул начальника иностранного отдела Слуцкого, и тот оставался полностью в чести. Был пущен слух, что иностранный отдел вообще не будет подвергнут чистке, что чистка необходима только по отношению к другим, внутренним, отделам, в которых имело место разложение.

Многие иностранные оперативники клюнули на это и вернулись в СССР, где их, как правило, сперва переводили на другую работу, а потом расстреливали. Судьба некоторых из них известна. Например, летом 1937 года был вызван в Москву и расстрелян резидент НКВД во Франции Николай Смирнов. Когда он исчез, Ежов выдвинул версию, что Смирнов просто переброшен на подпольную работу в Китай. Однако сведения об аресте Смирнова проникли в среду советских резидентов во Франции: жена одного из разведчиков как раз в это время находилась в Москве и своими глазами видела арест, когда собиралась навестить Смирнова в гостинице «Москва». Тогда по внутренним каналам было объявлено, что Смирнов — французский и польский шпион. Но опять-таки сотрудники НКВД, находившиеся во Франции, легко догадались,

[1] «У истоков партии». М., 1963, с. 368.

[2] Roy Medvedev. «Faut-il réhabiliter Staline?». Paris, 1969, p. 46.

[3] Buber-Neumann, s. 35—36.

[1] A. Orlov. «The Secret History of Stalin's Crimes», p. 223.

что это была неправда. Дело в том, что им не изменили шифров для связи с центром, а ведь если бы Смирнов был предателем, то он, конечно, выдал бы шифры, которые, следовательно, надо было бы тут же изменить. Кроме того, в нарушение всех правил шпионажа, продолжалась работа с агентами-французами, завербованными Смирновым [1].

Подобные срывы вели к невозвращению сотрудников. Поэтому Ежов стал укреплять надежность зарубежных сотрудников иным методом. Специальным подвижным оперативным группам было дано задание примерно наказывать любого коллегу, порвавшего со Сталиным.

В июле 1937 года с режимом порвал резидент в Швейцарии Игнатий Рейсс. И вскоре его изрешеченный пулями труп нашли на дороге возле Лозанны. В брошенном багаже «друга» Рейсса — того самого «друга», который организовал убийство,— швейцарская полиция нашла, кроме того, коробку отравленного шоколада, несомненно, предназначенного для уничтожения детей Рейсса [2].

Бывший советский резидент в Турции Агабеков порвал с режимом еще в 1929 году. В 1938 году его убили в Бельгии.

Такая же судьба постигла Вальтера Кривицкого, резидента НКВД в Голландии, который не только отказался вернуться в СССР, но и написал правдивую книгу о том, что знал, поныне служащую источником сведений о том периоде. Десятого февраля 1941 года Кривицкого нашли застреленным в номере вашингтонской гостиницы.

Когда ситуация с советскими шпионами за границей была таким образом «расчищена», стало возможным окончательно разделаться со Слуцким. Но чтобы не распугать агентов, все еще остававшихся за рубежом, это было сделано тактично. Смерть Слуцкого, последовавшая 17 февраля 1938 года, была отмечена на следующий день коротким, но дружественным некрологом.

На самом деле наиболее вероятно, что Слуцкого отравил в своем кабинете заместитель наркома внутренних дел Фриновский. Заместителя Слуцкого по ИНУ (Иностранному управлению) Шпигельгляса срочно вызвали и сказали, что у его начальника произошел сердечный приступ. Гроб с телом Слуцкого поместили в главном зале клуба НКВД, у гроба стоял почетный караул. Но многие сотрудники НКВД кое-что смыслили в судебной медицине, и они тотчас заметили на щеках покойного характерные пятна, служащие признаком цианистого отравления [3].

Под небом Испании

Незадолго до своей смерти Слуцкий выполнил важные задания в Испании. Эта страна сделалась в те годы главной ареной зарубежного террора. Операции шли не только на уровне ежовских специальных подвижных групп, которые шныряли по испанской земле, арестовывая и убивая отступников международного масштаба, вроде Камилло Бернини. Перед ИНУ НКВД была поставлена более широкая политическая задача — подавление испанского троцкизма и осуществление надежного контроля над испанским правительством.

Еще в декабре 1936 года в советской прессе появились статьи, свидетельствующие о желании ликвидировать ПОУМ — еретическую марксистскую партию Каталонии [1]. Фактически ПОУМ объединяла революционных социалистов, не принимавших коммунистических методов. Ни в каком реальном смысле эта партия не была троцкистской (никто из малочисленных настоящих троцкистов, находившихся в Испании, в ПОУМ не входил). Но так или иначе, пока 29-я дивизия ПОУМ сражалась против Франко на Арагонском фронте, советские представители успешно провели подавление партии.

Один из двух коммунистов в испанском республиканском правительстве, Хесус Эрнандес, позже рассказал всему миру, как он был вызван к советскому послу в Испании Розенбергу, который представил его Слуцкому. Начальник ИНУ НКВД действовал в Испании под псевдонимом «Маркос». Этот «Маркос» сказал Эрнандесу, что необходимо срочно подавить ПОУМ. Ибо, объяснил Слуцкий, руководители ПОУМ не только открыто критиковали Советский Союз, особенно процессы Зиновьева и Пятакова, но и пытались привезти в Испанию Троцкого.

(Последнее обвинение не подтверждается решительно ничем. Но если советские представители хоть сколько-нибудь верили в это, то Сталина уже могло мутить от страха. Ему все еще мерещилось, что в гражданской войне или революции имя Троцкого «стоило сорока тысяч штыков». Это была абсолютная химера, ибо даже для испанцев, не особенно враждебных Троцкому, отрицательный эффект его присутствия в стране явно превышал бы положительный.)

Розенберг добавил, что он много раз говорил премьер-министру Ларго Кабальеро: в ликвидации ПОУМ заинтересован лично Сталин. Но Кабальеро, дескать, его не слушал. Слуцкий дал понять, что нужно найти другой метод. Органы НКВД готовы организовать провокацию, которая

[1] Там же, с. 230—231.

[2] Там же, с. 232.

[3] A. Orlov, p. 238.

[1] См. напр. «Правду», 17 дек. 1936 г.

позволит коммунистам захватить власть в столице Каталонии Барселоне. А если потом Ларго Кабальеро откажется признать этот свершившийся факт, то даст коммунистам хороший повод от него избавиться.

Операция была подготовлена советским генеральным консулом в Барселоне В. А. Антоновым-Овсеенко и венгерским коммунистом Эрне Гере, впоследствии пришедшим к власти в Венгрии и свергнутым в ходе революции 1956 года. В то время Гере был старшим оперативным работником Коминтерна в Испании.

В каталонскую полицию был подсажен Родригес Сала — исполнительный и готовый на все испанский коммунист. 3 мая 1937 года Сала захватил барселонскую телефонную станцию, которая с самого начала войны была в руках анархо-синдикалистских профсоюзников. Левые организации, включая ПОУМ, оказали сопротивление. После четырехдневных боев, при которых, как говорят, около тысячи человек было убито, в Барселону вошли специально подготовленные полицейские части, прибывшие из Валенсии и других мест. Эти части подавили сопротивление. 15 мая коммунистические министры испанского кабинета официально потребовали ликвидации ПОУМ. Но даже тогда Ларго Кабальеро отказался это сделать.

После этого состоялось заседание Политбюро компартии Испании с участием представителей Коминтерна, в том числе Тольятти и Гере. Испанским коммунистам был передан приказ Сталина: освободиться от Кабальеро и поставить премьер-министром Мигэля Негрина. Приказ был выполнен в точности [1].

Сразу после сформирования кабинета Негрина генеральный директор по безопасности коммунист полковник Ортега сообщил Эрнандесу, что начальник опергруппы НКВД в Испании Орлов дал ему подписать множество ордеров на арест руководителей ПОУМ — без ведома прямого начальника Ортеги, министра внутренних дел. Тут же и сам Орлов сказал Эрнандесу, что лидеры ПОУМ будут «разоблачены» как сотрудничавшие с группой франкистских шпионов, уже находившихся под арестом.

Эрнандес вспоминает, что большинство испанских коммунистических руководителей, хотя и действовали в соответствии с директивами Коминтерна, были всем этим делом чрезвычайно возмущены. Генеральный секретарь испанской компартии Хозе Диас (который впоследствии то ли выбросился, то ли был выброшен из окна в Москве) говорил, что он подвергся «духовной смерти». Тем временем Тольятти начал решительно действовать вместе с испанской коммунисткой Долорес Ибаррури по кличке «Ля Пасионария», известной тем, что она никогда не испытывала угрызений совести. Тольятти и Ибаррури послали в Каталонию, штурмовой республиканской армии, приказ арестовать лидеров ПОУМ.

16 июня 1937 года был арестован Андрес Нин — политический секретарь ПОУМ, бывший секретарь Красного Профинтерна в Москве, имевший портфель министра юстиции в автономном правительстве Каталонии. Его сперва взяли в тюрьму Алкала, находившуюся в руках коммунистов. Там им занялась группа чекистов во главе с самим Орловым и старым агентом Коминтерна Витторио Видали (впоследствии участником убийства Троцкого, а после войны — руководителем антисоветских коммунистов в Триесте). Затем Андреса Нина перевезли в Эль Пардо и подвергли допросам по сталинскому рецепту. Первый допрос длился тридцать часов, причем следователи сменялись. Допрос оказался безуспешным, и Андреса Нина начали пытать. Как сообщает Хулиан Горкин — в то время видный деятель ПОУМ, а ныне председатель сообщества писателей в изгнании международного Пен-клуба,— через несколько дней пыток лицо Андреса Нина «представляло собой бесформенную массу». Тем не менее у него не удалось исторгнуть никаких признаний, и Нин либо был тут же убит, либо умер под пыткой. Знаменитому испанскому коммунисту Эль Кампесино сообщили, что Нин был там же сразу похоронен [1].

Интересно, что большинство участников этого преступления публично названы по именам. И почти все они — кроме Тольятти, умершего естественной смертью,— еще живы. Как указывает Хулиан Горкин [2], многие из них стали даже приверженцами антисталинской волны, когда она поднялась в 1956 году после XX съезда КПСС.

После расправы с Андресом Нином во Франции был создан комитет защиты ПОУМ. Более того, было опубликовано письмо, составленное в простых, но сильных выражениях и подписанное Андре Жидом, Мориаком, Дюамелем Роже-Мартеном дю Гаром и другими. Авторы письма требовали всего лишь справедливого суда и нормального обращения с теми членами ПОУМ, против которых были выдвинуты обвинения. Это письмо имело большой эффект в Испании и, кажется, подействовало даже на Негрина. Во всяком случае, в отношении тех руководителей ПОУМ, которые были еще живы, поступило распоряжение, чтобы они больше не исчезали. Ну, а рядовых членов ПОУМ расстреливали так же быстро, как и раньше. Хулиан Горкин, представлявший ПОУМ в ЦК народной милиции, был одним из немногих выживших.

Эрнандес держится той точки зрения, что Сталину было важно показать: не только в СССР, но и в «демократических» странах, управляемых народным фронтом, троцкисты действовали как предатели. То, что происходило в Испании, было не просто местью Троцкому и не просто подрывом баз троцкизма, но также попыткой получить вне советской территории подтверждение наличия некоего троцкистского «заговора».

Тем временем шло прочесывание недостаточно надежных соединений Интернациональной бригады в поисках троцкистов. Например, Вальтер Ульбрихт проводил чистку среди немецких участников Интербригады — в то время как их собратья по партии уничтожались в Москве (советский «генерал Клебер», командующий Интернациональной бригадой, был отозван в феврале 1937 года и вскоре арестован). Советские военнослужащие в Испании, которым вряд ли нравились операции НКВД, были почти поголовно расстреляны по возвращении.

Парадоксально, что в ходе террора на испанской земле, в ходе захвата политической власти в Испании Сталин потерял интерес к исходу самой войны. Эренбург сообщает, что, несмотря на громогласное официальное возмущение немецкой и итальянской интервенцией в Испании, интерес к ней становился все более формальным по мере того, как ухудшалось положение республиканцев и становилось очевидным, что они проигрывают. Его собственные корреспонденции натыкались на все растущие редакционные трудности, «лакировались и розовели», подвергались сокращениям и переделкам, а то и вовсе не печатались [1].

Многие испанские республиканцы, ускользнувшие от финального разгрома, перебрались в Москву. Эль Кампесино, он же генерал Гонзалес, прибыл на небольшом кораблике, где кроме него было еще до полутораста пассажиров. Испанцы стали прибывать в Москву с мая 1939 года, но здесь их подстерегали новые опасности.

Дело в том, что эта волна политических беженцев левого толка была не первой. В 1934 году, после поражения социалистического восстания в Вене, в Москву прибыло несколько сот человек социалистической военной организации «Шуцбунд». Их приняли как героев, они даже прошли в строю по Красной площади под аплодисменты и поздравления. К середине 1937 года все «шуцбундовцы» были арестованы и отправлены в лагеря. Исключений почти не было [1]. Некоторые члены их семей, оставшиеся без денег и с детьми на руках (те, кто имел работу, были немедленно уволены), пришли в немецкое посольство в Москве, представлявшее тогда нацистов. Явившиеся попросили гитлеровских дипломатов отправить их на родину. Нацисты временно поселили их в здании посольства, а потом проводили в ОВИР для получения виз на выезд. По-видимому, некоторые из этих людей получили визы и смогли выехать.

Австрийские шуцбундовцы в большинстве не были коммунистами. Но испанских республиканцев, среди которых коммунистов было гораздо больше, тоже постепенно выслали в Среднюю Азию и другие отдаленные районы. А руководство компартии Испании было подвергнуто дальнейшей политической чистке, которая долго тянулась в аппарате Коминтерна и в московских штабах иностранных компартий. На одно из заседаний одной из комиссий Коминтерна был вызван генерал Гонзалес (Эль Кампесино). После того как он позволил себе поспорить с членами этой комиссии, его отправили рыть московское метро, а потом угнали в северные лагеря. Что до Генерального секратаря партии Хозе Диаса, то, как уже упоминалось, он погиб при неясных обстоятельствах. Отмечены еще десятки жертв среди менее заметных испанских коммунистов.

Мексика, 1940

Одно крупное дело за рубежом оставалось еще не выполненным. Суть этого дела была достаточно ясно изложена в последнем слове Христиана Раковского на процессе «право-троцкистского блока» в 1938 году: «Троцкий и за мексиканским меридианом не укроется от той полной, окончательной, позорной для всех нас дискредитации, которую мы здесь выносим» [2]. Но это предсказание еще не осуществилось в буквальном смысле слова.

Со времени своей высылки из Советского Союза в 1929 году Троцкий маячил гигантской тенью в сталинской мифологии. Сперва из Турции, затем из Норвегии и, наконец, из Мексики этот «князь тьмы», погрязший в болоте фашистских разведок, умудрялся плести необъятные заговоры, ответвления которых непрерыв-

---

[1] Описание ликвидации ПОУМ см. в книге участника событий: Jesús Hernandez. «Yo fui un ministro de Stalin» Mexico City, 1953.

[1] Jilian Gorkin. «Bulletin d'Information de la Comission pour la Verité sur les Crimes de Staline», n. 1, mai 1962 («L'Assassinat d'Andres Nin»).

[2] Там же.

[1] И. Эренбург. Собр. соч., М., т. 9, 1967, с. 100, 109—110, 143, 179, 190—191, 228 («Люди, годы, жизнь», кн. 4).

[1] Beck and Godin., p. 108.

[2] «Дело Бухарина», с. 670.

но выкорчевывались в СССР бдительными чекистами.

На самом деле Троцкий пытался организовать политическое движение в мировом масштабе. Некоторые крайние секты коммунистического направления присоединились к его Четвертому интернационалу. Но его влияние в СССР было практически равно нулю. Во всех событиях, описанных в предыдущих главах, Троцкий оставался в лучшем случае пассивной фигурой где-то за спиной. Его главное участие в советских делах состояло в том, что он их комментировал и анализировал извне. В своем «Бюллетене оппозиции» Троцкий излагал свои мысли о текущем положении в стране и давал рекомендации антисталинским коммунистам насчет того, как им следовало бы действовать.

При всей своей энергии, всем своем полемическом таланте Троцкий сумел придать этим рекомендациям, главным образом, две отличительные черты. Во-первых, полное отсутствие сострадания к некоммунистическим жертвам режима. Так, например, Троцкий не произнес ни слова сочувствия по поводу гибели миллионов во время коллективизации. Во-вторых, поразительная беспомощность политических суждений.

В период пребывания у власти Троцкий, невзирая на свой личный престиж, оставался безжалостным проводником партийной воли. Он беспощадно сокрушал внутрипартийную демократическую оппозицию и в 1921 году, на X съезде РКП(б), поддержал ленинскую резолюцию, запретившую фракции и давшую руководящей группе абсолютную власть. Подавление Кронштадтского восстания было таким же личным триумфом Троцкого, как и захват власти большевиками в 1917 году. Троцкий был ведущей фигурой среди «левых» старых большевиков — то есть среди тех доктринеров, которые не могли согласиться с ленинскими уступками крестьянству. Эти люди, и в первую очередь Троцкий, предпочитали более жесткий режим еще до того, как подобную линию стал проводить Сталин.

Возможно, Троцкий вел бы свою политику менее грубо, нежели Сталин; но он все равно применял бы (как обычно и делал) насилие в таком масштабе, в каком считал необходимым. И это был бы отнюдь не малый масштаб.

Однако ничто так не подрывает образ «положительного бунтовщика» Троцкого, как его отношение к сталинскому режиму. Даже в изгнании, на протяжении тридцатых годов, позиция Троцкого ни в коем случае не была позицией открытого революционера, вышедшего на бой с тиранией. Нет, платформой Троцкого была скорее «лояльная оппозиция». В 1931 году Троцкий опубликовал свой ключевой манифест «Проблемы развития СССР». В этом документе Троцкий принимал основные линии сталинской программы, определял сталинский Советский Союз как «пролетарское государство» и просто спорил со Сталиным по поводу того, какая фаза эволюции в сторону социализма была достигнута. Троцкий фактически стоял не за уничтожение сталинской системы, а за переход власти к другой группе руководителей, которая сумела бы поправить дела.

Осенью 1932 года Троцкий писал в письме к сыну: «Сегодня Милюков, меньшевики и термидорианцы всех видов... охотно подхватят клич „убрать Сталина“. Однако может случиться, что в ближайшие месяцы Сталину придется защищаться против термидорианского давления и нам придется временно поддержать его... А если так, то лозунг „Долой Сталина!“ сомнителен и его не нужно в настоящий момент поднимать как боевой клич» *[1]. В своем «Бюллетене» Троцкий писал: «Если бюрократическое равновесие в СССР будет сейчас нарушено, это почти наверное пойдет на пользу силам контрреволюции» [2].

Троцкий все время утверждал, что в Советском Союзе намечается какой-то «термидор» при поддержке «мелкобуржуазных элементов». Склонный к сравнениям с Французской революцией, он постоянно говорил о «термидоре» и «брюмере». Что ж, параллели между Сталиным и либо Директорией, либо Наполеоном могут быть академически интересны, но различия между этими явлениями столь велики, что подобные сравнения невозможно принимать в расчет для целей практической политики. Режим Сталина — то есть, по сути дела, ленинский режим — имеет свои законы развития и свои внутренние возможности.

Троцкий возражал против построения ленинской партийной машины вплоть до 1917 года. Но однажды согласившись с принципами этой машины, он никогда больше их не опровергал и не видел, что сталинизм или любая его разновидность были прямым результатом ленинского принципа партийности. Однажды Троцкий признался, что для него «довольно соблазнительным» выглядело суждение о сталинской системе как «уходящей корнями в большевистский централизм или, более широко, в подпольную иерархию профессиональных революционеров» *[3]. Но дальше этого Троцкий никогда не заходил.

---

[1] Архив Троцкого. См. Isaac Deutscher. «The Prophet Unarmed». London, 1962 (имеется стереотипное изд. 1970 г.), p. 75. [См. прим.[6]]

[2] «Бюллетень оппозиции», № 33.

[3] B. Wolfe. «Three Who Made a Revolution». Penguin ed., London, 1966, p. 520.

Среди историков есть тенденция принимать версию Троцкого по поводу ряда событий, участником которых он был. Но это лишь потому, что сталинская историография еще куда менее надежна. Недавно было показано, что в изложении последнего периода жизни Ленина специалисты слишком уж полагались на сочинения Троцкого. Его Ленин, желающий сформировать блок только с Троцким и ни с кем другим, да еще на основе особой взаимной преданности, политического доверия и личной дружбы — просто продукт тенденциозного искажения действительности.

Троцкий, вместе с остальными членами Политбюро, препятствовал попыткам больного Ленина оказывать воздействие на текущие дела «с больничной койки». В последующих интригах Троцкий проявил себя отнюдь не прямым и последовательным, а как раз изворотливым и малодушным; виднейший западный исследователь того периода, профессор Гарвардского университета Адам Улам, пишет, что изложение событий самим Троцким — это «жалкая полуправда с попытками игнорировать факты».

Все это совершенно понятно, и возникает лишь единственный вопрос: почему слова Троцкого, как правило, не подкрепленные доказательствами, так широко принимались на веру? Несомненно, отчасти потому, что книги Троцкого, выходившие под более или менее критическим взглядом Запада, были не столь дикими и бесстыдными фальсификациями, как параллельные сталинские версии. Отчасти также и потому, что кое в чем троцкистская традиция вливалась в общий поток независимой исторической мысли.

Но, как бы то ни было, Троцкий никогда не упускал случая скрыть или извратить факты в интересах политики. Общая надежность его сочинений о том периоде может быть оценена в свете выдвинутого Троцким обвинения, что Сталин отравил Ленина. Этому нет ни малейших доказательств, да и бросил Троцкий это обвинение только в 1939 году, через много лет и после смерти Ленина, и после своего выезда из страны. Единственным соображением в пользу теории Троцкого может служить то обстоятельство, что смерть Ленина спасла Сталина от потери занимаемых им постов в правящем аппарате. Однако более разумно предположить, что обвинение Троцкого было чем-то вроде уменьшенного зеркального отражения сталинских диких обвинений в предательстве и прочем, успешно выдвигавшихся на протяжении многих лет против политических оппонентов.

Когда говорят о том, что Троцкий был привлекательной личностью, то имеют в виду, главным образом, его выступления на крупных митингах, его острые сочинения, его общественный вес. Но при всем том Троцкий отталкивал многих своим тщеславием, с одной стороны, и безответственностью, с другой — в том смысле, что он был склонен выдвигать «блестящие» формулировки и потом требовать их воплощения, невзирая на опасности.

Бесцветные, лишенные широких обобщений выступления Сталина несли в себе больше убедительности. Сама серость и приземленность сталинских слов придавала им некую реалистичность. В период, когда требовалось решать более или менее земные проблемы, «великий революционер» (или «великий теоретик», подобный Бухарину) чувствовал себя не очень уютно. Каковы бы ни были его заблуждения, Троцкий многое унаследовал от западноевропейских марксистских традиций. А когда сталинское государство замкнулось в изоляции, на первое место в нем вышел тот самый азиатский элемент, который сам Троцкий так хорошо подмечал и критиковал у большевиков. Один советский дипломат сказал как-то Антону Чилиге, что Россия — страна азиатская, и добавил: «Путь Чингисхана или Сталина подходит ей лучше, чем европейская цивилизованность Льва Давидовича».

Тщеславие Троцкого, в отличие от той же черты у Сталина, говоря практически, было более поверхностным. В Троцком было что-то театральное. Он показал себя не менее жестоким, чем Сталин; действительно, в годы гражданской войны он приказал казнить больше людей, чем Сталин или кто-либо еще. Но даже в этом Троцкий выказывал черты позера — этакого Великого Революционера, драматически и неумолимо исполняющего жестокую волю Истории. Если бы Троцкий пришел к власти, то забота о собственном образе, несомненно, заставляла бы его править менее беспощадным или, вернее, менее грубо беспощадным образом, чем правил Сталин. Возможно, что русский народ смог бы сказать о Троцком-диктаторе:

Тиран хоть был не добронравен,
Но, к счастью подданных, тщеславен.

Прагматический подход Сталина к событиям создавал впечатление, что он здравомыслящий человек,— и в каком-то смысле это впечатление было правильным. Он был всегда способен отступить — тому много примеров, начиная от торможения катастрофической коллективизации в марте 1930 года до снятия блокады Берлина в 1949 году. На фоне ловкости Сталина в его партийной политике Троцкий выглядел политиком весьма поверхностным, и приходится сделать вывод, что в этой сфере Сталин был куда сильней своего противника. Можно обладать блестящим умом, великолепными способностями; но есть иные качества, менее оче-

видные для внешнего наблюдателя, без которых индивидуальная одаренность имеет лишь второстепенное значение. Троцкий был шлифованным самоцветом; Сталин — грубым и необработанным алмазом.

Троцкий и его сын Лев Седов были лишены советского гражданства 20 февраля 1932 года. Их никогда не приговаривали заочно к смерти, хоть такие утверждения иногда делаются. В приговорах Военной Коллегии Верховного Суда СССР по делам Зиновьева и Пятакова сказано, что Троцкий и Седов будут немедленно арестованы и судимы в случае, если они появятся на территории СССР.

Находясь в Норвегии, Троцкий бросил смелый вызов: пусть советское правительство потребует его выдачи как преступника. Это означало бы, что Троцкий должен дать показания перед норвежским судом. Но вызов не был принят: вместо этого СССР стал оказывать давление на норвежское правительство, чтобы оно выслало Троцкого из страны. Благодаря хлопотам художника Диэго Риверы президент Мексики Карденас предоставил Троцкому политическое убежище, и 9 января 1937 года Троцкий высадился на мексиканский берег с норвежского танкера.

Была у Троцкого одна черта, сближавшая его с Лениным,— он был легковерен в своих знакомствах. В былое время Ленин оказывал расположение и протекцию Малиновскому и другим провокаторам внутри большевистской партии, даже когда они попадали под подозрение его соратников. По поводу Малиновского Ленин в оправдание своей доверчивости приводил довольно сомнительный довод, что Малиновский, дескать, даже предавая большевиков, продолжал интенсивно и хорошо работать по вовлечению новых членов в партию. Троцкий держался той точки зрения, что если он откажется встречаться с кем-либо, кроме своих старейших и ближайших сподвижников, то потеряет возможность проповедовать свое учение и приобретать новых сторонников.

Заговор против Троцкого был соткан в темном мире советской шпионской сети в США, и некоторые эпизоды операции были раскрыты лишь после ареста Джека Собла в 1957 году.

Джек Собл был приставлен шпионить за Троцким еще в 1931—1932 годах, и он действовал очень умело. Следующим агентом НКВД, пробравшимся в политическое окружение Троцкого, был незаурядный авантюрист Марк Зборовский. О нем сказано, что этот человек «повсюду оставлял за собой след крови и вероломства, как шекспировский злодей». Он ускользал от правосудия много лет; в Соединенных Штатах он долгое время подвизался как уважаемый антрополог Колумбийского и Гарвардского университетов. Лишь в декабре 1958 года он был разоблачен и приговорен к семи годам тюрьмы за ложные показания.

А в тридцатые годы Зборовский сделался правой рукой Льва Седова и получил доступ ко всем секретам троцкистов. В ноябре 1936 года он организовал ограбление архива Троцкого в Париже. Зборовский никого не убивал сам, он был, так сказать, «диспетчером»; такую роль он играл, например, в убийстве Игнатия Рейсса [1]. Он организовал лишь случайно не удавшееся в 1937 году убийство Вальтера Кривицкого, но зато успешно провел операцию по уничтожению в Испании секретаря Троцкого Эрвина Вольфа. Весьма вероятно, что именно Зборовский передал в руки убийц молодого немца Рудольфа Клемента — секретаря троцкистского Четвертого интернационала. Клемент исчез в 1938 году; вскоре в реке Сене был выловлен обезглавленный труп, предположительно опознанный как тело Клемента. Так или иначе, его больше не видели.

14 февраля 1938 года в парижской больнице при подозрительных обстоятельствах умер Лев Седов. Поскольку в больницу Седова привез лично Зборовский, можно с полным основанием предполагать, что он тут же информировал убийц НКВД о представившемся удобном случае.

То, что Троцкий сумел дожить до 1940 года, вероятно, объясняется нарушением деятельности ИНУ НКВД в результате сперва ежовской, а потом бериевской чисток. Трудности возникли также в связи с разоблачениями, сделанными двумя крупными работниками НКВД, бежавшими из Советского Союза,— Люшковым в Японии и Орловым в Испании.

Более того, после не совсем ясной попытки убить Троцкого в январе 1938 года были приняты очень строгие меры предосторожности. На вилле в местечке Койоакан возле Мексико-Сити, где жил Троцкий, несли охрану и троцкисты, и мексиканская полиция.

После этого планирование убийства Троцкого было поручено многолюдному штабу в Москве, где все было разработано до мельчайших подробностей. В здании НКВД на улице Дзержинского, 2 этот штаб и особое досье Троцкого занимали три этажа [2].

Можно определенно сказать, что главным побудительным мотивом подобных действий Сталина было желание просто физически уничтожить любых других возможных руководителей. Дальнейшее

[1] D. Dallin in «Jhe New Leader», 19—26 March, 1956.

[2] Isaac Don Levine. «The Mind of an Assassin». London, 1959, p. 50; см. также. V. and E. Petrov. «Empire of Fear».

очернение Троцкого было ненужным и невозможным [7]. В любом отношении, кроме самого факта убийства главного врага, Сталин мог ожидать лишь отрицательного эффекта от террористического акта. Но сам факт перевешивал все остальное. Недаром же дважды во время войны с немцами Сталин проводил массовые расстрелы среди сколько-нибудь видных военных и политических деятелей, томившихся в лагерях; эти две волны казней в точности совпадают с двумя самыми критическими периодами на фронте, когда Сталину мерещилось поражение.

Организация убийства Троцкого была поручена полковнику НКВД Леониду Эйтингону, которому для этой цели были переданы в распоряжение практически неограниченные средства. В 1936 году Эйтингон прошел хорошую школу в Испании, где носил псевдоним «Котов» и работал под непосредственным руководством Орлова. Да и без того он имел солидный опыт террористической деятельности за границей, был видной фигурой в ежовской сети «специальных операций». Карьера Эйтингона продолжалась много лет. Николай Хохлов, посланный в Германию для убийства председателя Исполнительного Бюро НТС Г. С. Околовича и отдавший себя вместо этого под его защиту весной 1954 года [1], работал вместе с Эйтингоном уже после смерти Сталина. Несколько позже Эйтингон, по-видимому, был расстрелян за свои связи с Берией [8].

Итак, Эйтингон отправился в Мексику. С ним ехали основатель аргентинской компартии и верный сталинец Витторио Кодовилья, в свое время участвовавший в убийстве Андреса Нина, а также другой видный убийца еще с испанских времен — Витторио Видали.

Компартия Мексики, тогда возглавлявшаяся Германом Лаборде, была настоящим политическим движением и не выказала никакого восторга по поводу предстоявшей террористической операции. Тогда, в порядке подготовки убийства Троцкого, руководство партии пришлось сменить: власть досталась «бескомпромиссной» группе, в состав которой входил известный художник-коммунист Сикейрос.

Действуя под именем Леонова, полковник Эйтингон организовал первую попытку убийства Троцкого в виде операции широкого размаха. Центральной фигурой операции был сам Сикейрос.

23 мая 1940 года Сикейрос и двое его соучастников переоделись в форму мексиканской армии и полиции, вооружились автоматами, зажигательными бомбами, а также штурмовыми лестницами и дисковой электропилой. Под их командой находилось еще двадцать бандитов. Сам Сикейрос переоделся майором мексиканской армии. Было около двух часов ночи, когда убийцы подъехали к охраняемой вилле Троцкого на четырех автомашинах. Нескольких полицейских предварительно заманили подальше от виллы; других связали под дулами автоматов. Были перерезаны телефонные провода, а дежурного личного охранника Троцкого, американца Харта, сбили с ног и оглушили. Отряд ворвался во внутренний дворик виллы — патио — и несколько минут обстреливал длинными очередями все спальни, выходившие, по мексиканскому обычаю, окнами в патио. Потом убийцы бежали, оставив несколько зажигательных бомб и заряд динамита. Заряд не взорвался; Троцкий был лишь легко ранен в правую ногу; ранение получил также десятилетний внук Троцкого. Жена Троцкого отделалась ожогами от воспламенившихся зажигательных бомб. Налет провалился.

Несколько позже из земли на участке виллы Сикейроса был выкопан труп американца Харта, которого бандиты увезли с собой, застрелили и зарыли.

Коммунистическая партия Мексики отмежевалась от этого преступления и заявила, что не имеет ничего общего с Сикейросом и Видали. К 17 июня личность всех участников нападения на виллу Троцкого была установлена мексиканской полицией.

В сентябре 1940 года Сикейрос был разыскан в провинции, где скрывался от правосудия, и немедленно арестован. Но хотя все факты были установлены, на мексиканскую Фемиду началось политическое давление. Вдобавок к этому «интеллектуалы и художники» просили президента принять во внимание, что «деятели науки и искусства важны для страны как передовой отряд культуры и прогресса».

В результате суд доброжелательно выслушал заявление Сикейроса, что триста пуль были выпущены по жилым комнатам виллы Троцкого «лишь в психологических целях», без намерения кого-либо убить или ранить. Свидетельское показание о том, что Сикейрос, узнав о невредимости Троцкого, воскликнул: «Вся работа впустую!», не было принято во внимание судом. Было также найдено, что обстоятельства смерти Харта не могут служить основанием для обвинения в умышленном убийстве. Судья заявил, что обвиняемые не вступали друг с другом в преступный сговор, поскольку сговор не может состоять в одном изолированном преступлении, а должен, чтобы квалифицироваться как таковой, иметь «стабильность и постоянство». Подсудимые были также оправданы по обвинению в ношении формы полицейских офицеров — на том основа-

[1] Н. Е. Хохлов. Право на совесть. Франкфурт-на-Майне, 1957, гл. 14.

нии, что хотя они и надели форму, но не пытались узурпировать какие-либо полицейские функции.

Между тем Сикейрос находился не в тюрьме — он был освобожден под залог. И, натурально, получив очень своевременное приглашение от чилийского поэта-коммуниста Пабло Неруды выполнить кое-какие стенные росписи в Чили, он решил им воспользоваться. Таким образом, он избежал даже легкого приговора, который мог быть ему вынесен за... кражу двух автомобилей около дома Троцкого.

После провала Сикейроса Эйтингон немедленно ввел в действие резервный оперативный план. Через четыре дня после ночного налета Троцкого впервые познакомили с его будущим убийцей Рамоном Меркадером.

Мать Меркадера Каридад была испанской коммунисткой. В годы гражданской войны в Испании она состояла в особой группе по ликвидации политических противников. Есть сведения, что в те годы она была также любовницей Эйтингона.

Работники НКВД в Испании держались правила забирать себе паспорта всех убитых бойцов и командиров Интернациональной бригады. Один такой паспорт вручили Меркадеру. Паспорт принадлежал канадцу югославского происхождения, который отправился добровольцем в самом начале гражданской войны в Испании и был очень скоро убит. Фамилия в паспорте была аккуратно переделана на «Джексон». Это типичное англо-саксонское имя — лишь один любопытный пример нелепых промахов, допущенных в ходе ловко, в общем-то, спланированной операции. Но никто почему-то не обратил внимания на то, что явный испанец носил явно английскую фамилию.

Подготовив таким образом Меркадера, его ввели в мир внешне респектабельных нью-йоркских левых. Этот мир в то время буквально кипел коммунистическими страстями и интригами и был готовой вербовочной базой для агентов Ежова. Общее руководство подготовкой убийства по варианту Меркадера осуществлялось тогда постоянным резидентом НКВД, советским генеральным консулом в Нью-Йорке Гайком Овакимяном, который лишь гораздо позже, в мае 1941 года, был разоблачен и выслан из страны.

Подробности подготовки — часть которых и до сих пор не выявлена с полной ясностью — нас здесь не интересуют. Интересно, однако, отметить вот что. В этом преступлении, как и в крупных шпионских делах сороковых и пятидесятых годов, было замешано много людей, о которых ничего похожего нельзя было и подумать. Их беспартийные знакомые, разумеется, отвергли бы самую мысль о возможности участия этих лиц в какой-либо преступной деятельности. Между тем, фракционные страсти, революционный романтизм и даже чистый идеализм сделали этих людей сознательными или полусознательными соучастниками вульгарного убийства.

Вот такие-то левые и познакомили Меркадера с Сильвией Агелов — американской троцкисткой, работавшей в социальном обеспечении. Меркадер обольстил ее и вступил с ней в связь, которую принимали за брак. Сильвия в данном случае была совершенно невинной жертвой — она ничего не знала о готовящемся преступлении. Но именно она ввела Меркадера в дом Троцкого.

В качестве мужа Сильвии Меркадер пять или шесть раз побывал у Троцких и стал, что называется, «принят в доме». 20 августа он прибыл на виллу в Койоакан якобы для того, чтобы дать Троцкому на просмотр написанную им статью. На Меркадере был плащ, в подкладку которого был зашит длинный кинжал. В кармане лежал револьвер. Но главным оружием убийцы был срезанный до нужного размера ледоруб. Меркадер был опытным альпинистом и выбрал ледоруб в качестве оружия потому, что хорошо владел им. Впрочем, это еще не самое странное оружие, когда-либо примененное агентами НКВД за рубежом. Владимир и Евдокия Петровы сообщили об убийстве советского посла за границей органами НКВД, причем убийца был физически сильным человеком и действовал с помощью железного прута.

Меркадер оставил автомобиль перед виллой, развернув его в удобную для бегства сторону. За углом ждал еще один автомобиль, в котором сидели мать Меркадера и один из агентов Эйтингона. Наконец, в третьем автомобиле, за квартал от виллы, восседал сам полковник Эйтингон.

У Троцкого на письменном столе лежало два револьвера, и он в любой момент мог поднять тревогу, нажав тайную кнопку. Но Меркадер дал ему на прочтение статью, и когда Троцкий склонился над ней, убийца выхватил свой ледоруб и нанес Троцкому страшный удар по голове.

План Меркадера состоял в том, чтобы мгновенно после этого исчезнуть. Однако его удар не убил Троцкого сразу. У Троцкого вырвался крик — по словам самого Меркадера «очень протяжный, прямо бесконечный». Один из охранников Троцкого — тот, что вбежал первым и схватил Меркадера — тоже описывает крик Троцкого. По его словам, это был «долгий стон агонизирующего человека, полукрик, полурыдание».

Троцкого еще успели оперировать, и он скончался примерно через сутки после удара — 21 августа 1940 года. Ему было около шестидесяти двух лет.

Представ перед судом после дела Сикейроса, Меркадер, по-видимому, тоже надеялся, что приговор будет легким. Может быть, он думал убедить судью, что учил Троцкого альпинизму и убил случайно. Однако его приговорили в двадцати годам тюрьмы, и он отбыл свой срок день в день. После того как полиция полностью идентифицировала Меркадера по отпечаткам пальцев, он все равно отказался сообщить, кем был на самом деле и почему совершил убийство. Тогдашняя официальная сталинская версия состояла в том, что убийца был разочарованным троцкистом и не имел ничего общего с НКВД.

Годы заключения Меркадера проходили в несколько иной обстановке, чем в советских тюрьмах и лагерях. Мексиканская революция провела подлинные реформы тюремной системы. Посетитель, имевший свидание с Меркадером в тюрьме, пишет: «Его камера, просторная и солнечная, с небольшим открытым внутренним двориком — патио — имела прекрасную кровать и стол, заваленный книгами и журналами».

Кроме того, по мексиканскому закону, Меркадер имел право приглашать в камеру женщин и оставаться с ними.

Эйтингон и мать Меркадера между тем покинули Мексику заранее подготовленным секретным маршрутом. В Москве мамаша Каридад была принята Лаврентием Берией, представлена Сталину и награждена орденом, причем второй орден ей был вручен для сына [1].

Поистине, ликвидация последнего крупного противника Сталина вызвала огромное удовлетворение в Кремле! Можно отметить, что сбылось в самом буквальном смысле одно из предсказаний Троцкого. В 1936 году он писал о Сталине: «Он стремится нанести удар не по идеям своего оппонента, а по его черепу».

Глава тринадцатая

ВЕРШИНА

По шесть-семь тысяч жертв
День каждый уносил.

Байрон

После процесса Бухарина Сталин и Ежов занялись остатками оппозиции на партийных верхах.

Последняя волна внутрипартийного террора, направленная против сторонников и помощников Сталина, была хорошо обозначена в закрытом письме «О недостатках партийно-политической работы в РККА и мерах к их устранению», выпущенном весной 1938 года с его личным участием. Письмо предписывало «ликвидацию последствий вредительства» и требовало «не забывать также о „молчалиных“», тех, кто отмалчивался, пытаясь остаться в стороне от борьбы с «врагами народа» [1].

Сперва были подчищены остатки: казнили несколько работников не очень крупного масштаба, которые, возможно, предназначались играть роль подсудимых в бухаринском процессе, но вели себя недостаточно послушно, чтобы быть выпущенными в зал суда. В качестве примера можно привести первого секретаря ЦК КП Казахстана Л. И. Мирзояна, который подвергся нападкам Сталина на февральско-мартовском пленуме 1937 года. «С ведома Сталина Л. И. Мирзоян был освобожден от работы, арестован и обвинен в тяжких преступлениях» [2], а в мае 1938 года расстрелян, так ни в чем и не признавшись.

Однако предстояла еще более крупная игра. Приблизительно в марте или апреле 1938 года был арестован Постышев. А три обреченных члена Политбюро — Эйхе, Косиор и Чубарь — все еще появлялись, хотя и нерегулярно, в разных официальных документах — например, им, в числе других, адресовали телеграммы полярники с дрейфующей льдины.

Из этой тройки первыми пали Эйхе и Косиор. Эйхе был арестован 29 апреля 1938 года. А Косиор, как явствует из выпущенной о нем книжки [3], еще 28 апреля фигурировал в предвыборных списках. Но перед самыми первомайскими праздниками его забрали. НКВД вообще имел обычай «брать» под праздники, чтобы затруднить попытки немедленного вмешательства.

Теперь Сталин полностью игнорировал какие бы то ни было формальности. Как сообщил на XX съезде Хрущев, об аресте Косиора не было обмена мнениями или решения Политбюро. То же самое,— сказал тогда Хрущев,— относится и к «другим случаям такого же рода». Об арестах Эйхе и Косиора не было объявлено вообще. Но интересующиеся могли понять это сразу, потому что в одно прекрасное утро киевская «радиостанция имени Косиора» вышла в эфир без этого имени [4].

---

[1] E. Castro Delgado. «J'ai perdu la foi à Moscou». Paris, 1950.

---

[1] Ю. П. Петров. Партийное строительство в Советской Армии, с. 301.

[2] В. И. Ляхов в «Вопросах истории КПСС», 1965, № 1 («Левон Исаевич Мирзоян»), с. 101—104.

[3] «Станислав Викентьевич Косиор». Киев, 1963, с. 174.

[4] Стоит отметить, что на закрытом заседании XX съезда сам Хрущев сослался на этот вид информации...

В то же время печать отвлекала читателей другими, «более важными», темами. Большую часть мая и июня 1938 года газеты занимались предвыборной кампанией, митингами трудящихся по этому поводу и тому подобным. Вновь, как предыдущей зимой, фанфары громко трубили о советской демократии. Выборы 26 июня прошли под аккомпанемент «нового подвига сталинских соколов» — беспосадочного перелета Коккинаки по маршруту Москва—Хабаровск.

Отсутствие обоих арестованных на первомайской трибуне не было замечено. Но Чубарь еще был на Красной площади. В последний раз он фигурирует в официальном приветствии 9 июня. А в документе от 1 июля, содержащем список членов Политбюро, Чубаря уже нет.

Считается, что Чубарь был озабочен недостатками в промышленности и имел сомнения относительно новой сельскохозяйственной системы. Он был близко связан с Орджоникидзе и был, дескать, недоволен нарастанием культа личности. Незадолго до своего ареста Чубарь «глубоко возмущался фактами незаконных репрессий... отказывался верить, что его лучшие друзья, прошедшие бок о бок с ним всю жизнь, могли оказаться шпионами и предателями». Взгляды Чубаря стали известны тем, кто проводил террор. Чубаря вывели из Политбюро, освободили от обязанностей заместителя председателя Совнаркома и послали на низовую работу в Соликамск. Но «лишь несколько месяцев пробыл он там... Вскоре он был арестован и расстрелян» [1].

Между тем Эйхе поместили в новый «политизолятор», а по существу застенок, в «Сухановку», тюрьму, специально предназначенную для арестованных крупных работников. Здесь Эйхе попал в руки к печально знаменитому следователю З. М. Ушакову. Вскоре Эйхе переломали ребра, и он начал признаваться в том, что был руководителем «запасной сети», якобы созданной Бухариным в 1935 году.

По-видимому, имелось в виду то, что на бухаринском процессе было вскользь названо «другим запасным центром». Этот мифический «центр» будто бы существовал уже в конце 1935 или в начале 1936 года, когда Рыков якобы торопил Чернова связаться с этим «центром» через Любимова [2]. А «другим» сей «центр» назвали потому, что на процессе упоминалась также некая параллельная группа правых под руководством Антипова.

В том, что этим позднейшим жертвам наклеили ярлык «правых», есть известная примитивная логика. У них не было ни малейших связей с оппозиционными группами Троцкого или Зиновьева; но хотя в 1929—1933 годах эти люди боролись и против Бухарина, они затем выступали за смягчение террора и примирение с Бухариным. Кое-кто из них возражал против его ареста.

Планы следующего судебного процесса были, во всяком случае, изменены. Эйхе «вынуждали подписывать новые варианты легенды», которую «фабриковал Ушаков». Из членов «запасной сети» был также «вычеркнут» арестованный руководитель тяжелой промышленности Рухимович. Дела Рухимовича и Эйхе решено было, видимо, отложить.

Но и после этого в руках органов безопасности оставалось достаточно жертв для следующего процесса — или, лучше сказать, первого процесса против сталинцев. Недавно арестованных членов Политбюро и некоторых других лиц вполне можно было оставить в резерве для дальнейшего использования.

Однако в этот момент что-то произошло. Что именно — до сих пор неизвестно. Но сравнительно недавно стало ясно, что события, каковы бы они ни были, имели кульминационный пункт в последние дни июля 1938 года. Ибо теперь известно по советским источникам, что 28 и 29 июля были расстреляны следующие лица: бывший член Политбюро и заместитель председателя Совнаркома Ян Рудзутак, бывший нарком тяжелой промышленности В. И. Межлаук, бывший секретарь ЦИК СССР И. С. Уншлихт, бывший член Политбюро ЦК КП(б)У В. П. Затонский, бывший командующий военно-морскими силами флагман 1-го ранга Орлов, бывшие командармы Дыбенко, Вацетис, Великанов, Белов, Дубовой, Алкснис, а также, по-видимому, еще ряд крупных командиров, видный советский драматург В. Киршон.

Несомненно, среди тех, чья гибель не датирована точно в советских справочниках, найдется немало людей, уничтоженных в эти же дни. Но даже и в таком виде этот перечень казней сравним по масштабу и значению с теми, которые до тех пор объявлялись официально как результаты судебных процессов. Из подробностей мы знаем только, что Рудзутак предстал перед Военной Коллегией Верховного Суда СССР и не признал себя виновным ни в чем. Во время следствия он делал «признания», но на суде взял их обратно и сказал, что «...единственная просьба, с которой он обращается к суду, это сообщить ЦК ВКП(б), что в НКВД есть еще не ликвидированный центр, ловко фабрикующий дела и заставляющий невинных людей сознаваться в преступлениях, которых они не совершили; у обвиняемых нет возможности доказать, что они не участвовали в преступлениях, о которых говорится в таких признаниях, вымученных от различных лиц. Методы следствия таковы, что они вынуждают людей лгать и клеветать на невинных, не замешанных ни в чем людей, не говоря уже о тех, кто уже обвинен.

Он просит суд разрешить ему сообщить об этом ЦК ВКП(б) в письменной форме. Он заверяет суд, что он лично никогда не имел никаких враждебных намерений по отношению к политике нашей партии, потому что всегда был согласен с партийной линией во всех областях экономического и культурного строительства» [1].

Тем не менее «в течение двадцати минут был вынесен приговор, и Рудзутак был расстрелян» [2].

Можно проследить судьбы родственников нескольких расстрелянных. Жена Рудзутака была отправлена в лагеря, сестра Уншлихта Стефания Брун получила восемь лет лишении свободы, первая жена Межлаука получила такой же приговор и умерла от дизентерии в Дальневосточном пересыльном лагере.

Этот момент стал поворотным пунктом террора. Прекратились работы по подготовке дальнейших показательных процессов — этих процессов больше не было. А особенно интересен разбираемый момент тем, что он совпадает с началом заката звезды Ежова. Именно тогда появились первые признаки того, что Ежов теряет доверие Сталина.

Была в СССР одна республиканская компартия, которая не то чтобы избежала террора, но подверглась ему на иной основе, чем остальные,— а именно так, как хотелось ее первому секретарю. Это была компартия Грузии во главе с первым секретарем Берией. Было бы непохоже на Ежова, если бы он не пытался уничтожить ведущие кадры в Тбилиси по собственному выбору. Действительно, есть сообщения, что в 1938 году Ежов предпринял шаги в этом направлении [3]. По его плану, как говорят, должен был быть арестован Берия [4]. Однако Берия с успехом апеллировал к Сталину — при поддержке Молотова и других [5].

20 июля 1938 года, за неделю до массовых казней, Берия был назначен заместителем наркома внутренних дел. Это могло быть истолковано только как начало падения Ежова. Ведь этот пост раньше занимали технические исполнители калибра Матвея Бермана или Якова Агранова — для крупного партийного руководителя он не подходил. Было ясно, что Берия был назначен заместителем временно и что ему предстояло вскоре стать наркомом. Он переехал на дачу, которую только что перед тем занимал Чубарь.

Ходили слухи о резком столкновении Ежова с Кагановичем — отнюдь не по вопросу желательности или полезности сталинского террора, а просто по вопросу полномочий. В министерствах и других органах под его контролем Каганович вел террор сам и не терпел вмешательства НКВД, кроме как исполнительного, то есть непосредственного проведения арестов и расстрелов. Есть свидетельство о том, что Ежов начал даже создавать дело против Кагановича, для чего заставил арестованного директора Харьковского тракторного завода Бондаренко дать против Кагановича какие-то показания [1].

Бывший крупный партийный работник А. Авторханов полагает, что у Сталина был повод для недовольства Ежовым и поэтому он начал прислушиваться к голосам его противников. Повод, по Авторханову, состоял в том, что Ежов не сумел организовать новые показательные процессы, создав для этого «параллельный бухаринский центр» и «параллельный военный центр». Вполне возможно, что Ежову было поручено устроить четвертый большой процесс и что с этим он действительно не справился. Если это так, то совпадение перевода в Москву Берии с закрытым судом (или судами) и расстрелами может означать отмену неудавшегося плана новым руководством.

Но, с другой стороны, Сталин уже и до того расстреливал высокопоставленных членов ЦК без таких формальностей, как открытый суд. И трудно представить себе, какие выгоды мог он извлечь из нового процесса. Ведь все, какие только можно, уроки были преподаны на процессе Бухарина. Что касается второго суда над военными, то ведь и первый суд такого рода — над Тухачевским и другими — не был открытым; стало быть, и о втором можно было объявить тем же путем, постфактум. Действительно, тот факт, что новая группа военных «заговорщиков» была уничтожена без сообщения в прессе, может быть истолкован так, что процессы над военными были Сталину больше не нужны.

Однако каковы бы ни были планы Сталина на будущее, факт остается фактом: с этого момента показательные суды прекратились. Никто из находившихся

Footnotes (p. 140):

[1] В. Дробижев и Н. Наумова. В. Я. Чубарь. М., 1963, с. 71.

[2] «Дело Бухарина», с. 101 (показания Чернова).

Footnotes (p. 141):

[1] Хрущев, доклад на закрытом заседании XX съезда КПСС...

[2] Там же...

[3] B. Nicolaevsky in «The New Leader», 16 January 1956.

[4] Б. И. Николаевский в «Новом Русском Слове», 6 дек. 1959 г.

[5] А. Авторханов в «Посеве», 18 марта 1953 г. («Покорение партии»). Он же: Uralov Alexander. «The Reign of Stalin». London, 1953, p. 80.

[1] Weissberg. «Conspiracy of Silence», p. 399.

под арестом не был больше выведен на публику. А ведь у всех у них, по-видимому, были пытками вырваны нужные признания, и они перед смертью проходили все ту же двадцатиминутную процедуру военного суда.

Правда, у многих жертв — сталинцев чистой воды — было труднее исторгать надежные и долговечные «признания». Известно, что ни Рудзутак, ни Эйхе не повторили даже перед закрытыми военными судами тех показаний, которые они дали под пытками. Конечно, такие люди находились и на более ранних стадиях террора, но тогда в распоряжении НКВД все время был достаточный запас «признавшихся». Кроме того, ни один из вновь арестованных не мог обвинить себя в каких бы то ни было прошлых связях с оппозицией, и этих сталинцев вряд ли можно было призывать «разоружиться перед партией». А таких безупречных партийцев даже на бухаринском процессе было всего один или два, да и то среди второстепенных обвиняемых.

Одна из трудностей была еще в том, что среднее поколение сталинцев все еще считало себя чем-то бо́льшим, чем просто назначенцами или просто членами экстремистского окружения Сталина. Это еще были люди, следовавшие своим убеждениям, преданные Сталину как вождю, но не считавшие его руководство неоспоримой идеологической догмой. В отличие от прежнего поколения сотрудников Сталина — от людей, которых он мог в той или иной степени шантажировать их прошлым,— более молодые кадры были почти поголовно убеждены в своей общей и политической невиновности (если не с нашей точки зрения, то, по крайней мере, с их собственной).

Что касается Ежова, то некоторое время он еще удерживал свой пост и свою власть. У него было лишь одно дурное предзнаменование: 21 августа 1938 года его назначили наркомом водного транспорта — в дополнение к должности наркомвнудела. Его не могло утешать и то обстоятельство, что в то же самое время Кагановичу было вверено руководство тяжелой промышленностью в дополнение к его Наркомату путей сообщения, тем более, что Каганович стал, кроме того, еще и заместителем председателя Совнаркома. Как бы то ни было, на протяжении всей последующей осени нарком внутренних дел Ежов продолжал, однако, фигурировать на видных местах при всех официальных церемониях; иногда даже его имя стояло в газетах перед именами других, более видных членов Политбюро — Микояна, Андреева, Жданова.

И Ежов продолжал свою политику. Террор все разрастался и в конце концов достиг таких чудовищных масштабов, что даже Сталин как будто увидел необходимость и своевременность некоторого облегчения. Это, конечно, требовало принятия важнейшего политического решения; и можно думать, что происшедшие летом перемены еще не были решением, а были лишь первыми шагами по направлению к нему, и притом вызванными конкретной неудачей. Тогда, летом, возможно, у Сталина еще не было ощущения, что вся система террора приближается к тупику.

Дипломаты

Процессов больше не было, но слухи о них ходили. После казни бухаринцев должен был якобы состояться отдельный процесс дипломатов, где центральной фигурой называли Антонова-Овсеенко.

И до того ряды советских дипломатов сильно поредели. Например, советский посол в Монголии Таиров был расстрелян в июне 1937 года. Прошедшие в открытых процессах Крестинский и Сокольников были заместителями наркома иностранных дел. Карахан, тоже расстрелянный, был послом в Берлине. Страшная участь постигла и многих меньших по рангу дипломатических работников. На процессе 1938 года над Бухариным и другими было названо, например, имя Членова, дело которого якобы выделено в особое производство. На том же суде выдвигались различные обвинения против посла в Японии Юренева, посла в Китае Богомолова и начальника юридического отдела НКИД Сабанина. Все эти люди попросту исчезли.

Начальником отдела кадров Наркомата иностранных дел был назначен видный чекист Василий Корженко, который и занял со своей семьей московскую квартиру Крестинского. Как разделывались в это время в Наркоминделе с сотрудниками за малейшие провинности, недавно было описано в «Молодом коммунисте» на примере заведующего протокольным отделом НКИД В. Н. Баркова:

«Однажды по указанию Деканозова, работавшего тогда заместителем Наркома иностранных дел и бывшего, как выявилось впоследствии, одним из самых активных участников банды Берии, Владимир Николаевич должен был встретиться с иностранным корреспондентом. По существовавшим правилам в день беседы с корреспондентом Владимир Николаевич Барков должен был непременно встретиться с Деканозовым, но Деканозова нигде нельзя было найти. Помня о полученном приказе, Владимир Николаевич принял журналиста.

На следующий день его вызвал к себе Деканозов.

— Кто дал вам непосредственное разрешение на встречу?

— Я никак не мог вас разыскать,— ответил Владимир Николаевич.

— Плохо искали!

Разгон продолжался долго. И В. Н. Барков не удержался. Он ответил:

— Да вас же в тот день нельзя было найти!

— Ах, так! — с угрозой произнес Деканозов и закончил беседу.

В тот день Владимир Николаевич не вернулся домой. Родные смогли увидеть его только спустя восемнадцать лет» [1].

В своей книге «Люди, годы, жизнь» И. Эренбург рассказывает, что и сам нарком индел М. М. Литвинов «ждал другой развязки. Начиная с 1937 года и до своей последней болезни он клал на ночной столик револьвер — если позвонят ночью, не станет дожидаться последующего».

Дипломаты исчезали десятками. Они ведь действительно все время находились в контакте с иностранцами, так что, по ежовским стандартам, все поголовно были в чем-нибудь виноваты. Их вызывали из-за границы и расстреливали; как замечает тот же Эренбург, «многие погибли: Антонов-Овсеенко, Крестинский, Розенберг, Гайкис, Марченко, Аренс, Гиршфельд, Аросев, Членов стали жертвами клеветы и беззакония (я назвал только некоторых)».

Однако никакого «процесса дипломатов» так и не было. В частности, Антонов-Овсеенко, как мы видели, прошел обычную негласную процедуру уничтожения. До 1917 года он был меньшевиком. В 1905—1906 годах дважды руководил восстаниями и в 1906 году был приговорен к смертной казни. Уже после этого его несколько раз арестовывали за подпольную работу. (Эта биография показывает, кстати, насколько ошибочно представление о том, будто меньшевики были политически бездеятельны вследствие того, что их точка зрения по партийно-организационным вопросам отличалась от ленинской.) В 1917 году Антонов-Овсеенко перешел к большевикам и руководил штурмом Зимнего дворца, в результате которого было свергнуто Временное правительство.

Это именно Антонов-Овсеенко ворвался в зал заседаний и объявил: «От имени Военно-революционного комитета объявляю вас арестованными!». Во время гражданской войны он командовал Украинским фронтом, а в 1922 году возглавил Политуправление Реввоенсовета. На этом посту Антонов-Овсеенко поддерживал Троцкого и через два года был заменен Бубновым. Он оставался троцкистом до 1928 года, после чего разоружился подобно другим участникам оппозиции. После этого Антонов-Овсеенко занимал ряд государственных и дипломатических должностей, последняя из которых была в Испании.

В Бутырской тюрьме Антонов-Овсеенко сидел вместе с другими заключенными в одной из камер третьего этажа. Он был болен, у него пухли ноги (по многим сообщениям, это нередко случалось с заключенными из-за скверного тюремного питания и тяжелого напряжения от длительных допросов). Но держал себя Антонов-Овсеенко бодро, развлекал соседей по камере рассказами о Ленине, об октябрьской революции и испанской войне. Одним из этих соседей был Юрий Томский — сын Михаила Томского, покончившего с собой в 1936 году. Юрий Томский описывает последние дни Антонова-Овсеенко. По его словам, Антонов-Овсеенко отказывался подписывать что-либо на допросах, хотя протоколы этих допросов разрослись под конец до трехсот страниц. «Во время одного из допросов в кабинете следователя не был выключен радиорепродуктор. Следователь, обозленный упорным отказом арестованного подписать клеветнические материалы, назвал старого революционера врагом народа.

— Ты сам враг народа, ты настоящий фашист,— ответил ему Владимир Александрович.

В этот момент по радио передавали какой-то митинг.

— Слышите,— сказал следователь,— слышите, как нас приветствует народ? Он нам доверяет во всем, а вы будете уничтожены. Я вот за вас орден получил!».

В конце 1938 [1] или в начале 1939 года [2] Антонова-Овсеенко вызвали из камеры на казнь. Если верить Юрию Томскому, это было так: «...Надзиратель вызвал Антонова-Овсеенко. Владимир Александрович начал прощаться с нами, потом достал черное драповое пальто, снял пиджак, ботинки, раздал почти всю свою одежду и встал полураздетый посреди камеры.

— Я прошу того, кто доживет до свободы, передать людям, что Антонов-Овсеенко был большевиком и остался большевиком до последнего дня».

Тут необходимо заметить, что в начале тридцатых годов Антонов-Овсеенко сам был прокурором СССР. Его последние слова перед казнью стали известны гражданам Советского Союза через двадцать пять лет. И тем не менее ему еще повезло в этом смысле. Меньшевикам, погибшим в лагерях после процесса 1931 года, или эсерам вроде Спиридоновой не удалось оставить потомству никаких напутствий. Да вряд ли всплывут теперь на поверх-

[1] М. Логинов в «Молодом коммунисте», 1962, № 1 («Культ личности чужд нашему строю»).

[1] Малая сов. энц., 3-е издание, М., т. 1, 1958, с. 450.

[2] Сов. историческая энц., М., т. 1, 1961, с. 634—635; Энц. словарь, М., т. 1, 1963, с. 138.

ность истории и последние слова представителей каменевского поколения.

Между тем все новых и новых советских дипломатов отзывали в Москву на расправу. Полпред в Бухаресте Островский колебался, вернуться ему в Москву или нет. Но решил вернуться, когда получил заверения в полной безопасности лично от Ворошилова, вместе с которым прошел гражданскую войну. Островского схватили, едва он пересек государственную границу.

Ветеран Балтфлота Федор Раскольников был советским послом в Болгарии. Вызванный в Москву в апреле 1939 года, он отказался вернуться. Тем не менее сегодня он реабилитирован. Раскольников — единственный советский невозвращенец, удостоенный такой чести. Частично это объясняется особо крупными заслугами Раскольникова в годы революции и гражданской войны, полным отсутствием связей с какой-либо оппозицией. Кроме того, Раскольников до конца заявлял о своей верности большевизму, да и умер он всего через несколько месяцев жизни на Западе, в сентябре 1939 года, от нервного расстройства. Даже Эренбург в своих мемуарах упоминает о встрече с Раскольниковым в Париже, причем выясняется, что Эренбург сочувственно отнесся к человеку, решившему остаться за границей.

17 августа 1939 года Раскольников написал оскорбительное письмо Сталину, которое сразу после его смерти, 1 октября 1939 года, было опубликовано в издававшейся Керенским в Париже «Новой России». А еще при жизни Раскольникова, 26 июня 1939 года, его несколько более умеренное заявление появилось в милюковских «Последних новостях». В этом заявлении, обращаясь к Сталину, Раскольников, между прочим, твердо заявил: «Вы сами прекрасно знаете, что Пятаков не летал в Осло». Раскольников тем самым разоблачал состряпанное против Пятакова обвинение в тайной встрече с Троцким в Осло — обвинение, по которому Пятаков был приговорен к смертной казни и расстрелян. Эта уверенная фраза Раскольникова показывает, что в партийных кругах очень многое было известно о подлинном характере обвинений против жертв террора и что сведения такого рода обсуждались старыми партийцами.

Молодежь

Одна крупная организация остаалась еще под руководством первого набора сталинцев — ВЛКСМ.

В декабре 1925 года, после поражения Зиновьева на XIV съезде партии, Сталин послал в Ленинград Александра Косарева для проведения чистки в ленинградском комсомоле. В 1926 году оппозиционный блок предпринял серьезную попытку заручиться поддержкой молодежи и студентов. Большинство в «троцкистских» группах протеста составляли молодые представители интеллигенции, недовольные партийным контролем над комсомолом. В результате половина состава ленинградского горкома ВЛКСМ была исключена из организации.

Котолынов, возглавлявший зиновьевское крыло в лениградской молодежной оппозиции, смело обвинил Косарева в тактике откровенного запугивания. Однако Косарев продолжал вести эту тактику и по возвращении в Москву. В 1927 году он стал секретарем ЦК ВЛКСМ, а в 1929 — первым секретарем.

С тех пор «массовая беспартийная организация», как официально именовался комсомол в уставе, сделалась активным инструментом в руках генерального секретаря ЦК ВКП(б) — чем-то вроде «Сталин-югенда», если применить аналогию с немецким национал-социализмом.

Впрочем, даже такое сильное сравнение выглядит недостаточным. На ноябрьском пленуме ЦК КПСС в 1962 году тогдашний первый секретарь ЦК ВЛКСМ С. Павлов привел в своем выступлении указание Сталина комсомолу: «На первый план выдвигалось, и это черным по белому было записано, что первейшей задачей всей воспитательной работы комсомола является высматривание и распознавание врага, которого нужно потом убирать только насильственно, методами экономического воздействия, организационно-политической изоляции и методами физического истребления. Вот куда хотел направить усилия комсомола Сталин» [1]. Как видим, Сталин хотел, чтобы комсомол стал вспомогательной молодежной организацией НКВД!

21 июля 1937 года Сталин и Ежоа вызвали Косарева и полтора часа читали ему правоучения за то, что комсомольская организация не играла достаточной роли в развертывании кампании бдительности и разоблачений. Косарев постарался удовлетворить их требования. Из попавших в немецкие руки во время войны и затем сохранившихся смоленских архивов мы знаем, что творилось в областных комсомольских организациях осенью 1937 года.

В октябре 1937 года в комсомольских организациях Смоленской (в то время Западной) области прошла всеобщая чистка. Было сказано, что «фашисты, проникшие даже в ЦК комсомола, теперь разоблачены». 11 октября 1937 года новый первый секретарь обкома ВЛКСМ

[1] См. Пленум ЦК КПСС 19—23 ноября 1962 г., стенографический отчет. М., 1963, с. 369 (выступление С. П. Павлова).

Манаев заявил, что его предшественники «враги народа Коган и Приходько» якобы «подорвали семьсот колхозных комсомольских организаций». «Врагами» были «заполнены» педагогический институт, техникум, средние школы и даже пионерские организации. Один секретарь комсомольской организации за другим объявлялись преступниками. Было заменено от половины до двух третей всего состава членов комсомольских комитетов и секретарей первичных организаций.

Однако и сам Манаев был вскоре обвинен в том, что давал деньги на лечение арестованным «врагам народа», а также в «преступной медлительности» в деле выкорчевывания врагов. Приехавший из Москвы руководитель объявил: плохая работа областной комсомольской организации объясняется тем, что, возможно, в ней еще остались неразоблаченные враги.

Последовавшее обсуждение вылилось в новый поток доносов. Делегат от Вязьмы, сообщивший, между прочим, что в последние годы район потерял пятерых комсомольских секретарей, тут же обрушился на тогдашнего секретаря райкома, сказав, что тот «полностью разложившийся человек» * и к тому же «многоженец» *. Выступавшие говорили, что хотя много враждебных элементов было уже вычищено, прошедшие разоблачения были только поверхностными. Еще один делегат заявил, что из четырехсот двух учителей в его районе сто восемьдесят были «чуждыми элементами» *.

Когда «разоблачители» стали выступать открыто, Косарев обнаружил, что нашлись бóльшие энтузиасты, чем он сам.

Молодая сотрудница комсомольского аппарата по фамилии Мишакова предприняла попытку скомпрометироаать и уничтожить руководящих комсомольских работников Чувашской АССР, назначенных лично Косаревым. Косарев немедленно вмешался, предотвратил разгром чувашского комсомольского руководства и снял Мишакову с работы в ВЛКСМ. 7 октября 1938 года Мишакова обратилась с письмом к Сталину. Два-три дня спустя ее пригласил Шкирятов, которому Сталин поручил разбор дела.

Весь инцидент был, несомненно, целеустремленно спланирован заранее. Он понадобился для того, чтобы разгромить одну из последних авторитетных группировок, прошедшую нетронутой через ежовскую чистку. Еще 6 ноября 1938 года речь Косарева на торжестаенном комсомольском пленуме была подана в «Правде» на видном месте. Но 19—22 ноября состоялся еще один пленум ЦК ВЛКСМ, на котором присутствовали Сталин, Молотов и Маленков. Сталин выступил в защиту Мишаковой и обернул эту защиту злобным нападением на косаревское руководство. Через несколько дней большинство членов ЦК ВЛКСМ было арестовано. «За „врагом народа“ А. В. Косаревым приехал „сам“ Берия» [1]. Это был первый случай, когда Берия выехал на арест «сам».

О разгроме руководства ВЛКСМ было официально доложено на XVIII съезде партии Шкирятовым и Поскребышевым [2]. Нет сомнения, что арест комсомольских руководителей был важнейшей операцией Сталина. Но еще более важно, что во всей истории с арестом и допросами Косарева и его приближенных ни разу не появляется имя Ежова — тогда еще наркома внутренних дел. Согласно одному источнику — показаниям бывшего работника НКВД,— Косарева даже обаиняли в преступном сговоре с Ежовым! [3]

К 1939 году Мишакова стала секретарем ЦК ВЛКСМ. Она выступила на XVIII съезде партии, рассказала о разоблачении «косаревской банды», превозносила справедливость Сталина. К этому времени Косарев, прошедший свирепые пытки в руках следователя НКВД Родоса, был уже расстрелян. Позднейшие исследователи рассматривают разгром косаревской группировки как устранение подлинных, хотя и сталинских, молодежных кадров. Им на смену должны были прийти абсолютно покорные исполнители, конформисты и противники всякого равенства из среды сынков новой бюрократии.

После разгрома комсомол возглавил Николай Михайлов, до того вообще не связанный с организацией, которому тогда было уже больше тридцати лет. На этой должности Михайлов пробыл до 1952 года, а затем его выдвинули а секретари ЦК партии. А во главе комсомола поставили Александра Шелепина, позже сделанного председателем КГБ, одно время вознесшегося к самой вершине партийной иерархии, а затем оттесненного в ВЦСПС. Что касается Михайлова, то он после смерти Сталина долго был на дипломатической работе, затем руководил Комитетом по делам печати и в 1970 году уволен на пенсию.

[1] «Правда» 14 ноября 1963 г., статья: «Выдающийся организатор молодежи: к 60-летию со дня рождения А. В. Косарева»; см. также «Александр Косарев». М., 1963, с. 111—112.

[2] XVIII съезд ВКП(б). Стенограф. отчет. М., 1939, с. 178 (выст. Шкирятова), с. 186 (выст. Поскребышева).

[3] Свидетельство лейтенанта НКВД А. Жигуява. См. Armstrong John A. «The Politics of Totalitarianism». New York, 1961, p. 75, bote 50.

Перевод с английского

Л. ВЛАДИМИРОВА

Продолжение следует

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКЦИИ

[1] Какой бы то ни было стилистический анализ письма Бухарина «Будущему поколению руководителей партии» представляется вообще неправомерным. Согласно утверждению вдовы Н. И. Бухарина, А. М. Лариной, письмо было заучено ею в 1938 г. наизусть. «...Я несколько раз записывала письмо, но, опасаясь, что оно будет обнаружено, вновь уничтожала. Лишь в 1956 году после XX съезда КПСС в очередной раз записанный текст уничтожен не был.» (Ларина А. М. Незабываемое. // Знамя. 1988. № 12. С. 168; там же см. текст «Письма» Бухарина.) Воспроизведение текста на память, через много лет, естественно, не могло не повлечь существенного искажения его стилистических особенностей. Вплоть до настоящего времени распространена точка зрения (по сведениям редакции, доказательно не опровергнутая и не подтвержденная, но, думается, ошибочная), что «Письма» Бухарина в действительности не существовало и А. М. Ларина сочинила его после XX съезда КПСС сама; апологеты такой гипотезы основывают ее единственно на утверждении, что текст «Письма» слишком точно соответствует официальным идеологическим установкам ЦК КПСС на 1961 год, когда текст «Письма» был передан А. М. Лариной в ЦК. А. И. Солженицын оценивает этот документ следующим образом: «Заученное наизусть и так сохранённое, оно („Письмо к будущему ЦК" — *Ред.*) недавно стало известно всему миру. Однако не сотрясло его. (Как и „будущее ЦК". А чего стоит адрес! — ЦК, выше нет морального авторитета.) Ибо что решил этот острый блестящий теоретик донести до потомства в своих последних словах? Еще один вопль восстановить его в партии (дорогим позором заплатил он за эту преданность!). И еще одно заверение, что „полностью одобряет" всё происшедшее до 1937 года включительно. А значит — не только все предыдущие глумливые процессы, но и — все зловонные потоки нашей великой тюремной канализации! / Так он расписался, что достоин нырнуть в них же...» («Архипелаг ГУЛаг», ч. 1, гл. 10).

[2] В настоящее время вдова Н. И. Бухарина, А. М. Ларина, проживает в г. Москве.

[3] Издательская ошибка или опечатка: в действительности указанное произведение упоминается в гл. 11.

[4] Общепринята иная транслитерация: Вера Костшева (псевдоним, наст. имя Мария Кошутская) (1876—1939); член ЦК и Политбюро компартии Польши (1918—1930 [с перерывом]), делегат 4—6 конгрессов Коминтерна; в СССР жила с 1930 г.

[5] Например, «Краткая литературная энциклопедия», М., т. 8, 1975 и БСЭ; М., т. 30, 1978 приводят дату смерти Бруно Ясенского 20 октября 1941 г.; новейший источник — «Советский энциклопедический словарь», 4-е изд., М., 1989 датирует смерть Б. Ясенского 1938 годом.

[6] В более ранних библиографических ссылках (опущенных в настоящей публикации) указан иной год выхода этой книги — 1959; кроме того, в некоторых случаях приводится и другое заглавие — «The Prophet Outcast». Истинных выходных данных книги редакции установить не удалось.

[7] Исследователи сталинской эпохи в подавляющем большинстве высказывались в связи с убийством Л. Троцкого иначе. Так, например, Б. Суварин писал: «В этих средневековых процессах Троцкий играет роль дьявола» (Souvarine B. Cauchemar en URSS. Paris, 1937, p. 156. Перевод с французского В. Чаликовой). «Мысль, что фигура Дьявола необходима для тоталитарной идеологии, усвоена Оруэллом задолго до [написания романа] „1984". Через три дня после убийства Троцкого он записал в своем дневнике: „Как же в России будут теперь без Троцкого?.. Наверное, им придется придумать ему замену" (The Collected essays, journalism and letters of George Orwell. London, vol. II, 1968, p. 368)» [Чаликова В. Комментарии. // Оруэлл Д. «1984» и эссе разных лет. М., 1989. С. 360.]

[8] Р. И. Пименов сообщает редакции «Невы» (1989 г.): «Очень интересен и насыщен рассказ об убийстве Троцкого ⟨...⟩ но есть неточность. Конквест пишет: „Позже Эйтингон, по-видимому, был расстрелян за свои связи с Берией". Я был лично с ним знаком в 1963 г. на прогулочном дворике владимирской тюрьмы. К тому времени он был уже не полковником, а бывшим генерал-полковником, начальником IV (иностранного) отдела МГБ. Арестован в сентябре 1953 г. вместе с Меркуловым, приговорен к 15 годам заключения, освобожден вскоре после снятия Хрущева, вместе с другим чекистом, Судоплатовым. Надо заметить, что знал я его фамилию в написании „Этингон". Впрочем, это тоже не его настоящая фамилия. ⟨...⟩ Этингон держался барственно, нужды в деньгах не испытывал, и, судя по всему, внуки его не будут испытывать. Рассказывать ничего не рассказывал, но если я (или позже П. Якир в 1968—1970 гг.) угадывал истину, то он важно помавал главою и иногда благоволил чуть-чуть добавить. В частности, я узнал, что Меркулов до 1953 г. каждый год подавал на помилование, ему отказывали; а после 1953 г., наоборот, он подает заявление за заявлением с просьбой оставить его в тюрьме пожизненно: убьют-де за воротами, некуда ехать...»

ПОЛИТИЧЕСКИЙ
КЛУБ
«АЛЬТЕРНАТИВА»

Юрий
ПЕТРОВ,
профессор ЛГУ,
доктор физ.-мат. наук

БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ

1

К настоящему времени упадок нашей экономики стал очевиден. Неуклонно растущие цены, опустевшие прилавки магазинов, трудности с транспортом — это видят все. Гораздо сложней ответить на вопрос — в чем главная причина? Работаем не менее интенсивно, чем и пять, и двадцать лет назад. Почему же двадцать лет назад государство развивалось и шло вперед, рос уровень жизни, а сейчас все пришло в упадок, и стало очевидным наше отставание от всех развитых стран мира?

Однозначный ответ на этот вопрос вряд ли возможен — слишком много причин кризиса нашей социально-экономической системы. И все же среди них следует выделить основную, важнейшую; если не понять и не устранить эту причину, то никакая перестройка, никакие реформы не помогут, и неизбежного краха и развала государства не предотвратить. Важнейшая и основная причина упадка нашей экономики — огромные и тщательно скрываемые от населения цифры военных расходов.

До 1989 года официально заявлялось, что сумма наших военных расходов составляет 20,2 миллиарда рублей. В 1989 году было объявлено — они равны 77,3 миллиарда рублей. Так ли?! Соединенные Штаты Америки имели в 1989 году военные расходы в размере 296 миллиардов долларов. Наше правительство заявило, что СССР и США имеют примерный военный паритет. Американцы, правда, утверждают, что военный потенциал СССР выше, чем у США. Предположим, они преувеличивают — мы играем на равных. Тогда вопрос: как, каким образом 77 миллиардов «военных» рублей позволяют нам сохранять паритет со страной, расходующей на оборону 296 миллиардов долларов? Очевидно — никак. Очевидно, истинные военные расходы СССР составляют примерно и ориентировочно около 300 миллиардов рублей в год. (Неясно, правда, каких: «деревянных», «инвалютных»?) Попробуем разобраться.

Иногда говорят — мы можем поддерживать военное равновесие с США при меньших военных расходах потому, что наша армия дешевле, поскольку наш офицер и солдат получают много меньше американского. Но это, мягко говоря, не довод. В современной армии оплата личного состава составляет мизерную долю общих военных затрат — подавляющая их часть идет на создание и содержание очень дорогостоящей военной техники. В нашей армии примерно 3 миллиона солдат. Если бы им платили каждому по 250 руб. в месяц, это увеличило бы наши военные расходы всего на 9 миллиардов рублей, или примерно на 3 %. Если же учесть, что хорошо оплачиваемый солдат будет более бережно относиться к военной технике, то общие военные затраты не только не увеличатся, но уменьшатся. Это, кстати сказать, основной довод в пользу профессиональной, наемной, оплачиваемой армии. Слишком дорога сейчас военная техника. Один современный танк стоит 3,2 миллиона долларов[1], у нас же их 63 тысячи 900[2]. (Это, между прочим, больше, чем во всех остальных странах мира вместе взятых.) Обошлись эти танки нашему народу примерно в 200 миллиардов рублей, или примерно в 700 рублей на душу населения, от старика до младенца. А ведь затраты на них составляют лишь небольшую долю общих военных затрат. Каждый подводный атомный ракетоносец стоит более миллиарда долларов. В ВМФ СССР к 1981 году их было 62 единицы (в американском флоте — 41)[3]. Я уж не говорю о стоимости межконтинентальных баллистических ракет, которых у нас в 1988 году было 1396 штук (у США — 1054), боевых самолетов, вертолетов и т. п.

Иногда говорят — наша боевая техника обходится нам дешевле, чем США, поскольку наш рабочий получает куда как меньше американского. Это — верно, но и производительность труда нашего рабочего значительно ниже. В результате зарплата на единицу военной техники примерно одинакова, и у нас, и в США, здесь тоже «паритет».

Все это означает, что если США тратит на военные нужды 296 миллиардов долларов, то и наша страна «отстегивает» примерно столько же — около 300 миллиардов рублей. Страшная для нас сумма!

Известно, что зарплата всех рабочих и служащих в СССР составила в 1988 году 305 миллиардов рублей; стало быть, каждый рабочий и служащий СССР

[1] Сборник «Откуда исходит угроза миру?». Воениздат, 1982.
[2] Аргументы и факты, 1989, № 51.
[3] Сборник «Откуда исходит угроза миру?». Воениздат 1982.

«отдал» на военные нужды сумму, примерно равную своей зарплате, а фактически — даже больше, поскольку из зарплаты мы платим еще подоходный налог, а главное — налог с оборота. Реальное личное потребление всего населения с учетом налога с оборота вряд ли больше 200 миллиардов рублей. Если бы военные расходы удалось существенно сократить, зарплата каждого рабочего и служащего более чем удвоится. Вот что такое наши лодки, танки, ракеты и прочее, прочее, прочее...

2

Все произведенное в стране за год называется валовым национальным продуктом (ВНП). В 1988 году ВНП США составил 4683 миллиарда долларов, СССР — 866 миллиардов рублей [1]. Из валового национального продукта прежде всего берутся амортизационные отчисления, идущие на возмещение изнашиваемых средств производства. Действительно, за год инструменты, станки, здания изнашиваются. Их нужно, во-первых, ремонтировать, во-вторых, предусматривать отчисления на полное возобновление, когда истечет плановый срок их работы. На амортизацию в нормальных условиях должно уходить примерно две трети валового продукта. Оставшаяся треть тратится на личное потребление, военные расходы и новое строительство. Так, США в 1988 году выделили на амортизацию 66 % ВНП, на личное потребление — 23 %, на военные расходы — 6,1 % (вышеназванные 296 миллиардов долларов), на новое строительство — 5 %.

Если бы мы тратили свой валовой продукт в тех же пропорциях, что и США, то на амортизацию пошло бы 570 миллиардов рублей в год, а на военные нужды лишь 53 миллиарда, что и составит 6,1 % от 866 миллиардов рублей. Поскольку на самом деле траты на военные нужды почти на 250 миллиардов больше, то ясно, что нам приходится залезать прежде всего в фонд личного потребления, а потом, что самое страшное — в амортизационный фонд... Страшное заключается в том, что в амортизационный фонд можно залезать долго, этот «заем» не сказывается сразу, но спустя несколько лет наступает неизбежная расплата.

Предположим, что нормальный срок службы станка — пятнадцать лет. Это означает, что каждый год нужно откладывать в амортизационный фонд одну пятнадцатую долю стоимости станка. Тогда при сохранении баланса цен через пятнадцать лет можно спокойно купить новый. Что же произойдет, если отчисления в амортизационный фонд из года в год урезать и передавать на военные нужды? Сначала — почти ничего. Но через пятнадцать—двадцать лет станок заменить будет нечем. Он и потом какое-то время будет работать, только с каждым годом все хуже и хуже, неумолимо снижая свою производительность и, наконец,— сломается. Вот она — страшная, но неизбежная расплата. Нечто подобное и произошло с нашим народным хозяйством.

В 1970—1975 годах мы начали безмерно наращивать военные расходы и залезать в амортизационный фонд. Сперва это происходило безнаказанно. Но к 1985 году пришла расплата, пришло время платить по векселям. Изношенные станки и машины стали выходить из строя. Производительность труда упала. Количество произведенных товаров уменьшилось. Полки магазинов опустели. Наступил тотальный дефицит. И справиться с этим дефицитом трудно, потому что он следствие целых десятилетий той ненормальной жизни, когда мы тратили на военные нужды гораздо больше, чем это было допустимо, проедали амортизационные фонды — наше будущее.

3

Заимствование из амортизационных фондов опасно еще и тем, что оно производится в тайне от народа, без контроля Верховного Совета, простым распоряжением министра. Как это делается?

Известно, что и до сего дня наши предприятия не распоряжаются полностью своими амортизационными средствами, их перераспределяют министерства. Считается, что министру виднее, кому и куда в первую очередь направить деньги. Но это создает почву для тайного перераспределения денег в пользу военно-промышленного комплекса. Вот один из возможных каналов такого перераспределения: как известно, многие наши министерства (министерство судостроительной промышленности, министерство среднего машиностроения, министерства приборостроения, связи и пр.) выпускают одновременно как военную, так и гражданскую продукцию. Кто может помешать министерству перераспределять доход предприятий, выпускающих гражданскую продукцию, в пользу предприятий военных? Никто. Это может делаться самыми различными способами, да еще под благородным лозунгом — «обороны страны прежде всего».

Еще один путь — манипулирование с ценами: занижение цен на военную продукцию, завышение цен — на гражданскую. Проконтролировать пути перекачки средств в безразмерный карман ВПК практически невозможно. В результате создается положение, когда никто в стране — вплоть до председателя Совета Министров,— не знает точно, сколько же денег действительно идет у нас на военные нужды. Единственным, хотя и весьма слабым утешением для наших руководителей может быть лишь надежда на то, что мы надежно скрыли свою «военную тайну» от агентов ЦРУ, Скотланд Ярда и прочих разведок мира. И только лишь благодаря этой не поддающейся рассекречиванию тайне заместитель председателя Совета Министров Л. Абалкин на сессии Верховного Совета клятвенно уверяет депутатов, что из военные нужды в 1989 году было истрачено 77,3 миллиарда руб.— «и ни копейки больше». Я верю его искренности, верю, что он честно повторяет цифру, которую подготовил ему аппарат. Верю даже, что он пытался проверить и перепроверить эту цифру, но может ли один человек или даже группа лиц разобраться во всех многочисленных хитросплетениях нашего аппарата, да еще в условиях произвольных цен, назначаемых «волевым» порядком?

В результате создается положение, когда хорошие планы и замыслы Совета Министров обречены на провал. Составляется, допустим, конструктивный план подъема экономики, но в одном из параграфов этого плана черным по белому написано: военные расходы — 77,3 миллиарда рублей. Если бы они действительно были бы равны этой цифре, то план, возможно, был бы выполнен. Но если сверх рассчитанного плана тайно тратится на военные расходы еще около 230 миллиардов рублей, любой самый конструктивный и продуманный план обречен на провал, который тотчас «аукнется» пустыми прилавками, инфляцией, дефицитом.

Изъятия из амортизационных фондов разрушают промышленность. В стремлении предотвратить неизбежное падение производства правительство начинает искать деньги всюду, где только это возможно. Начинает экономить на медицине — появляются больницы, в которых больные лежат не в палатах, а в коридорах. Начинают экономить на школе — падает качество обучения и воспитания, экономят на науке — и она приходит в упадок. А ведь от здоровья населения, от его культуры и образованности зависит в конечном счете оборонный потенциал страны.

Конечно, оборона страны — дело святое. Если бы непомерные военные расходы, несметное количество танков и самолетов действительно увеличивали бы безопасность страны, то на любые расходы можно было бы пойти. Но мы видим, что чрезмерные военные расходы обескровили народное хозяйство, науку и культуру, в конечном счете не укрепили, а снизили безопасность нашего народа.

Разумеется, военные расходы являются не единственной причиной упадка нашей экономики. Как известно, в 1989 году 20,6 миллиардов рублей было истрачено на «помощь» так называемым «прогрессивным» или «социалистически-ориентированным» режимам в развивающихся странах. Более 10 миллиардов рублей истратил Минводхоз на «мелиорацию», отдача от которой крайне мала. Эти расходы можно и нужно сокращать, но они малы по сравнению с тремя сотнями миллиардов рублей, которые каждый год идут на военные нужды.

Если мы сократим — и существенно — эти расходы, то сможем перейти к рыночной экономике без снижения уровня жизни населения, а затем — через два-три года сможем быстро поднять благосостояние нашего народа. Если же мы их не сократим, то по-прежнему будем залезать в амортизационный фонд; наша промышленность и сельское хозяйство будут приходить все в больший упадок, и тогда крах и развал нашего государства станет неизбежным.

4

Могут сказать, что сокращение военных расходов, а также конверсия оборонной промышленности уже проводится. Верно, но давайте посмотрим, в каких размерах. Ведь по бюджету, утвержденному Верховным Советом, в 1990 году предполагается сократить военные расходы на 7,2 миллиарда рублей по сравнению с 1989 годом, а это означает сокращение реальных расходов примерно на 2,4 %. Это — не сокращение, это — самообман. Отметим также, что Верховный Совет по известной уже нам причине не мог ни проконтролировать, ни проанализировать истинного размера военных расходов. В 1989 году он утвердил их в размере 77,3 миллиарда рублей. Но, как мы знаем, эти цифры весьма далеки от реальных, следовательно, основная масса военных расходов — примерно 230 миллиардов рублей — идет в обход Верховного Совета.

Можно совершенно однозначно утверждать, что перестройка экономики не будет успешной, пока у нее гирями на ногах лежат сотни миллиардов тайно изымаемых народных рублей. Прекратить это изъятие может только Верховный Совет, но при условии, что он тщательно проверит расходы каждого министерства. Однако для этого нам нужен и другой Верховный Совет и другой Совмин.

Отметим еще, что тайное изъятие сотен миллиардов рублей имеет не только экономическое, но и политическое значение. Оно разжигает национальную рознь, провоцирует раздробление Союза. Ведь большинство военных заводов расположены на территории РСФСР. Граждане остальных республик видят, что продукция с их

[1] Правительственный вестник, 1989, № 23.

территории эшелонами идет в Россию и исчезает там, как в черной дыре. Им кажется, что Россия обирает, объедает, эксплуатирует их — а это провоцирует жесточайшую национальную рознь. Граждане национальных республик не знают (опять же из-за завесы секретности), что произведенная ими продукция не присваивается жителями России, а идет на военные нужды, что рабочие России вносят на эти нужды не меньший вклад, чем рабочие остальных республик. Поэтому граждане России живут часто не богаче, а беднее, чем в других республиках. Но ни в Прибалтике, ни в Закавказье в большинстве своем люди этого не знают. Они видят то, что лежит на поверхности — их продукция идет в Россию неизвестным для них назначением, и это провоцирует национальную рознь.

5

Приведенные мною цифры — примерно 300 миллиардов рублей в год, или примерно 250 рублей в месяц, вносимых каждым рабочим и служащим Советского Союза — основаны на косвенных данных. Заинтересованные ведомства могут привести совсем другие цифры, а истинной, беспристрастной статистики у нас в стране еще нет. Поэтому первое, что надо сделать,— это получить точную сумму истинных сегодняшних военных расходов.

Второе, что нужно сделать,— это оценить, какую долю своего валового продукта мы можем истратить на производство вооружений, не обескровливая свою экономику, здоровье и культуру, не снижая тем самым и свой истинный оборонный потенциал. Известно, что Япония тратит на военные нужды 1 % своего валового продукта, Франция и ФРГ — по 2—4 %, а Соединенные Штаты Америки — 6,1 %, причем такой процент даже для богатой Америки оказывается очень тяжелым, подрывает ее экономику, снижает конкурентноспособность США по сравнению с ФРГ и Японией. Все это хорошо известно.

Очевидно, предельный размер отчислений на военные расходы, который еще можно более или менее выдержать,— это не те примерно 30 %, которые мы тратим сегодня, а не более 5 % валового продукта. Если этот продукт у нас равен 866 миллиардов рублей, то мы имеем право тратить на армию и вооружения не более 44 миллиардов рублей. Все то, что мы тратим выше этого предела (а мы тратим больше разумного предела очень много, примерно 250 миллиардов рублей каждый год), является расходами ошибочными, расходами, которые не только не увеличивают военную безопасность нашего народа, но и подрывают ее. Эти расходы надо быстро и решительно сократить.

В прошлом году Верховный Совет походил на мельника из басни Крылова, который гонялся за курицей, пьющей воду из запруды в то самое время, когда вода размывала его плотину. С великим трудом наскреб Верховный Совет семь миллиардов рублей на пенсии низкооплачиваемых. Самыми непопулярными методами, за счет замораживания зарплаты, он пытался хотя бы частично сократить стомиллиардный дефицит бюджета, и в то же время не заметил, что примерно 230 миллиардов рублей каждый год изымаются в тайне от него.

6

В заключение несколько слов о конверсии. Перевод военной промышленности на выпуск мирной, полезной для народа продукции должен проводиться решительно и быстро, поскольку у нас нет в запасе времени. Многолетние тайные изъятия из амортизационных фондов привели наше народное хозяйство на самый край развала и гибели. Медлить нельзя. Можно ли провести конверсию быстро, за один-два года? Трудно, столь же трудно, как и ломку всей нашей античеловечной военно-политической системы, но столь же насущно необходимо.

Не снизит ли конверсия военной промышленности уровень нашей безопасности? Нет, он не снизится, даже при самом решительном сокращении выпуска сегодняшней, сверхдорогостоящей военной техники. На ближайшие годы не просматривается никакой военной угрозы нашей стране. Конечно, мы должны думать не только о ближайшем будущем, но и о последующих десятилетиях, которые менее предсказуемы. В последующие десятилетия может, в принципе, возникнуть и военная угроза. Но к этому времени сегодняшняя военная техника и сегодняшняя военная промышленность все равно безнадежно устареют.

К сожалению, и в конверсии, едва начав ее, мы уже успели наделать ошибок. В ряде мест вместо того, чтобы решительно сократить выпуск серийной и быстро устаревающей военной техники, стали в первую очередь сокращать научные исследования и разработки. Таких ошибок, конечно, следует избегать. Для того, чтобы спокойно встречать будущее, мы должны сохранять и развивать науку — в том числе и военную. Опираясь на науку и на возрожденную промышленность, мы сможем быстро укрепить свой военный потенциал, если изменившаяся внешняя обстановка этого потребует.

Александр
ЯНОВ

РУССКАЯ ИДЕЯ и 2000-й ГОД

«МОЛОДОГВАРДЕЙСТВО» — НАЧАЛО «ИСТЕБЛИШМЕНТАРНОЙ ПРАВОЙ»

Дэнлоп, может быть, и прав, когда пишет: «Дебаты в среде современного славянофильства... могут быть решающими для определения будущей формы русского общества и государства». Прав он, вероятно, и когда говорит: «ВСХСОН встретился с „Вече". Их встреча несет в себе неожиданные плоды». Мне бы только хотелось добавить, что не стоит, наверное, упускать из виду, что споры вокруг современного славянофильства происходили отнюдь не только в подпольном самиздате, но и в легальной печати — в журналах и газетах с миллионными тиражами. Споры эти были по временам не менее бурными, чем в самиздате. И влияние их на мыслящую молодежь могло быть поэтому никак не меньшим, чем влияние ВСХСОНа или «Вече».

Дело еще и в том, что *прежде* чем ВСХСОН встретился с «Вече», он встретился с феноменом «молодогвардейства». Встреча эта несла в себе еще более неожиданные плоды. Во всяком случае, историк русского национализма не может их игнорировать.

Первые — и наиболее значительные — выступления журнала «Молодая гвардия», знаменовавшие начало «истеблишментарной правой», произошли как раз во время суда над членами ВСХСОН. Я имею в виду статью Михаила Лобанова «Просвещенное мещанство» (апрель 1968 г.), за которой последовала в сентябре статья Виктора Чалмаева «Неизбежность».

«Просвещенное мещанство»

Сказать, что появление статьи Лобанова в легальной прессе, да еще во влиятельной и популярной «Молодой гвардии», было явлением удивительным, значит, сказать очень мало. Оно было явлением потрясающим. Злость, яд и гнев, которые советская пресса обычно изливает на «империализм» или подобные ему «внешние» сюжеты, на этот раз были направлены, так сказать, внутрь. Лобанов неожиданно обнаружил червоточину в самом сердце первого в мире социалистического государства, причем в разгар его триумфального перехода к коммунизму. Обнаружил в нем язву, ничуть не менее страшную, чем империализм. В действительности — куда более страшную. Язва эта состоит, оказывается, в «духовном вырождении „образованного" человека, в гниении в нем всего человеческого». И речь идет вовсе не о явлении психологическом, частном, но о явлении массовом, *социальном*, о «зараженной мещанством... сплошь дипломированной массе», о «разливе так называемой образованности», которая «как короед... подтачивает здоровый ствол нации», которая «визгливо-активна в отрицании» и представляет собою поэтому «разлагающую угрозу» самим основам национальной культуры.

Короче говоря, не предусмотренный классиками марксизма, не замеченный идеологами режима, в социалистической стране уже сложился социальный слой «образованного мещанства», представляющий собой врага № 1. Таково фундаментальное социологическое открытие Лобанова.

И он клеймит врага нации со всей доступной официальному публицисту страстью. Истинная культура, по Лобанову, не от образования, а от «национальных истоков», от «народной почвы». Это не образованное мещанство, а «задавленный необразованный народ порождал... непреходящие ценности культуры». Что касается мещанства, то у него «мини-язык, мини-мысль, мини-чувства — все мини». «И,— добавляет Лобанов торжественно,— Родина для них „мини"».

Разумеется, в лучших традициях сервильной публицистики Лобанов иллюстрирует свою мысль доносами. На живых и на мертвых. На расстрелянного Сталиным режиссера Мейерхольда. И на современного нерепрессированного режиссера Эфроса (по какой-то причине все иллюстрации Лобанова, все «разлагатели национального духа» носят недвусмысленные еврейские фамилии). Именно эти еврейские элементы, которые «примазываются к истории великого народа», играют роль своего рода фермента в «зараженной мещанством, дипломированной массе».

Пытаясь анализировать «открытие» Лобанова, нельзя, конечно, упускать из виду, что дело происходило в разгар Пражской весны, которая истолковывалась на верхах как результат захвата ключевых позиций в массовых коммуникациях Чехословакии еврейскими интеллигентами. Нельзя забывать также, что еще не утихла тогда «подписантская» кампания в СССР, в ходе которой сотни московских интеллигентов (в значительной части евреев) ставили свои имена под

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1990, № 9.

протестами против ресталинизации, против процессов над Синявским и Даниэлем и над Гинзбургом. С этой точки зрения, неожиданное социологическое озарение Лобанова как будто бы объяснимо. Режим внезапно увидел для себя острую угрозу в образованных слоях населения. И публицист режима формулирует эту угрозу, пытаясь обеспечить своим боссам поддержку молодежи.

Но вот что бросается в глаза: сама защита режима выглядит у Лобанова необычайно странно. Он не апеллирует к Марксу или к «пролетарскому интернационализму». Наоборот, апеллирует он исключительно к «национальному духу» и к «русской почве». Вот почему выглядит статья Лобанова не клишированным отпором марксистского начетчика, а криком боли русского человека, до смерти перепуганного тем, что происходит в *его* стране, с *его* нацией. Более того, в ней содержится даже косвенное обвинение режиму, который не только допустил формирование в стране такого зловещего социального феномена, как «просвещенное мещанство», но и довел дело до столь опасной точки, когда, как в отчаянии восклицает Лобанов, «„мини“ торжествует!». На эзоповом языке, которым пользуется Лобанов, это означает, что боссы ослепли. Они не видят, что «мини» существует у нас не само по себе, но лишь как своего рода лобби «буржуазного духа», завоевавшего Европу и теперь идущего на штурм России. И вот тут начинается самое интересное: когда Лобанову приходится отвечать на вопрос, в чем сила и привлекательность буржуазного «мини» для молодежи, он отвечает откровенно. «Нет более лютого врага для народа, чем *искус буржуазного благополучия*». И затем восклицает (ссылаясь на Герцена): «Буржуазная Россия? Да минует Россию это проклятие!» «Американизм духа» — вот что завоевывает Россию. И не только при помощи соблазнительного «мини» с изысканными манерами и нерусскими фамилиями, но и при помощи «искуса буржуазного благополучия» (читай, установки на «материальное поощрение трудящихся», то есть фундаментального положения постсталинской пропаганды).

Иначе говоря, советские вожди своей ориентацией на «материальное благополучие», своим обещанием коммунизма как физической и духовной «сытости» сами поощряют завоевание России буржуазным духом. Они флиртуют с Америкой. Они думают, что межконтинентальные ракеты защитят их от смертельной угрозы, исходящей из этой страны. Не защитят,— внушает им Лобанов. Ибо действительная угроза не в американских ракетах, а *в буржуазности* «американского духа». И суть этой буржуазности вовсе не в «эксплуатации человека человеком», а в сытости. В этом — второе «открытие» Лобанова. «Духовная сытость — вот психологическая основа буржуа». Но это — психологическая. А социальная основа буржуазности, разумеется,— сытость материальная, «бытие в пределах желудочных радостей». Против этих «желудочных радостей», против «брюха» Лобанов произносит, ссылаясь на Гюго и на Гоголя, страстные филиппики, посвящая им чуть ли не целую журяальную страницу.

Но если действительяая угроза не в ракетах, а в «сытости», тогда закономерным выглядит третье — и важнейшее — «открытие» Лобанова: *американизации* духа в силах противостоять только *русификация* духа.

Здесь начинается, так сказать, «позитивная секция» программы Лобанова. И здесь происходит его неизбежнаи встреча с программой ВСХСОНа. Точно так же, как ВСХСОН, исходит он из того, что «причина ...опасного напряжения в мире лежит гораздо глубже экономической и политической сфер», то есть в «духовной борьбе за личность». Иными словами, Лобанов тоже переносит центр мировой драмы из сферы борьбы социализма и капитализма в метафизическую сферу противостояния «духов». И точно так же предсказывает он, что в грядущем смертельном конфликте «рано или поздно столкнутся между собой эти две непримиримые силы», названные им «нравственная самобытность и американизм духа». (Впрочем, «американизм духа» вполне соответствует «сатанократии» ВСХСОНа.) Интересно не то, что лобановская «нравственная самобытность» вовсе не похожа на «теократию» (в отличие от ВСХСОНа, Лобанов верит в потенции советского режима), а то, что единственную альтернативу гибели мира он усматривает так же, как ВСХСОН, в «русском пути».

Разумеется, положение обязывает (цензура тоже). Лобановские позитивные рекомендации не идут дальше предложения режиму искать социальную опору, референтную группу что ли, не в «образованном мещанстве», а *в простом русском человеке*, в мужике, не испорченном ни сытостью, ни образованием, самобытном и в силу своей самобытности не поддающемся соблазнам мирового Зла. «Такие люди,— с болью и назиданием заканчивает свою статью Лобанов,— спасали Россию. И не в них ли — воплощение исторического и морального потенциала народа? И не здесь ли наша вера и надежда?»

Таким образом, можно констатировать, что «позитивная секция» программы Лобанова, если расшифровать его иносказательную риторику и истерическую декламацию, сводится к следующим двум главным положениям.

1. Русифицировать социальную ориентацию режима. Опора на образоаанные слои, на дипломироаанную массу олицетворяет гибельный западный путь, ведущий к обуржуазиванию России. Отсюда логически следовало, что ориентация режима на расширение сети высшего образования противоречит «русскому духу» и ведет лишь к углублению кризиса[1].

2. Русифицировать официальную стратегию режима. (Не благосостояние, ведущее неизбежно к «американизации духа», а духовная русификация обещает спасение России.)

«Неизбежность»

Лобанов говорил все больше о национальном духе и его разлагателях. Но объективные выводы, которые следовали из его статьи, были тем не менее настолько откровенно социально-политическими, что ошеломленное общество буквально оцепенело. Выводы эти до такой степени противоречили всем основным установкам режима и интересам значительной части истеблишмента, что практически дискуссия по ним в легальной печати была невозможна. Даже на кухнях говорили об этой статье в основном шепотом. Это оцепенелое молчание воодушевило «Молодую гвардию» на новый подвиг. И если статья В. Чалмаева была встречена бурей возмущенных голосов, то не потому, что она была менее дерзкой, а потому, что казалась менее актуальной. Потому что спор о ней можно было изобразить как спор об истории, а не об изменении социальной и политической стратегии существующего режима. На самом деле Чалмаев создавал историческое обоснование для лобановской концепции русификации духа. Его задачн была убедить молодежь в исторической неизбежности глобальной схватки наступающей «американизации» с единственной в мире силой, способной ей противостоять — с Россией.

Тональность статьи Чалмаева — та же, лобановская. Только его видение грядущей схватки еще апокалипсичней. Он тоже рассказывает жуткие истории «о гибели многих чудес человеческой цивилизации в буржуазном мире». Он тоже, призвав на помощь И. Бунина, объявляет, что «Америка есть первая страна... которая, будучи просвещенной, живет без идей». И тоже проклинает «вульгарную сытость» и «материальное благоденствие». Но когда Чалмаев с восторгом заговорил о вожде русского национализма семнадцатого века протопопе Аввакуме как о «русском глашатае Христова, не униженного никем слова», когда он заговорил о «текучести русского народного духа, опережающего нередко в своем развитии внешние формы бытия народного» и, словно бы этого еще недостаточно, добавил, что «официальная власть», «каноны государства» «никак не исчерпывают России» — это, согласитесь, должно было переполнить чашу терпении официальной власти. Ибо неясно было, не утек ли уже «текучий русский дух» из тех «внешних форм», из которых утекать ему в данный момент не рекомендовалось. Не «опередил ли он в своем развитии» и сегодняшнюю «официальную власть» с ее «канонами».

Чалмаев был атакован — и жестоко. «Каноны государства», представляемые могущественной кликой марксистских жрецов, дали понять «народному духу» (в лице Чалмаева), что они пока еще крепко сидят в своих креслах и никакому «слову Христову», пусть даже русскому, кресел этих уступать не намерены. И это было как бы официальным объявлением войны между каноническим марксизмом и «истеблишментарной правой», войны не на жизнь, а на смерть. Финал этой войны и сейчас далеко не ясен. (Здесь я расскажу лишь о некоторых уже отгремевших битвах.)

В самом деле, задача Чалмаева противоречила всем марксистским канонам. Русская история была для него по сути историей развития и созревания «национального духа», подготовкой его для последнего решительного боя с «американизмом», для нового, только более грандиозного Сталинграда, где «русскому духу» предстоит окончательная победа над дьяволом буржуазности.

Поэтому для Чалмаева не существует пропасти между Россией советской и царской. Для него не революции и не реформы — вехи истории, а битвы, в которых мужал и зрел русский дух. От Чудского озера, где князь Александр разбил немцев, до Куликова поля, где князь Димитрий разбил татар; от Полтавы, где Петр Первый разбил шведов, до Бородина, где Александр Первый разбил французов; от Сталинграда, где Сталин разбил немцев, до... до неведомого еще грядущего Сталинграда. И с этой точки зрения сама Октябрьская революция была лишь очередной ступенью созревания русского духа, а вовсе не эпохальной датой рождения социализма. С этой точки зрения деятельность Ивана Грозного или какого-нибудь патриарха Гермогена точно так жв

[1] Как ни странно, похоже, что режим политической стагнации, господствовавший в стране на протяжении двух десятилетий, действительно внял совету молодогвардейцев. Если в начале 1960-х, при режиме реформы, 57 % выпускников средних школ имели возможность поступить в высшие учебные заведения, то уже десятилетие спустя возможность эту сохранили только 22 %.

важна, как деятельность Ленина. Все они одинаково вели «национальный дух» к очередным государственным подвигам. «Это истории народа,— поучает Чалмаев,— который то путем эволюции, то при помощи революционного взрыва шел от одних... форм государства и общественного сознания к другим, более прогрессивным».

И что еще важнее — это громадная роль церкви и православия как организующей и воспитательной силы в триумфальном шествии русского духа. Все, что на протяжении десятилетий зачеркивалось марксистской историографией как проклятое царское прошлое и опиум для народа, все, что страстно клеймилось как реакционное и отжившее, выходило теперь на первый план как дружная созидательная работа русских царей и русской церкви на благо России и ее коммунистической партии, неблагодарно забывшей своих предшественников.

Чалмаев говорит: «Современный молодой человек может, вероятно, быть удивлен тем обстоятельством, что в исторических романах последних лет такое большое место вновь... заняли цари, великие князья, а рядом с ними, но никак не ниже их патриархи и другие князья церкви, раскольники и пустынножители». И он разъясняет, что и «поэтичнейший» патриарх Никон, и «пустынножитель-патриот» Сергий, и «патриот-патриарх» Гермоген и так далее воплощали в себе «духовные силы» русской нации, ее «огненные порывы и мечты», из которых она «выплавляет... основу для государственных подвигов». «Великая страна не может жить без глубокого пафоса, без внутреннего энтузиазма, иначе ее захлестывает дряблость, оцепенение». А поскольку сам носитель русской истории, Народ, лишь «один раз в сто лет... выходит на Полтавскую битву или Сталинградское противостояние», то кто-то же должен в промежутках между великими битвами позаботиться о «глубоком пафосе» и «внутреннем энтузиазме». Интеллигенция, «просвещенное мещанством», на эту роль, как мы уже знаем, не подходит. Кто же и остается тогда, как не цари и реформаторы церкви? «Помимо временного, преходящего, есть и в усилиях Петра I, Ивана Грозного и в попытках реформаторов церкви видоизменить на благо родины византийскую идею отречения от мира как главного подвига человека, нечто великое, вдохновляющее и нашу мысль».

Как видим, между Октябрьской революцией и Иваном Грозным, между социализмом и реформаторами церкви действительно не оказывается пропасти, как полвека учили марксистские идеологи советскую молодежь. Теперь, в 1968 году, орган ЦК комсомола, внезапно сменивший добрый комсомольский пафос на мрачную церковную риторику, убеждает эту молодежь, что все они работали над одним и тем же. Но над чем же одним? Под какой общий знаменатель можно подвести Полтаву и Сталинград? Ленина и Ивана Грозного? Кто возьмется с легким сердцем причислить Петра Первого к строителям коммунизма, а Ленина — к пустынножителям?

И вот возникает грандиозное видение «византийской идеи». Это нвд нею, оказывается, работали совместно все титаны России, ее патриоты-пустынножители и ее патриоты-коммунисты. И теперь мы можем понять программную декларацию Чалмаева о том, что «мерой подлинной интеллектуальности и прогрессивности является в наши дни борьба с идеологическими противниками *нашей Родины*», что «осознание этого бескомпромиссного размежевания идеологий — историческая неизбежность нашего времени».

Согласно Лобанову, «идеология нашей Родины» — производное от «нравственной самобытности» русской нации. История помогла Чалмаеву сформулировать это производное. И это оказался «византизм», превращающий русскую историю в подготовительную школу для нового Сталинграда, помогающий вновь обрести тот «глубокий пафос» и «внутренний энтузиазм», без которого современную брежневскую Россию «захлестывает дряблость и оцепенение».

Чалмаевщина

Статьи Лобанова и Чалмаева, сопровождавшиеся в «Молодой гвардии» десятками стихотворений и повестей, посвященных все тому же возрожденному национальному духу, земле и почве, были открытым вызовом брежневскому режиму и его идеологам. И режим ответил на этот вызов — не только градом негодующих статей, но и рядом акций, предпринятых отделом пропаганды ЦК партии. И даже специальным заседанием Секретариата ЦК, посвященным «молодогвардейству». (Сам Брежнев, по слухам, пожаловался на этом заседании, что, когда бы он ни включил телевизор, он только и слышит, что колокольный звон, только и видит, что церковные купола. «В чем дело, товарищи! — спросил он.— В какое время мы живем? До революции или после нее?») Наконец, режим ответил снятием главного редактора журнала «Молодая гвардия» А. Никонова. Был пущен в оборот специальный термин «чалмаевщина», который и начали употреблять для идеологических проработок. Но...

Но ничего не переменилось. Гора родила мышь. Никонов, правда, словно в насмешку, был назначен главным редактором «космополитического» журнала «Вокруг света» — но в том же издательстве «Молодая гвардия», только этажом выше. На его месте оказался, в конечном счете, его бывший заместитель А. Иванов, еще более верный оруженосец Чалмаева. Терпение Брежнева по-прежнему испытывали колокольным звоном и церковными куполами. «Чалмаевщина» в поэзии и прозе продолжала царить в «Молодой гвардии». И начал выходить даже новый, «чалмаевского направления» журнал «Наш современник», главный редактор которого С. Викулов нисколько не скрывал своей ориентации. Более того, «Молодая гвардия» осмелилась контратакоаать своих оппонентов. А «Москва» и «Огонек» поддержали эту контратаку.

Происходило что-то абсолютно неслыханное. Беспрекословно послушная, десятилетиями работавшая без перебоев машина, на этот раз забуксовала. Отдел пропаганды ЦК оказался бессилен обеспечить выполнение решений Секретариата ЦК. Более того, все происхоило словно в каком-то кафкианском мире: отдел культуры того же ЦК нагло отрицал, что такое решение вообще имело место. Сурового возмездия не получилось. Вместо него возник дряблый, визгливый, затянувшийся на годы скандал между двумя отделами на самом верху. К чему это привело, мы увидим дальше. А сейчас — об одной маленькой, но колоритной детали.

Поражение марксиста

В хоре марксистских голосов, обрушившихся на «Молодую гвардию», оказался, в конце концов, и либеральный «Новый мир». Полтора десятилетия доблестно сражался он с ортодоксально-сталинистским «Октябрем». Но теперь... Поистине все смешалось в доме Облонских, когда на горизонте появилась черная туча русофильства. Вместо доброй старой вражды, привычной, как ежедневная газета, непримиримые, казалось, оппоненты очутились вдруг по одну сторону баррикады. Более того, заговорили почти одним и тем же языком. И это был язык дряхлой марксистской догматики. Александр Дементьев в необъятной статье обвинил «Молодую гвардию» в том, в чем ее, собственно, давно пора было обвинить. «В. Чалмаев говорит о России и Западе скорее языком славянофильского мессианизма, чем языком наших современников... Наша наука... трактует (эту проблему) прежде всего как борьбу мира социализма с миром капитализма... в основе современной борьбы „России“ и „Запада“ лежат не национальные различия, а социальные, классовые... (от статьи Чалмаева) один шаг... до идеи национальной исключительности и превосходства русской нации над всеми другими, до идеологии, которая несовместима с пролетарским интернационализмом... Смысл и цель жизни (по Чалмаеву) не в материальном, а в духовном... (что) является помехой на пути к материальному и духоаному развитию советского крестьянства».

Вся эта железобетонная фразеология звучала хотя и тривиально, но неуязвимо. Один только промах допустил Дементьев. Такой малый промах, что постороннему глазу его и не заметить. В огромной статье содержался маленький кусочек, которым Дементьев обрек себя — себя, а не Чалмаева, «Новый мир», а не «Молодую гвардию» — на заклание. «В. Чалмаев и М. Лобанов,— написал он,— указывают на опасность чуждых идеологических влияний. Устоим ли мы, например, перед искусом „буржуазного благополучия“?..» «В современной идейной борьбе соблазн „американизма“... нельзя преуменьшать»,— утверждает Чалмаев. Правильно. Однако и преувеличивать тоже не надо... Советское общество по самой своей... природе не предрасположено к буржуазным влияниям».

И все. И приговор был подписан. Не только Дементьеву, но и «Новому миру», который героически выстоял против бешеных атак всей сталинской сволочи, который печатал Солженицына и Синявского, который стоял, казалось, несокрушимо, как одинокий утес либерализма, среди бушующего океана реакции. И вот он пал. Пал — какова ирония! — не за Солженицына, не за Синявского, а за правоверную марксистскую статью, защищавшую чистоту идеологических риз партии. Дементьев и сам невольно напророчил этот печальный финал, заметив, что «опасно оказаться под рукой неистовых, не знающих удержу врагов „просвещенного мещанства“ и горячих ревнителей „национального духа“». Воистину, как выяснилось, опасно — даже для марксистоа.

Так не означает ли это, что именно здесь, выступив против «русской правой», затронул «Новый мир» самое чувствительное место режима (при тогдашнем балансе сил а нем)? И, пожалуй, яснее всего это видно из яростного коллективного письма одиннадцати писателей — среди которых были представители как ортодоксально-сталинистского направления, так и «русской правой»,— помещенного в «Огоньке» под названием «Против чего выступает „Ноаый мир“?»

Аргумент их прост и убийственен. «Вопреки усердным призывам А. Дементьева не преувеличивать „опасности чуждых идеологических влияний“, мы еще и еще раз утверждаем, что проникновение к нам буржуазной идеологии было и остается серьезнейшей опасностью... (и) может

привести к постепенной подмене понятий пролетарского интернационализма столь милыми сердцу некоторых критиков и литераторов, группирующихся вокруг „Нового мира", *космополитическими идеями*».

Зловещее слово «космополитизм» было произнесено. И человеку, знакомому с внутренней расстановкой идейных сил в советском истеблишменте, просто знающему, кто есть кто, это объясняет, на какой основе смогли объединиться такие представители ортодоксально-сталинистской правой, как М. Алексеев или В. Закруткин, с такими апологетами «новой русской правой», как А. Иванов или С. Викулов. Становится понятно также, почему «Новый мир» смог так долго держаться против «Октября». Потому что обе фракции «правой» были разъединены. Потому что русофилы до сих пор только радовались драке сталинистов и либералов, отвлекавшей внимание от их идейной экспансии. И только объединившись, почувствовали они свою настоящую силу. Это было первым — в постсталинскую эру — выступлением *объединенной* «истеблишментарной правой», своего рода историческим экспериментом, продемонстрировавшим ее необыкновенные политические потенции.[1]

Теперь дело, очевидно, было за тем, чтобы осторожно и тактично заполнить пропасть, разделявшую русофилов и сталинистов, превратив союз правых фракций из мимолетного тактического альянса в стабильную политическую силу, способную реально воздействовать на сами стратегические цели режима.

После яростных инвектив старой гвардии («Октября») против «молодогвардейства» такая операция казалась, в принципе, невозможной, «Октябрь» никогда не примирился бы с такой ересью, что основой и питательной почвой советского государства является не рабочий класс, а крестьянство. Или с тем, что «национальный дух», а не «пролетарский интернационализм» служит ему путеводной звездой. «Октябрь» не примирился бы. Но «Огонек», как видим, оказался сговорчивей. Ибо обнаружил, что лобановская «дипломированная масса» есть по сути лишь другое название для софроновских «безродных космополитов». Иными словами, у обеих фракций «истеблишментарной правой» оказался *один общий враг*.

Но тут как раз и был заложен коварный подводный камень. В самом деле, пока речь шла об общей борьбе с либеральной интеллигенцией, олицетворявшейся «Новым миром», она была сравнительно безопасна. Но ведь «дипломированная масса» включала в себя не только либералов. Значительная часть могущественной правящей фракции центра тоже была дипломированной, к тому же гораздо больше заинтересованной в контактах с Западом, чем либералы (не говоря уже о том, что ее «космополитизм», то есть реальные возможности для, так сказать, импорта «мирового зла» были несопоставимо шире).

Таким образом, сравнительно невинная коалиция против «Нового мира» должна была, если бы она стабилизировалась и развивалась, перерасти *в политическую оппозицию*, в оппозицию «космополитичности» самого брежневского режима, до мозга костей зараженного буржуазными идеями «сытости». Вот почему борьба против либерального «космополитизма» была логически связана с борьбой против правительственного, брежневского «космополитизма».

Я не берусь утверждать, что лидеры русофильства так ясно это себе представляли. Я хочу лишь отметить, что, когда «Молодая гвардия» выступила в 1970 году со своей третьей программной декларацией (со статьей С. Семанова «О ценностях относительных и вечных»), она сделала в ней как раз то, о чем мы сейчас говорили, а именно — смелый шаг навстречу «старой гвардии». Ошибка заключалась в том, что шаг этот был тактически безграмотным.

Ошибка «Молодой гвардии»

Конечно, «Молодой гвардии» и раньше не были чужды, так сказать, сентиментально-сталинистские мотивы. Тот же Дементьев заметил, например, беспрецедентность напечатанных в ней стихов Феликса Чуева о Сталине.[1] Но если стихи

---

[1] Мне кажется, что западным наблюдателям следовало бы учесть этот эпизод, обнаруживший с достаточной очевидностью, как эффективна может быть в определенных условиях коалиция правых фракций советского истеблишмента. И не только в борьбе с либерализмом. Ибо ясно, что этот истеблишментарный «либерализм» мог существовать лишь до тех пор, пока господствующей центристской фракции было удобно и политически безопасно его поддерживать. Поэтому можно было бы высказать осторожное предположение, что разгром старой редакции «Нового мира» действительно мог бы — при удачном стечении обстоятельств — послужить сигналом для новой космополитической кампании.

[1] В стихотворении, кстати, очень искреннем, говорилось о том, что настанет день, когда откроется в Москве Музей Отечественной войны, в котором:

Пусть, кто войдет, почувствует зависимость
От Родины, от русского всего.
Там посредине — наш Генералиссимус
И маршалы великие его.

Дементьев весьма ядовито заметил об этом: «Здесь уже сделана попытка соединить обра-

Чуева были зловещим, но все-таки эпизодом в эволюции «молодогвардейства» к сталинизму, то статья Семанова призвана была идейно обосновать эту эволюцию. Разумеется, и од «национальному духу», и песнопений «русской почве», и доносов на «просвещенное мещанство» в ней было не меньше, чем в статье Чалмаева. Октябрьская революция объявлялась русским национальным достоянием. Утверждалось, что в «нашем обществе превыше всего ценятся заслуги перед Родиной». Первым грехом троцкизма объявлялось «глубочайшее отвращение к нашему народу, его... традициям... его истории». Но главным было не это, а беспрецедентное утверждение, что «перелом в деле борьбы с разрушителями и нигилистами произошел в середине 30-х годов», что «именно после принятия нашей Конституции... все честные трудящиеся нашей страны отныне и навсегда оказались слитыми в единое и монолитное целое».

После хрущевских разоблачений на XX съезде эпоха, о которой говорит Семанов, «эпоха 1937 года», была предана проклятию и рекомендовалась к забвению. Даже согласно официальной историографии она знаменовала разгром партийных кадров. И вот теперь Семанов объявляет ее главной Революцией, положившей конец «разрушителям и нигилистам» и начало «монолитности нашего народа».

Это была поистине медвежья услуга сталинистам. Объявляя, что «эти перемены оказали самое благотворное влияние на развитие нашей культуры», Семанов, конечно, ревизовал решения XX съезда и пытался реабилитировать Сталина. Намерения его в этом смысле были, с точки зрения сталинистов,— наилучшими. Но исполнение было чудовищное. Одно дело, согласитесь, романтическая, так сказать, наполеоновская легенда о «нашем генералиссимусе», и совсем другое — открытое благословение эпохи массового убийства старой гвардии. Семанов напомнил как раз то, о чем рекомендовалось забыть. Одним ударом разрушил он все, что так удачно начал год назад «Огонек», положил конец альянсу. И тем самым дал в руки отделу пропаганды козырного туза. Не случайно как раз после статьи Семанова и состоялось заседание Секретариата ЦК, на котором жаловался на колокольный звон Брежнев и где был низложен Никонов.

На самом деле, именно статьей Семанова и обнаружили идеологи «истеблишментарной правой» всю глубину своего банкротства — свою неспособность выработать ни общую идейную платформу для коалиции правых сил, ни стратегию борьбы с «дипломированной массой» «космополитического» брежневского центра.

С точки зрения отдела пропаганды, ситуация теперь была предельно ясна. Если «Новый мир» допустил «ляп» (со статьей Дементьева), в результате которого пришлось пойти на полный разгром его старой редакции, то теперь аналогичный «ляп» сделала «Молодая гвардия». И пришло, казалось, время разгромить и ее редакцию. Это было логично. Это было в духе всего брежневского режима «стабилизации», равномерно наносящего удары налево и направо. И удар был нанесен. Журнал «Коммунист» дал долгожданный залп. Читатель должен знать, что журнал «Коммунист» никогда не повторяет сказанного дважды. Он не читает нотаций и не делает выговоров. Он произносит приговор — окончательный и обжалованию не подлежащий. Этот приговор гласил: «Статья В. Чалмаева „Неизбежность"... сразу обратила на себя внимание прежде всего, пожалуй, именно беспрецедентным... внесоциальным подходом к истории, смешением всего и вся в прошлом России, попыткой представить в положительном свете все реакционное, вплоть до высказываний даже таких архиреакционеров, как Константин Леонтьев». Эти строки звучали для Чалмаева, как погребальный колокол. Но дальше говорилось уже о «чалмаевщине». О том, что «подобного рода авторам, выступавшим преимущественно в журнале „Молодая гвардия", следовало бы прислушаться к тому рациональному, объективному, что содержалось в критике статьи „Неизбежность" и некоторых других, близких к ней по тенденции. К сожалению, этого не произошло. Более того, отдельные авторы пошли еще дальше в своих заблуждениях, забывая прямые ленинские указания по вопросам, о которых взялись судить».

Дальше — по всем правилам партийной инквизиции — писания «отдельных авторов» (в том числе, конечно, Семанова) — объединялись в «линию» журнала, и по поводу нее говорилось, что она «придаст журналу явно *ошибочный крен*».

Тысячу раз это было испробовано. И тысячу раз означало конец — шла ли речь о писателе, о редакции или об «антипартийной группировке». И вот в тысяча первый раз не сработало. Конца не получилось. Ни Чалмаеву. Ни редакции. Ни «ошибочному крену».

«Дело» Мелентьева

«Дело» это связано с «молодогвардейством». В отличие от «дел» Чалмаева, Дементьева или Семанова, я не могу под-

---

щение к „истокам" с мечтами о будущем». И действительно, то, что «родина» безоговорочно связана с «русским» (а не советским) — молодогвардейское. Но «наш Генералиссимус» в центре сцены — это уже из другой, «староогвардейской» оперы.

твердить его документально. Да, собственно, никаких документов и не могло существовать по природе самого дела. Одни разговоры. Впрочем, разговоры людей, непосредственно к нему причастных.

Ю. Мелентьев был директором издательства «Молодая гвардия», и одноименный журнал находился в его непосредственном подчинении. В самый разгар «молодогвардейской» кампании заведующий отделом культуры ЦК Василий Шауро взял его к себе «наверх». У Шауро Мелентьев занимался трудными переговорами с отделом пропаганды по поводу «чалмаевщины» и организацией разгрома «Нового мира». Когда наметились признаки сближения между обеими фракциями «правой», видимо, кто-то наверху решил, что настало время прощупать самого Хозяина. Для исполнения этого беспрецедентного поручения нужен был человек большой отваги и преданности «правому» делу. Он рисковал если не головой, то уж наверняка карьерой: в личных отношениях Брежнев неизменно демонстрировал безжалостную и мелочную мстительность.

Дело было поручено Мелентьеву, бывшему тогда на взлете карьеры и жизненного успеха. Он добился аудиенции у Хозяина и беседовал с ним час. Точнее, это была не беседа, а монолог. Брежнев только слушал. Мелентьев говорил о том, что настроения в кругах молодежи, военной и патриотической интеллигенции тревожные. Проникновение западной идеологии достигло опасных размеров. Оно уже отражается и на качестве рекрутов, и на моральном духе командного состава армии. Страна лишается боеспособности. Многие считают, что нужны решительные меры. Во-первых, курс идеологической работы с молодежью должен стать истинно патриотическим, таким, какой помог нам одержать победу над Гитлером и отказ от которого может привести к катастрофическим последствиям. Во-вторых, свести к минимуму любые контакты с Западом. В-третьих, установить более жесткий идейный контроль над интеллигенцией и частью центральных партийных кадров, глубоко зараженных чуждыми идеологическими влияниями. В общем, это была программа политического изоляционизма и идейного протекционизма, опирающаяся на борьбу «русского духа» против «космополитизма», или, другими словами,— изложенная в пристойных партийных терминах стратегия альянса «Молодой гвардии» и «Огонька».

Можно предположить, что Брежнев тогда обдумывал свой эпохальный поворот к детанту. Может быть, те, кто послал к нему Мелентьева, не знали об этом. А может, наоборот, знали и пытались предотвратить такой поворот. Может, они таким образом предлагали Брежневу альтернативу. Как знать? В любом случае монолог Мелентьева по безграмотности и бестактности идет в сравнение только со статьей Семанова.

Реакция Брежнева была жесткой. Выслушав Мелентьева, он произнес всего несколько фраз. Но среди них была следующая: «Вам не место не только в ЦК, но и в партии». В устах Брежнева эти слова означали конец карьеры Мелентьева. Вернее, должны были означать. И действительно, на следующий день Мелентьев был изгнан из ЦК.

И тут мы опять оказываемся в призрачном кафкианском мире брежневского истеблишмента. Приговор Генерального секретаря не только не оказался концом партийной карьеры Мелентьева, но дал ей новый толчок. Мелентьев стал заместителем министра культуры Российской республики. Затем — министром. Кто стоял за его спиной? Мы можем только гадать, что если человек, которому, по мнению Брежнева, не место в партии, получил тем не менее пост министра, то за его спиной должен был стоять кто-то настолько могущественный, что Брежневу было невыгодно с ним ссориться.

Но особенно странной судьба Мелентьева кажется по сравнению с судьбою другого чиновника из ЦК, занимавшего в свое время пост, куда более высокий, чем Мелентьев. Я имею в виду А. Н. Яковлева, исполнявшего в течение нескольких лет обязанности заведующего отделом пропаганды ЦК, то есть Идеолога партии.

«Дело» Яковлева

Яковлев, стоявший на левом фланге того же брежневского центра, был озабочен как соображениями идейного, так и личного характера. Он исполнял обязанности заведующего отделом. Но заведующим его не назначили. Для этого он был слишком левым. Репутация обязывала. И для того, чтобы оправдать свою левизну, Яковлев попытался переместить налево центр тяжести самой брежневской фракции. Наиболее удобным политическим рычагом для этого представлялась борьба с русофильством. И Яковлев уже с 1968 года пытался превратить русофильство в объект политической борьбы наверху. Это он стоял за критическим залпом, выпущенным по чалмаевщине. Это он стоял за статьей в «Коммунисте». И заседание Секретариата ЦК, обсуждавшее эскапады «Молодой гвардии», тоже было делом его рук.

Но тут нашла коса на камень. Сопротивление разгрому «Молодой гвардии» шло из отдела культуры того же ЦК. Шауро ухитрялся так амортизировать удары Яковлева, чтобы они не переходили из области допустимой идеологической дискуссии в роковую сферу политических обвинений.

После нескольких лет безуспешного маневрирования и интриг, испробовав все закулисные ходы и удары через подставных лиц, Яковлев вынужден был сыграть ва-банк. Так же, как и Мелентьев, он ставил свою карьеру на карту. Но, в отличие от Мелентьева, он действительно сгорел.

Момент, выбранный им для атаки, казался удачным. С одной стороны, предстоял пятидесятилетний юбилей многонационального СССР. С другой — детант с Западом уже разгорался ярким пламенем. Следовало доказать, во-первых, что, вопреки уверениям Шауро, русофильство — это вовсе не лирическая ностальгия по деревенскому прошлому, а явление сугубо политическое, и политика его антимарксистская и даже контрреволюционая; во-вторых, что русофильство стимулирует националистические настроения в нерусских республиках СССР; в-третьих, что оно несовместимо с курсом XXIV съезда,— съезда детанта.

15 ноября 1972 года в «Литературной газете» появилась гигантская, на две страницы статья Яковлева «Против антиисторизма». «По сути дела,— писал Яковлев,— за всем этим *идейная позиция*, опасная тем, что объективно *содержит попытку возвернуть прошлое*». И будто этого было мало, Яковлев добавлял: «Полемика (русофилов) идет не только с Чернышевским, но и с Лениным».

Полемизировать с Лениным (да и с Чернышевским) до сих пор не позволял себе в СССР никто, даже Сталин. А русофилы это делают. Следовательно, русофильство — явление экстраординарное, в рамки допустимых идеологических дискуссий никак не укладывающееся. Тот, кто прожил жизнь в СССР, понимает, как зловеще звучали там подобные обвинения даже в 1972 году.

Помимо этого, Яковлев развернул огромную, поистине устрашающую панораму проникновения русофильства во все области литературы и общественных наук, начиная от «истерических писаний Шевцова» до Советской энциклопедии. Он обнаружил русофильство в историографии, в беллетристике, в поэзии, в литературоведении — всюду. Очень осторожно, но тем не менее настойчиво старался он создать впечатление невиданной — со времен разгрома всех партийных оппозиций — диверсии враждебной идеологии, особенно опасной тем, что она практически помогает буржуазной пропаганде разжигать национальные противоречия в СССР: «Хорошо известно, какая активная кампания ведется нашими классовыми противниками в связи с 50-летием многонационального советского государства».[1] И никаких «ляпов», подобных дементьевскому, в статье Яковлева не было. Она вся была, как монолит.

Идеолог партии — не Дементьев, письмом в «Огоньке» ему не ответишь. Никто не осмелился полемизировать с Яковлевым. Никто, кроме самиздатского «Вече», который в редакционной статье «Борьба с так называемым русофильством, или Путь государственного самоубийства» подверг Яковлева уничтожающей критике. Только «диссидентская правая» могла позволить себе такую критику, метод которой был, впрочем, элементарен: вы опираетесь на Ленина? Ладно. Но будьте последовательны. Ленин писал о национальном самоопределении, об «удушении Украины». Так почему же, следуя Ленину, не предлагаете вы прекратить «удушение Украины» хоть сейчас? «Если тов. Яковлеву не по душе присоединение Средней Азии к России, то не предложит ли он, по случаю юбилея, роспуск Советского Союза»[2]. Иначе говоря, руководствуясь цитатами из Ленина, можно дойти — и Яковлев, по мнению «Вече», доходит — до «государственного самоубийства», до прямого *антисоветизма*. «В 1918 году Советская республика сжалась до границ Московского царства времен Ивана III. Об этом мечтает гонитель русофилов».[3]

Вряд ли такими аргументами, да еще в полуподпольном самиздатском журнале, можно было свалить партийного Идеолога. Тем не менее его свалили. Так же, как и Дементьев, пострадал он за марксистскую догматическую статью, за «отпор антипартийной идеологии».

Кто стоял за этим падением А. Н. Яковлева, внезапно разжалованного в послы и отправленного в Канаду, опять-таки можно лишь гадать.[4] Одно известно, с его падением кампания против русофильства не только не стала ареной политической борьбы, но и вообще была закрыта. Ясно и другое, очень могущественные силы наверху были заинтересованы в том, чтобы

[1] Нельзя забывать о двойственности положения самого Яковлеаа. Он исполнял обязанности партийного идеолога и, следовательно, нес ответственность за все, что происходило на идеологическом фронте. Поэтому, сгущая краски, он подставлял под удар самого себя (что, вероятно, и было использовано его оппонентами). Но тот факт, что он шел на это, даже рискуя своим положением, свидетельствует, насколько серьезной казалась ему ситуация.

[2] Сб. документов самиздата «Вольное слово», вып. 9—10, с. 44. Изд-во «Посев».

[3] Там же.

[4] Яковлев был возвращен из Канады Андроповым. В июне 1985 года, почти полтора десятилетия спустя после своего поражения, он добился того, чего не смог добиться при Брежневе. В июне 1987 года он стал членом Политбюро. Шауро, разумеется, был уволен.

редакция «Молодой гвардии» не погибла, подобно редакции «Нового мира», чтобы «истеблишментарная правая» сохранила — до лучших времен — свои силы.

Да, силы эти следовало политически обезвредить. Угрожать брежневскому центру им позволено не было. И высокий покровитель «Молодой гвардии» Полянский был тихо удален из Политбюро и, в конечном счете, разделил судьбу Яковлева, став послом в Японии.

Но действительный урок «дела» Яковлева заключается совсем в другом: кто-то не позволил, чтобы «истеблишментарная правая» разделила судьбу истеблишментарных либералов, чтобы «дело» Мелентьева окончилось так же, как «дело» Яковлева: в том, чтобы редакция «Молодой гвардии», разбитая политически, сохранила тем не менее свои кадры, свои позиции, свою идеологическую амуницию.

Для чего? На этот вопрос может ответить только будущее.

Идейные итоги «молодогвардейства»

1. Перенесение борьбы с «социализма» и «капитализма» в сферу противостояния духа: русского и буржуазного, воплощенного в «американизме».

2. Противопоставление русского народа «дипломированной массе», «космополитическому» мещанству.

3. Признание советской власти потенциально русской по духу.

4. Латентное признание существующего режима, ориентированного на «дипломированную массу», на буржуазные ценности «сытости» и «образования», «космополитическим» и «нерусским» по духу, а следовательно, несоветским.

5. Апокалипсическое видение неизбежности финальной, завершающей предысторию мира, схватки «русского духа» с «американизмом».

6. Неизбежность полного изменения ориентации режима, «легкомысленного по отношению к Родине».

7. Согласие вернуться для этой цели, по крайней мере, к некоторым ценностям «утраченного рая» сталинизма как воплощения русско-византийской традиции. (Если ВСХСОН предлагал посредством «революции снизу» заменить советскую власть «корпоративным государством», то «молодогвардейство» по сути предлагает посредством «революции сверху» заменить псевдосоветский брежневский режим режимом подлинно советским, русским.)

Таким образом, суть «молодогвардейской» программы сводилась к требованию контрреформы.

ЖУРНАЛ «ВЕЧЕ»: ЛОЯЛЬНАЯ ОППОЗИЦИЯ СПРАВА

Существование «Вече» — безусловно, крупнейшее событие в истории «диссидентской правой» постсталинской России. Толстый, общественно-политический и литературно-художественный журнал — это в старинной русской традиции. Но толстый машинописный журнал оппозиционного направления — с фамилией и адресом редактора на обложке — более или менее регулярно распространявшийся в СССР почти четыре года — вот что было явлением феноменальным.[1]

С самого начала редакция провозгласила принцип открытой и свободной дискуссии. И на страницы журнала выплеснулось все, что накопилось в умах и душах русских националистов за десятилетия. В этом смысле — как индикатор настроений «патриотических масс» — опыт «Вече» поистине бесценен. С другой стороны, это был квалифицированный, на хорошем профессиональном уровне издаваемый журнал, представлявший такие высоты русского интеллекта, по сравнению с которыми исторические экзерсисы и ВСХСОНа и «молодогвардейцев» неизбежно должны были показаться любительскими. И Данилевский, и Хомяков, и Леонтьев, и Скобелев, и все другие светила «русской правой» прошлого века были подвергнуты тщательному анализу и актуальной интерпретации. Экологические, экономические, архитектурно-градостроительные, этнографические, литературные проблемы страны были исследованы глубоко и основательно.

Самиздатский «Вече» — это около двух тысяч страниц очень серьезного, затрагивающего все стороны жизни в СССР текста, никем пока в качестве специального феномена не исследованного. Не собираюсь здесь этого делать и я. «Вече» интере-

[1] Конечно, «Вече» объявил себя органом лояльной оппозиции и политических вопросов обещал не касаться. Более того, он исходил из постулата: «Мы должны убедить администрацию в том, что существование лояльной оппозиции — не во вред, а во благо советскому государству».

Девять номеров журнала под редакцией Владимира Осипова выходили с января 1971 года до марта 1974 года. После раскола редакции В. Осипов и В. Родионов выпустили два номера нового журнала «Земля». «Раскольники» же И. Овчинников и А. Скуратов выпустили 10-й номер «Вече». К концу 1974 года «Земля» и «Вече» прекратили свое существование. Тогда же был арестован Осипов (и в следующем году осужден на 8 лет). Интересна одна синхронность, не отмеченная, насколько мне известно, западными наблюдателями: КГБ активизировал преследование «Вече» с 1973 года — параллельно с уменьшением влияния Полянского и «истеблишментарной правой».

сует меня только с одной стороны: как индикатор политической эволюции «русской диссидентской правой», как замечательная, но безуспешная попытка сдержать ее сползание от либерального национализма к черносотенному.

У меня нет никаких сомнений в том, что редакция «Вече», и в особенности его главный редактор Владимир Николаевич Осипов, были либералами в той степени, в какой это вообще возможно для националистов. Нет у меня сомнений и в том, что они честно и отважно сражались за свои либеральные ценности — со всеми проявлениями черносотенства, антисемитизма и шовинизма, которые беспрерывно давили на них. Они потерпели поражение. И это представляется мне наиболее существенным результатом четырехлетнего опыта «Вече». Ибо журнал с самого начала вел войну на два фронта — не только с КГБ (это очевидно из многих заявлений Осипова и отмечено всеми, кто писал о нем), но и со своими собственными союзниками справа (и это, насколько мне известно, не отмечено пока никем). Трудно сказать, какой из этих фронтов был тяжелее: полицейские преследования сверху или невозможность удержать свои либеральные позиции под сильнейшим давлением снизу (приведшие в конце концов к расколу редакции весной 1974 года, то есть задолго до ареста Осипова). В этом смысле «Вече» был индикатором тяжелейшего кризиса, который переживал либеральный национализм в России первой половины семидесятых.

Всего несколько лет понадобилось в наше стремительное время «русской идее», чтобы перейти от первой своей мессианской фазы ко второй — изоляционистской. Если в шестидесятые ВСХСОН еще намеревался спасать человечество, то уже в начале семидесятых человечество это превратилось для «Вече» в абстракцию. Не мир желал спасать он, а Россию. По сути «Вече» был самым ярким глашатаем русского И-национализма в XX столетии. И тем не менее зловещие признаки сползания «русской идеи» в ее третьей, финальной фазе — к фашизму — тоже сформулированы были с достаточной, как увидит читатель, ясностью именно на его страницах.

Вот почему опыт «Вече» уникален: ни до него, ни после него ни одна публикация интеллектуалов, исповедующих «русскую идею», не открывала такой возможности заглянуть в то, что действительно происходит в низах «русско-патриотического» направления, что чувствуют его сторонники, как реагировали они на режим советского консерватизма и как представляли себе саму «русскую идею».

«Вече» был окном в «русско-патриотические массы» — обстоятельство, никогда не отмеченное западными наблюдателями, писавшими об этом журнале. Соответственно, не заметили они и главного парадокса «Вече», заключавшегося в том, что журнал был двулик: один его лик — либеральный — на глазах у читателя неумолимо вытеснялся другим ликом — шовинистическим.

Концепция изоляционизма

В шестидесятые, в эпоху ВСХСОНа и «молодогвардейства», китайская угроза не воспринималась еще как нечто решающе важное для национального существования России. Поэтому критическое острие этих доктрин направлялось либо против «коммунизма и капитализма», либо против «американизации духа». Проблема «Россия и Запад» преобладала. Мировая драма, которую пытались описывать деятели ВСХСОНа и публицисты «Молодой гвардии», была драмой спасения человечества от ядовитых произведений «западного духа», ведущих его к пропасти. И России с ее, в одном случае — православием, а в другом — «нравственной самобытностью» отводилась в этой драме активная спасающая, мессианская роль.

Китайской угрозе в этой по-своему стройной картине просто не было места: она не имела ничего общего ни с «буржуазностью», ни с «американизмом духа». Картину требовалось переписать. Тот самый ряд исторических событий, который склонил правящий брежневский центр к детанту с проклятым Западом, должен был склонить «русскую правую» к выработке альтернативы этому детанту. И это была задача колоссальной интеллектуальной сложности, к которой идеологи «истеблишментарной правой» — с их осанной национальному духу и знанием истории на уровне средней школы — решительно не были готовы. Тут требовались действительно талантливые люди, настоящие интеллектуалы, традиционно находившиеся в России в оппозиции режиму.

Но поскольку «Вече» объявил себя оппозицией лояльной, он вынужден был согласиться соблюдать некие правила игры, от века практиковавшиеся во всех легальных толстых журналах, должен был использовать их традиционную технику. И это, конечно, были техника исторической аналогии, за столетия разработанная русской лояльно-оппозиционной прессой до поистине высочайшего мастерства и филигранной тонкости. Вот почему главный вклад «Вече» в выработку альтернативной стратегии был сделан в форме историко-философских эссе, самым значительным из которых мне кажется «Роль Н. Я. Данилевского в мировой

историософии», опубликованное без подписи.

Читатель помнит, что Данилевский был первым ревизионистом классического славянофильства. Его фундаментальный труд «Россия и Европа», впервые опубликованный в 1871 году, в эпоху кризиса дореволюционного либерального национализма, положил начало стратегической переориентации «русской правой» в прошлом веке. Данилевский был национал-либералом. Очевидно, по всем этим причинам именно интерпретация Данилевского должна была представляться идеологам «Вече» наиболее подходящей формой актуального диалога с вождями.

Главный тезис Данилевского заключался в том, что никакой всемирной цивилизации не существует. Есть лишь отдельные «Культурно-исторические» типы, имеющие между собой не больше общего, чем разные биологические виды, скажем, рыбы и ящерицы. Ядром каждого из этих типов являются «исторические нации», которые отличаются от неисторических тем, что «имеют свою собственную задачу... свою идею». Поэтому «политические формулы, выработанные одним народом, только для этого народа и годятся».

Если бы Данилевский был последователен, он должен был бы прийти к праву наций на самоопределение. «К сожалению,— снисходительно замечает автор «Вече»,— Данилевский сочувствовал далеко не всякой самобытности. Народы, оказавшиеся в пределах государственных границ России, не могли рассчитывать на его терпимость». Теоретически Данилевский объясняет свою позицию тем, что, кроме исторических наций, есть еще, так сказать, народы-неудачники, по разным причинам лишенные собственной идеи и вследствие этого оказавшиеся лишь «этнографическим материалом». Есть также народы, уже исполнившие свою историческую задачу, умершие «естественной смертью, старческой немощью (Китай)» и поэтому, очевидно, тоже превратившиеся в этнографический материал.

Одним из главных пунктов ревизионизма Данилевского в отношении славянофильства было отрицание им принципа универсальности морали («Вече» мягко называет это «прагматизмом»). В частности, к международным отношениям,— считал он, правила морали неприменимы. «Око за око, зуб за зуб... вот закон внешней политики, закон отношения государства к государству».[1]

Таким образом, равнодушное сосуществование, а в случае конфликта интересов откровенная вражда («холодная война», как сказали бы сейчас) между нациями возводилась в степень естественного закона. А с «этнографическим материалом» в этих обстоятельствах позволено было, разумеется, поступать... как с материалом. Полностью отрицая такую абстракцию, как «интерес всего человечества» и утверждая, что «настоящая глубокая опасность заключается именно в воцарении... общечеловеческой цивилизации», Данилевский, естественно, выдвигает вместо этого «целую программу своего рода изоляционизма».

Вот к этому выводу и ведет читателей «Вече». Неправы были славянофилы (и неправы были идеологи ВСХСОНа), рассматривая Россию как орудие спасения человечества от «сатанократии». Человечество — фантом, и спасать в нем нечего. Спасать нужно самих себя как «историческую нацию», которой предстоит реализовать свою «идею».

В чем же состоит эта идея? «Россия не может занять достойное себя и славян место в истории иначе, как став главой особой самостоятельной политической системы государств» и «служа противовесом всей Европе».

Как выглядела политическая вселенная в эпоху Данилевского (и в особенности его учеников и апологетов Н. Страхова и К. Бестужева-Рюмина) с точки зрения их «изоляционистско-прагматической» доктрины? Она состояла из трех существенных элементов.

1. Россия, которой предстоит исполнить свою историческую задачу.

2. «Живой мертвец» — Турция, давно превратившаяся в этнографический материал, но не желавшая с этим смириться и угрожавшая сорвать историческую миссию России. Не разгромив Турцию, Россия просто не могла стать «главой особой самостоятельной системы государств», не могла служить «противовесом Европе».

3. Загнивающий космополитический Запад, который, хотя и обречен превратиться в этнографический материал, тем не менее пока что препятствует России разгромить Турцию.

Исходя из этой картины, политический смысл стратегии Данилевского сводился к весьма простой формуле.

1. Россия должна стать достаточно сильной, чтобы не дать Западу помешать ей разгромить Турцию.

[1] Отрицание универсальности морали прямо вытекало из отрицания универсальности цивилизации. С какой стати ящерицы станут жертвовать собой во имя рыб? Ученик Данилевского К. Леонтьев сказал об этом еще откровеннее: «Гуманных государств не бывает... они суть идеи, воплощенные в известный общественный строй. У идей нет гуманного сердца, они неумолимы и жестоки». Я не хочу сказать, что в своей повседневной деятельности государства руководствуются филантропическими принципами, но они, по крайней мере, не стараются делать из нужды добродетель.

2. На развалинах Турции основать свою «изолированную» империю — от Адриатического моря до Тихого океана.

3. Закрыв на замок границы этой титанической империи, спокойно ждать, пока Запад окончательно «сгниет» под давлением своих внутренних противоречий.

Присмотревшись к тому, что представляет собой современная политическая вселенная с точки зрения «Вече», мы с удивлением должны будем убедиться, что она тоже состоит из трех элементов: России, Китая и Запада. И функции каждого их этих элементов — те же самые. В частности, «живой мертвец» Китай угрожает сорвать не только исполнение исторической миссии России, но и само ее православное возрождение, а загнивающий Запад не дает России избавиться от этой угрозы. Какая же стратегия может вытекать из такой картины мира? Не та ли самая, что вытекала из картины Данилевского?

Следовательно, не детант с Западом, а сила, достаточная для того, чтобы не дать Западу помешать России разбить Китай; сила, способная обеспечить ей «изолированное» и «самодостаточное», отдельное от остального мира существование,— такова должна быть стратегия России, предложенная «Вече» в самом авторитетном историко-философском эссе, опубликованном на его страницах.

По Данилевскому, Россия не сможет стать Россией, то есть реализовать свою идею, не похоронив «живого мертвеца» (в наше время — это Китай). Так оказывалось возможным *скомбинировать традиционную славянофильскую вражду к Западу с антикитайской ориентацией.*

Стать гигантской «закрытой» империей, в дела которой не смел бы вмешиваться никто и которая жила бы согласно своим «политическим формулам», спокойно выжидая, пока Запад превратится в подлежащий освоению «этнографический материал»,— такова была альтернатива «европейничанью», выдвинутая «старой русской правой» в 70-е годы прошлого века.

Такова же, намечает «Вече», может быть альтернатива новой «русской правой» детанту в 70-е годы нынешнего века.[1]

Первый лик «Вече»: имперский либерализм

Западный читатель может быть ошеломлен тем, что столь жестко-изоляционистский, имперский внешнеполитический план высказывался (пусть даже не прямо, а зашифрованно) не «ястребами», а «голубями» русского национализма, людьми, которых я называю — и искренне считаю — либералами в «патриотическом» лагере. И главное, которые сами считали себя либералами. Чтобы понять этот очевидный парадокс, надо прежде всего уразуметь парадоксальную природу самого национал-либерального сознания. Оно вовсе не исходило из параллелизма во внешней и внутренней политике, кажущегося естественным европейскому сознанию. Мы уже видели, что «Вече» резко *отделяет* эти позиции друг от друга. Сейчас нам предстоит увидеть, что он *противопоставляет* их друг другу. И это не изобретение «русской правой» XX века. Это — традиция, в которой «Вече» следует тому же Данилевскому.

Традиция эта исходит из представления, что сами по себе «политические требования, или, лучше сказать, надежды русского народа в высшей степени уме-

[1] В программной декларации Осипов заявил: «Перспективен ли существующий строй, обречен ли он на роль временного состояния... позиция русских патриотов неизменна, ибо мы не берем на себя смелость или дерзость противопоставить существующему строю свой социальный вариант... мы помним, как бы ни сложилась политическая судьба в России, национальные интересы первичны, надсоциальны, вечны». Это означает, что, в отличие от ВСХСОНа, «Вече» не намерен выдвигать альтернативы ни советскому строю (как социальной системе), ни авторитарному режиму (как системе политической). Тем не менее заявление Осипова оставляет открытой область стратегических рекомендаций, которые могли бы содействовать реализации «первичных», по преимуществу национальных, интересов.

С этой точки зрения в концепции автора эссе о Данилевском возникают три возможные альтернативные стратегии:

а) Россия может согласиться со статусом одной из великих держав современного мира (и к этому в конечном счете ведет детант с Западом);

б) Россия может претендовать на господство над миром (и как раз в этом подозревали Россию Маркс и Энгельс. «Панславизм,— писал Энгельс,— мошеннический план борьбы за мировое господство» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, с. 125). Вот почему — такова ирония истории — Маркс и Энгельс были яростными проповедниками общеевропейской войны против России;

в) Россия может стремиться к имперско-изоляционистскому статусу на большей части евро-азиатского материка (что предлагал Данилевский). Империя эта — по Данилевскому, федерация — «должна обнять все страны и народы — от Адриатического моря до Тихого океана, от Ледовитого океана до Архипелага... под водительством и гегемонией цельного и единого государства».

На стороне какой же из этих стратегий лежат симпатии «Вече»? Стратегию «а» редакция — вслед за Данилевским — отвергает. «Россия слишком велика и могущественна, чтобы быть только одною из великих держав». Стратегию «б» она — вслед за Данилевским — считает «неестественной», то есть не соответствующей теории «культурно-исторических типов». Что же остается тогда, кроме имперско-изоляционистской стратегии «в»?

репны, так как... он не видит во власти врага и относится к ней с полнейшей доверенностью». Иначе говоря, характер русского народа исключает политическую оппозицию. Если же она все-таки существует, то причина тому чисто внешняя: «Все, что можно назвать у нас партиями, зависит от вторжения иностранных и инородческих влияний». Единственный вывод, который из этого следует,— рекомендация правительству: закройте страну от иностранных влияний, элиминируйте инородческие влияния внутри нее, и вы тотчас убедитесь, что в русском обществе «противогосударственный, противоправительственный интерес вовсе не существует». В этих условиях некоторые послабления в области гласности и гражданских прав не только будут безопасны для правительства, ибо — согласно Данилевскому в интерпретации «Вече» — никогда не приведут к политической оппозиции, они будут чрезвычайно полезны, так как «отсутствие гласности и конституционных гарантий прав человека препятствуют реализации национальных задач». Иначе говоря, чем больше изоляционизма во внешней политике, тем больше может позволить себе Россия либерализма в политике внутренней. Скажем так: за железным занавесом русское правительство сможет абсолютно доверять своему народу. Больше того, в таких обстоятельствах «русская периодическая печать, будучи могущественной для добра, совершенно бессильна для зла». «Это основано на следующих свойствах русского человека: его умении и привычке повиноваться, уважении и доверенности к власти, отсутствии властолюбия, отвращения вмешиваться в то, в чем он считает себя некомпетентным».

Что касается межнациональных отношений внутри «изолированной» империи, то они опять-таки могут быть — согласно «Вече» — вполне либеральны. И это снова исходит из особенных, исключительных свойств русского народа как «исторической нации» и ядра русской империи. Прежде всего, как утверждает «Вече», ссылаясь на В. Соловьева: «Россия больше, чем народ... Сверхнародное значение России может вытекать только из русской народной сущности». И далее, ссылаясь на Бердяева: «В русской стихии поистине есть какое-то национальное бескорыстие, жертвенность, неведомая западным народам». Вот почему русская империя никогда не имела ничего общего с презренным западным колониализмом: «Для русской истории характерно добровольное присоединение народов к России... Если можно говорить, что русская империя держалась на штыках, то только в том смысле, что русские штыки защищали окраины от притязаний жестоких соседей. Россия умела внушить любовь к себе, в этом был секрет ее могущества». Вот почему, «что бы ни говорили о роли инородцев в русской революции, о торжестве нерусской стихии в Октябре... можно твердо верить в одно: новая федерация народов создана была *по-русски*.

И здесь опять-таки перед нами две негативные модели, характерные для всей философии «Вече»: американская и китайская. И одна модель — в истории и современном мире — позитивная: русская. Что такое американская модель? Новая нация? Нет, всего лишь «массы людей, не имеющих между собой ничего общего, кроме бешеной жажды наживы и врожденного страха от того, что у них никакого национального характера, как бы ни старались они скрыть это друг от друга за громкими изъявлениями преданности американскому флагу»,— утверждает «Вече», ссылаясь на Фолкнера. Что такое китайская модель? «Уничтожение всякого иного (национального) начала вообще», насильственная, в том числе посредством принудительных браков, китаизация всего населения страны.

Принципиально иное дело — империя русская. Здесь господство русской исторической нации основано на ее нравственном превосходстве над этнографическим материалом окраин. Здесь окраины, если они правильно понимают свою этнографическую природу, сами тянутся к русским, как к своему историческому центру и источнику высших ценностей: «Если окраины видят в центре сосредоточение более высокой по отношению к ним культуры, более высокой... нравственности, национальной терпимости, доброты и щедрости, то они добровольно влекутся к нему». Иначе говоря, поскольку оппозиция окраин не принимает политической окраски (а она не принимает ее, если элиминировать «инородческие влияния» в центре), то «Вече» рекомендует самый широкий либерализм.[1]

[1] Что касается традиционного «великорусского шовинизма», который мог бы послужить препятствием такой либерализации, то его, с точки зрения «Вече», просто не существует. И никогда не существовало. Российская империя вовсе не была «тюрьмой народов», как гласит либерально-марксистский миф. Напротив, она всегда была братским союзом народов, привлекательным для любой малой нации, находившей в России защиту от своих соседей. Единственным основанием для мифа о России как «тюрьме народов» были «иностранные примеси» — немцы, поляки или грузины, властвовавшие время от времени в империи: «Уместно ли говорить о *русском* великодержавном национализме? Полноте, русский ли он? Кто был его носителем? Насквозь пропитанный немцами бюрократический аппарат послепетровской монархии? Джугашвили и Дзержинский?», (Архив Самиздата, № 1599, с. 9).

Как видим, «Вече» удается примирить непримиримое: то есть проповедь жесткого изоляционизма во внешней политике с проповедью либерализма в политике внутренней, удается, по крайней мере, теоретически.

Сибирский гамбит

Либерально-имперская стратегия «Вече» покоилась на глубокой вере в потенциальное превосходство русской нации над всем остальным миром. Поэтому, по мнению «Вече», железный занавес между Россией и Западом — вовсе не самоцель. Он средство для социального, нравственного и религиозного ренессанса России.

Этот «ренессансный» план «Вече», насколько он поддается реконструкции по отдельным фрагментам, исходил из следующих постулатов.

1. «Нация, переселенная в города, обречена на вымирание». «Всякий патриотизм неразрывно связан с любовью к земле, к сеятелю и хранителю земли — крестьянину. Всякий космополитизм столь же неразрывно связан с ненавистью к крестьянству — созидателю и хранителю национальной традиции, национальной нравственности и культуры». «Крестьянин — наиболее нравственно самобытный тип» (М. Лобанов). С этой точки зрения безнадежно урбанизированный Запад обречен. Но для России, «где у каждого, если не мать, то бабушка — крестьянка»,— не все еще потеряно. В России возможна *обратная миграция*, так сказать деурбанизация общества.

2. «Россия спасается православием. Православие неуничтожимо. Оно Божье Дело, а русский человек может быть только православным». В этом смысле Запад опять-таки безнадежен, а для России опять-таки не все потеряно. Еще возможна если не легальная, то, по крайней мере, фактическая *православизация* общества.

3. Реставрация крестьянской и православной России — вот что окончательно элиминирует «космополитизм» внутри страны и эффективно отгородит Россию от Запада, задыхающегося в городах и безверии. Но возможно ли это в авторитарно-советской России? И если возможно, то как? «Советский режим, как свидетельствует его история, способен идти на уступки под влиянием военных и хозяйственных обстоятельств, но органически не способен отрекаться от себя в угоду нравственным принципам. Да и уступки он сделает только при сохранении главного — власти».

Какая же необходимость может заставить советский режим пойти на такие, гигантской сложности и серьезности уступки? «Вече» видит только одну такую необходимость: подготовку к войне с Китаем.

Когда Сталин формулировал свои пять основных условий военной победы, что выдвинул он на первый план как *решающее* ее условие? Крепость тыла. Почему крепость тыла, а не качество вооружений, например, или количество дивизий? Потому, что Сталина преследовал страх перед своим народом. И он продолжает преследовать нынешнее поколение советских лидеров, выпускников сталинской академии. Вот почему именно «крепость тыла» превращается в магическую формулу, которую «Вече» рассчитывал сделать рычагом для реализации своей программы. Когда начнется тяжелейшая в русской истории война, советская армия должна иметь за спиной крепкий, сплоченный единой истинной верой тыл, а не сибирскую пустыню. Тыл, способный превратить Сибирь в русскую крепость, способный противопоставить китайскому «людскому морю», готовящемуся «густой волной покатиться по просторам Сибири», традиционную патриархальную стойкость русского солдата-мужика и его православный энтузиазм. В этом интересы всех русских патриотов едины[1]. И потому, предлагая план создания в Сибири «второй России», авторы «Вече» считали его вполне реалистичным. Необходимость создания мощного тыла заставит режим, бессильный сделать это бюрократическими советскими методами, согласиться на вольную колонизацию Сибири. «Миллионы энтузиастов», предводительствуемые «лишенными должности священниками, лишенными работы и общественного поприща инакомыслящими», двинутся на свободные земли и превратят их новую славянофильскую Атлантиду. Вот почему «только Сибирь могла бы спасти и свободу, и Отечество, и советскую амбицию».

4. Таким образом, раздел России на европейско-урбанизированную и сибирско-православную — вот ось либеральной утопии «Вече». Это был сознательный гамбит. Новая азиатская Россия должна была, по крайней мере, временно принести в жертву свою европейскую праматерь. «Сибирь может быть освоена только при наличии жесткого политического противовеса в европейской России»[2].

[1] У меня нет никаких сомнений, что ужас издателей «Вече» перед Китаем был абсолютно искренним. Один из членов редколлегии журнала в личном разговоре жаловался мне, что китайцы в Сибири снятся ему по ночам.

[2] Там же. Впоследствии, как мы увидим, А. Солженицын заимствует это стержневое предложение «Вече» и обнародует его (впрочем, без ссылки) в своем известном «Письме вождям» — факт, не отмеченный, насколько мне известно, ни одним из биографов Солженицына.

5. Постепенно влияние — и преуспевание — «второй России» изменит и ситуацию в ее европейской части. Ее истинно русский ренессанс, создание совершенно неведомых миру форм крестьянско-православной цивилизации, приведут к преобразованию всей страны, к окончательному триумфу русского «культурно-исторического типа».

И единственное, что для этого нужно,— разбудить русскую, крестьянско-православную душу в советских лидерах, у которых ведь тоже «если не мать, то бабушка — крестьянка» и притом православная. «Я не думаю,— заявляет Осипов,— чтобы в советском госаппарате не было трезвых голов».

Второй лик: «Вече»: имперский шовинизм

Специалисты возразят, что вовсе не только изоляционистская доктрина Данилевского вдохновляла «Вече», но и мессианские идеалы славянофилов и Достоевского, что сколько угодно можно найти в нем агрессивно-шовинистических и просто черносотенных материалов в духе «чалмаевщины» или даже национал-социализма И. Шевцова. Все это правда. Но специалисты возразят не мне, а самому «Вече», его либеральному лику. Ибо национал-либеральные планы «Вече», которые мы до сих пор рассматривали, не только не исчерпывали «патриотическое сознание» начала 70-х годов, но едва ли доминировали в нем. С этой точки зрения более всего интересна статья М. Антонова «Учение славянофилов — высший взлет народного свмосознания в России в доленинский период», которой «Вече» открыл спор со своими союзниками справа.[1]

Критическая задача работы Антонова состоит, во-первых, в доказательстве «противоположности западных и русских воззрений... во всех сферах жизни», во-вторых, в обличении «безродного космополитизма» русской (и советской) интеллигенции как губительного лобби «западных воззрений». Позитивная ее задача сводится к тому, чтобы доказать, «что у ленинизма несравненно больше общего с православием и славянофилами, чем с марксизмом-католицизмом» и поэтому «лишь *соединение Православия и Ленинизма* может дать то адекватное мировоззрение русского народа, которое синтезирует весь многовековой жизненный опыт народа»[1].

Либеральное крыло «Вече», как мы видели, вслед за Данилевским усматривает в Западе, можно сказать, иную биологическую разновидность человечества. Поэтому — при условии железного занавеса — оно отнеслось бы к «гниению» Запада и постепенному превращению его в «этнографический материал» скорее созерцательно, с почти эпическим равнодушием. Антонов относится к Западу (и к представляющим его внутри страны «космополитам») с нескрываемой ненавистью фанатика-миссионера, призывающего к крестовому походу на язычников. Для него дело не только в том, что «народы и государства Запада отжили свой век и умирают, что они неизбежно скоро погибнут, причем погибнут не от внезапного натиска, а в силу иссякания жизненных сил,— им надоело жить; весь Запад оказался в безысходном тупике».

Либералы «Вече» отвечают на это, опираясь на Данилевского: если Антонов думает, что у западных народов действительно «ложное мировоззрение...» и они принципиально не могут поэтому правильно представить себе выход из тупика», что ж, таков закон истории, мы все равно не в силах ни помочь этому, ни помешать, аминь. Антонов, однако, делает из этого совсем иной вывод. «Ложное мировоззрение» Запада кажется ему настолько опасным и заразительным (почти как Ленину религия), что оно и Россию ставит на край пропасти. Отчего же? Во-первых, из-за «органических свойств английского характера, которые делают англикано-пуританские круги извечным, неисправимым и заклятым врагом русского народа». Но это не главное. Главная опасность — насколько поддается рациональной интерпретации довольно бессвязная статья Антонова — заключается в том, что сами эти англикано-пуританские круги оказываются лишь своего рода исполнительным оргвном «ложного мировоззрения», а сущность его — в другом. Не случайно «основателем всей современной философии, этой безверной религиозности, был еврей Спиноза». И не случайно, что «корни сугубо материалистического направления в философии уходят в глубину еврейского народного характера».

Если Данилевский рассматривал Запад в качестве «двухосновного романо-германского культурно-исторического типа», то Антонов, если можно так выразиться, рассматриввет его скорее кан «двухосновный еврейско-пуританский тип».

И беда в том, что одна из этих основ расположилась прямо в сердце России. Она составляет душу ненавистного Антонову «люмпенства» (так почему-то именует он западническую интеллигенцию, которую Лобанов до него прозвал «просвещенным мещанством», а Солженицын после него окрестит «образованщиной»). Оно, это «люмпенство», упорно и повседневно, на глазах, так сказать, публики уничтожает Россию. Поэтому начать избавление мира от дьявольского семени надо с уничтожения его у себя дома.

Вот для чего нужен Антонову союз (не вялая осиповская лояльность, а именно союз) с режимом. Для немедленного возобновления «космополитической кампании», прерванной смертью Сталина. Вот для чего нужно ему соединение ленинизма с православием — как основы реставрации сталинизма. Для расправы с инородцами и «люмпенством». «В настоящее время,— считает Антонов,— во всех областях жизни русского народа встает одна и та же задача: отбить наступление безродных и космополитических элементов, отбросить навязанные народу чуждые его духу западные формы и вернуться к исконным русским началам, обеспечив их дальнейшее развитие».

Антонов говорит вместе с А. Хомяковым: «История призывает Россию стать впереди всемирного просвещения». Но это после, когда будет наведен порядок в собственном доме, когда в центре мировоззрения встанет «идея Москвы как Третьего Рима, как Нового Иерусалима, как воплощения ленинской высшей Правды и Справедливости на земле». Тогда настанет черед и для всемирной миссии, то есть расправы со всем этим еврейско-пуританским «люмпенством» в глобальном масштабе.

Все это нужно собирать буквально по крохам в огромной (девяносто девять страниц), скучной и перенасыщенной цитатами статье, беспощадно ревизующей классические постулаты славянофильства, превращающей его из мирной либеральной утопии прошлого века в науку ненависти. Никаких интеллигентских мудрствований, никаких гражданских прав, никакой «второй России» Антонову не требуется. Не мир несет он, но меч. Таков был второй, шовинистический, лик «Вече».

Капитуляция национал-либерализма

Читая журнал «Вече», обнаруживаешь парадоксальную картину. Группа «штатных» политических писателей, высоколобые либералы осиповского толка, писали длинные зашифрованные эссе, искусно придумывали мудреные исторические аналогии, вырабатывали сложнейшие проекты имперского либерализма и «сибирского гамбита». И в то же время их собственную политическую аудиторию, их читателей и словно бы последователей, обуревали совсем другие, антоновские, страсти. Не идея «сибирского гамбита», а проблема инородцев волновала читателя, написавшего в редакцию: «Мы, русские, слишком привыкли пасовать, робеть и стушевываться перед *инородными хамами*». Не гражданские права, а как раз наоборот, тоска по Сталину волновала другого читателя, спрашивавшего: «Вам приходила ли когда на мысль, отчего при Сталине было свободнее православной церкви? Говорят, он даже любил беседовать с патриархом. Задумывались ли вы над тем, отчего по всем церквам служили панихиду по Сталину? По другим не служили, а по нему служили». Не идеи имперского либерализма, а вполне антоновская фанатическая ненависть к космополитизму обуревала третьего читателя, воскликнувшего: «Космополитизм — это духовное рабство... космополитизм — подготовка пути Антихристу». Не лояль-

---

[1] М. Антонов — член так называемой «фетисовской группы», откровенно простанинской и профашистской, которую наблюдатели обыкновенно относят к течению «национал-большевизма», хотя члены ее были православными. Напомню читателю, что Фетисов откровенно одобрял «Новый порядок» Гитлера и вышел из партии в знак протеста против десталинизации. Гигантская работа Антонова заняла значительную часть первых трех номеров «Вече». В конце публикации редакция оговорилась, что «личные мнения автора в значительной степени не совпадают с мнением редакции», и поместила «Мнение оппонента», полемизировавшего с некоторыми выводами Антонова. Тем не менее сам факт, что журнал счел возможным практически начать свое существование с фундаментальной вубликации Антонова, что редакция ни словом не подвергла сомнению взгляды автора на Запад, составляющие ядро вубликации, что она, наконец, вазвала Антонова «последователем и пропагандистом замечательного русского ученого и общественного деятеля А. А. Фетисова»,— сам этот факт неопровержимо свидетельствует, что взгляды Антонова представляют могущественный сектор «русско-патриотического» общественного мнения, игнорировать который для «Вече» было невозможно.

[1] Выделено автором. Читатель, разумеется, помнит, что Ленин был воинствующим атеистом. Вот например, одно из его высказываний: «Всякая религиозная идея о всяком боженьке, всякое кокетничанье с боженькой есть невыразимейшая мерзость... самая опасная мерзость, самая гнусная зараза» (сб. «О религии и церкви». М., 1977, с. 31). Исходя из этого я призываю читателя оценить головоломную сложность задачи, которую — впервые в лице Антонова — поставвла перед собою «русская новая правая», пытаясь соединить ленинизм с православием. Само собой, что Антонов персонально потерпел здесь полное поражение. Но идея его жива в «патриотической массе» и в головах ее идеологов. Кто может знать, какие еще предстоят ей метаморфозы и воплощения? Если действительно ее суть состоит в «детанте» командной экономики с православной церковью, то почему бы ей, собственно, не реализоваться? Крепостное право тоже, теоретически говоря, несоединимо с христианством. Тем не менее этот «детант» оказался жизнеспособным в России на протяжении столетий.

пости к советской власти, а союза с ней требовал четвертый читатель: «Разве совместимы русский патриотизм и марксистско-ленинское мировоззрение? Разве не просили считать себя коммунистами солдаты перед тем, как отдать жизнь за Родину? У кого повернется язык назвать их "нерусскими"?» Не равнодушное — по Данилевскому — созерцание «больного» Запада, а живая ярость сквозила в письме пятого: «Европа — неисправимая блудница, а Америка — ее безумнейшая и прощальная ночная вакханалия, после которой может быть только разочарование и погибель».

Политическая база «Вече» бунтовала против его национал-либерального курса. Открыто и страстно навязывала она ему «русско-патриотический» антоновский курс — бей инородцев и соединяйся с властью! Короче говоря, политическая база осиповского журнала оказывалась на деле антоновской.

Уже в начале 70-х годов настроение «патриотических масс» переросло интеллигентский либеральный национализм «Вече».

И самое грустное в том, что Осипов и его либеральные сотрудники драматически отказывались понимать, что происходит. Можно не сомневаться, что, когда Осипов писал: «Письмо Солженицына своим славянофильством и патриархальностью найдет, пожалуй, больший отклик в русском сердце, чем демократические альтернативы интеллектуалов», он вряд ли осознавал, что подписывает приговор самому себе. Осипов, который провозгласил, что «даже проблема гражданских прав в СССР менее важна... чем проблема умирающей русской нации», побеждал Осипова — идеолога лояльной оппозиции, великодушно протягивавшего руку Сахарову.

Время ВСХСОНа миновало. Не соединялись больше в «патриотическом» сердце либерализм с национализмом. Надо было выбирать что-то одно. Тот, кто не способен был сделать роковой выбор, должен был политически погибнуть. И Осипов погиб. Погиб — вместе с либеральным ликом «Вече» — еще до того, как был арестован КГБ.

Лучшим доказательством этого служит читательская почта его собственного журнала.

То, что цитировалось выше, только цветочки патриотической критики снизу. Ягодки содержались в «Критических заметках русского человека» о патриотическом журнале «Вече», которые Осипов не осмелился даже опубликовать, и анонимный автор которых, последовательно атакуя противоречия национал-либерализма, открыто обвинил журнал в «антипатриотизме» и в «предательстве всего истинно русского и славянского».

«Критические заметки русского человека»

Главное, чего требует автор Заметок от «Вече»,— это логической последовательности. Если космополитизм есть действительно самое страшное преступление перед русским народом и человечеством, то как можно забывать при этом, что источник его — космополитическая природа самого христианства? Как можно требовать реабилитации православия, если именно оно исторически «сыграло роль Иуды-предателя и по отношению *к самодержавию* и по отношению к русскому национальному сознанию, или, как называли его славянофилы, *к народности*»? Как можно забывать об этой «предательской роли православного космополитизма, проложившего к нашим дням дорогу сионистским космополитам»? «Если сейчас кому-нибудь и нужно реабилитировать православие, то, в первую очередь, тем, кто его создавал — сионистам».

Тут, разумеется, на сцену выходят идеи «Протоколов сионских мудрецов», преподносимые автором как неоспоримое документальное обоснование его позиции: «Для себя они создали иудаизм, по которому человечество делится на людей (это только евреи) и на гоев... Для гоев были созданы христианство и ислам — дочерние предприятия от иудаизма с ограниченной ответственностью (по-английски — "лимитед компани"), призванные держать в повиновении перед высшей расой или народом, избранным Богом (то есть евреями) всех остальных. Гои же, согласно Ветхому завету, должны стать рабами евреев к 2000 году».

С этой точки зрения, естественно, что «отношение к сионизму — та лакмусовая бумажка, которая выявляет патриотизм или предательство. Середины нет! Кто не с нами,— тот против нас! Кто не против сионизма во всех его проявлениях,— тот против русских, против славянофилов, против всего честного, что есть на земле. В этом свете журналу, если он действительно хочет сделаться *патриотическим и русским* журналом, а не предбанником сионистских инакомыслящих, их бесплатным агентом, следует уяснить, что во всей цепи проблем, стоящих перед русским народом, главным звеном является борьба с сионистским засильем. Ухватившись за это звено (и только за это), можно будет вытянуть всю цепь проблем. Если этого не сделать, сионисты к 2000 году уничтожают русский народ *физически* вместе со всеми его проблемами».

С точки зрения автора, дилемма проста, в мире происходит драматическая, смертельная конфронтация России и сионизма. Сосуществовать на одной планете они не могут. Русский патриотический журнал, достойный этого имени, не может

сохранять нейтралитет в этой борьбе. «Вече», с точки зрения автора, делает именно это. «Как может русский человек [поверить в патриотизм «Вече»], когда журнал предоставляет свои страницы таким заклятым врагам русских и России, как А. Сахаров и А. Солженицын?.. Журнал оплакивает вместе с сионистским самиздатом Юрия Галанскова... Но за кого боролся Галансков? За тех же злейших врагов России и русских — сионистов, за протоколы процессов сионистской агентуры в овечьей шкуре — инакомыслящих Синявского и Даниэля. Позором для журнала является перепечатка заявлений А. Сахарова, Шафаревича и прочей сиониствующей своры ученых и псевдоученых, вопящих о свободе печати... Там, где ее добились формально (США, Англия и другие западные страны), она, эта печать, полностью монополизирована сионистами. Какая же это свобода печати? Нет, уж пусть лучше Главлит, чем такая свобода!»

На кого же работает «Вече»? На Россию или на ее врагов? — этими вопросами задается автор «Заметок». И отвечает: «Сиониствующие инакомыслящие при поддержке на государственном уровне со стороны конгресса США и правительств других сионизированных стран Запада различными средствами пытаются подорвать нас изнутри, чтобы проложить дорогу детям Израиля к мировому господству. По пути ли с ними *русскому патриотическому* журналу? *Коммунизм и советская власть* (вся социалистическая система) сейчас единственное могучее препятствие на пути шествия сионизма к 2000 году. В авангарде СССР и, следовательно, всей социалистической системы идет русский народ. Спора нет — ему тяжело в цепях сионистского засилья, но еще тяжелее, когда удар наносят в спину русские... еще тяжелее, когда русские люди из благих побуждений организуют самиздатский журнал и бьют доверчивый русский народ камнем по голове».

Не в том дело, что текст этот звучит истерически, а в том, что он отчетливо демонстрирует, до какой степени «русско-патриотическое» сознание 1970-х годов оказалось прокрустовым ложем для либерализма (пусть даже имперского). Не укладывалась в него ни наивная вера в возможность свободы слова за железным занавесом (ибо «стремление к объективности и так называемой свободе слова ведет к предоставлению страниц как полнокровным, так и полукровным сионистам»), ни идея деурбанизации и деиндустриализации («ведь мы не одни на планете. Русский народ сократит производство, а сионисты его задушат»), ни либеральное славянофильство («жили бы они (славянофилы) в наше время, они бы не стали восставать против существующей идеологии и формы правления, а наверняка стали их защищать на благо русского народа»). У «патриотического» читателя совсем другая программа для истинно русского журнала. Вот она.

«Публиковать материалы о никчемности научных работ сионистов-псевдоученых (такие попытки уже делаются. Физик-теоретик Тяпкин доказывает, что культ Эйнштейна был создан бездарными евреями, чтобы повысить свой научный престиж. То же утверждалось Шевцовым). [Публиковать] материалы о выпадах сионистов против честных русских людей... материалы о взяточничестве и разврате сионистов, материалы об их сборищах у синагог... письма с мест о безобразиях внутренних эмигрантов, о захвате жилого фонда в городах, требовать справедливого распределения квартир в пользу коренного населения, задавать органам прокуратуры вопросы, на какие деньги сиониствующие приобретают машины, дачи и так далее, задавать вопросы, почему в том или ином учреждении 90 или 70 % евреев, требовать процент поступления в вузы еврейской молодежи, в соответствии с процентом проживающих в стране евреев (а это около 1 %).

Требовать, чтобы этот 1 % был распространен на все учреждения и предприятия и под лозунгом равенства для всех, никаких преимуществ тем, кто завтра может оказаться в Израиле.

Признать, что журнал... имел расплывчатую, объективно просионистскую платформу. Материалы антисионистского характера придавали журналу лишь видимую объективность... Поэтому журнал против воли себя скомпрометировал как пособник сионистов.

Выходить под лозунгом: „Смерть сионистским захватчикам!" или „Все на борьбу с сионизмом!"

Журналу следует ориентироваться не на верующих, которые своими молитвами Россию от сионизма не спасут, не на подонков типа Сахарова и Солженицына, для которых нужен космополитизм, а на русский народ... [а] на честных партийных, советских, военных работников, на патриотически настроенных деятелей культуры... и прочих советских людей, коммунистов и беспартийных, имеющих вес и голос в органах управления».

Не очевидно ли, что с такой программой «патриотическому» читателю нужен был на самом деле вовсе не «Вече», а «Русский голос», не Владимир Осипов, а Сергей Шарапов, не оппозиция режиму, а союз с ним, не национал-либерализм, а призыв к погромам? На свою беду «Вече» развязал мешок Пандоры — и среди диких ветров, вырвавшихся оттуда, не было ни одного попутного. Все дули ему в лицо, все сбивали с ног, все обрекали на смерть — даже без вмешательства КГБ.

Православные и язычники

«Попутчик» русских националистов М. Агурский, опубликовавший «Критические заметки русского человека» в эмигрантском журнале, предварил их своими собственными критическими заметками под названием «Неонацистская опасность в СССР». Он пишет: «Советский расизм выступает уже не как атеизм, а как новая форма язычества, точно так же, как выступал германский национал-социализм... Представляется весьма очевидным, что единственной реальной альтернативой для тех, кто действительно хотел бы возродить жизнь России на новой основе, было бы принятие... той гуманистической программы, которую предложил в своем „Письме вождям" Солженицын». На той же странице Агурский ставит в пример националистам-язычникам «таких русских христианских националистов, как... иеродиакон Варсонофий».

О программе Солженицына мы еще будем говорить. Что касается вышеупомянутого иеродиакона, то с ним связано одно из самых зловещих событий в истории «Вече», так называемое «Письмо трех», вполне сравнимое по своей черносотенной ярости с «Критическими заметками русского человека», но, в отличие от них, опубликованное самим Осиповым еще на заре журнала в № 3 за 1971 год.

Прежде чем я расскажу о содержании этого письма,— один, связанный с ним эпизод, свидетельствующий о том, до какой степени редакция «Вече», во всяком случае, ее либеральное крыло, до самого конца не понимала всей глубины своего отрыва от собственной политической базы, всего драматизма того предостережения, которое она получила в «Письме трех». Д. Поспеловский в статье «Возрождение русского национализма в самиздате» справедливо назвал «Письмо трех» зловещим документом, уклоном в сторону националистического религиозного расизма. И «Вече» ему ответил. Нет, редакция не оценила разумности и такта в предостережении Поспеловского. Она развязно и грубо высмеяла его, она уверяла (кажется, не только читателей, но, увы, и самое себя), что зарубежный наблюдатель толкует о пустяках. «Одна-единственная фраза вызвала все негодование, все обвинения в адрес журнала: в преамбуле письма слово „сионизм" соединено союзом „и" со словом сатанизм». Птичий грех! Не удивительно, что журнал — на протяжении двух лет — не нашел возможности хоть как-то отмежеваться от такого пустяка, почти описки. Однако я лучше предоставлю читателю судить о том, кто был прав в этом споре.

«Нельзя молчать,— писали авторы «Письма трех»,— когда общеочевидной стала чрезвычайно возросшая опасность со стороны организованных сил широкого сионизма и сатанизма... Агенты сионизма и сатанизма... искусственно создают трения между Церковью и Государством с целью их общего ослабления... стремясь отравить общество, в особенности интеллигенцию и молодежь, идеей анархического либерализма и аморализма, разрушить самые основы нравственности, семьи, государства». Таким образом, не принципиальные разногласия и тем более не антагонизм атеистического государства и православной церкви создают конфликт между ними (слово «конфликт» заменено в «Письме» эвфемизмом «трения», да и трения эти создаются, по мысли автора письма, «искусственно»), а исключительно происки «внешней силы». И сила эта названа по имени. И если бы даже не было союза «и» между «сионизмом» и «сатанизмом», разве это меняло бы суть дела? Заметим далее, что, как считают авторы «Письма», зловещая сила эта, будучи по существу своему антиправославной, одновременно ведет «коварную борьбу и против нашего государства извне и изнутри». Иначе говоря, враг у советского государства и православной церкви — один.

Но это лишь, так сказать, отрицательное основание для предлагаемого союза. Авторы «Письма» уверены, что у него есть и позитивное основание. А именно — общие цели. В самом деле, цель православной церкви («спасение человечества от греха и его следствия») совершенно та же самая, с точки зрения авторов письма, что и цель советского государства («борьба против сил разрушения и хаоса»). Но если цель советского государства (представленного в деле «борьбы с силами разрушения и хаоса» специальным учреждением, которое авторы «Письма» не называют по имени, а имя его — КГБ) совпадает с целью церкви, и враг у них общий, то не ясно ли, что речь идет лишь о своего рода разделения труда между ними? То, что не в силах исполнить КГБ, берется сделать церковь как «нравственная сила и опора государства в его благородной борьбе».

В «Письме» объясняется также, что может произойти, если государство и церковь *не объединятся* в этой благородной борьбе. И тут под пером автора вырастает жуткая картина дикого разгула «агентов» как внутри страны, так и в «сионистских центрах стран Запада, прежде всего в США, где функционирует церковь Сатаны». «Агенты сионизма» — считают авторы,— стараются растлить русский народ. Они отравляют его «космополитизмом», равно как «неверием и сомнением относительно всех духовных и национальных ценностей». Все это, впрочем, мы уже слышали многократно. Но вот то, что «агенты» занимаются «распространением

разврата и пьянства» и даже «умножением абортов»,— это уже нечто неслыханное. Однако список преступлений на этом не заканчивается. «Агенты» сионизма способствуют «забвению и небрежности в исполнении семейного, родительского, патриотического долга», что тем не менее не мешает им вести свою убийственную работу также и в области «лицемерия, предательства, лжи, стяжательства и всех других пороков».

По мысли авторов «Письма», абсолютно все отрицательные явления в СССР происходят от того, что КГБ недосмотрел за агентами сионизма. А это, в свою очередь, объясняется не упущениями славных органов безопасности, а тем, что у них нет надежного союзника и «опоры» в лице церкви. Отсюда ясно как день, что «одной из первых задач нашего времени является изыскание *способов практического сближения* (курсив мой.— *А. Я.*) с государством».

Я надеюсь, читатель заметил, какой путь прошла «русская новая правая» меньше, чем за десятилетие. Она уже больше не призывает, как ВСХСОН, к «уничтожению охранных отрядов олигархии». Авторы «Письма трех» публично предлагают себя в помощники этим «охранным отрядам». И главное, исходит это вовсе не от язычников, но от служителей православной церкви и подписано иеродиаконом Варсонофием, которого «попутчик» Агурский *противопоставляет* как хорошего «христианского националиста» автору «Критических заметок».

Всю эту концепцию православная редакция «Вече» в своем отпоре Поспеловскому (в одном из *последних* номеров журнала) взяла под свою защиту, великодушно объявив оговоркой, чуть ли не грамматической ошибкой. А между тем это была политика. Воинствующая политика «черной сотни», альтернативная либерал-националистической программе «Вече». И это была политика не вне, а внутри «Вече». Поистине две души жили в душе одной. Ответ Поспеловскому был свидетельством капитуляции национал-либерализма.

Идейные итоги «Вече»

1. Переход от открытой конфронтации с режимом, возможной в Советском Союзе лишь в форме подпольной антиправительственной организации (ВСХСОН), к статусу лояльной оппозиции, то есть первая ревизия либерального национализма.

2. Принятие в качестве оснований для этой ревизии постулата, согласно которому СССР потенциально находится в ситуации нацистской Германии, перед лицом борьбы на два фронта — с Западом и Китаем.

3. Разделение в этой связи политической позиции надвое: с одной стороны, пассивная оппозиция внутренней политике режима, с другой — активная поддержка его «перед лицом внешней угрозы».

4. Попытка выработать «сибирский гамбит» как имперско-изоляционистскую стратегическую альтернативу, совмещающую антизападные устремления «русской новой правой» с антикитайской ориентацией.

5. Попытка посредством этой изоляционистской стратегии сохранить основные ценности национал-либерализма, которая окончилась расколом редакции на либеральную «осиповскую» фракцию, ограничивающуюся поддержкой режима в области внешней политики, и «русско-патриотическую», стремившуюся выработать предпосылки для тотального сотрудничества с режимом.

6. Осознание русской-патриотической фракцией невозможности совмещения национализма с либерализмом и ее призыв к возобновлению «космополитической кампании» как идеологической основы реставрации диктатуры.

«СЛОВО НАЦИИ». ФАШИЗМ: ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

«Прорехи „наших мудрецов"»

Покуда «Вече» агонизировал под напором «патриотических» страстей своей собственной читательской аудитории, в самиздате появилось «Слово нации» — «Манифест русских патриотов», суммировавший настроения «патриотических масс» конца 1960-х — начала 1970-х годов.

Как можно было предположить, «Манифест» атаковал не только осиповские либеральные симпатии, но и программу ВСХСОНа. Он откровенно издевался над теоретическими основами этой программы. Анонимные «русские патриоты», подписавшие «Манифест», видели в них лишь «бутафорские громы и молнии в адрес бюрократической элиты». Вы говорите, восклицают авторы «Слова нации», что «эта элита не представляет ни народа, ни какого-либо класса общества, она представляет лишь самих себя. Но позвольте! Ведь такие мысли уже высказывал некогда один, правда, далеко не лучший ум — П. Н. Ткачев. Это ему принадлежит достойное Коперника открытие, будто русское государство висит в воздухе и опирается лишь само на себя. Открытие это было в свое время справедливо осмеяно Энгельсом, но, может быть, теперь положение изменялось и неистинное стало истинным? Увы, этого не произошло. В анализе мудрецов по-прежнему гордо зияют прорехи».

Читателю, уже знакомому с программой ВСХСОНа, ясно, конечно, каких именно «наших мудрецов» высмеивает «Слово нации». И когда читаешь дальше, что «демократические институты не несут с собой исцеления, скорее, наоборот, усугубляют болезнь», и сравниваешь это с читательской почтой «Вече», в душу невольно закрадывается мысль: не кончилось ли время идеологов ВСХСОНа, да и Осипова, и вообще имперского либерализма в России XX века? Ибо «патриотические массы», поддержки которых они искали, поддерживают на самом деле вовсе не их.

На пути «всемирного распада»

«Главная угроза,— говорит «Слово нации»,— мало кем еще понятая, остается общей: вырождение, вызванное причинами биологического порядка, действующими с тем большей силой, чем меньше на них обращают внимания, упорно жуя истасканую псевдоистину о главенстве так называемых социальных фактов над биологическими». «Демократия в ее эгалитарном варианте есть одно из следствий вырождения и одновременно его стимул». Бесхребетная западная демократия принесла миру несчастье. Она выпустила джинна из бутылки: желтая и черная расы, освобождение которых от колониальной зависимости «свидетельствует лишь о вырождении некогда могучих народов», угрожают поглотить арийскую цивилизацию. «Если не принять своевременных мер, мы можем дожить до того, что будем играть роль пешек или, в лучшем случае, пассивных наблюдателей в битве черной и желтой рас за мировое господство». «Должен же где-то воздвигнуться, наконец, вал на пути всемирного распада».

Нет смысла спорить о верованиях. Единственное, чего может требовать читатель от «русских патриотов», когда они пытаются артикулировать темное возбуждение их читательской аудитории, это верности их собственным постулатам, логической непротиворечивости между их посылками и заключениями. Об этом и пойдет здесь разговор. Где и как может быть воздвигнут вал против «всемирного распада»? Откуда придет весть о спасении? «У европейских народов иссякают жизненные силы». Франция и Германия «сегодня зажаты двумя сверхгигантами, само название которых почему-то зашифровано». Несмотря на зашифровку, однако, мы отлично знаем, о каких сверхгигантах идет речь. Один из них, США, совершенно очевидно на роль спасительного вала непригоден: «Вкрапленные в американское общество представители («третьего мира») устраивают погромы и поджоги, водружают ноги на стол, услужливо подставляемый им либералами, и твердо ведут линию на то, чтобы стать господствующим классом в Америке. Когда англосаксы окончательно утратят чувство национальной гордости и погрязнут в либеральной тине, весь огромный промышленный потенциал США может превратиться в орудие для достижения мирового господства черной расы».

Сравним эту тираду с цитированным уже письмом в «Вече», объявившим Европу «блудницей», а Америку «ее безумнейшей и прощальной ночной вакханалией», которая может закончиться «только погибелью», и у нас не останется сомнений, от чьего имени говорят «русские патриоты» в своем «Манифесте».

Но если Европа и Америка безнадежны, какие же ресурсы остались у арийской цивилизации, чтобы защитить себя от нового нашествия варваров? Естественно — Россия.

Так, как будто окольным путем — через брутальные расовые выкладки — возвращаются «русские патриоты» на круги своя, к тому, что полтора столетия подряд не устают повторять пророки русского национализма, от классиков славянофильства до идеологов ВСХСОНа: в России спасение мира.

В самом деле, не удивительно ли, что как бы ни формулировали за последние полтора столетия русские националисты смертельную угрозу нашему бедному миру, всегда каким-то образом оказывалось, что «у Запада иссякли жизненные силы», а у России их такой избыток, что она готова к его спасению? Будь эта угроза в «безверии» или в «парламентаризме», в «мещанской ментальности» или в «американизации духа», в «метафизической сущности коммунизма» или, наконец, в «биологическом вырождении» — единственная надежда мира неизменно фокусируется в России.

Как бы то ни было, «русские патриоты», подписавшие «Слово нации»,— при всех своих биологических и расовых претензиях — остаются в главном русле русской экстремистской националистической мысли с ее провинциальным мессианизмом и верой в уникальные всеспасающие качества России, под которой они, опять-таки рабски повторяя постулаты своих предшественников, естественно, подразумевают империю. «Наш лозунг,— провозглашают они,— Единая Неделимая Россия».

Ошибка Гитлера

Тут-то и проступает логическое противоречие в их расовой концепции. Они превосходно знают, что не являются пионерами в деле спасения арийской цивилизации. Здесь приоритет, безусловно, принадлежит Гитлеру. А Гитлер (так же, как отечественные националисты времен гражданской войны, у которых авторы «Манифеста» заимствовали лозунг единой неделимой России) потерпел сокрушительное поражение. Они не смеют забыть, что получили идейное наследство от банкротов. Они должны найти объяснение этому банкротству — и они находят его.

В изображении «русских патриотов» поражение Гитлера было обусловлено не самим принципом расовой войны, но тем, что он изменил этому принципу. Это правда, что «он объявил беспощадную войну вырождению. Но выполнить эту задачу он был не в состоянии, потому что руководствовался вовсе не расовыми принципами, которые провозглашал, а узконациональным эгоизмом, объявляя неполноценными даже народы, стоящие на том же уровне, что и немцы». Однако если главная ошибка Гитлера, с точки зрения «русских патриотов», заключалась в подмене расового принципа националистическим, то именно этой подмены они и должны были бы остерегаться как огня. Увы, так же, как и для Гитлера, спасение мира сводится для них в конечном счете к созданию «мощного национального государства, служащего центром притяжения для здоровых элементов всех *братских* (!) стран». И «в этом государстве русский народ на самом деле, а не по ложному обвинению, должен стать господствующей нацией». Иначе говоря, авторы «Слова нации» повторяют ошибку, в которой обвиняют Гитлера.

Православные расисты

Логическое противоречие в расовой концепции «русских патриотов» усугубляется их отношением к православию. Ибо именно оно (а не христианство вообще) объявляется ими непременным атрибутом российской империи, а следовательно, спасения мира. «В истории России Православная церковь сыграла огромную положительную роль... дикий антицерковный шабаш был составным элементом похода сил хаоса на русскую национальную культуру. В национальном же государстве, воссоздание которого мы ставим своей целью, традиционная Русская Религия должна занимать подобающее ей почетное место».

Эта позиция усугубляет и трудности западных попутчиков русского национализма. Куда, спрашивается, должны они отнести авторов «Слова нации»? В разряд «реакционных расистов» и «национал-большевиков», как предпочитает называть их Даррелл Хаммер? Но как тогда быть с известным уже нам определением Дэнлопа, согласно которому именно приверженность к православию отделяет «хороших националистов» от «скверных национал-большевиков»?

«Русские патриоты» далеко не атеисты и не язычники. Они — православные. Более того, православие для них не только высоко почитаемая «традиционная русская Религия» (с большой буквы), но и единственная ветвь христианства, способная спасти мир. Ибо другие его ветви, по их глубокому убеждению, изменив расовому принципу, по существу способствуют «всемирному распаду»: «Сегодня дух зла, замаскировав свои рога под битловской прической, пытается вести свою разлагающую деятельность внутри отдельных ветвей Христианской Церкви иными способами, проповедуя идеологию еврейской диаспоры, эгалитаризм и космополитизм, усугубляя процесс всемирного кровосмешения и деградации».

Достаточно сравнить этот пассаж с «Письмом трех», опубликованном в «Вече» и подписанном священником и иеродиаконом русской православной церкви, чтобы убедиться в том, из каких кругов вышел «Манифест русских патриотов».

Не случайно черносотенная — и вполне православная — эмигрантская газета «Наша страна», впервые опубликовавшая «Слово нации» за границей по-русски, назвала его «началом духовного пробуждения» в России. Не может быть сомнения, таким образом, что авторы «Слова нации» — «хорошие» русские националисты, «возрожденцы», по терминологии Дэнлопа. Парадокс состоит в том, что в то же время они расисты и последователи Гитлера.

Неудивительно, что у попутчиков нет объяснения такому парадоксу: эта теоретическая задача не имеет решения. А «русские патриоты» тем временем продолжают громоздить одно противоречие на другое.

Кое-что о «национальном своеобразии»

«Борьба за национальное своеобразие — часть великой битвы жизни и смерти во вселенной». Странным образом, однако, озабочены «русские патриоты» исключительно своеобразием одной-единственной нации — имперской, русской. Они полны скептицизма и яда, как только разговор заходит о национальном своеобразии любого другого народа, входящего в состав империи.

Их беспокоит, что «почему-то искусственно поддерживается существование белорусской нации, хотя сами белорусы себя таковой не ощущают, а белорусский язык представляет собой лишь собрание западно-русских диалектов».

Они искренне обижены тем, что «все так называемые союзные республики имеют свои коммунистические партии, кроме России. Результатом является непропорциональное усиление самой мощной из региональных группировок — украинской».

Два народа вызывают у «русских патриотов» наибольшее раздражение: украинцы и евреи. Казалось бы, то обстоятельство, что эти народы отстаивают свое национальное своеобразие, должно было бы заставить «русских патриотов» видеть в них единомышленников в «великой битве сил жизни и смерти во вселенной».

Увы, заключения «русских патриотов» опять не следуют из их собственных посылок. Они считают, например, что «целые области Украины правильней было бы отнести к России. Мы уже не говорим о такой вопиющей несправедливости, как передача Украине Крымв, преобладающее русское наследие которого теперь заставляют учить украинский язык».

Что же касается крымских татар, изгнанных с их исторической родины Ствлиным, то их национальное своеобразие настолько не заботит «русских патриотов», что в их «Манифесте» эта нация вообще не упомянута.

Это едва ли удивительно, если принять во внимание, что даже самостоятельное существование такой мощной нации, как украинцы, не имеет, с их точки зрения, ни малейшего смысла. «Если бы действительно встал вопрос о самостийном бытии Украины, неизбежно потребовался бы пересмотр ее границ. Украина должна была бы уступить [России]: а) Крым; б) Харьковскую, Донецкую, Луганскую и Запорожскую области с преобладающим русским населением; в) Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Днепропетровскую и Сумскую области, с населением *в достаточной степени* (!) русифицированным... На что могла бы рассчитывать оставшаяся часть без выхода к морю и без основных промышленных районов,— пусть подумают сами украинцы. Пусть подумают также о претензиях, которые могут предъявить поляки на западные области, население которых настроено полонофильски».

Национальное своеобразие молдавского народа объявляется «смехотворным». «Патриоты» согласны говорить о нем только в связи с «иностранными аппетитами на наши территории» (имеется в виду так называемый «бессарабский вопрос»).

Так же иносказательно упоминают они и о праве России на обуздание взбунтовавшихся народов в ее восточно-европейских владениях (имеется и виду, по-видимому, подавление Пражской весны в 1968 году). «Те, кто мнит себя понимающим, желали бы претворить это свое ценное качество в узду для государственных деятелей, это они вопят в случае какого-либо *часто необходимого вмешательства в дела других стран* (курсив мой.— *А. Я.*) „руки прочь", уподобляясь жене, которая, услышав на улице крик о помощи, повисает на своем муже и не позволяет ему выйти... Какова же цена такому пониманию? Чем идейный либерал отличается от заурядного обывателя? Смелостью дезертира?»

Формула русских националистов, ставшая классической после того, как В. Михвйлов обнародовал ее в книге «Новая Иудея», гласит: «Еврейская кабала над русским народом — совершившийся факт, который могут отрицать или совершенные кретины, или негодяи, для которых национальная Россия, ее прошлое и судьба русского народа совершенно безразличны». В полном соответствии с этой традицией «национальной России» «Слово нации» объявляет любую борьбу против империи «или недомыслием или коварным расчетом кого-то, кому нужно всемирное разложение».

В «Слове нации» не говорится, конечно, о «еврейской кабале над русским народом». И все-таки, как бы презрительно ни трактовалось в «Манифесте» национальное своеобразие белорусов, украинцев, молдаван или чехов, самые ядовитые строки приберегли они, как и подобает уважающим себя последователям Гитлера, для евреев: «Много шумят об антисемитизме в России. Евреи также претендуют на роль угнетенного русскими меньшинства, а между тем, проводя политику национального кумовства, они чуть ли не монополизировали область науки и культуры. Русская земли еще не утратила способность рождать своих Ломоносовых, но на их пути сегодня стоят очередные немцы, а бедные „привилегированные" русские робко жмутся в сторонке. И упаси Бог задеть!» Это о евреях идет речь в заключении «Манифеста»: «Когда мы говорим „русский народ", мы имеем в виду действительно русских людей по крови и духу. Беспорядочной гибридизации должен быть положен конец».

В принципе, согласно «Слову нации», евреи играют в России ту же роль, что «вкрапленные в американское общество» представители «третьего мира». Они «водружают ноги на стол, услужливо подставляемый им либералами, и твердо ведут линию на то, чтобы ствть господствующим классом».

Новые русские революционеры

ВСХСОН или «Вече» считали неприличным открыто присоединиться к имперской трактовке вопроса о национальных меньшинствах. Достаточно вспомнить пункт 83 программы ВСХСОНа или критику имперской теории Данилевского в «Вече». Как бы противоречиво все это у проповедников либерального национализма ни звучало, в их критике все-таки присутствовал протест против бесцеремонного подавления малых наций. «Русские патриоты», озабоченные «биологическим вырождением» и «всемирным кровосмешением», клеймят этот протест «смелостью дезертиров».

«Манифест» демонстрирует, в каком безнадежном положении оказался либеральный национализм уже в конце 1960-х, как бесперспективны были попытки высоколобых либералов примирить с утонченными политическими схемами дикую шовинистическую тоску «патриотических православных масс» по погромам. Аудитория «русских патриотов» не нуждалась в их схемах. Не «народно-освободительной революции» жаждала она, а крестового похода против отечественного и зарубежного «сионизма и сатанизма». В «патриотических массах» бушевала тоска по диктатуре, железной рукой пресекающей «беспорядочную гибридизацию». Вот почему подлинного выразителя своих чаяний могли найти эти массы в «Слове нации», а не в амбивалентном «Вече» и не в антисоветском ВСХСОНе. Ибо, как свидетельствовала читательская почта того же «Вече», «патриотические массы» — вполне советские массы. Только поддерживали они советскую диктатуру, а не гнилой советский консерватизм. Они были в оппозиции не к советской *системе*, но к двоедушному брежневскому *режиму*. И в этом смысле, но только в этом, они были революционны.

Идеологическая переориентация диктатуры

«Революция — переходное состояние, в математике такое состояние обозначается нулем и не имеет ни положительного, ни отрицательного знака... Сами по себе подобные извержения жизненной энергии народа — естественные явления... Сопутствуют они, как правило, периодам наибольшей жизнедеятельности нации. Если в какой-то небольшой части современного мира, принимаемой некоторыми за весь мир, мы не видим таких взрывов, это свидетельствует лишь о том, что она прошла свой кульминационный период и клонится к упадку». Это на Западе «бурные потоки революции... текут в мареммы мещанства». «Если Россия избегнет такой судьбы,— а у нас есть все задатки, чтобы ее избежать,— то еще вопрос, чьи жертвы не окупились».

Только революция «русских патриотов» бесконечно далека от антикоммунистической «народно-освободительной революции» ВСХСОНа. Для нее не нужна «подпольная армия освобождения, которая свергнет диктатуру». Ибо направлена она не против диктатуры, а *за нее:* «такая задача под силу только диктатуре», «ни о какой конвергенции, ни о какой идейной капитуляции России не может быть и речи». «Поэтому для нас важна... идейная переориентация диктатуры, своего рода идеологическая революция... Мы стремимся к возрождению национального чувства в перемешивающемся мире, к тому, чтобы каждый осознал свою личную ответственность перед нацией и перед расой».

Как видим, «русские патриоты», точно отражая настроение «патриотических масс», отвергают вялую брежневскую бутафорию патриотизма точно так же, как отвергли ее одновременно с ними «молодогвардейцы» из «истеблишментарной правой», говорившие от лица «патриотической молодежи». Только в отличие от Чалмаева и Лобанова, которым приходилось работать в рамках цензуры, авторы «Слова нации» смогли гораздо более откровенно артикулировать темную черносотенную тоску «патриотических масс» по фашизму.

Идейные итоги «Слова нации»

1. Центр тяжести борьбы Добра и Зла в современном мире перенесен с метафизических высот либерального национализма во вполне земную сферу биологического вырождения человечества. Острие идеологической доктрины направляется на борьбу с инородцами и с «беспорядочной гибридизацией», угрожающей подорвать положение русских как господствующей в империи нации (и расы).

2. Сохранение империи представлено не только как священная обязанность «русских патриотов», но и как главное средство спасения цивилизации от «всемирного распада».

3. Диктатура представлена в качестве единственного институционального устройства, адекватного этой задаче.

4. Главной целью «русских патриотов» провозглашена поэтому «переориентация диктатуры», национальная и расовая «идеологическая революция», то есть фашизация режима.

Продолжение следует

А. ЖОВТИС

ЧТО ЖЕ ОНИ ОБ ЭТОМ ДУМАЮТ

После двух недель в КНДР

Совсем недавно мне, за годы жизни выполнившему перевод на русский и украинский языки более полутора десятков книг корейской поэзии, удалось осуществить свою давнишнюю мечту — побывать в Стране Утренней Свежести. С коллегами Л. Ф. Троцевич и В. Н. Ли мы поднимались в сказочные Алмазные горы, ходили по улицам древнего Кэсона, дышали воздухом старины и любовались удивительно милыми и воспитанными ребятишками... Но поделиться с читателем хочется отнюдь не впечатлениями от красот природы или посещения исторических мест: действительность, с которой я встретился во время поездки, слишком о многом напомнила и заставила думать.

Идейным фундаментом всей жизни Северной Кореи, как об этом декларируется в основополагающих документах Трудовой партии, является марксизм-ленинизм. Основной же тезис этого учения формулируется в сегодняшней КНДР следующим образом: «Поскольку вождь представляет собой центр существования партии и народных масс, преданность партии и верность народу должны находить свое концентрированное выражение *в чувстве преданности вождю* (курсив мой.— *А. Ж.*). Вот почему преданность вождю называют наивысшим отражением чувства партийности, пролетарской классовости и духа служения народу». Так сказано в изданной массовым тиражом на нескольких языках брошюре Ким Чен Ира («О некоторых вопросах воспитания...», Пхеньян, 1987, с. 25). Конкретный же человек, вождь народа, «указавший человечеству прямую дорогу»,— это отец автора, председатель партии, он же президент товарищ Ким Ир Сен, который «впервые в истории открыл, что человек ведет общественно-политическую жизнь, отличающуюся от его физиологической» (там же, с. 20).

Согласно «марксистской» теории, которая определяет взаимоотношения народных масс и вождя, формируется в стране общественное сознание граждан.

...Как-то вечером в гостиничном номере в Пхеньяне мы включили телевизор. На экране молодая изящная женщина разучивала с аудиторией очередную «Песню о Ким Ир Сене»: «Наши люди — в объятиях вождя, и я хочу до конца дней своих быть в его объятиях. Даже глубокой ночью является он в мои сны». Текст этот, ориентированный на стилистические формулы поэзии средневековья, рассмешил нас, хотя, конечно, смеяться не следовало. Разве в недавнем прошлом не пели и мы: «От края до края по горным вершинам... о Сталине мудром, родном и любимом прекрасную песню слагает народ»? Представьте себе на минуту, как «народ» взбирается на вершины, чтобы сочинить там куплетики «о великом друге и вожде»! Пели! И до одури хлопали в ладошки при одном упоминании известного имени — совсем так же, как делегаты чаушесковского «съезда партии» своему кондукэтору.

На Нюрнбергском процессе главных фашистских преступников один из обвиняемых обстоятельно разъяснял суду, что он и его соотечественники ни в чем не виновны — потому что признали «принцип фюрерства» и тем самым возложили на вождя ответственность за все, что он велел делать. Жил, конечно, у людей в сознании страх перед всемогущим диктатором. И было нечто иное тоже: жить, за свои поступки не отвечая, оказывалось легче и удобнее. Но для этого требовалось, чтобы на вершине общественной пирамиды стоял не просто один из сограждан (пусть умный, талантливый, смелый!), а некий прозорливец, мудрец и пророк, к которому неприменимы общепринятые критерии оценок. И вот тут-то, на каком-то этапе социального охмурения, теряется здравый смысл, и для людей оказывается возможным лезть «с именем Его» на горные вершины или просто бросаться «в его объятия...»

О психологии «культа личности» сейчас стали много писать историки, философы, социологи. Я не претендую на вклад в науку по этой проблеме. Но я только что видел, «как это делается» в масштабе целой страны.

Для того, чтобы человек осознал «счастье» быть подданным вождя, нужна огромная сосредоточенная работа тысяч «служителей культа» по воспитанию чувств и корректировке мыслей. Портрет Ким Ир Сена встречает вас уже в аэропорту, и с этого момента Он с вами везде: на перекрестках улиц, в фойе театров и в номерах гостиниц, над землей и под землей (на станциях метро). Фюрерство здесь наследственное («Комсомольская правда» уже сообщала об этом в весьма обтекаемой заметке «Вождь — сын вождя»), и оно требует пропаганды культа двух вождей — отца и сына. Отец — это «солнце нации» — под таким названием идут книги о самом Ким Ир Сене; сына, Ким Чен Ира, именуют более скромно — «любимый и уважаемый вождь», или совсем скромно — «наш великий руководитель». Оба в соответствующих идейных пропорциях предстают перед вами на красочных панно и картинах, выполненных в лучших традициях сталинско-ждановского «соцреализма».

Выставленные и развешенные по всей стране картины иллюстрируют духовную связь вождя со всеми слоями населения. Вот он в группе крестьян, рабочих, ученых, старых, малых и так далее. Он всегда о чем-то вещает, чему-то учит, а за спиной его сосредоточенный человек с блокнотом записывает все, что говорится в поучение грядущим поколениям. Это, так сказать, величие Ким Ир Сена, раскрываемое по горизонтали. Но есть еще вертикаль — роль Ким Ир Сена в разрезе историческом.

Когда-то, когда я учился на первом курсе университета, мы штудировали историю партии по брошюрам ловких приспособленцев Иовчука и Васецкого. Однажды сокурсник сунул мне под нос одну из них, и я прочитал: «В 90-е годы (XIX века) теорию марксизма разрабатывали Ленин и Сталин...» Сокурсник спросил шепотом, подмигивая: «А сколько лет тогда было товарищу Сталину?»... Понятно, что и Ким Ир Сен и его сын стали великими вождями еще в детстве. В историческом музее в Пхеньяне висит полотно, изображающее мартовское антияпонское восстание в 1919 году. В группе крестьян на переднем плане — маленький мальчик с сжатыми кулачками и решительным волевым личиком: это Ким Ир Сен ведет народ на борьбу с оккупантами. За спиной у мальчика его дедушка, который тоже был знаменитым революционером, как отец, бабушка, мама, первая жена вождя и даже прадед. Вся история страны в художественных произведениях и научных трудах оказывается таким образом подверстанной к личности вождя и к его клану.

В сталинскую эпоху наши улицы и общественные здания обильно расписывались цитатами из сочинений и речей «отца родного». Цитаты давались обычно на красных полотнищах. В Корее их высекают на каменных стеллах. Стеллами отмечаются и те места, где Ким Ир Сен побывал и когда-нибудь хоть что-нибудь сказал. К примеру: «Великий и любимый... был здесь такого-то числа, такого-то месяца, такого-то года и говорил о том, что женщина должна быть во всем равна с мужчиной». Или: «...побывал здесь с любимым и уважаемым вождем Ким Чен Иром и говорил о том, как красивы окрестные горы». А так как Ким Ир Сен у власти уже более 40 лет, видимо, во всех уездах небольшой страны есть эти нетленные скрижали. По крайней мере, они попадались нам очень часто. Три или четыре таких стеллы стоят и в центральном

зоопарке. На одной из них мы прочитали: «...здесь... говорил о том, что ботанический сад и зоопарк — лучшее место для воспитания нового человека...»

Из двух недель пребывания в Корее 4 дня мы провели в Алмазных горах, выезжая из туристской гостиницы или выходя в пешие походы по традиционным маршрутам. Достопримечательным местом считаются там окрестности озера Самильпо. Окруженное живописными скалами и холмами, поросшими знаменитой корейской сосной, с причудливыми очертаниями берегов, оно в ясный солнечный день предстало перед нами во всем своем блеске. По извилистой тропке, идущей между скал и деревьев, мы спустились к беседке, выполненной в традиционном для корейского средневековья стиле. Но, оказалось, что и беседка эта «не простая»: Он с женой Ким Чжон Сук когда-то стояли здесь, и с этого самого места она выстрелила в плавающую в озере дикую утку. На месте, где была убита историческая утка, теперь качается памятный бакен... И на скалах, часто на большой высоте, над пропастями и провалами, высечены залитые красной краской лозунги и изречения вождя. Видны они на большом расстоянии — видимо, буквы в них по крайней мере метровой высоты.

Монументальная пропаганда не ограничивается в Корее вырубленными в граните сентенциями. Наиболее значительным воплощением ее можно считать 170-метровую башню, выстроенную в Пхеньяне к 70-летию Ким Ир Сена по замыслу и под руководством вождя № 2, «открывшего эпоху Возрождения в XX веке» («Корея сегодня», 1989, № 11). Это впечатляющее сооружение на берегу Тэдонгана имеет скоростной лифт, с помощью которого можно подняться наверх, чтобы взглянуть со смотровой площадки на город. В задней стене башни вмонтированы блоки полудрагоценных камней, на которых запечатлены слова любви к Ким Ир Сену от имени 70 стран мира. На одном — восхищение деятельностью его на благо человечества (не иначе!) выражает кружок по изучению кимирсенизма в Сенегале, на другом — поклонники вождя из Финляндии, на третьем — лично некий мосье Лебрен из Франции и так далее. Советский Союз в этой огромной по размерам мозаике, слава богу, не представлен.

Деловые, хорошо подкованные гиды с вдохновением рассказывают организованным посетителям, как преклоняется мир перед гением вождя, как изучают его труды в разных странах, какое значение приобретает учение «чучхе» (кимирсенизм) в нашу эпоху. Есть в Корее и Дворец подарков Ким Ир Сену (вспомним, как закрыли у нас когда-то Музей современного искусства на Волхонке, чтобы

разместить там подарки Сталину), есть и целый памятный комплекс вокруг дома, где он родился, и так далее и тому подобное. И вся эта вакханалия разыгрывается в стране древнейшей культуры, в стране великих поэтов и философов!

«Существует ли правитель для народа? Или, может быть, народ существует для правителя?» — размышлял когда-то корейский энциклопедист Чон Дасан. В КНДР все подчинено тому, чтобы народ славил своего правителя.

Конечно, для нас, знавших сталинизм и хорошо знакомых с тем, как создается «культ личности», все виденное не показалось новостью и вызывало лишь чувство горечи и негодования. Но нас всё время мучил вопрос: в какой мере люди, граждане страны, понимают нелепость маскарада, долженствующего скрыть тоталитаризм системы, ее античеловечность и антидемократизм?

Разумеется, вопроса такого не задашь. Стандартные слова о «нашем вожде» повторяют едва ли не все, с кем официально приходилось общаться. А ставить людей в неловкое положение было бы просто неэтично. Но... в горах Кимгансана мне повстречался молодой офицер, хорошо говоривший по-английски. Мы прошли с ним вместе километра полтора по аккуратно выложенной камнем тропке. Слева от нас, на склоне, показался небольшой серый домик, к которому вела лестничка.

— Что это? — спросил я.

— Сидя в этой хижине,— ответил, улыбаясь, офицер,— великий вождь руководил деятельностью партизанских отрядов, сражавшихся с японскими оккупантами...

И далее мой спутник выдал какой-то необыкновенный, связанный с той же пропагандистской темой сюжет. Я не поленился подняться к хижине и смог убедиться в том, что это была... уборная! Наедине со мной, вдали от все слышащих ушей отечественных сексотов, молодой человек позволил себе вдоволь поиздеваться над «культом»! Но для этого, как видно, надо было забраться высоко в горы...

Ущелья и скалы Кимгансана впечатляют. Впечатляет столица КНДР, город новых многоэтажных домов и многометровых монументов. Пхеньян великолепен. И великолепье это целенаправлено.

К Всемирному фестивалю молодежи в столице был выстроен грандиозный — на 150 тысяч мест (что там наши Лужники!) — стадион. Над городом высится гостиница в 105 этажей (Эмпайер стейт бильдинг в Нью-Йорке — всего 102!), а Дворец пионеров выдержит сравнение с любой правительственной резиденцией. И везде гиды говорят вам о том, что всё это дал своему народу Ким Ир Сен, а строительство велось под руководством уважаемого и любимого вождя Ким Чен Ира.

Площадь Дворца пионеров — 140 тысяч квадратных метров. Фойе в нем, если определять на глаз, не меньше Исаакиевского собора. Махина Центрального зала держится на 30-метровых мраморных колоннах. Огромные помещения в основном пустуют. Впрочем, когда мы были там, в некоторых небольших комнатах шла обычная для таких учреждений работа. В одной ребята рисовали, в другой — занимался оркестр народных инструментов, а в третьем просторном помещении стояло несколько роялей, и на них каждый из пионеров разучивал что-то свое. Коэффициент полезного действия, как говорится, названных тысяч квадратных метров минимален, в частности и потому, что дворец плохо отапливается, либо не отапливается вовсе. За час пребывания в нем мы основательно промерзли (на дворе уже была зима)..

Тоталитарные государства умеют показать товар лицом. И им есть обычно что показать.

Сооружение знаменитого теперь стадиона стоило более 400 миллионов долларов. В демократическом государстве вопрос о том, во что вкладывать средства, как правило, становится предметом ожесточенных дискуссий в парламенте. Когда решают, чему отдать предпочтение — строительству отделанных мрамором и красным деревом с инкрустациями дворцов или ликвидации карточной системы, предположительно должен восторжествовать здравый смысл. Если же «мнения народного», выражаемого согласно закону, не существует и «выбираемый» без выбора парламент единодушно голосует за любое предложение, идущее «сверху», тогда вся жизнь определяется иными приоритетами. Известно, что по части стадионов и дворцов пионеров мы тоже «впереди планеты всей», хотя не во всех сельских больницах есть элементарные, как говорится, удобства, давным давно уже ставшие принадлежностью быта всех цивилизованных стран.

В пхеньянских небоскребах, в многоэтажных, битком набитых жильцами домах всю зиму холодно, не хватает воды и нет газа, вечерами сотни окон на этажах не освещены, ибо электроэнергия строго нормирована, а хозяйки готовят пищу на керосинках (если вовремя «дают» керосин). Вы не купите здесь в магазине кусок мяса или свежей рыбы, рынок функционирует лишь три раза в месяц, цены на нем баснословные, и рис, заменяющий в Корее хлеб, выдается по карточкам.

Метро в столице великолепно. Но один из постоянно живущих здесь соотечественников, когда мы вышли на улицу, сказал мне вполголоса: «Его строили заключенные, инакомыслящие интеллигенты...»

О борьбе Ким Ир Сена с оппозицией или просто лояльно мыслящими подданными наша печать нас не информирует. Но западные источники сообщают, что в КНДР к концу 1989 года число политических заключенных превысило 150 тысяч (на 18 млн. жителей), сосредоточенных преимущественно в концлагерях на севере страны.

Иностранный гость всего этого, разумеется, может не увидеть и не узнать. Он смотрит на прекрасный, чистый и ухоженный город, на гранитные набережные Тэдонгана, на царящий везде порядок, на прилично одетых людей (одежда распределяется согласно плану) — и фасад системы ему даже должен понравиться.

Все вместе взятое именуется «раем на земле» (название брошюры на английском языке, посвященной социалистической Корее), который построила партия, «воплощенная в личности вождя».

В нормально функционирующем обществе, как известно, существует литература как одна из форм общественного сознания. Но в последнем усовершенствованном заповеднике сталинизма нет места неполитизированной идеологии.

Если у нас при Сталине не печаталось то, что не соответствовало последним установкам вождя и его подручных, то под идейным руководством Отца и Сына «нежелательное» вообще *не может быть написано*, ибо регламентация охватывает весь творческий процесс. Как сказано в пространном сочинении того же Ким Чен Ира «О киноискусстве» (1989 г.), писатель претворяет в художественном произведении «не свое мнение», а только «мнение партии» (с. 363). Кимирсеновская «литературно-художественная мысль... является основой творчества, руководством к действию и эталоном итогов» (с. 367). Ни о каком познании действительности и речи быть не может, поскольку деятельность художника есть только «образное выражение политики партии» (с. 22).

Из этой книги можно было бы бесконечно цитировать доведенные до абсурда вульгарно-социологические постулаты и причисленные к философским откровениям банальности. Вся мировая эстетическая мысль в ней игнорируется, создается впечатление, что автор не прочитал ни одного труда — ни отечественного, ни зарубежного. И если когда-то А. А. Жданов ссылался хотя бы на Белинского и Чернышевского, то здесь нет ни единой ссылки на предшественников: теоретик придумал все сам! И общество вынуждено считать эти унылые рассуждения последним словом литературоведческой мысли.

Ким Чен Ир уделяет внимание и тому, как надо административному аппарату работать с литераторами. Скажем, группа писателей получает задание: создать роман-эпопею, изображающую этапы революционной деятельности вождя — и пишется цикл произведений («Выбран якорь», «Трудный поход» и так далее), которые многократно переделываются, обсуждаются и снова переделываются, пока соответствующая комиссия не признает их доведенными до необходимой кондиции. Естественно, что индивидуальное начало в подобном сочинении минимально, да это и не опровергается: создатели (анонимные!) именуются просто — коллектив авторов.

В новейшем справочнике по Корее (1988 г.) литературе посвящено несколько страниц. Перечисляются более 50 произведений, посвященных вождю или так или иначе связанных с ним, но ни один сочинитель по имени не назван. Впрочем, о писателях заботятся — они получают от государства ежемесячное довольствие и зарплату (разную — согласно утвержденной вождем табели о рангах) — зато должны служить заказчику верой и правдой. В книжечке поэтессы Ден Ок Ян из 34 стихотворений я насчитал только 7, в которых так или иначе не воспевается Ким Ир Сен. Умершая молодой, поэтесса была, несомненно, талантлива, но руководили ею уверенно и строго. Можно лишь удивляться тому, что живое слово изредка прорывается из человеческой души в этом царстве торжествующего единомыслия.

В дни нашего пребывания в КНДР газеты осуждали Венгрию за установление дипломатических отношений с Южной Кореей и публиковали приветствия Ким Ир Сена собрату Чаушеску в связи с его очередным избранием на высокий пост. Телевидение в течение недели демонстрировало фильм, посвященный пребыванию вождя в Китае, а в интервью кубинской газете «Гранма» Ким Чен Ир разъяснял, что в его стране все идет правильно и что корейский социализм — это именно тот, о котором мечтает человечество. В вестибюле гостиницы «Потонган» с большого панно нам дружески улыбались изображенные на фоне столицы вождь с сыном (вспомним знаменитую картину Шурпина «Утро нашей Родины» с Иосифом Виссарионовичем на фоне индустриального пейзажа).

Способность самодержцев и диктаторов к самообману и самообольщению поразительна. Известно, что за несколько дней до февральской революции председатель Государственной Думы Родзянко пытался вразумить Николая II. Царь не внял аргументам государственного мужа. В печати недавно проскользнуло сообщение о том, что Чаушеску был потрясен, столкнувшись в роковые для него дни с ненавистью рабочих («Я ведь дал им всё!» — воскликнул он). Может быть, и Ким Ир Сен с сыном столь же глубоко заблуждаются на свой счет. В конце концов,

для народа Кореи это не столь уж существенно, существенно другое — что думают о своем положении и своей стране сами крестьяне, рабочие, интеллигенция... Понимают ли люди то, о чем говорил мне молодой офицер, или многие действительно уверовали в вождя и созданную им систему?

В Корее мы встречались с писателями, издателями, научными работниками. Интеллигенты в курсе всех событий, происходящих в мире, они по мере возможности следят за современной советской литературой, и некоторые из них, как удалось выяснить, читали опубликованные у нас недавно романы Пастернака и Гроссмана. Они не могут всерьез «изучать» примитивные и смешные в своей претенциозности труды вождей и «руководствоваться» ими. Но на груди почти у каждого приколот значок с изображением самодовольной физиономии диктатора — так принято. И глядя на этих людей, я вспоминал стихи корейского поэта Хон Сома, написанные еще в середине XVI столетия:

О яшме люди говорят: «булыжник»!
А это очень горько и обидно!
Ведь умный человек не ошибется,
И распознать он истину сумеет...
Не заблуждаясь — только притворяясь,
Так говорят они — и грустно это!

(перевод мой)

Грустно, когда миллионы граждан связаны неким общественным договором, согласно которому все играют в одну игру, в которой белое именуют черным, а черное — белым...

Культ личности, пережитый и осознанный нами в нескольких вариантах, есть, если использовать слова Радищева, «наипротивнейшее человеческому естеству состояние». Диктатура «социалистически-коммунистического» толка по мне даже хуже наивного старинного «самодержавства», ибо в нашем случае «царистские иллюзии масс», преобразованные в принцип фюрерства, используются для культивирования *сознательной*, умело оформленной лжи и социальной демагогии.

Вот, в сущности, все, о чем хотелось сказать мне в этих заметках. Но есть еще одно обстоятельство. Я написал их, мало надеясь на публикацию. Ведь до самых последних дней и режим Чаушеску выглядел на страницах советской прессы вполне благопристойным, хотя и несколько консервативным, а слова «тиран» и «тирания» появились только после того, как румынского «лидера» не стало. Сейчас «Комсомольская правда» и «Известия» оправдываются перед своими читателями...

Не нарушается и дипломатическое «табу», наложенное кем-то (?) на северокорейскую проблему. В пору выстраданной нами гласности оказывается возможным «поругивать» М. С. Горбачева, перепечатать из зарубежной бульварной газетки фельетон о Б. Н. Ельцине, а вот Ким Ир Сена — «не трожь!» Неужто надо обязательно ждать, пока ветер перемен продует КНДР? Тогда-то уж, по Высоцкому, «мы все узнаем про него!».

* * *

Статья эта уже была написана, когда я прочитал любопытное сообщение агентства Киодо Цусин. Оказывается, Ким Ир Сен во время прошлогодней встречи с Дэн Сяопином сказал ему, что он «собирается уйти в отставку и передать бразды правления своему сыну».

Петр Великий когда-то разработал закон о престолонаследии для своего самодержавного государства. Хотелось бы знать, каким законом должна регламентироваться передача государственной власти сыновьям генеральных секретарей?

И еще чрезвычайно важные новости узнал недавно мир из многочисленных сообщений северокорейской печати, радио- и телевизионных программ. «Выяснилось», что во всех районах страны подданные правящей династии стали обнаруживать «вырезанные на стволах старых деревьев лозунги, относящиеся к периоду антияпонской революционной борьбы» и посвященные рождению некоего порфирородного отрока. Дело в том, что как раз в это время (в 1942 году) в Корее под Вифлеемской звездой... виноват, под звездой Ноин на свет явился Ким Чен Ир! Не сообщается, прибыли ли к его «яслям» волхвы, но то, что весь народ в тот же день осознал величие свершившегося, как раз и подтверждается цитируемыми органами информации текстами: «Великим именем прославится Корея», «Будущее Кореи светло, потому что...» и так далее, и тому подобное.

...Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?

ДНЕВНИК ЛИТЕРАТОРА

Людмила
ЧАЩИНА

ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ

Литературная хроника послевоенных лет с комментарием

А может, ты поймешь
сквозь муки ада,
Сквозь все свои кровавые пути,
Что слепо верить
никому не надо.
И к правде ложь
не может привести.

Наум Коржавин

Я не знаю, как назовут наше время потомки, какие эпитеты подберут они для последней четверти двадцатого века, но мне кажется, без понятия «кризисное» им не обойтись. Слишком сложным — во всех отношениях — оказался финальный отрезок тысячелетия (больше: двух тысячелетий). Слишком много злобы, страха, насилия было взращено на делянках минувших столетий, и немыслимо обильным «урожаем тьмы» взошло все это в нашем веке, в нашей стране, чтобы позволительно было рассчитывать на элегические ноты и на то, что дальнейший путь может быть безмятежным и гордым «восхождением к вершинам...»

Наверное, это понятно уже всем здравомыслящим людям: очень многое предстоит создавать заново, начиная практически с нуля и на иных основах. И создавать придется именно нам, ныне живущим, потому что времени на раскачку нет, промедление гибельно в самом буквальном смысле слова. Как создавать? Я не знаю рецептов. И не верю в то, что наступит однажды прекрасный день, когда будет найдена панацея, способная в одночасье избавить нас от тяжести старых ошибок и груза возможных грядущих бед. Но я уверена, что невозвратно ушли в прошлое те времена, когда можно было — без риска ощутить себя, как минимум, недалеким человеком — с искренней верой и энтузиазмом претворять в жизнь поэтическую метафору: «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем...».

Мы уже не имеем права не знать, что разрушение мира насилья мнимо и бессмысленно, если оно не тождественно преодолению насилья, то есть — если не обеспечено пониманием: что, почему и как необходимо разрушить, не уничтожая на этот раз культурного слоя почвы во всех сферах жизни страны. И то, что происходит сейчас,— это, по-моему, и есть наше общее мучительное преодоление самого, быть может, страшного в наследии минувших десятилетий: беспамятства, незнания и бесправия.

* * *

Когда-то в юности меня поразили «Стихи о себе» Ольги Берггольц, написанные ею *в послевоенной тишине*, в победном сорок пятом:

...И даже тем, кто все хотел бы сгладить
в зеркальной, робкой памяти людей,
не дам забыть, как падал ленинградец
на желтый снег пустынных площадей.

Здесь, в этом четверостишии, все было странным. Среди сотен произведений поэтессы я без труда могла бы назвать десятки, в которых самым значительным, ключевым являлось понятие п а м я т ь, но нигде больше оно не возникало в таком необычном контексте: робкая... Для самой Ольги Берггольц п а м я т ь была всегда и даром, и проклятьем («Лучше б мне беспамятство...» — в отчаянье писала она в 39-м), и долгом, и спасением, но никогда — чем-то бессильным и заданным. Тогда о ком шла речь, о каких людях? И почему звучало с такой мрачной решимостью: не дам забыть?.. У меня, как и у большинства моих сверстников, в конце 60-х годов на слуху было только бесспорное для нас, ставшее расхожим из-за непрестанного беспорядочного употребления: «Никто не забыт и ничто не забыто», принадлежащее уже в большей степени газетной полосе, чем стеле Пискаревского кладбища. Но что же происходило сразу после войны, если нельзя было позволить — и кому? — забыть о недавней блокаде?..

Ответы на эти вопросы я получила много лет спустя. Они, как и следовало ожидать, далеко выходили за рамки содержания и истории одного стихотворения, потому что имеют прямое отношение к важнейшим моментам истории советской литературы и государства. Более того: и к нашим нынешним проблемам. Но чтобы объяснить это, мне придется начать издалека.

...Весной 1943 года, в разгар войны, в Москве состоялось творчески-критическое (по официальному определению) совещание, целью которого являлась «насущная необходимость подвести первые итоги почти двухлетней работы писателей в условиях войны, обсудить главнейшие задачи литературы, пути ее развития...»

На совещании выступили Н. Асеев, В. Гусев, А. Довженко, В. Инбер, И. Уткин, В. Шкловский, И. Эренбург и другие. Здесь впервые, как утверждалось в пере-

довой статье газеты «Литература и искусство», подвергнуто было «серьезной и развернутой критике многое из того, что создано советскими писателями во время войны». В этой же статье была сформулирована и главнейшая задача: «Нам нужна литература, воспитывающая и вдохновляющая народ на победу над врагом... это должна быть великая литература великого народа».

А критиковали действительно серьезно и развернуто, как на самом совещании, длившемся пять дней, так и в последующих выступлениях в печати, ставших своеобразным постскриптумом к нему; критиковали разных литераторов и за разное.

Николай Асеев, например, считал, что «вместо поисков чувства нового, вместо отыскивания равнозначных этому (Великой Отечественной войне.— *Л. Ч.*) еще неслыханных средств выразительности, поэты вернулись к старым, давно изношенным и использованным способам описания, якобы наилучшим образом отвечающим требованиям неприхотливой солдатской души», и поэтому, по мнению Асеева, поэма Александра Твардовского «Василий Теркин» (речь шла о первой половине поэмы: о тех ее главах, что уже были опубликованы к апрелю 1943 года) — это произведение, которое «могло бы относиться и ко всякой другой войне — нет здесь особенностей нашей войны».

Александр Довженко сетовал на то, что «ложно понимая идею служения интернационализму, писатели наши до сих пор плохо воспитывали народ в духе национальной гордости». Своим выступлением он словно вызвал к жизни официальное мнение, так как уже через неделю после этого, 10 апреля 1943 года, в газете «Литература и искусство» появилась передовая статья под заглавием «О русской национальной гордости». Статья повторяла — по сути — основные положения речи Довженко, но, в отличие от нее, изобиловала фразами типа «люди, потерявшие родную почву», «рабское преклонение перед заграничным» и тому подобными.

В одной из рецензий, посвященных роману Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», его автора упрекнули — в связи с линией Виктора Штрума и «еврейским вопросом» — в смещении временных пластов. Иллюзия такого смещения оказалась возможной, мне кажется, все из-за того же общего нашего незнания или полузнания. Гроссман, безусловно, прав: не после войны, не в 46-м году и не в 49-м, а в разгар Великой Отечественной существовала уже — как будто пока еще почти безобидная, а на деле жесткая, последовательная, стратегически выверенная борьба «с людьми без почвы, без роду, без племени». В апреле 1943 года, практически сразу же после завершения сталинградской эпопеи, гонение на «космополитов» уже было декларировано как государственная акция. В августе — еще шло сражение на Курской дуге — газета «Литература и искусство» опубликовала статью В. Ермилова «О традициях национальной гордости в русской литературе». С этого времени страшный механизм уничтожения очередного «вредного слоя» общества начал набирать обороты, быстро приобретая задуманные его создателями формы и масштабы. Так это было — и в жизни, и в литературе.

Вера Инбер, сделавшая в августе 1943 года обзор литературы, созданной ленинградцами в первые годы войны, говорила — в статье «Разговор о поэзии» — об опасности тематической инерции, о приверженности Бориса Лихарева, Александра Прокофьева и других авторов к одним и тем же образам и сюжетам, несмотря на постоянно меняющуюся военную и политическую обстановку. Однако, по ее словам, существовала и более серьезная опасность — психологическая инерция, которая намечалась в творчестве Ольги Берггольц. Нет, Вера Инбер посвоему отдавала должное тому, что было написано Ольгой Берггольц во время блокады, в самые тяжелые для ленинградцев месяцы: «Лучшие ее вещи не только глубоко волнуют читателя, но и обогащают его познавательно. Они рисуют перед ним с большой точностью картины блокированного Ленинграда, особенно зимы 1941—42 года», но... «Но вот настал 1943 год. А у Берггольц реакция на него замедленная. Под любым предлогом возвращается она к потрясшим ее картинам грозной зимы 1941—42 года». И — суровое резюме: «При описании страданий нас подстерегает опасность: вольно или невольно впасть в душевное самоистязание, в жажду мученичества, в пафос страданий. И тогда из-под нашего пера могут выйти строки, не закаляющие сердца, а, наоборот, расслабляющие их».

Оставим за скобками вопрос о том, представляет ли в действительности серьезную опасность для литературы и для читателей потребность поэта в возвращении к тому, что его п о т р я с л о, а также вопрос о плодотворности в искусстве методов «быстрого реагирования» на календарные и даже на военные изменения. Нелепыми в этом контексте будут и разговоры о праве художника на свободный выбор тем, героев, эпох и событий. Речь о другом: о реальном литературном процессе, в каждой капельке которого отразилось общее движение этого потока — его сила, направление, потенции. И о том, что движение было совсем не однородным и не прямолинейным, потому что создавалось оно не только «генералами» (и генералиссимусом), но — всеми. И теми, кто органично существовал в предписанном режиме. И теми, кто сопротивлялся предписанности, в большей или меньшей степени осознавая, насколько она искажает действительность, уродует души, судьбы и творчество. Потому и в писательских выступлениях 43-го года уже содержалось, пусть в свернутом виде, многое из того, что, развернувшись в 46-м, с е л е м обрушилось на страну, в первую очередь на художественную интеллигенцию. Но прежде был еще и 45-й; вспомним и о нем, чуть-чуть иначе, чем обычно...

Отгремели победные салюты над Москвой, и 15 мая 1945 года открылся Пленум Правления Союза писателей СССР, посвященный анализу литературы второй половины войны. Пленум был в общем негромким, без *серьезной и развернутой критики*, очевидно, всенародная эйфория Победы давала себя знать и здесь. Вот и в докладе Николая Тихонова «Советская литература в 1944—45 гг.» ничто, пожалуй, не предвещало грядущего с е л я, разве что вот эти фразы: «Наблюдается также (в произведениях писателей, прошедших войну.— *Л. Ч.*) странная линия грусти. ...Я не призываю к лихой резвости над могилами друзей, но я против облака печали, **закрывающего нам путь**» (выделено мною.— *Л. Ч.*).

Этот «тихий» призыв к беспамятству можно было бы оставить без внимания, предположив, например, что он является не частью хорошо продуманного и хорошо организованного действа, а всего лишь субъективным мнением докладчика. Можно было бы, конечно. Но — при одном небольшом условии: при очевидности того, что призыв этот, именно как личное мнение, остался не замеченным в литературных кругах, что он в принципе не был способен вызвать к жизни цепную реакцию всевозможных оргвыводов. Однако подобное — для нашей страны, тем более для сороковых годов — из области государственной фантастики. Ни о каких «субъективностях» и речи быть не могло, все положения доклада воспринимались так, как должно — в качестве руководства к действию. А действие, тоже как и следовало ожидать, появилось незамедлительно: так называемую точку зрения Николая Тихонова тут же принялись тиражировать средства массовой информации, и выводы тоже делались соответствующие — привычно, активно, по давно отработанной схеме.

Но все-таки тогда, весной 45-го года, еще оказалось возможным существование противодействия, точнее — противоядия. 26 мая в «Литературной газете» была опубликована статья Ольги Берггольц «Путь к зрелости», эпиграфом к которой могло бы стать то самое — решительное: не дам забыть...

Словно отвечая сразу всем своим обвинителям — и прошлым, и грядущим, словно предчувствуя близкую лавину нового беспамятства и надеясь если не остановить ее, то хотя бы предостеречь и поддержать тех, кто еще способен был думать и чувствовать самостоятельно, Берггольц писала: «Как правило, когда говорят об „отставании литературы“, имеют в виду отставание от событий, происходящих в данный момент. ...Страшно не это, а другое отставание,— отставание... от духа, от сущности времени... Существует тенденция, представители которой всячески протестуют против изображения и запечатления тех великих испытаний, которые вынес наш народ в целом и каждый человек в отдельности. Но зачем же обесценивать народный подвиг? И зачем же преуменьшать преступления врага, заставившего наш народ испытать столько страшного и тяжкого? Враг повержен, а не прощен, поэтому ни одно из его преступлений, т. е. ни одно страдание наших людей — не может быть забыто. Означает ли это... „воспевание страданий“? Нет! Воспевание страданий — это уже признание их непреодолимости... Но если поэт... изображает, как человек **преодолел** самое страшное страдание, как вышел из него не сломленным, а обогатившимся, возмужалым, пусть менее радостным и беспечным, и легким, чем был до этого,— как можно обвинять такого писателя в „воспевании страданий“? И как вообще, стремясь запечатлеть мужество советского человека-победителя, можно обойтись без изображения того, **на чем** это мужество проявилось?» (Выделено автором.— *Л. Ч.*)

Появление такой, достаточно диссонансной в общем торжественном гуде, публикации объяснимо двумя, как минимум, причинами. Во-первых, тем, что, как написала Ольга Берггольц в этой же статье,— «необычайно выросло за эти (военные.— *Л. Ч.*) годы — даже у самого обыкновенного человека — самосознание личности». Во-вторых, в те майские дни 45-го года, по всей вероятности, еще не последовала жесткая команда кремлевского горца об очередном «закручивании гаек» по отношению к интеллигенции. К той самой интеллигенции, которая, как и весь народ, во время Великой Отечественной в с е положила на алтарь отечества и потому посмела вновь поднять голову. А после Победы — как когда-то наши предки после войны 1812 года — даже позволила себе наивно надеяться на прогрессивные изменения. Точнее, по словам К. Симонова, надеяться на нечто, «двигающее нас в сторону либерализации.., послабления, большей простоты и легкости общения с интеллигенцией, хотя бы тех стран, вместе с которыми мы воевали против общего противника».

Команда еще не последовала, но генеральная репетиция уже шла, потому что

такой крамольной вещи, как выросшее самосознание личности, тоталитарное государство, возглавляемое параноидальным отцом народов, допустить, разумеется, не могло. И стоило утихнуть праздничным салютам, как начался новый этап уничтожения очередных изгоев.

Механизм этого уничтожения был отработан давно, со времен гражданской (вернее, еще раньше) с ее неизбежным четким делением на своих и чужих, с ее опытом «чрезвычаек», получивших уникальное в истории человечества право — быть одновременно следователями, судьями и исполнителями приговоров. С их главным принципом и «достижением»: возведением в закон — беззакония, прикрываемого фразами о классовой справедливости и безошибочности классового чутья, определяющего решение о жизни или смерти человека и даже целых классов.

«Карающие органы действовали точно, осмотрительно и уверенно,— писала в книге «Воспоминаний» Надежда Мандельштам, характеризуя работу органов 30-х годов, однако характеристика эта в достаточной мере отражает деятельность органов на протяжении почти четырех десятилетий.— У них было много целей — искоренение свидетелей, способных что-то запомнить, установление единомыслия, подготовка прихода тысячелетнего царства, и прочее, и прочее... Людей снимали по категориям (возраст тоже принимался во внимание): церковники, мистики, ученые-идеалисты.., люди, обладавшие правовыми, государственными или экономическими идеями, да еще инженеры, техники и агрономы, потому что появилось понятие „вредитель“, которым объяснялись все неудачи и просчеты». Думаю, слова о тысячелетнем царстве написаны Н. Мандельштам более чем не случайно. И хотя ассоциация — еще не доказательство, я позволю себе процитировать отрывок из предисловия Генриха Манна к его сатирическому альбому «III империя». В этом предисловии, опубликованном в сентябрьском номере журнала «Звезда» за 1941 год, Г. Манн анализирует природу фашизма, вскрывает несомненную связь безнравственности, принципиальной вседозволенности, бесчеловечности с социальными, экономическими, политическими характеристиками «тысячелетнего рейха»: «Не было в истории человечества режима, который сделал бы несчастными столько людей, как III империя. ...Вожди III империи любят говорить о героизме и о жизни, полной опасностей, потому что им ничего не стоит это, а стоит жизни других. Для того, кто это предписывает, быть героичным значит, что сам он ничего не должен добиваться, кроме непрерывного ухудшения жизни остальных... Требовать все новых и новых человеческих жертв, чтобы самим оставаться на вершине. Держать окружающий мир в страхе и ужасе: типичная потребность истерического больного: трусость, но не отсутствие энергии».

Однако в понятие четкой работы механизма уничтожения, кроме отлаженных действий органов, часто входило и то, что можно назвать предварительной обработкой общества. Почти каждому большому потоку репрессий предшествовала и сопутствовала масштабная политическая кампания, целью которой была психологическая подготовка населения страны к новой волне арестов, к их оправданности и даже необходимости. Такая подготовка, как правило, включала массовые публичные взрывы негодования по отношению к изгоям, всплески доносов, саморазоблачений и т. д. Разумеется, во всем этом действе далеко не последнюю роль играли пресса и так называемое общественное мнение, всегда готовые ринуться на врага по первой же команде сверху.

Принято считать, что соответствующая команда прозвучала в конце лета 1946 года (Н. Мандельштам делает в «Воспоминаниях» любопытное замечание: «весной — обычно — в мае — и осенью происходили довольно широкие аресты преимущественно среди интеллигенции. Они отвлекали внимание от очередных хозяйственных неудач»). В августе было опубликовано печально знаменитое Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“», положившее начало открытой и масштабной борьбе с космополитизмом, с низкопоклонством перед гнилым Западом и т. п.— то есть послевоенному этапу разгрома интеллигенции, в первую очередь — литературной. Так это запечатлелось в народной памяти, и в принципе позволительно думать, что так оно и было, если, как и прежде, рассматривать борьбу с космополитизмом как нечто самостоятельное. Если отделять ее от общего течения: от стремления «верхов» заставить забыть всю страну, самые разные слои населения о том, что они испытали во время войны, особенно в первые ее месяцы, и что они видели на том самом гнилом Западе. Способы, при помощи которых людей заставляли м о л ч а т ь и н е п о м н и т ь, использовались разнообразные, далеко не всегда с очевидностью связанные между собой единой целью, но это не должно нам мешать попытаться представить по возможности всю картину.

Я уже говорила, что первые раскаты грома отчетливо слышались еще в 1943 году. И раскаты эти отнюдь не исчерпывались требованием к писателям «не задерживаться» на событиях начала войны, хотя такое требование само по себе очень симптоматично. С того 43-го года на архипелаг ГУЛаг устремился мощный поток новых обитателей. Во-первых, тех, кто оказался в оккупации (мы знаем, в какой степени — по своей вине) и кому только по этой причине с легкостью предъявлялись обвинения в пособничестве врагу. Во-вторых, тех, кто побывал в плену (даже если плен исчислялся часами). Но горше и круче всего судили тех, «кто побывал в Европе, хотя бы остовским рабом, потому что он видел кусочек европейской жизни... Рассказывать же, что в Европе вовсе плохо, совсем плохо, совсем жить нельзя — не каждый умел. По этой-то причине, а вовсе не за простую сдачу в плен и судили большинство военнопленных — особенно тех из них, кто повидал на Западе чуть больше смертного немецкого лагеря» (А. Солженицын).

Поток побывавших в оккупации и в плену шел на архипелаг ГУЛаг и в 44-м году, и в 45-м. Шел он и в 46-м, и позже, являясь все это время едва ли не основным. Однако с началом новой «охоты на ведьм» параллельно с ним возникает и ширится тот самый поток, который своим появлением обязан — на внешнем уровне — именно августовскому Постановлению 1946 года. Но охота по-сталински не была бы достойна этого имени, если бы ограничивалась только официальными директивами и мероприятиями. Нет, в такую охоту втягивались все — да так, чтобы по крайней мере большинство населения страны, еще находящегося н а в о л е, чувствовало себя — и в этот момент, и потом, десятилетия спустя,— причастным к этой охоте. То есть: чтобы оказалось прочно связанным круговой порукой н а р о д н о й р а с п р а в ы. Метод, как известно, не новый, его практиковал еще Сергей Нечаев, от которого именно из-за этого открещивались затем все последующие поколения российских революционеров. Метод не новый, но никто, кроме Сосо Джугашвили, не сумел сделать его основой государственной с и с т е м ы.

Уже 24 августа 1946 года, через десять дней после выхода Постановления, «Литературная газета» опубликовала резолюцию общегородского собрания ленинградских писателей. Из публикации явствовало, что это собрание с большим энтузиазмом спешит одобрить Постановление, признает его «целиком правильным, полностью присоединяется к нему и считает его боевой программой для всей деятельности ленинградских писателей».

Еще через десять дней, 4 сентября, была принята резолюция Президиума Правления Союза советских писателей, в которой четко, без излишней эмоциональности «дана оценка чуждым влияниям» и намечена обширная программа действий по борьбе с ними. «Именно вследствие отсутствия подлинно руководящей и направляющей работы Правления ССП,— говорилось в резолюции,— стало возможным широкое распространение аполитичной, безыдейной, оторванной от народной жизни поэзии Б. Пастернака... В творчестве молодых поэтов (например, в стихах А. Межирова) проявляется болезненное любование страданием, нытье. ...Борьба против чуждых влияний в литературе, против всяких проявлений безыдейности и аполитичности... должны стать главным содержанием всей работы Союза писателей».

А дальше — по хорошо накатанному пути: в том же номере от 7 сентября «Литературная газета» отводит практически всю оставшуюся от публикации Резолюции печатную площадь выступлениям известных писателей, и — охота берет настоящий разгон. Мне очень хочется назвать имена тех, кто, закаленный во многих боях подобного рода, с готовностью (это чувствуется по тону, содержанию, лексике их речей) откликнулся и на этот раз: Н. Асеев, В. Вишневский, Б. Горбатов, В. Катаев, С. Михалков, А. Прокофьев, М. Рыльский, К. Симонов, А. Суркова, Н. Тихонов, А. Фадеев. Наивно было бы ожидать, что хоть один из них попытается (осмелится!) — нет, не защитить гонимых, что по тем, да и по более поздним временам, было равносильно самоубийству,— пусть только чуточку смягчить ситуацию, ну, пусть всего лишь нейтральной интонацией. Они были единодушны в страстном и искреннем порыве: отмежеваться, и как можно скорее; в требовании одного — незамедлительной расправы.

«С какой стати мы проявляем своего рода угодничество по отношению к человеку (речь идет о Борисе Пастернаке.— *Л. Ч.*), который в течение многих лет стоит на позиции неприятия нашей идеологии,— негодовал Александр Фадеев.— Благодаря тому, что о нем не сказано настоящих слов (!), его поэзия может запутывать иных молодых людей, казаться им образцом, выступать окруженной своеобразным „ореолом“. А что это за „ореол“, когда в такой жестокой борьбе, в которой проливали кровь миллионы наших людей, поэт никак не участвовал? Война прошла, а кроме нескольких стихотворений, которые ни один человек не может считать лучшими у Пастернака, он ничего не дал».

Для Михаила Зощенко у Фадеева нашлись слова, больше всего напоминающие речи времен РАППа: «Ему (М. Зощенко.— *Л. Ч.*) видно только низменное и гадкое, то, что живет в нем самом».

Борис Пастернак, Анна Ахматова, Михаил Зощенко, оказавшиеся вновь под смертельным обстрелом почти всей «литературной общественности» — это все-таки понятно: слишком значительны имена, а точнее — слишком ярки и независимы для эпохи всеобщего духовного рабства. Естественно, что в эту эпоху они у многих

вызывали желание подавить и расправиться — или с помощью «настоящих» слов, или с помощью других, не менее привычных методов. Можно, например, просто не печатать ни строчки пожилого, больного человека, живущего литературным трудом, и тем самым фактически приговорить его к голодному и нищенскому существованию. Так это было, и не один раз; именно это проделали с Анной Ахматовой и Михаилом Зощенко, и потому закономерно, что прежде всего их имена ассоциируются с Постановлением 46-го года. Но, как ни страшна, как ни позорна эта страница, она — лишь часть истории, и даже не всеобщей, а только литературной хроники первых послевоенных лет. Хроники, в которой, к сожалению, еще очень много гнусных страниц, но в силу разных причин, может быть, и в силу множественности, эти страницы менее памятны большинству, чем то, что связано с судьбами А. Ахматовой, М. Зощенко, Б. Пастернака.

Так, долгое время оставалось незамеченным то обстоятельство, что на протяжении, как минимум, нескольких лет существовала страшная в своей последовательности линия подавления и уничтожения, вплоть до физического, той литературной молодежи, которая осмеливалась думать и помнить. Более того: смела говорить и писать о своих мыслях и ощущениях. Давайте попробуем обозначить хотя бы несколько вех на пути расправы государства с творческим молодняком, как любили выражаться в 30-х годах. А точнее — расправы с тем самым б у д у щ и м, во имя которого, как торжественно провозглашалось с октября 1917 года, и приносились многочисленные кровавые жертвы, в том числе и такие, перед которыми, по пророческому ощущению В. Г. Короленко, померкло все, что казалось невиданными бедствиями еще в конце гражданской войны.

В. Г. Короленко писал об этих страшных предчувствиях летом и осенью 1920 года, в письмах к А. В. Луначарскому, задавая ему — тогда! — едва ли не все нынешние наши вопросы и анализируя положение в стране, в сущности, именно так, как, спустя семь десятилетий, пытаемся это делать мы. Луначарский не ответил ни на одно из шести писем Короленко. Думаю, меньше всего молчание наркома просвещения зависело от внешних — деловых, почтовых и т. д.— обстоятельств. Вероятно, все было проще и много серьезнее. Ответ предполагал такую меру мужества и ясного видения ситуации, на которую не были способны люди, стоявшие тогда у власти. История показала, что тщетны были надежды Короленко на способность правительства собрать «все напряжение честности и добросовестности для того, чтобы признать свою огромную ошибку. Подавить свое самолюбие и свернуть на иную дорогу...»

Помните негромкую фразу из доклада Николая Тихонова — «я против облака печали, закрывающего нам путь...»? Это можно считать первой вехой. Веха вторая: резолюция Президиума Правления ССП — фраза о болезненном любовании страданием, нытье в произведениях все тех же молодых авторов. Резолюция — напоминаю — была опубликована 7 сентября 1946 года, а меньше чем через месяц «Литературная газета» напечатала большую статью критика Федора Левина «Жизнь идет вперед», почти целиком посвященную творчеству молодых и талантливых поэтов-фронтовиков: Семена Гудзенко, Александра Межирова, Сергея Орлова. Это было третьей вехой...

Делая обзор журнальных публикаций за 1945 год, Ф. Левин писал: «„Знамя“ из номера в номер печатает стихи большей частью молодых поэтов. Сколько грусти во многих из этих стихотворений, сколько безысходной печали, порою переходящей в нытье. Как плакальщицы, разместились поэты на журнальных страницах и на все лады выводят свои мотивы. ...В № 5-6 пишет Сергей Орлов: „Его зарыли в шар земной...“ ...В седьмом номере „Знамени“ Семен Гудзенко: „Мы не от старости умрем — от старых ран умрем...“ ...Дело вовсе не в цитатах, а в атмосфере, которой проникнута эта поэзия, в той непрерывной ноте ноющей жалобы и безвыходной, размагниченной тоски, которая звучит в этих и многих других стихах... Но где истоки этих тоскливых настроений? Откуда они возникают? При многих различиях есть один общий источник упадническо й грусти — бездумность, безыдейность. Люди не думают над тем, в какое время они живут, для кого и для чего пишут и кто они сами. Забывая о том, каково место поэта в окружающей жизни, они роются в собственных ощущениях и ощущеньицах. И грусть у них чаще всего не настоящая, а литературная, плод влияний старой декадентской поэзии и есенинщины, подражание, поза, мода. (Едва ли не каждое предложение этой статьи — замечательной в своем роде по той старательности и откровенности, с какой воплощались в литературную жизнь очередные директивы — хочется прокомментировать. Но я ограничусь напоминанием: Семен Гудзенко был тяжело ранен зимой 1942 года и умер в феврале 1953 года, в буквальном смысле слова — от старых ран, проведя во время войны и после нее много месяцев в госпиталях.— *Л. Ч.*) Оборотная сторона этой грусти — равнодушие к жизни... Мы не забудем прошлого: неповторимого льда Ленинграда, пути-дороги нашего полка, мы всегда будем помнить и вспоминать о них. Но мы не хотим вмерзать в лед, мы не все сложили в жизни, что могли, мы рвемся в завтра, мы строим коммунизм, мы готовы снова и снова бороться за него. И дело поэтов — звать за собой, вдохновлять и сплачивать людей в этом великом нашем деле вокруг партии и по ее предначертаниям».

Я прошу прощения за столь длинную цитату, но тут действительно ни убавить, ни прибавить. Хотя воистину дело не в цитатах и даже не в том, что бездумными и безыдейными объявлялись произведения, которые позже по праву вошли в золотой фонд советской литературы. Прав Федор Левин — дело в атмосфере!

...Осенью 1946 года Александр Фадеев говорил в уже упоминавшемся выступлении: «Мне кажется, среди отдельных студентов Литературного института и некоторых молодых людей из поэтической секции Союза писателей культивируются вкусы, с которыми мы должны были бы бороться».

Осенью 1948 года, когда эта борьба с чуждыми вкусами и влияньями приняла уже всенародный размах, «когда газеты подымали русский приоритет и бичевали безродных космополитов», Литературный институт закономерно оказался, по выражению Всеволода Вишневского, в зоне непрерывной заботы и внимания неравнодушной общественности.

Охота шла по всем правилам. На очередном писательском собрании «от обличенных преступников требовали покаяния, тащили их на трибуну. Они, бледные, потные, помятые, прятали глаза, невнятно оправдывались.

— Позор! Позор! — клич, взывающий к мести.

На возвышении за монументальным зеленым столом величаво восседал президиум — неподкупный трибунал во главе с Фадеевым. У Фадеева было спокойное, суровое выражение лица.

Он взял себе заключительное слово. Спокойно, но жестко, без кликушеского надрыва подтвердил состав преступления: „Идеологическая диверсия... Духовное ренегатство... Скрытое предательство по отношению к родине...“ И вновь повторил имена, глядя в зал, где среди безвинных людей прятались виновники. И зал дружно ревел Фадееву:

— Позор!! Позор!!

Дружно. Восторженно. Благодарно». (В. Тендряков. «Охота»).

И снова: это не просто знак времени — это знак общегосударственной с и с т е м ы, и уже как следствие — организации под названием Союз советских писателей, призванной (в идеале) защищать права своих членов. Но не было защиты: ни в 48-м, ни в другие годы. «Многие авторы при жизни подвергались в печати и с трибун оскорблениям и клевете, ответить на которые не получали физической возможности, более того — личным стеснениям и преследованиям (Булгаков, Ахматова, Цветаева, Пастернак, Зощенко, А. Грин, В. Гроссман)»,— писал в письме к IV Всесоюзному съезду писателей в мае 1967 года Александр Солженицын.

В Литинституте на заседаниях парткома назывались имена тех, кто «нес в себе заразу безродности». И бывший фронтовик Вася Малов бестрепетно, без тени сомнения в правомерности того, что вершилось его именем и с его активным участием, указывал «на Костю Левина, на Бена Сарнова, на Гришу Фридмана, и все ждали, что вот-вот он укажет на Эмку Манделя». Но Вася Малов не указал на Манделя, потому что — бывают же чудеса! — Малов, «гроза евреев, биологически их ненавидящий, оказывается, тайком, ни с кем не делясь, страдальчески любил стихи Эмки».

Указал кто-то другой, и поэту даже не кричали «позор!» на общем собрании. Его просто арестовали, и в этом была несокрушимая логика режима, не могущего допустить, чтобы на воле оставались те, кто смеет помнить, кто способен вслух сказать о неназываемом: например, как это сделал Мандель,— о дне 16 октября 1941 года, дне паники в Москве, и в чьих стихах «знакомые вещи вдруг представали... не с той стороны, с какой мы привыкли их видеть».

Эмка Мандель, которого его однокурсники единодушно считали самым талантливым, известен советским и зарубежным читателям как поэт Наум Коржавин. Он начал печататься в шестнадцатилетнем возрасте, в 1941 году, но Литературный институт окончил только в 1959 году, спустя почти десятилетие после описываемых Тендряковым событий. Колеса истории безжалостно прокатились по судьбе Наума Коржавина; в Советском Союзе у него вышла только одна книга — сборник стихов «Годы» (1963 г.) В 1972 году он вынужден был эмигрировать.

Талант — действительно опасная вещь, а талантливые и молодые опасны вдвойне, особенно если они еще не разучились думать, наблюдать, делать выводы. Им гораздо труднее, чем, скажем, «бывшему рабкору» Юлию Искину, давнему другу Александра Фадеева и одному из главных героев рассказа Владимира Тендрякова «Охота» [1], внушить, что к советским литераторам «человеческие мерки неприменимы».

«Мы не люди, Юлька, мы солдаты, по трупам которых идут к победе. Люди

---

[1] Юлий Искин, в отличие от части других героев рассказа, вымышленный персонаж, так называемый собирательный образ. По мнению Б. Сарнова, одним из основных прототипов Искина был известный литератор 30-х годов Александр Исбах.

будут жить после нас»,— так пытается объяснить Фадеев в приватной беседе с другом, перед тем публично им преданным, собственные привычные малодушие, слепоту, жестокость. И искренне старается (в который раз?) оправдать и эту жестокость, и чудовищное надругательство тоталитарного государства над душами и судьбами людей необходимостью сегодняшних жертв во имя светлого будущего, словно и впрямь нужны потомкам спокойствие и благополучие, замешанные на крови миллионов тех, кто жил до них.

Искина арестовали через несколько дней после этого разговора, но шел уже 48-й год, ему удалось выжить. А о Фадееве он и в конце жизни отзывался «почти со слезами: „Он — жертва, никак не преступник. Боже упаси думать о нем плохо!“». А. Фадеев, как известно, застрелился 13 мая 1956 года, именно в тот год, когда «без оркестров, без митингов, без цветов, тихо, скромно, потаенно встречала Москва тех, кого в тридцать седьмом и сорок восьмом она отправляла в Ачинск, на Колыму, в Воркуту». Официальное медицинское заключение объясняло этот выстрел депрессией, вызванной очередным приступом «тяжелого прогрессирующего недуга — алкоголизма». Мы, однако, вольны думать о нем так, как считаем нужным, хотя бы потому, что знаем: во все времена и при всех режимах были люди, которые оставались людьми — без скидок на эпоху и обстоятельства.

Наум Коржавин, вернувшийся в Москву, как и многие, в 1956 году, за четыре года до этого возвращения писал во Вступлении в поэму, опубликованном у нас впервые в 1988 году:

Да! Мы в Бога не верим,
　　　　　　но полностью веруем в совесть,
В ту, что раньше Христа родилась
　　　　　　　　　　и не с нами умрет.
Если мелкие люди
　　　　　　　　ползут на поверхность
　　　　　　　　　　　　　　в давнт,
Если шабаш из мелких страстей
　　　　　　　　　　называется страсть,
Лучше встать и сказать,
　　　　　　　　даже если тебя обезглавят,
Лучше пасть самому,
　　　　　чем душе твоей в мизерность впасть.
Я не знаю,
　　　　　что надо творить
　　　　　　　　　　для спасения века,
Не хочу оправданий,
　　　　　　　　снисхожденья к себе —
　　　　　　　　　　　　　не прошу...
Чтобы жить и любить,
　　　　　　　　быть простым,
　　　　　　　　но простым человеком —
Я иду на тяжелый,
　　　　　　　бессмысленный риск —
　　　　　　　　　　　　　и пишу.

* * *

Мы слишком долго чувствовали себя победителями. Мы вырастали с ощущением, что страна наша шла только от победы к победе — от Великой Октябрьской революции к грандиозным космическим завоеваниям. И старались не видеть, не знать, не помнить, что это был путь тупиковый и путь п о т р у п а м — как в переносном, так и в самом страшном, буквальном смысле слова.

С песнями, борясь и побеждая, мы шли за Лениным, Сталиным, Хрущевым, Брежневым... Теперь идем за Горбачевым, в очередной раз незлобиво надеясь на ум и добрую волю очередного правителя. И вновь кажемся себе чуть ли не победителями — в разоренной, нищей стране, находящейся на самом краю экономической катастрофы,— только потому, что привычно с гордостью внимаем речам о том, какой огромный резонанс вызывает в мире наша перестройка. Но воистину: нет более уязвимых людей, чем победители. Они наивно продолжают думать, что их действительно не судят, и потому считают, что могут позволить себе не задумываться над пройденным и сотворенным.

Давайте попробуем, наконец, осознать, что мы — побежденные в самом главном, что составляет основу жизни человека, нации и государства. И не прячась за новые заклинания, давайте попробуем трезво, отчетливо уяснить себе все, что было с нами за семьдесят с лишним лет: чтобы не повторить кровавый путь незнания, бесправия и беспамятства.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Василь Быков. Облава. «Новый мир», 1990, № 1.

С самого начала мы знаем, что он обречен. Неважно, утонет ли он в болоте, затравят ли его собаками, умрет ли он от голода и холода в лесу у родной деревни — он, Хведор Ровба, уже мертвец. Он хуже волка — того хоть из родного дома не выгоняли и охотились на него, поди, с флажками. С Хведором проще. Вон уже люди стоят цепочкой вокруг болота, пощелкивают кнутами, переговариваются. Сколько ему там еще жить на роду написано...

На заклание его обрекла собственная, родная власть. Может, и не надо было ей верить, да как же не верить-то: ведь дрался за нее, убеждал других, и землю она дала, и на обещания щедра была, как никакая другая,— только работай, трудись, обзаводись хозяйством, живи культурно! И не за что, хоть убей, зацепиться Хведору, чтобы понять — кому и какое зло сотворил он? За что его с женой и маленькой дочкой на север, под Котлас угнали? За какую вину погибли там его Ганнуля, а потом и Оленька? Кому это нужно — с девочки последние валенки снять и почти босой, в дырявых чулочках, по снегу пустить? Да за что, люди, за что?!

В. Быков не щадит читателя. Ни на минуту не дает он надежды, что убежавший с поселения под чужим именем Хведор спасется. И какое ему, скажите, может быть спасение, откуда, если родная страна отторгла его, как паршивого подсвинка от здорового стада?

И все-таки финал повести еще страшней. В той цепочке, что окружает Хведора, стоит его сын, его Миколка. Тот Миколка, что тихонький в детстве был, послушный,— а потом в комсомол вступил, от семьи оторвался, стал по поселку в начальниках ходить, людьми командовать. Бедный сынок, думает теперь Хведор перед смертью, его, наверное, заставили. А может, начальник приказал... «Лещук, вон туда пырани!» — это последнее, что слышит Хведор из уст сына.

Знала ли старая литература такие трагедии? Знала ли, до какой степени может пасть общество, чтобы дети охотились за отцами, чтобы семьи были раскиданы по свету одинокими могилами без крестов, чтобы на родине, у порога своей хаты, человека травили хуже бешеной собаки? Чтобы этим занималось *все государство?*

Теперь мы это знаем.

Е. ЩЕГЛОВА

Владимир Рецептер. Прошедший сезон, или Предлагаемые обстоятельства. Л.: Искусство, 1989.

По неизвестно кем и когда заведенной традиции в выходных данных книги должно стоять определение жанра. В этой книге его нет. Жанр в данном случае указать столь же трудно, как определить профессиональную прописку автора: актер? поэт? режиссер? литературовед? Тяга к синкретизму — знамение времени.

Это воспоминания... Об отце и первых театральных учителях, о Г. Товстоногове и П. Антокольском, о старой актрисе, репетировавшей с А. Блоком «Розу и Крест», и А. Ахматовой. Но при этом разговоры с Ахматовой сводятся почти исключительно к спору о личности и авторстве Шекспира, а Антокольский после смерти возвращается Гаэтаном к постановщику блоковской пьесы. Искусство и жизнь неслиянны, но и нераздельны в этой книге. Литературоведческая догадка о «Русалке» соседствует с размышлениями актера и режиссера о произведениях Грибоедова, Пастернака и опять, в который раз, Шекспира и Пушкина. Иногда же автору кажется, что удобнее всего ему объясниться собственными стихами, которые он скромно перепечатывает прозаической строкой, отклоняя намек на соперничество с великими тенями.

Однажды Рецептер вынужден был растолковывать человеку, для театра постороннему: «Задача моя — воплощение, без которого не решить на сцене ни одной духовной проблемы...» Пожалуй, это и увлекает в книге больше всего — процесс проживания литературы как жизни, ощущение художественного пространства как физического, подбор психологических отмычек к поэтическим тайнам. По мгновенности душевного отклика понимаешь, что и в тебе живет эта актерская потребность. С детской верой в чудо раскладываешь вместе с автором этот театральный пасьянс, в котором Дон Гуан неожиданно сближен с Сальери, Чацкий оказывается едва ли не виноватее Софьи, а Репетилов предстает трагической фигурой. И пусть чудо это не всегда происходит, пусть результат иногда вызывает досаду, но уже невозможно отказаться от игры со столь серьезной подоплекой.

Если все же попытаться определить жанр книги, я бы назвал ее исповедью. Здесь все эпизоды оборачиваются фрагментами судьбы, а Дон Гуан и Моцарт, Вальсингам и Юрий Живаго, Чацкий и Гамлет — персонажами биографии. Автор ревниво примеряет на себя жизни не только литературных героев, но и реальных людей. Не оттого ли так педантично отмечает: «Павел Борисович Луспекаев умер в возрасте сорока трех лет»; «Эдмунд Кин умер сорока шести лет»; «Владимир Высоцкий не дожил до сорока

трех»... В ранней смерти всегда есть некий укор и напоминание.

«Актер,— пишет Рецептер,— не бывает удовлетворен своей жизнью, сколько бы лиц ни представил, и всегда выбывает из игры, так до конца и не выразившись...» Может быть, поэтому, сняв грим и облачившись в домашнюю одежду, он и берется за перо?

Н. КРЫЩУК

А. Мелихов. Весы для добра. Л.: Советский писатель, 1989.

Книга эта выглядит несовременной и несвоевременной сегодня, в пору массовых движений и акций, вершащихся под лозунгами общественного спасения. Мелихов же старомодно привержен личности. Он пристально, въедливо, меняя точки наблюдения, исследует становление индивидуальности, возникновение общей «капиллярной системы» между нею и миром.

Сквозной герой повестей «Весы для добра», «За светлым покрывалом», «События и открытия» — молодой человек 70-х годов, показанный в разных возрастных срезах: подростком, студентом, начинающим ученым. Главное же свойство героя, не зависящее от возраста,— жадный интерес к «веществу существования», определяющему человеческое поведение в самых различных обстоятельствах.

Проза Мелихова круто замешана на рефлексии, она разлагает в своей едкой аналитической среде обычные жизненные явления, извлекая из них смысловые вытяжки. И вместе с тем довольно вязкая эта субстанция полнится кристаллами точных наблюдений, ярких, острых зарисовок, схватывающих «натуру» в неожиданных, остраняющих ракурсах.

Взаимодействием двух этих начал и определяется своеобразие писательской манеры Мелихова. Порой — как в повести «Весы для добра» — чаша рефлексии перевешивает, и повествование сразу получает оттенок резонерства, риторичности. Но в других повестях аналитизм и пластическая выразительность авторского слова пребывают в динамическом равновесии, оттеняя и дополняя друг друга.

И еще одно. В некоторой герметичности повествования, парадоксально сочетающейся с выходами в Историю, к теме народовольчества, прочитываются и драматические знаки общественной невостребованности, «потерянности» поколения, к которому принадлежат и герой, и автор книги.

Думаю, что и в наше насквозь политизированное время найдется немало читателей, способных оценить умную, духовно сосредоточенную прозу А. Мелихова.

М. АМУСИН

Валерий Сажин. Книги горькой правды. М.: Книга, 1989

История читательского восприятия книги (а журналист и критик — тоже читатели) — неотъемлемая часть истории литературы. Три сочинения, о жизни которых в сознании людей идет тут речь, созданы в прошлом веке не мировыми классиками, а писателями, так сказать, второго литературного ряда (нынче бы в первом таких побольше!). Однако оценили их сразу. Кто-то — по истинной цене. А кто-то...

Журнал 1860-х годов свидетельствует: автора одной из этих книг именовали «Иудою-предателем, призывали на его голову проклятие неба и страшные кары начальства за его клевету и злонамеренность».

Причина — повествование о жуткой системе попрания человеческого достоинства в «Очерках бурсы» Помяловского.

«Ну скажите на милость, описывал ли кто так готтентотов даже? Не только готтентотов, обезьян? И это русский писатель ⟨...⟩ И это молодой писатель, представитель так называемого реального направления, воображающий, что он любит народ?»

Это — о «Подлиповцах» Решетникова, рассказавшего нам о страданиях крестьянина, доводящих его до одичания.

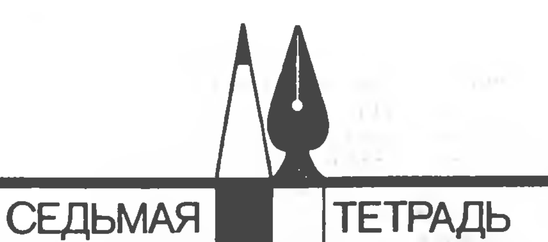
А случалось, публика из «первого ряда кресел» возмущенно уходила с чтения рассказов Слепцова, поведавшего о безвременье «Трудного времени», о том, что в обществе, не знающем демократии, и «великие реформы» чреваты рабством. Наслушался писатель и о своем цинизме, и о неверии в Россию...

«Ложь», «надругательство», «ненависть»... Эти слова и сегодня звучат в адрес тех изданий, что публикуют горькую правду и очень раздражают «читателей в гамаке».

Ну, такие издания в накладе не останутся — хулители, сами того не желая, ставят их в почетный исторический ряд. Хуже нам, читателям,— какие традиции мы будем хранить под причитания о верности традициям? Охотнорядских театралов, запечатленных в «Пучине» Островского? Шишковского Ильи Сохатых с его эстетикой «изящных ангелов»? Фельдфебелей, с истовостью, недоступной Скалозубу, уверовавших в свое призвание служить по совместительству вольтерами?

Валерий Сажин вспомнил, как читались книги горькой правды, очень вовремя. И рассказал о том с увлекательностью и остротой, достойными драматизма предмета.

А. ХОДОРОВ



СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

Дело прошлое

Дневник этот писался в Петрограде в роковые месяцы. Вскоре после последней записи автор, по причинам, о которых мы можем только гадать, отдал рукопись сотруднику английского посольства в Петрограде. Уже к ноябрю 1918 г. большинство иностранных посольств в Петрограде было закрыто, и в городе остались всего три дипломатические миссии: шведская, датская и норвежская. Норвежская миссия в это время представляла интересы шестнадцати других дипломатических миссий и посольств, в том числе и английского.

Но незадолго до того, как английское посольство закрыло свои двери, сотрудник, который получил дневник из рук автора, обратился к норвежскому инженеру Христиану Христиансену, вскоре после этого вернувшемуся в Норвегию, с просьбой взять с собой дневник и сохранить его для будущего[1]. Таким образом рукопись попала в Норвегию, где она 50 с лишним лет провалялась среди бумаг инженера Христиансена. Не понимая русского языка, он, видимо, не знал, что с ней делать. Только в 1971 г., незадолго до своей смерти, он принес дневник в Славяно-балтийский институт университета в Осло, где рукопись находилась до весны 1985 г., после чего была передана в Университетскую библиотеку.

Инженер Христиансен не знал имени автора дневника, которое не указано в самой рукописи. Нам также не удалось установить личность автора. Это попытался сделать Борис Неплох, впрочем, читатели с его версией уже знакомы. Нам представляется, что она не лишена оснований: Сергей Константинович Бельгард вполне мог быть тем, кто вел этот дневник.

Еще в 1912 г. «петроградский чиновник» был близок к тогдашнему председателю Совета Министров В. Н. Коковцеву. Он встречался с ним и после октября 1917 г. Хотя мы не знаем, в силу каких причин или обстоятельств существовала эта близость, но она свидетельствует о том, что наш автор вращался в самых высоких кругах дореволюционного общества.

Судя по всему, он был дворянином и закончил Императорское Училище правоведения — закрытое учебное заведение, среди питомцев которого можно назвать П. И. Чайковского, К. К. Арсеньева, И. С. Аксакова, В. О. Ковалевского, К. П. Победоносцева и др. Он был близок и к салону графини Клейнмихель, у которой собирались, в основном, аристократы. Достаточно прочесть воспоминания графини Клейнмихель «Из потонувшего мира» (Берлин, 1923), чтобы убедиться в том, что настроения нашего чиновника были типичны для широких кругов высшего петроградского общества.

Но автор дневника имел широкие связи и с «буржуями». Ведь он был не просто чиновником, петербургским бюрократом, но еще и финансистом, или как сказал бы советский историк, «представителем финансового капитала». Он — член правления различных акционерных обществ и банков, у него связи с крупнейшими русскими капиталистами (Стахеевы, Вавельберги). Для царской России такое соединение государственной службы с частнокапиталистической финансовой деятельностью было явлением нормальным (лишь самым высшим государственным чиновникам трех первых классов табеля о рангах запрещалось входить в правления акционерных обществ и банков). Видимо, участием нашего автора в различных предприятиях, в том числе и иностранных (точнее, иностранно-русских), и объясняется его близость к дипломатам, аккредитованным в Петрограде: к бельгийцам, датчанам, шведам, норвежцам.

[1] Сведения о том, как эта рукопись оказалась в Норвегии, сообщены Енсу Петтеру Нильсену профессором Арне Галлисом в письме последнего от 27/XII—1976 г. Именно профессор Галлис в 1971 г. в качестве руководителя Славяно-балтийского института принял рукопись.

Не будем преувеличивать значение данного дневника. Он состоит из 530 рукописных страниц, но для публикации мы выбрали только пятую часть. Остальное — это пересказ газетных сообщений и — что самое огорчительное — без каких-либо комментариев со стороны автора. После октября 1917 г. автор, по необходимости, читал преимущественно большевистские газеты, и дневник — это часто пространное изложение декретов Советской власти, хода Брестских мирных переговоров и так далее. Все это, без сомнения, свидетельствует о живом интересе автора к современности, но отсутствие его личного отношения к событиям превращает многие — опущенные нами — страницы дневника в скучное чтение.

Жаль, что автор не руководствовался словами Зинаиды Гиппиус, в том же городе и в те же годы писавшей свой «Петербургский дневник»: «Одно, что имеет смысл записывать — мелочи. Крупное запишут без нас». И в нашем дневнике есть, конечно, мелочи, о которых не прочтешь в многотомных «Декретах Советской власти» или в многочисленных историях Октябрьской революции. Историк русской революции может, например, заинтересоваться сведениями о забастовке чиновников министерства финансов. Здесь, пожалуй, есть подробности, которые раньше не были известны.

Кроме этих «мелочей» мы выбрали только те места, где автор пишет *свое* — и своими словами, где видны его оценки и пристрастия. Самое интересное в дневнике — это политические взгляды автора, его отклики на происходящие события. Дневники — как и письма — дают моментальный срез времени. Читая их, мы ощущаем события непосредственно, в их развитии, мы наблюдаем, как меняется точка зрения автора, как он порой противоречит самому себе, даже если ему и кажется, что он вполне последователен. В этом отличие дневникового жанра от мемуарного, где прошлое видится с высоты сегодняшнего дня... В этом смысле и наш чиновник не является исключением. Его взгляды сложны и противоречивы. С одной стороны, он, безусловно, приверженец старого режима и монархист. Он явно ненавидит кадетов, социалистов-революционеров и Керенского, «который думает только о себе, о своей власти и губит Россию окончательно и бесповоротно». Он признается, что он предпочитает Ленина, «открытого врага, Керенскому, этому волку в овечьей шкуре». Совершенно естественно, что наш автор воспринимает Октябрьский переворот со злорадством, видя в нем конец ненавистного ему режима социалистов и демократов. Бывают моменты (в 1918 г.), когда он чувствует, что все-таки при Временном правительстве жилось лучше. Но чем хуже, тем лучше! Наш петроградский чиновник возлагает свои надежды именно на то, что большевики, «углубляя» революцию, доведут ее до абсурда. И тогда все снова станет на свои места.

Совершенно логично, что он отрицательно относится к Учредительному собранию, возбуждающему надежды на создание нового демократического правительства под предводительством Чернова и эсеров. Учредительное собрание он называет презрительно, как и Ленин, «учредилкой». Приди снова к власти эсеры, они ввели бы революцию в рамки умеренности, чего наш автор совсем не хочет: «На углубление революции был бы надет тормоз благоразумия, и никогда не докатилась бы революция с ее завоеваниями до «революционного дна».

Но наш автор далеко не последователен. Ему, внутреннему эмигранту, было труднее придерживаться принципа «чем хуже, тем лучше», на который мог уповать внешний эмигрант, находящийся вне пределов «совдепии». Наш автор, в отличие от русских беженцев, мятущихся в больших городах центральной и Западной Европы, лично испытывает ухудшение условий жизни, и поэтому начинает питать надежду, что жизнь все-таки войдет в нормальную колею, что большевики постепенно образумятся. Минимально, чего он хотел бы от большевизма в начале 1918 г., это чтобы можно было спокойно ходить по улицам, чтобы в квартиры не врывались с обысками и чтобы не давили налогами. Он, пожалуй, и примирился бы с большевиками, если бы они обеспечили выполнение этих минимальных требований. Увы, худшее ждало его впереди, когда в августе 1918 г. после покушения на жизнь Ленина (и убийства Урицкого) «буржуазии» была объявлена война.

Решение отдать дневник представителю иностранной державы было, вероятно, принято под угрозой развертывавшегося «красного террора». Кроме того, наш автор страдал от болезни, которую он описывает в своем дневнике как «неврастению». Нетрудно представить себе, что он предвидел свою гибель и поэтому решился избавиться от своей рукописи. Дальнейшей его судьбы мы не знаем. Вполне возможно, что он попал в разряд буржуев-заложников. Но нам следует учитывать и другую возможность: может быть, он в конце концов справился со своими трудностями, приспособился к новым политическим обстоятельствам в России и дожил до седин (возможно, в 30-е годы он радовался гибели старой большевистской гвардии — наконец-то расправились с «жидами»).

Следует учесть, что наш автор, по существу, «контрреволюционером» не был. С самого начала он не собирался участвовать в забастовке чиновников, или вступать в какие-либо (многочисленные тогда) антисоветские организации: он заранее предвидел их крах. В этом отношении он был мудр — мудростью щедринского пескаря.

Любопытно, что к концу дневника, то есть уже в марте 1918 г., в нем звучат ноты, которые напоминают сменовеховские идеи. Наш автор наблюдает «перелом в политике Советской власти: прекращаются эксцессы социализации и углубления революции». На горизонте заметны светлые лучи, потому что советская власть становится разумнее. Против советской власти, по мнению автора, нельзя бороться политически: «надо терпеливо ждать, когда большевизм сам собою утихнет, во что-нибудь эволюционируется, и наконец, разум, а не политическая партия, начнет управлять людьми».

Если нашего автора и нельзя сравнить по значимости или по писательскому дарованию, например, с той же Зинаидой Гиппиус (на его стиле виден сильный отпечаток чиновничьего мышления), однако его дневник интересен тем, что он раскрывает разные элементы в психологии стороны, проигравшей в революции, элементы, которые позже выкристаллизовались в разные политические течения русской эмиграции. Страницы этого дневника дышат трагизмом эпохи и побуждают к размышлениям.

Борис ВАЙЛЬ
Енс Петтер НИЛЬСЕН

ГЛАЗАМИ ПЕТРОГРАДСКОГО ЧИНОВНИКА

12 ноября 1917 г., воскресенье.

Над нашим министерством разразилась сегодня катастрофа: приказами по Министерству Финансов Председателя Совета Народных Комиссаров, за подписью В. Ульянова (Ленина), заместителя народного комиссара по Министерству Финансов В. Менжинского, за отказ признать власть Совета Народных Комиссаров уволены от занимаемых должностей, без права на пенсию товарищи министра Хрущев, Кузьминский, Шателен и Фридман, директор ДТК Дементьев, директор Кредитной Канцелярии Замен, Директор Общей Канцелярии Скворцов, управляющий Госбанком Шипов и управляющий Главным Казначейством Петин.

Приказом по министерству Финансов Временного заместителя комиссара по министерству Финансов Менжинского все служащие и чиновники, не признающие власти Совета Народных Комиссаров считаются уволенными от службы без сохранения права на пенсию. Все военнообязанные снимаются с учета. Служащие и чиновники, желающие продолжать работу, всецело подчиняются революционной власти СНК, должны в понедельник, 13-го, приступить к занятиям. Уволенные чиновники, пользующиеся казенной квартирой, должны их очистить в течение трех дней, считая с 13 ноября с. г. Приказы эти распубликованы в «Известиях СРиС депутатов.

Опять в Канцелярии вчера у нас было собрание, постановили в знак протеста объявить полную забастовку. К. Е. Замену выражено было полное сочувствие. Менжинским была послана телеграмма комиссару московской конторы Госбанка Попову: «Какие меры приняты к охране неприкосновенности золотого запаса Госбанка? Предупреждаем, что, если хоть один золотой слиток выйдет из подвалов, Вы будете подлежать строжайшей ответственности перед СНК и военно-революционным судом. Отвечайте немедленно: Смольный СНК».

Ответ распубликован не был!

Сегодня первый день выборов в Учредительное Собрание. «Известия СРиС депутатов» нападают на всех своих политических противников и обзывают кадет — партией мародеров, трудовиков — волками в овечьей шкуре, меньшевиков — подголосками и холопами буржуазии, расчищающими дорогу для контрреволюции, меньшевиков-интернационалистов — вносящими разложение в ряды революционной демократии.

Я вносил свой избирательный бюллетень в Адмиралтейском манеже. Утром там было мало народа и большой порядок. Большевики хотят доказать, что кроме мира, они дадут и хлеб, а посему от 15-го ноября выдача хлеба по карточкам будет увеличена до 1/2 фунта в день, а для занимающихся физическим трудом — до 1 фунта.

В ночь на сегодня, с 2 до 4-х, я опять нес дежурство, бродил по двору и по панели около министерского здания и сидел в подворотне [1]. Весело!

Острота Репникова: вместо слова «Россия» на пограничном столбе можно было бы с успехом написать «Tiergarten» [2].

В московской конторе Государственного Банка захвачено 670 миллионов золота.

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1990, № 8, 9.

[1] Министерство финансов находилось на набережной Мойки, 43.
[2] Зоосад (*нем.*).

Понедельник, 13 ноября

Сегодня решительный день в ходе нашей чиновничьей забастовки. В Госбанке состоится общее собрание служащих, а вечером собрание делегатов всех учреждений министерства Финансов. У меня очень тревожные дни. Завтра нас увольняют от службы, призывают на военную службу, выселяют из казенных квартир. Я упаковываюсь, стараюсь относиться спокойно, но на душе очень тяжело. Не решил еще, как устрою свою жизнь, поселюсь ли со своими на Галерной или постараюсь найти отдельную квартиру.

14 ноября 1917 г.

Из-за увольнения К. Е. Замена у нас в Кредитной Канцелярии с сегодняшнего дня полная забастовка.

Управляющим Госбанком назначен некто Станислав Пестковский, комиссаром по Госбанку — Валерий Оболенский. Посольства продолжают опровергать слухи о предстоящем своем отъезде.

Брендстрем, которого я видел в субботу у графини Клейнмихель, говорит, что слухи о мире — вздор, т. к. Германия не согласится заключать мира с теперешним правительством.

Я занят укладкой своих пожитков. Не знаешь, когда придется выбираться.

Среда, 15 ноября 1917 г.

У нас в министерстве продолжается полная забастовка. В Министерстве Иностранных Дел появилось несколько штрейкбрехеров: Доливо-Добровольский, директор департамента личного состава, и с ним 4 чиновника, в том числе Чельцов «Августовский» — бывшие правоведы. В каждом стаде бывают паршивые овцы.

Запрещены междугородные телефонные разговоры «явно контрреволюционного содержания». Группа квартиронанимателей-большевиков спроектировала квартирный закон, согласно которому отсрочивается на 6 месяцев внесение квартирной платы до 1200 рублей в год. Никто не может пользоваться больше, чем одной комнатой на каждого члена семьи. Производится немедленный секвестр особняков, гостиниц, домов терпимости и свиданий.

16 ноября 1917 г.

Государственные банки и все частные банки объявили полную забастовку на три дня в знак протеста против попыток большевиков захватить Государственный Банк. Сегодня будет вскрыта касса Госбанка.

По Министерству Иностранных Дел продолжаются массовые увольнения чиновников, причем титулованные лица значатся: бывший барон, бывший князь, бывший граф.

16-XI-17

Обедал в Английском офицерском собрании. Нового ничего. Те же разговоры о протесте военных миссий и ряд печальных анекдотов о нашей действительности.

Суббота, 18-XI-17

Настроение с каждым днем становится хуже и хуже. Забастовка наша продолжается, и кто знает, быть может, продолжится до открытия Учредительного Собрания, т. е. до 28 ноября. Я совершенно свободен и должен был бы использовать это время для работы по моим акционерным обществам и для чтения. Но, к несчастию, работоспособность моя равна нулю. Положительно не в состоянии сосредоточиться и работать. Все время невольно испытываешь тревожное настроение. Несомненно этому способствует то, что я еще живу на казенной квартире и с минуты на минуту могу ожидать, что меня с нее выгонят, а, главное, разгромят.

Дома сидеть в одиночестве очень тягостно и даже жутко. Провел вчера вечер у американцев, но нового ничего не узнал, они так же мало знают, как и мы, и еще меньше понимают. Гадали о том, что нас ожидает.

Я лично смотрю очень мрачно. Впереди еще много несчастий: 1. Катастрофическое повальное бегство солдат из окопов, все разрушающее и уничтожающее на своем пути и распространяющее еще большую анархию по всей стране, кроме разве Области Войска Донского, где казаки окажут сопротивление. 2. Голод всеобщий, но в особенности в Петрограде. Россия разделится на Север и Юг, и Юг не даст хлеба для дальнейшего «углубления» революции на Севере. 3. Жестокая безработица. Масса солдат явится в города, т. к. в деревне им делать нечего, много заводов принуждено будет закрыться отчасти из-за отсутствия топлива и сырых материалов, отчасти из-за неприспособленности к производству мирного времени. В результате — банды голодных, безработных, озлобленных и неудовлетворенных пресловутой свободой товарищей. 4. В виде апофеоза — повсеместные жидовские погромы, которые, конечно, несмотря на всю их привлекательность для души, нельзя приветствовать разумом.

В этом апофеозе выльется вся безграничная злоба, которая во всех накопилась, без различия сословия и партий, и после бури, наконец, наступит успокоение страстей. Так мне представляется ход событий. Отдельные части России будут «самоопределяться» дондеже это им самим не омерзеет и пока они не сольются снова в русском море, возглавленном монархией.

Мне говорили сегодня две интересные вещи: первое, что большевистское движение в то же время монархическое и что подполковник Муравьев[1] в душе своей монархист, а не большевик. Поэтому бой под Пулковом велся таким образом, что доблестных красногвардейцев пало множество, а у казаков потери были весьма незначительны.

18-XI-17

Наша чиновничья забастовка приобретает большое значение. В стране в без того анархия, а непризнание чиновниками СНК имеет большое моральное значение для всех внепетроградских мест. И даже союзники говорят большевикам: «Как мы можем вас признавать, если ваши же министерства вас не желают признавать».

В начале я все время был против забастовки, теперь же и готов голосовать за продолжение забастовки до Учредительного Собрания.

Воскресенье, 19 ноября 1917 г.

Третья неделя нашей чиновничьей забастовки закончилась, но ничего еще не знаешь, когда она будет ликвидирована, а, главное,— как. По-видимому, она продолжится до Учредительного Собрания, т. е. до 28 ноября. Неопределенность положения очень томительна. Но, насколько я в начале ей не сочувствовал, настолько же теперь признаю ее целесообразной.

Материальный вред, приносимый забастовкой, несравненно менее ее морального значения.

Т. к. балансы Госбанка не публикуются — неизвестна сумма кредитного обращения. Мы опять накануне новой гражданской войны

Понедельник, 20 ноября

Впервые двадцатого числа бедные чиновники жалованья не получат: забастовка продолжается. С квартиры меня еще не выселили, и реальных угроз еще никаких не было.

Из-за разгона Городской Думы большевиками возможна забастовка протеста всех городских предприятий. Точных известий о начавшихся вчера переговорах о перемирии пока нет. По городу блуждают немецкие офицеры, снабженные разрешениями большевистского правительства. Попадаются на улицах и немецкие солдаты. Нет никаких сомнений, что все восстание организовано немцами и на немецкие деньги, хотя, быть может, и при благосклонном участии черносотенцев. О связи между большевиками и черносотенцами много разговоров

Подозрительное поведение полковника Муравьева. У Алексея Суворина в Смольном чуть ли не свой кабинет. Вырубова, говорит, в дружбе с женой Каменева.

Вторник, 21 ноября 1917 г

Арестованы члены Временного Правительства. Вчера были закрыты все буржуазные газеты. Забастовка правительственных служащих окончится 28 ноября, в день созыва Учредительного Собрания. Министерство Продовольствия все время продолжало работать. Теперь же из-за понаселения большевистских комиссаров, матросов и красногвардейцев объявило полную забастовку.

Среда, 22 ноября

Правительствующий Сенат в общем собрании внес решение о непризнании СНК. Рабочие сенатской типографии отказались печатать это контрреволюционное решение

Четверг, 23 ноября

По Министерству Внутренних Дел сегодня будет производиться набор новых чиновников. Саботирующие чиновники должны очистить квартиры к 27 ноября. Я перееду 26-го на Моховую в квартиру графини Пален.

Народный Комиссар по просвещению Луначарский посетил вчера министерство. Все служащие были приглашены на собеседование, однако, присутствовали только *«пролетарии просвещения»* — младшие служащие. Сегодня от домового комитета приносили бюллетень для выбора в Городскую Думу. Я отказался принять, считая, что Дума существует и роспуск ее незаконен.

В случае разгона Учредительного Собрания Центральный Продовольственный Союз в Москве постановил объявить всероссийскую продовольственную забастовку.

27 ноября 1917 г., понедельник

Новые большевистские выборы в Центральную Городскую Думу. Все враги пролетариата и крестьянства решили бойкотировать эти выборы. Завтра должно было открыться Учредительное Собрание, но по постановлению большевиков, пока не соберется 400 членов — Учредительное Собрание не откроется. Происходит ряд митингов в защиту Учредительного Собрания. Социалисты-революционеры стараются вовсю.

Саботаж чиновников продолжается. Комиссарами запрещен чиновникам до-

---

[1] М. А. Муравьев (1880—1918) — после октябрьского переворота командующий Петроградским военным округом, с июня 1918 — командующий Восточным фронтом.

ступ в помещения министерств. В ночь на 25-е разгромлен Английский клуб, похищено и перебито все вино. Дворянский и Крестьянский банки упразднены.

28 ноября

Сегодня должно собраться Учредительное Собрание, но не соберется. С.-Р. газеты по этому поводу захлебываются от негодования и уверяют, что карта большевиков... будет скоро бита. По-моему, это вздор. Прошло время для партийной борьбы, наша революция приобрела стихийную силу, которую политикой не остановишь. Части Петроградского гарнизона заменяются латышами. Большевики хотят вывести семеновцев и преображенцев.

29 ноября 1917 г.

Был занят переездом на новую квартиру, на казенной оставаться было невозможно, ежеминутно могли появиться красногвардейцы и вышвырнуть меня вместе с пожитками на улицу. Большевики, по всеобщему признанию, весьма любезны и обязательны ко всем тем, кто к ним обращается и вообще имеет с ними дело, но таковых пока немного.

Совет Народных Комиссаров объявил, что Учредительное Собрание будет открыто не раньше, как соберется 400 членов. Вчера открытие Собрания фактически все-таки состоялось при наличии 60 членов, но сегодня матросы и красногвардейцы оцепляют Таврический дворец и не пропускают на собрание.

Среда, 29 ноября

Вчера, по случаю предполагавшегося открытия Учредительного Собрания, ожидались беспорядки. Все магазины и банки были закрыты. Летучие митинги разгонялись красногвардейцами. Все частные автомобили реквизированы. В Таврическом дворце — вооруженные латыши, русским полкам большевики недостаточно доверяют. Учредилка — не состоялась.

30 ноября 1917 г.

«Наш век», заменивший «Речь», продолжает вопить по поводу разгона Учредилки.

1-XII-17

Хлебный паек увеличен до 3/4 фунта.

Рыночная цена золота — 45—50 рублей, платины — 140 рублей.

2 декабря 1917 г., суббота

Чиновничий саботаж продолжается. В Кредитной Канцелярии работа не налажена. Во главе канцелярии — т. Аксельрод. С 4 декабря начнется забастовка дворников и швейцаров. Придется самому носить дрова.

Воскресенье, 3 декабря

Г-жа Коллонтай разъезжает по институтам и на места классных дам назначает горничных, а место инспектора Екатерининского Института предложила старшему дворнику. Много слухов о том, что в ближайшем будущем в Петроград явятся немецкие войска, на престол будет возведен цесаревич Алексей, а регентом будет назначен не то Гессенский, не то Баварский принц. Хуже не будет, им многие предпочитают видеть здесь тысячу шуцманов, чем сотню красногвардейцев. «День» называет «Правду» не официозом, а рупором той банды, которая продолжает сохранить свою власть над Петроградом и частью России.

Понедельник, 4 декабря 1917 г.

Сегодня днем опять была стрельба на углу Караванной и Итальянской, у винного погреба. Бастуют швейцары и дворники. Парадный подъезд закрыт, и дрова не принесены. Завтра я пойду сам с Американцем за дровами.

Сегодня я простоял два часа, чтобы получить по чеку в Русско-Английском банке 1000 рублей.

Среда, 6 декабря

Сегодняшний праздничный день оказался для меня чрезвычайно занятым. Утром было заседание Правления Русского Торгово-промышленного акционерного Общества, в котором я состою директором. Затем беседовал с норвежцами и графом Бергом о делах Русско-Норвежского Общества электрохимической промышленности, в котором я числюсь членом правления, и, наконец, с 4 до 7-ми происходили преговоры с братьями Вавельберг [1] о покупке Петроградского Торгового Банка. Если только у нас не произойдет полной трагедии, можно рассчитывать, что дело это благополучно окончится. Политические дела меня перестали интересовать. Надо терпеливо выжидать событий.

Слава Богу, что мои не уехали ни в Таганрог, ни в Москву. Навсегда остается памятным выражение Керенского: «Взбунтовавшиеся рабы». Из-за забастовки швейцаров парадный подъезд закрыт, а из-за забастовки дворников мне приходится вместе с Американцем таскать дрова. Вчера произошел целый скандал, т. к. дворники не дают ключей от дровяного сарая. Пришлось обратиться в комиссариат.

[1] Вавельберги — владельцы банков, основали в 1886 г. торговый дом «Вавельберг» с отделениями в Петербурге и Варшаве. В 1911 г. этот торговый дом преобразован в Петроградский Торговый Банк, а в 1913 г. Варшавское отделение преобразовано в Западный Банк. Не ясно, для кого покупал автор у Вавельберга Петроградский Торговый Банк. Для себя?

8 декабря 1917 г.

Мой американец туманно говорит, что через несколько недель здесь будут немцы, что это уже официально известно, и всем дипломатам придется покинуть «гостеприимные» невские берега. Что вместо товарищей у нас скоро будут шуцманы — против я решительно ничего не имею, но против разрыва с союзниками протестую.

4 месяца продолжается на Руси анархия. Не довольно ли? Отчего над Петроградом не летают германские цеппелины? Отчего наши союзники не прислали сюда карательных отрядов? Доколе будет продолжаться углубление революции? Вчера разогнан Викжель.

На улицу вечером пренеприятно выходить: всюду темнота, слышны выстрелы. Да и дома сидеть невесело: из-за забастовки дворников нет никакой охраны и всякий может войти во двор и влезть в квартиру. По чекам выдается только до 1000 рублей. Начались по вечерам ограбления и раздевания буржуев. Снимают пальто и даже пиджаки. Я выхожу в стареньком красногвардейском пальто и оставляю часы и кольца дома.

8-XII-1917

Ликвидирована забастовка дворников и швейцаров.

9 декабря, суббота

Большевики захватили Киев и Харьков. Тем лучше, украинцы еще зловреднее. Я с невыразимой злобой думаю о деятельности в течение 9 месяцев Временного Правительства. Это было сплошное глумление над истинной свободой. В конце концов начинаешь сочувствовать большевикам, если не их программе, то, по крайней мере, тому, что революция и ее «завоевания» сведутся к нулю благодаря аберрации ad absurdum социалистических насаждений большевиков. Думаю, что солдаты скоро накостыляют красногвардейцам: ведь обидно же одним получать жалованья 5 рублей в месяц, а другим 30 рублей суточных. При таких обстоятельствах забывается равенство и братство и прочие великие лозунги [1].

Газеты выходят без объявлений. Не знаешь даже, кто умер за это время. Какая трагедия должна быть на душе истинного социалиста, когда видишь, как все рушится.

Находящиеся в тяжелом материальном положении офицеры образуют трудовые артели. Некоторые поступили грузчиками на Николаевскую дорогу, другие скалывают снег, третьи — нанялись в дворники.

9-XII-17

В связи с пьяными погромами в Петрограде введено осадное положение. Революционные войска и красногвардейцы перепиваются. Продовольственный вопрос с каждым днем ухудшается. Все мечтают увидеть на углах шуцманов вместо проклятых красногвардейцев. Масса слухов. Уверяют, что большевики скорее согласятся на восстановление в России монархии, чем примирятся с буржуазной республикой, и вот почему они ведут ожесточенную борьбу с соглашателями из партий социалистов-революционеров и социал-демократов.

12-XII-1917

Вся наша теперешняя жизнь — сплошное ожидание. Мы ждем мира, покоя и порядка.

В случае занятия Петрограда немцами, СНК переберется в Москву. Скатертью дорога.

В цирке Модерн анархисты устраивают митинги протеста против присуждения к смертной казни в Америке двух анархистов. Американский посол получил угрожающие письма.

13 декабря

Несмотря на тяжелое время и печальное настроение был вчера на танцевальном вечере, устроенном дамами 4-го стрелкового полка. Была Великая Княгиня Мария Павловна с Путятиным. Офицеры были в малиновых рубашках и погонах. Приятно немного отдохнуть от политики и мерзостей текущей жизни.

Обокрадена Е. Н. Ейхвальд. Граф Мирбах остановился в Гранд-Отеле [1]. Я был с ним знаком, когда в 1912 году он приезжал в Петроград с Бетман-Гольвегом [2] и обедал на Елагином у Коковцовых.

Возможна забастовка водопроводчиков. Опять у меня на всякий случай наполнена ванна.

[1] Согласно сб. «Петроградский Военно-Революционный Комитет. Документы и материалы» (М., 1966), т. 2, стр. 111, красногвардейцы получали 10 рублей в день — это примерно соответствовало дневной зарплате рабочего.

[1] Граф Мирбах — немецкий посол в Петрограде. Убит в июле 1918 г. левыми эсерами.

[2] Бетман-Гольвег — немецкий канцлер и министр иностранных дел.

16 декабря

Вчера захвачены петроградские частные банки. Арестованы директора. В Москве тоже самое. Объявлена ревизия сейфов. Чтобы не дать возможности сноситься по телефону, все телефоны вчера утром были выключены. Выдача пенсий ограничена 300 рублями в месяц на семейство.

17 декабря

Распубликован декрет о национализации банков. Все ныне существующие частные акционерные банки и банкирские конторы объединяются с Государственным банком. Золото в монете и слитках конфискуется и передается в государственный золотой фонд. Временно исполняющий должность Главнокомандующего войсками Петроградского военного округа установил обязательную трудовую повинность по уборке снега.

Новые стишки на мотив «Ухаря-купца»:

Ешь ананасы
и рябчика жуй,
день твой последний
приходит, буржуй!

Часто происходят кровавые самосуды. Вместо И. П. Шипова управляющим Государственным Банком назначен «камергер» Д. В. Безобразов. В день выдают 1/8 фунта хлеба.

22 декабря

В банках происходит ревизия сейфов и конфискация золота, серебряной монеты, иностранной валюты. Возобновились пьяные погромы. Разгромлен Императорский Яхтклуб. На Морской стрельба.

Рождественский сочельник

Решил устроить у себя елку. Вместо ненужных картонажей купил кустарные игрушки. Елку купил у товарища на улице. Но на душе очень тяжело. Россия как единое целое навсегда умерла.

Началась ревизия сейфов.

Среда, 27 декабря

Второй день продолжается снежная метель. Трамвай не ходит с 24-го числа.

Пятница, 29 декабря

Sir George Buchanan [1] передал представительнице женского взаимноблаготворительного Общества 100 000 рублей для раздачи пособий семьям наиболее нуждающихся офицеров.

Наш рубль снят с котировки на западноевропейских биржах.

Суббота, 30 декабря

Из-за отсутствия топлива почти нет электричества. Картофель стоит 1 рубль фунт, свежая капуста 70 копеек — цены неслыханные.

Воскресенье, 31 декабря 1917 г.

Прекращены платежи по купонам и дивидендам. Воспрещаются все сделки с ценными бумагами

Понедельник, 1 января 1918 года

Грустный, грустный Новый Год.

---

[1] Английский посол в Петрограде (1910—1918)

Продолжение следует

Перечитывая старые письма

Б. СУРИС

СОСЕД ПО ФРОНТУ

Подумать только, когда это было. Целую жизнь тому назад. Его жизнь, по крайней мере...

Без малого сорок пять лет прошло, почти полвека, с тех пор, как я впервые прочитал слова, которые сразу же запомнились наизусть: «Приказ об отступлении приходит совершенно неожиданно...». После первой фразы уже не мог оторваться, пока не дошел до последней. Благо в мои руки попали тогда сразу обе книжки журнала, где печаталась повесть [1], и можно было в чтении не останавливаться на полпути. Так и проглотил ее, что называется, залпом. (Много лет спустя доведется узнать, что подобным же образом воспринял ее в свое время А. Твардовский: «Лишенная внешне сюжетных, фабульных приманок, она заставляет прочесть себя одним духом» [2].)

Имя автора — Виктор Некрасов — мне решительно ничего не говорило, но название — «Сталинград»! Ведь это и про меня тоже! Война закончилась недавно; только что демобилизовавшись, я еще ходил в кителе, перешитом из рыжей мадьярской шинели, еще не остыл от пережитого, и Сталинград, изъясняясь высоким штилем, принадлежал к главным страницам собственной военной биографии. Правда, был я не в самом городе, как alter ego автора полковой инженер Керженцев, а вне кольца — на участке, который в сентябрьских — ноябрьских сообщениях Совинформбюро обозначался словами: северо-западнее Сталинграда. Но не менее ожесточенным и кровавым было то, что разыгрывалось на этой вроде бы периферии гигантского сражения. И испытанное там не заслонилось последовавшими двумя с половиной годами почти непрерывных боев на других фронтах, оно и в наступившем мирном времени не отпустило, а долго еще, долго жгло и болело. И по-прежнему резко, как в перевернутый бинокль, виделись картины всего того, что хоть и минуло, но не ушло.

По-прежнему стоял перед глазами сентябрь сорок второго, попытка деблокировать Сталинград ударом 1-й гвардейской армии во фланг вражеской группировке, прорвавшейся к берегу Волги. Выжженная солнцем плоская равнина, будто пестрым ковром устланная бессчетными немецкими листовками и так же густо, насколько хватает глаз, усеянная телами бойцов: там полегли батальоны, атаковавшие в полный рост по открытому пространству и выкошенные пулеметами 76-й пехотной дивизии немцев. Словно бы все еще саднили колени, локти, живот, бока от колючей окаменелой глины и режущего, как клинки, сухого тростника в балках, по которым мы, разведчики, заползали в ближний тыл противника, чтобы в течение нескольких дней и ночей (одна фляга воды на троих) наблюдать передвижения его живой силы и техники по рокадному тракту близ Большой Россошки. Словно бы все еще отдавались в ушах раскаты артиллерийской подготовки, прогремевшей мглистым утром 19 ноября, рев уходящих в прорыв тридцатьчетверок, разогнавших по снежной степи вяло сопротивлявшееся румынское воинство. Почему-то особенно запомнились именно румыны: в своих ветром подбитых шинелишках, нахлобученных на уши несуразных шапках и дурацких постолах, побросав оружие, гонимые безжалостной поземкой, они брели куда глаза глядят, в поисках, кому бы сдаться в плен, но никому не было до них дела, и сколько их заледенелых трупов валялось потом до весны по оврагам и перелескам малой излучины Дона... А новогодние бои на внешнем фронте сталинградского окружения? — забыть ли Нижне-Гнутов на Цимле, куда я сдуру ночью по минированной дороге вкатился на разведотдельском броневичке, чуть не в самые лапы к отступавшим немцам, спасибо, выручили оказавшиеся рядом вездесущие разведчики, которые, развернув пушку, только что брошенную фрицами, открыли огонь вдогонку им, еще несколько минут назад из нее же стрелявшим.

Это — отдельные кадры «моего» Сталинграда.

Как же мне было не наброситься с жадностью на написанное соседом по фронту, не преисполниться желания, кроме всего прочего, соотнести виденное, испытанное и рассказанное им с тем, свидетелем и участником чего был сам и от чего никак не остывала собственная память.

До сих пор не перестаю дивиться впечатляющей силе некрасовской прозы. Она не просто захватывает — заставляет проживать все описываемое так, будто это происходит не с кем-то другим, а с тобою лично, и не тогда, а вот прямо сейчас, сию минуту. И конечно же, секрет такого почти гипнотического воздействия не сводится к тому, что текст написан в настоящем времени и от первого лица, хотя и это не без значения. Главное — в поражающей точности, предметности, узнаваемости, с какими — при крайней простоте изобразительных средств — переданы и конкретика событий, и их атмосфера, действия и внутренние побуждения персонажей.

До того лишь дважды довелось мне изведать за чтением военной литературы эффект столь полного отождествления себя с литературным героем, чувство своей безоговорочной вовлеченности внутрь читаемого: когда в одном из госпиталей совершенно иными глазами, нежели до войны, перечитал «На западном фронте без перемен» Ремарка и когда позже, уже в Германии, наткнулся на книгу Пауля Эттигхоффера «Призраки горы Морт-Ом» [3].

Так вот, «Сталинград» неведомого мне дотоле Виктора Некрасова сразу встал в моем представлении рядом с названными двумя книгами, очень близкими мне по восприятию переживаемого. По ощущению жестокой правды войны. И так он меня взволновал, что, перевернув последнюю страницу, я тут же сел и написал автору письмо — на адрес редакции. А что: рефлексией и стеснительностью мы тогда не страдали.

Содержания письма сейчас уже, разумеется, не помню, но догадаться о нем можно по полученному ответу.

Да, к моей радости, ответ пришел, и довольно скоро. Надо полагать, восторженные читательские отклики еще не успели прискучить автору и, напротив,

успели изрядно осточертеть укусы критики. О том, что предстоит Сталинская премия, никто не догадывался, и критика в полное свое удовольствие шпыняла так ярко выступившего дебютанта за приземленность «низкой», или «окопной» правды, которой он придерживался, за нежелание поступаться честными «простыми» словами ради слов «высоких», но пустых [4].

Как могли ему дать Сталинскую премию — до сих пор не понимаю. На литературном небосклоне сгущались тучи. По иронии судьбы, в том же номере «Знамени», что и вторая часть «Сталинграда», были помещены постановление ЦК «О журналах „Звезда" и „Ленинград"», доклад Жданова и редакционная статья «Выше знамя идейности и литературе!». Каково сочетание! Роюсь в журналах тех лет. Повесть Некрасова встречена густым потоком обвинений в «натуралистических тенденциях», в «немоте, косноязычии, идейной ограниченности» героев, отсутствии у них «больших духовных запросов, равнодушии к вопросам морали, философии, политики». Дальше — больше: «Разве не искусственна сама попытка молодого писателя полностью обойти в своем романе все то, что характеризует наших людей как высокоинтеллектуальных, культурно развитых, разрешающих на высоком уровне сложнейшие проблемы политики, философии, морали?» [5] Господи, надо же было до такого додуматься. Впрочем, и долго спустя, уже после премии, широкого признания, многократных изданий дома и за рубежом, вульгарная критика продолжала талдычить свое: «Какое сильное, почти физическое желание испытывали мы, читая эту повесть,— желание приподняться над блиндажами, занять другой, более высокий НП, чтобы увидеть более широкую панораму событий, более обобщенную картину времени... Повести В. Некрасова не хватало генерального обобщения» [6]. Не знаю, не знаю, я лично такого желания не испытывал. Просто воодушевился и, недолго думая, написал письмо.

И пришел ответ.

Киев, 31. 1. 47.

Уважаемый тов. Сурис!

Получил Ваше письмо — мне переслали его из «Знамени». Ничего кроме удовольствия доставить мне оно, конечно, не могло. Мнение фронтовика мне дороже всех остальных мнений. И если фронтовик говорит — «это хорошо», ей-богу же, мне наплевать, что критик говорит — «это недостаточно идейно». А за очень малым исключением они говорят именно так.

Недавно в Москве состоялось обсуждение «Сталинграда» — сначала на Президиуме Союза писателей, а затем в военной секции Союза [7]. Самому побывать на них мне [не] удалось, но из стенограмм я узнал, что в «Сталинграде», мол, все хорошо, только идейности не хватает — Керженцев перед атакой мечтает о тихой послевоенной жизни, вспоминая прошлое, вспоминает не работу, а собственную квартиру, Валега не советский ординарец, а дореволюционный денщик, и т. д. и т. д. За что же, говорят, Керженцев дерется, во имя чего? Во имя уютного уголка на берегу тихой речушки? Это не советский человек... Говорит же он в том же месте, что «я больше всего люблю покой»... Разве может советский человек больше всего любить покой?

Мне кажется, что люди, говорящие все эти вещи, меньше всего представляют себе психику человека на фронте. Не знаю, как Вы, но я на войне больше всего мечтал о сне, но честное же слово — это не основная черта моего характера...

Впрочем, все это чепуха.

Повторяю — Ваше мнение, мнение человека, который делал войну, а не описывал ее,— для меня во много раз ценнее.

Вы пишите, что учитесь в Академии художеств. Значит, художник? До войны я тоже этим делом немножко грешил [8]. Интересно, как Вы показываете войну. Надеюсь, не лакируете — это, по-моему, самое страшное в искусстве.

Теперь очень в ходу выражение «художественное обобщение» — и под ним почему-то подразумевают отход от истины и изображение людей и событий не такими, какими они были, а какими хотелось [бы], чтобы они были. Тут-то и рождается фальшь, от которой тошнит и которой, к сожалению, сейчас очень и очень много...

Ну да ладно — черт с ними.

Жму руку
В. Некрасов

Войну я не изображал: в Академии учился на искусствоведческом факультете. Но тут надо сделать одно признание. Первые годы «на гражданке» тянуло попытать силы в словесном искусстве, что-то из пережитого изложить на бумаге. Сочинял рассказы. Литературным ориентиром был Хемингуэй, которого я начитался до войны и который казался мне Главным Писателем Современности. Мои опусы отличались беспардонно прямолинейным подражанием великому американцу, и называл я их для себя «хемингуёвинами». Впрочем, на ближайших приятелей, особенно приятельниц, они производили впечатление. Слава богу, хватило ума не пытаться пристроить их в печать. А вот с появлением нового знакомого — писателя — вознамерился его ими осчастливить.

Второе письмо от Некрасова:

Киев, 16. 2. 47.

Дорогой Борис — отчества не знаю!

Ей-богу — мне очень приятно, что Вы так близко принимаете к сердцу все, что касается моего «Сталинграда». На критику — официальную критику — я, конечно, плюю (всем известно, по каким принципам она пишется), а вот к письмам читателей (людей, которые за свои высказывания вознаграждения не получают) отношусь совсем иначе. И не потому, что письма пишут люди, которым книга нравится, а потому, что пишут люди, которые могут и имеют право судить... Вот и все!

Теперь малость пофилософствуем. Вы очень удивитесь, но знаете ли Вы, что я не очень люблю Хемингуэя (хотя 75 % выступавших на президиуме товарищей склоняли во всех падежах это имя, говоря о «Стал[инграде]»).

Собственно говоря — «не очень люблю» — это не совсем точно. Увлекался я им, конечно, страшно, и в основном до войны.

Недавно же я перечел «Пятую колонну и 37 рассказов» — и очень многое мне не понравилось — особенно пьеса. Наряду с этим обожаю его «Рог быка» и рассказ про старого матадора, ведущего свой последний бой,— помните? Вообще же мне кажется, что Хемингуэй очень часто ломается и кокетничает — а эти качества я не очень люблю.

Последняя же его вещь — «По ком звонят колокола» (кажется, так она называется — на русском языке она не вышла, я читал рукопись, к тому же основательно отредактированную) — мне было просто скучно читать...

А «Прощай, оружие» — это все-таки вещь!

Кстати, мне очень интересно было бы почитать Ваши «хемингуёвины»... Ни одной минуты не верю, что все они неудобопечатаемы.

Если есть охота — пришлите.

Картину, о которой Вы пишете, по-моему я видел — в Загорске у Игоря Грабаря, но мельком только [9].

Все остальное, что было в Москве на выставке,— все это спекуляция...

Ну, Бог с ними — их дело.

Пишите.

Жму руку.
Ваш В. Некрасов

Сочинения свои я все же не решился послать.

Что же касается центральной, как понимаю, темы письма, то вот маленькая реплика в сторону — об отношении Некрасова к Хемингуэю. Оно было достаточно сложным и в разное время разным. Но представляется очевидным, что в процессе своего писательского становления автор «Сталинграда» не оставил без пристального внимания опыт американского прозаика, найдя у него и созвучное себе — в его прямом и бесстрашном, чуждом сантиментов взгляде на совершающееся в мире, и поучительное для себя в способах литературного выражения этого взгляда. Ведь недаром на батальонном КП в бетонной трубе у подножья Мамаева кургана, в числе трех или четырех книг, с «Фортификацией» Ушакова и «Укреплением местности» Гербановского соседствовал томик Хемингуэя «Пятая колонна и первые тридцать восемь рассказов» (о чем потом мы узнали из повеллы «Посвящается Хемингуэю»). Штрих достаточно красноречивый. Разобраться во всем предстоит будущим исследователям-литературоведам, которым публикуемое письмо авось может пригодиться.

Писем было еще несколько; к великому сожалению, они не сохранились. Затем, после некоторого перерыва в переписке, неожиданно пришла бандероль. В ней — книга, уже с измененным названием — «В окопах Сталинграда», выпущенная «Советским писателем» в почетной серии «Библиотека избранных произведений советской литературы 1917—1947». (Высокая премия, никуда не денешься.) На авантитуле уже знакомым крупным округлым почерком, синими чернилами: «Борису Сурису от забытого им автора. 29/V 48». За титулом — портрет автора. Непарадное фото. Небрежно распахнутый ворот рубашки. Узкое, острое лицо, тонкий нос, пижонские (по тому времени) усики, чубчик, косо падающий на лоб. Нелауреатский вид. Останавливаюсь на портрете потому, что он сейчас сыграет свою роль в движении сюжета.

Вскоре — когда именно, теперь уже не припомнить — случилось мне проездом оказаться в Киеве. От поезда до поезда был целый день. Пошел в музей, посмотрел дивные акварели Врубеля, погулял по городу и на Крещатике наткнулся на афишу концерта в Филармонии: «Фантастическая симфония» Берлиоза (моя любимая) и Натан Рахлин (один из лучших дирижеров, каких я знаю). С билетами в те годы не было проблем. И вот, прохаживаясь в антракте по фойе среди незнакомой публики, вдруг увидел лицо явно знакомое: тонкий нос, усики, косой чубчик... Неужто он? Что за совпадение! Набрал в грудь воздуха, подошел: «Простите, вы не Виктор Платонович? Я — такой-то...» Он тоже был один, без спутников, и ей-богу, тоже обрадовался. Хотя, в сущности, кто я ему такой! Последовали горячие рукопожатия, крепкие похлопывания, расспросы, разговор, перескакивающий с одного на другое: он тоже обожает «Фантастическую», ценит Рахлина, боготворит Врубеля, как жаль, что я так накоротке, переночевал бы у него, он

показал бы мне город... Было в нем, легком, поджаром, раскованном (в Филармонии — футболка), что-то забиячливое, мальчишеское. Разницы в возрасте (как-никак двенадцать лет) я не ощутил. После концерта распрощались не сразу. Бродили по темным улицам, куда-то заходили и, как положено, обмывали встречу, даже, кажется, не один раз, так что до вокзала я добирался, можно сказать, ощупью. Правда, не опоздал. Сдать билет и остаться на пару дней, по глупости своей, не согласился.

А дальше получилось совсем неладно.

Мне не очень по душе пришлось то, что он писал потом, включая повести «В родном городе», «Кира Георгиевна». Нет, они были по-прежнему честны и правдивы, но мне казались излишне повествовательными и однолинейными, им недоставало художественного напряжения, рядом со «Сталинградом» они «не державились». Высказывать ему это, естественно, не хотелось, кривить душой не хотелось тоже. Переписка истончилась до редких открыток с праздничными поздравлениями, а там и вовсе оборвалась. Он бывал в Ленинграде, я в Киеве. Но — жаль — не встретились, хотя бы мимолетно. Наши сферы обитания больше не пересеклись.

Шли годы и годы. Издали, не знаючи, мнилось, что живется ему благополучно — ездит по заграницам, печатает путевые очерки. Потом стали доноситься смутные известия о постигших его неприятностях. Тут бы написать ему, как-то выразить поддержку, может, ему было бы небезразлично; стыдно сознаться — не додумался. Куда подевались прежние импульсивность, непосредственность поступков. Другой возраст, другая психология: внутренние тормоза, подсознательная осмотрительность.. Горько, но факт.

Между тем его неприятности превратились в сущую травлю, увенчавшуюся дикой историей в духе времени: попросту выжили из страны человека, чье исключительное значение впоследствии очень точно сформулировал Вячеслав Кондратьев: «Из шинели солдата-сталинградца выросла наша литература о войне» [10].

И когда пришел печальный срок, лег в землю Керженцев-Некрасов не на Мамаевом кургане, не в родном Киеве, а на странноприимном кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в прекрасном, но чужом городе Париже.

А я-то в свое время мог бы написать ему снова. Ведь мог же написать, черт возьми. И не написал. Почему?..

...Впрочем, разве во мне одном ответ? Как раз об этом — у Некрасова в его последней «Маленькой печальной повести»: какими мы были когда-то и какими стали потом. Не все, но многие. Грустно

---

[1] Виктор Некрасов. Сталинград.— Знамя, 1946, № 8, 9, 10. Позже название было изменено на «В окопах Сталинграда». В жанровом определении книги существует разноречие, сам автор считал ее повестью.

[2] Твардовский А. Внутренние рецензии.— Вопросы литературы, 1988, № 10, с. 216.

[3] Так я перевел бы название книги (у нас она не издавалась): Ettighoffer P. C. Gespenster am Toten Mann. Gütersloh, 1937. Высота Морт-Ом («Мертвый человек», по-немецки Der Tote Mann) — один из центральных пунктов «верденской мясорубки» в 1916 г.

[4] Позднее В. Некрасов изложил свое писательское кредо в полемической статье «Слова «великие» и «простые», где декларировал категорическое неприятие первых и приверженность ко вторым (Искусство кино, 1959, № 5, с. 55-61).

[5] Соловьев В. Поощрение натурализма.— Новый мир, 1948, № 10, с. 239, 244.

[6] Варшавский Я. Надо разобраться.— Искусство кино, 1959, № 5, с. 64.

[7] Обсуждения «Сталинграда» на специальном заседании президиума Союза писателей и на совещании, созванном военной комиссией СП, прошли в резко критическом, проработочном ключе. Отправляя Некрасову стенограмму, главный редактор «Знамени» Всеволод Вишневский написал: «В стенограмме много ерунды. Иногда делается просто больно, что люди, удравшие от боев за 600-700 километров, ни черта не понимающие в военном деле, трясут своим жиром и чему-то обучают Вас и редакцию» (Берзер А. О. О Викторе Некрасове.— Дружба народов, 1989, № 5, с. 144).

[8] Архитектор по образованию, Некрасов совсем неплохо рисовал. До войны работал в театрах Киева и других городов актером и художником.

[9] Речь идет о «Ночном бое» И. Е. Евстигнеева (1946), произведении сильном и правдивом, увиденном мною тогда на одной из выставок.

[10] Большие правды... Беседа с В. Л. Кондратьевым.— Книжное обозрение, 1988, № 39, с. 3.

Вернисаж «Седьмой тетради»

АЛЛА КОРОБЦОВА

СКУЛЬПТУРЫ ДМИТРИЯ КАМИНКЕРА

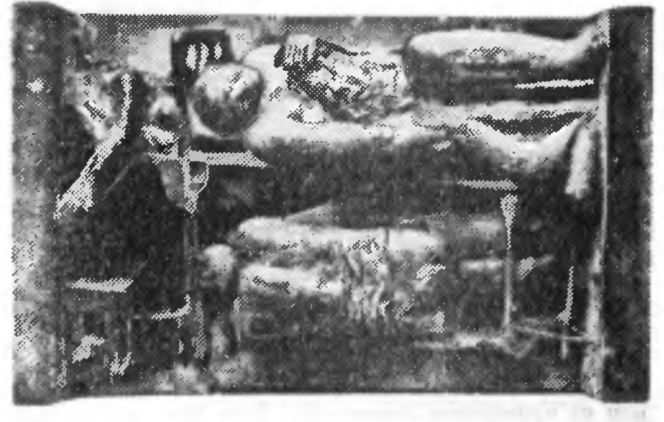
— Помилуйте, товарищи, где же скульптор увидел таких женщин?
— Да посмотрите вокруг. А на одной из них и даже женат!

Из диалога на выставке

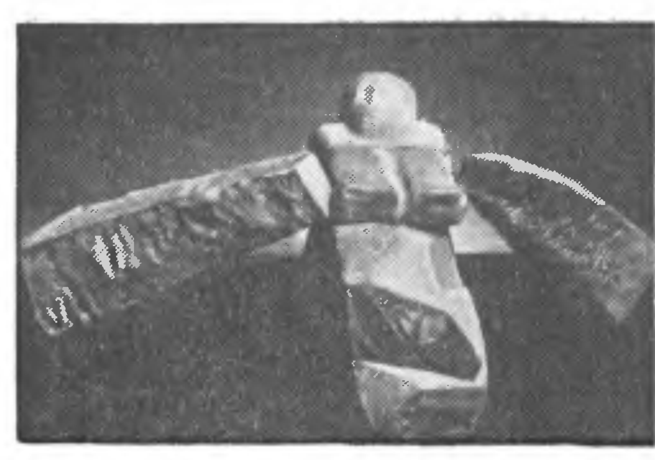
Это не анекдот и не досужая выдумка автора. Возможно, эти слова припомнили участники обсуждения совместной выставки ленинградских и московских художников в Гавани. На ней были представлены и скульптуры Дмитрия Каминкера. В 1975 году он закончил Мухинское училище. Его работы вызывают споры. В них есть то, что возбуждает и раздражение и восторг. Каминкер стремится увиденное в жизни показать с неожиданной, часто парадоксальной стороны. Ему свойственно умение найти пластическое решение для мотивов, казалось бы, совершенно не подходящих для скульптуры. Хозяин, дрессирующий собаку, женщина, моющаяся в до краев наполненной ванне, человек в лодке, гребущий против течения, солдатская казарма... Какими могли бы быть в наши дни финикийская царевна и влюбленный в нее Зевс? Композицией «Похищение Европы» скульптор отвечает на этот странный вопрос. Современная девица, лихо ведущая мотоцикл, вдруг приобретает в его работе некие архаические черты, а ее машина становится подобием покорного ей мотобыка. XX век с его ревущими скоростями, эмансипация, феминизация... Впрочем, вызывая у зрителя различные ассоциации, скульптор не навязывает их.

Рельеф «Сон в казарме» — своеобразная арена действия, зажатая между двумя плоскостями. В этом условном пространстве нарочито подчеркнуты границы, в которых тесно и душно скрюченным телам спящих юношей. Это одна из ранних и наиболее удачных работ Каминкера. Позднее в его скульптурах усилится деформация. Цель — достигнуть большей выразительности и остроты. Подчас зритель на выставке склонен скользить по поверхности, путая красоту с красивостью. Каминкер, нарочито искажая пропорции и пространственные соотношения, протестует против подобного восприятия. В его работах за пародийным сюжетом и утрированной формой — реальная, непридуманная и неприукрашенная жизнь.

Композиция «Гребец». Человек в лодке, преодолевающий быстрое течение реки. Но если приглядеться к работе, то с удивлением замечаешь, что она составлена из как бы случайных, лишь слегка обработанных, обломков камня. В основе композиции — контраст тяжелого статичного материала и динамики мотива. Скульптору удается, отказавшись от деталей, передать главное — напряжение гребца и силу течения реки. Проблема равновесия, построенная на противоборстве статики и динамики,— одна из тем творчества Каминкера. Как прямое ее воплощение — композиция «Не улетай, родной». Крылатый художник стре-



Сон в казарме



Гребец

митси в небо, но уцепившиеся за него жена и дети удерживают его на земле. В работе «Стрелец» использован принцип качалки, но вместо коня — кентавр; обернувшись, он целится в вас из пистолета.

Произведениям Каминкера свойственна метаморфичность. Композиция «Пес». Огромная собака на спине согнувшегося от страха человека. В работе мастерски передано ощущение ужаса, характерного для сцены, которую легко может вообразить каждый. Вполне конкретный пес с дачного участка, науськиваемый хозяином на чужих, приобретает в этой работе символический смысл. Олицетворение низменных, живущих внутри человека и внешних роковых враждебных сил, которые пригибают свою жертву к земле, стремясь подчинить или уничтожить ее. Это еще одно напоминание о том, что «сон разума порождает чудовищ». В поисках выразительности и новых граней в работе Каминкер часто варьирует одну тему в различном размере и материале. Он использует фактурные возможности дерева, камня, металла. Иногда скульптор прибегает к приему коллажа. Композиция, названная «Организатор», выполнена из дерева, но значительную роль в ней играют реальные бытовые предметы. Они подчеркивают пародийность и нелепость ситуации. Человек с папкой и поднятым вверх рупором стоит на тележке с длинной ручкой, за которую ее можно тащить куда угодно. На груди у глашатая железная печная заслонка. Выдвинутая вперед нога выше колена пристегнута к другой большим крючком. Да и сам он привинчен к тележке большим болтом. На макушке вместо волос торчат длинненькие треугольные железяки. Эта работа — отклик художника на волнующие всех общественные проблемы.

Работы Д. Каминкера монументальны, хотя они и невелики по размерам. В последнее время говорят о необходимости монументальной скульптуры в новых районах города. Современная архитектура далеко не простой фон, и не каждое произведение его выдержит. Среди работ, которые органично войдут в новую городскую среду, могли бы быть остроумные и лаконичные творения Дмитрия Каминкера. А пока он, смеясь, говорит, что делает «монументальную скульптуру карманного размера».

Художник Радлов. Литературное его творчество совсем почти неизвестно современным читателям. Представляя рассказы Н. Э. Радлова, мы никак их не комментируем. Впрочем, они особенно-то в комментарии и не нуждаются. А вот следующему вслед за рассказами шаржу некоторое пояснение необходимо.

Если у читателей достанет терпения посмотреть этот номер «Невы» до конца, они вновь встретятся с Николаем Радловым, вернее, с его работами, и небольшим рассказом о художнике. Он, право, стоит того, чтоб о нем вспоминали чаще.

Н. РАДЛОВ

ТРИ РАССКАЗА

НЕВЕЖЛИВОСТЬ

Мне нужна была комната летом, на месяц, в одном из пригородов Ленинграда. Хозяйка дома, в который меня направили друзья, показала темную грязноватую клетушку, выходившую окнами на двор. Я торопился, мне надоело мотаться без пристанища, и я согласился взять эту комнату.

— Сколько вы хотите за нее?

— Сто рублей.

Заметив на моем лице некоторое недоумение по поводу высокой цены, хозяйка пояснила:

— Видите ли, мне нужно ехать к сестре в Киев. Я, собственно, для этого и сдаю комнату. А поездка туда и обратно будет мне стоить не меньше ста рублей.

— Как мне повезло,— ответил я ей,— что вам не нужно посетить родственников во Владивостоке, иначе комната вскочила бы мне рублей в шестьсот!

Хозяйка посмотрела на меня честными, слегка удивленными глазами. Она сказала:

— Нет. Кроме Киева мне больше некуда ехать. У меня в живых одна сестра, и та живет в Киеве.

Я извинился. Я сразу внес ей задаток и похвалил комнату. И ушел с тяжелым чувством.

Как глупо из пустого фатовства вставлять в разговор французские фразы, не узнав, понимает ли ваш собеседник по-французски...

СКРОМНОСТЬ

Отличное пальто было у меня несколько лет тому назад. Непритязательный бежевый драп покрывал его с одной стороны,— мягкая рыжая кожа — с другой. Его можно было носить драпом наружу; в солнечный день оно так хорошо гармонировало с тусклым северным пейзажем, но в дождь я выворачивал его наизнанку. Непроницаемый и блестящий, я смеялся над стихиями. Ленинградский климат давал многочисленные возможности демонстрировать чудесные свойства моего пальто. Признаюсь, я развил в себе даже повышенную чувствительность к переменам погоды и по нескольку раз во время прогулок забегал в подъезды и возникал из них преображенным на радость спутникам и к удивлению случайных зрителей. Но я благодарен своему пальто не только за эти мелкие развлечения.

Однажды, в ясный прохладный день я остановился на набережной в группе бездельников, наблюдавших весенний ледоход. В непринужденной, немного усталой позе я предоставил двум вертлявым девицам любоваться нежным розоватым ворсом моего пальто. Отвороты его, небрежно откинутые, вспыхивали мягким блеском мягкой кожи.

— Извиняюсь...— кокетливое обращение,— как хорошо я был подготовлен к нему, как настороженно ждал этой минуты! («Свершилось»,— сказал бы более опытный писатель).

— Извиняюсь! Какое интересное на вас пальто! Неужели вся подкладка кожаная?

Я распахнул пальто. Я отвернул его борт. Торжествующий, но спокойный я позволил восхищенным взглядам проникать в его скрытые богатства. Небесной музыкой звучало щебетание девиц.

Волна вдохновения охватила меня. Я снял пальто. Методично, слегка вздрагивая от ладожского дуновения, я вывернул рукава, натянул пальто снова и предстал перед удивленными девицами, закованный в блестящую кожу.

Удивленными... только удивленными... Или это мне показалось, что огонек восхищения внезапно потух в их глазах?

— Кожаное пальто,— суховато сказала одна из девиц. Обыкновенное рыжее кожаное пальто на доброкачественной суконной подкладке.

* * *

Теперь, когда я знакомлюсь с людьми, я облачаюсь в форму серой обыденности. Я говорю с ними будничным суконным языком. Я только приоткрываю осторожно, с деланной небрежностью скрытые достоинства своей души. Какие богатства чудятся в ней! Какой блик таинственно прячется в тени ее мягких складок. Неужели она вся так прекрасна?!

И ничто не заставит меня предстать перед людьми во всем блеске моих душевных качеств. Обыкновенный симпатичный человек, каких тысячи...

БЕРЕЖЛИВОСТЬ

Самые неприятные мои сны почему-то имеют местом действия станции железных дорог. Какие-то унылые бесконечные платформы, темные медленные поезда...

В жизни я путешествую благополучно. Минут за двадцать приезжаю на вокзал, в вагоне располагаюсь с удобствами; у меня даже никогда не крали в дороге вещей.

Во сне — я бегу по скользким мосткам, задыхаясь и теряя чемоданы, к медленно отходящему вагону, вижу, как перед моим носом он ускоряет ход, тщетно стараюсь схватиться за поручни, падаю, кричу... Космическая тьма поглощает поезд с женой, с малолетней дочерью...

Может быть, мои кочевые предки оставили мне это тяжелое наследство мучительных переживаний? Вряд ли. Не верится как-то, что они теряли пожитки, торопясь на арбу, запряженную волами.

Сегодня ночью я вошел в темный и неуютный поезд и странствую по вагонам, забитым мрачными пассажирами и жутким багажом. Я где-то оставил чемодан и потерял пиджак с бумажником и документами. И вдруг я догадываюсь, что сел не на тот поезд. Я собираюсь соскочить, но поезд двинулся. А надо еще отыскать

мои вещи — чемодан, пиджак. И снова я протискиваюсь через бесконечные, заваленные багажом вагоны и с отчаяньем чувствую все ускоряющееся движение.

Но вот, как это часто со мной бывает, проблески сознания врываются в фантастику сновидений. Я начинаю сознавать, что все это сон. Я начинаю жить одновременно в двух планах. Мне становится веселее, тяжесть спадает с моего сердца. Маленькое усилие — и я проснусь, и все будет прекрасно. С каждой секундой я понимаю это все отчетливей. Но я не тороплюсь проснуться. Нет, я продолжаю свои скитания из вагона в вагон. В конце концов, ведь лишняя минута не делает разницы. И может быть, раньше, чем проснуться окончательно, я еще успею найти свой пиджак. Ведь, как никак, в нем документы и деньги!..

Публикация Л. Н. РАДЛОВОЙ

А. ЛЮБАРСКАЯ

КАК ЭТО БЫЛО

Разгром редакции Лендетиздата готовился исподволь, задолго до того дня, вернее ночи с 4-го на 5-ое сентября 1937 года (37-го, а не 38-го), когда разом арестовали целую группу редакторов и авторов или — пользуясь газетной фразеологией того времени — «вырвали змею с корнем».

Как подготавливалась эта акция? Сперва мне объявили строгий выговор за срыв трехтомника Пушкина (хотя он вышел в срок и получил «Гран при» в Париже); второй выговор мне объявили за срыв сборника сказок Андерсена (хотя эта книга никогда не была в моем редакторском портфеле); Т. Г. Габбе была отстранена от обязанности заместителя главного редактора журнала «Костер»,— уже с майского номера за 1937 год на журнале нет ее подписи; у Л. К. Чуковской отобрали рукопись автора, с которым она много и успешно работала.

Сохранились листки из дневника Сергея Константиновича Безбородова, подобранные после его ареста среди разорванных при обыске рукописей. Запись от 12 мая 1937 года как нельзя лучше передает атмосферу в издательстве в те дни. Вот что поверяет он своему дневнику: М. П. Бронштейн, ученый и автор научно-художественных книг для детей, возмущенный травлей, организованной руководством против некоторых редакторов, в том числе и против Л. Чуковской, позвонил по телефону директору издательства и заявил, что считает поведение руководства недостойным, что работать в таком издательстве он не желает, а потому расторгает все договора и возвращает полученный аванс. Через 20 минут в ответ на это последовало распоряжение главного редактора Г. И. Мишкевича: все материалы по книге Мильчика Л. Чуковская должна сдать в издательство,— рукопись будет передана другому редактору.

Месяц спустя после разгрома редакции, 4 октября 1937 года (1937-го, а не 1938-го!) в Детиздате вышла стенгазета «За детскую книгу». Привожу в точности отрывок из передовой статьи, написанной в духе обязательного признания своих ошибок: ***«Руководство издательством — директор тов. Криволапов и главный редактор тов. Мишкевич — вместе со всей партийной организацией несут полную ответственность за то, что враги народа, контрреволюционная сущность которых выяснилась уже в начале года, могли продержаться в издательстве до последнего времени, до изъятия их органами НКВД. Партийная организация*** *(а ведь Мишкевич играл в ней не последнюю роль! — А. Л.),* ***выносившая совершенно правильные решения о необходимости удаления Габбе, Любарской и др. из издательства, действовала недостаточно решительно и не довела дело до конца»*** [1]

Разоблачительно-руководящих статей в стенгазете две. И ответственных за «контрреволюционную сущность» редакции (именуемой еще «вредительской шайкой») тоже, как сказано, двое — директор Криволапов и главный редактор Мишкевич. Одна статья не подписана — это «передовая». Вторую подписал Криволапов [1]. *Тем не менее называть «передовую» анонимной, как это делает Мишкевич, не следует. Газетные «передовые» идут обычно без подписи. А написать ее мог только один из двух названных руководителей издательства, то есть главный редактор Мишкевич. В следственной практике это называется «вычислить» виновного.*

Но вот что бросается в глаза, когда читаешь эту стенгазету. Л. Чуковская не была арестована,— может быть, потому, что с начала 1937 года она перешла на положение внештатного редактора. А может быть потому, что шпионоразвёрстку применительно к Лендетиздату выполнили, не дойдя до буквы «Ч». Не был арестован и редактор «Чижа» М. Майслер. Но в стенгазете имена Л. Чуковской и М. Майслера постоянно упоминаются в одном ряду с уже арестованными и тем самым уже разоблаченными врагами народа и шпионами. Со мной и Т. Г. Габбе все было просто, мы «изъяты», значит — враги. Но всякий раз, говоря о нашей вредительской деятельности, упоминается и Л. Чуковская. Шпионы и диверсанты, как сообщает газета, «объединялись вокруг Габбе, Любарской, Чуковской». Имена «Чуковская — Майслер» соединены через тире в одно общее понятие: враги народа. Вроде Каменев — Зиновьев, или Бухарин — Рыков. Очевидно, директор Криволапов и главный редактор Мишкевич, желая искупить свою недавнюю нерешительность, услужливо указывали на недобор в работе НКВД по «изъятию».

Каким же словом можно это назвать? Можно назвать деликатным словом «сигнал»,— оно то и дело мелькает на страницах стенгазеты. А можно и более простым словом — донос.

И, действительно, М. Майслера вскоре арестовали, а Л. Чуковская по счастливой случайности спаслась.

Сейчас Мишкевич утверждает, что однотомник Маяковского запретил цензор Чевычелов, так как «составители сборника умалили роль Сталина в творчестве Маяковского». А тогда, в 1937 году, в стенгазете, вывешенной для всеобщей информации, сообщалось, что «Чуковская, при попустительстве, имеешем место в издательстве, протаскивала контрреволюционные высказывания в однотомнике Маяковского».

Г. И. Мишкевич обратился в редакцию журнала «Нева» для защиты своей чести и достоинства. Оказывается, он знать не знает ни о стенгазете, ни о том, что в 1937 году он был главным редактором Лендетиздата. Правда, для этого ему приходится сделать одно небольшое допущение: «Ведь если речь идет о 1938 годе...» — пишет он. Ну, тогда было бы так, как ему хочется! ***Но речь идет не о 1938, а о 1937 годе. И был тогда, в 1937 году, главным редактором Лендетиздата именно Г. И. Мишкевич, и была тогда, 4 октября 1937 года, выпущена стенгазета, и были в ней статьи-доносы.***

Может быть, Мишкевич считает, что 1937-го года вообще не было,— такой вот странный пропуск в летоисчислении? Как у Гоголя: «Числа не помню. Месяца тоже не было». Но он был — 1937 год. Был.

Мишкевич пишет, что по сведениям УКГБ в «деле» Габбе, Любарской и Бронштейна нет каких-либо упоминаний о нем и об издательстве. Вполне вероятно. Но разве Мишкевич не знает, что основой «делопроизводства» в НКВД того времени была фантазия следователя? Нужен был только толчок извне, «сигнал». Может быть, Мишкевич полагает, что в следственной тюрьме НКВД интересовались, вовремя ли я сдала в производство трехтомник Пушкина? Нет, там занимались моей шпионской деятельностью в пользу Японии.

Если верить Мишкевичу, так и репрессированных-то было всего ничего: Габбе, Любарская, Бронштейн. Но в той же стенгазете приводится «далеко не полный,— как сказано,— список врагов», проникнувших в детскую литературу: это и Безбородов, и Боголюбов (Константинов), и Шавров, и Бронштейн, и Васильева, и Спиридонов (Тэки Одулок), и Олейников, и Белых... Одни были расстреляны, другие погибли в тюрьме и лагерях.

Теперь уже многое известно о том, как фабриковались обвинения. Все годилось для этой цели. Не брезгали ничем. С. Я. Маршак рассказывал мне, вспоминая детиздатовский «шабаш ведьм», что среди обвинений, предъявленных Т. Г. Габбе, было и такое: редактируя книгу детских рассказов «Мы из Игарки», она вносила в корректуру поправки антисоветского характера. Маршак потребовал, чтобы корректуру достали из архива, и продемонстрировал на редакционном собрании, что там не было ни одной поправки, сделанной рукой Т. Г. Габбе. Вся правка была сделана рукой Мишкевича.

Как же это назвать? Разве это не провокация?

Вот что было на самом деле в тот страшный 1937-й год.

---

[1] С подлинником дневника С. Безбородова и сохранившейся копией стенгазеты редакция журнала «Нева» ознакомлена.

[2] Через много лет, отбыв длительный срок в сталинских лагерях, Л. Я. Криволапов пришел ко мне и просил прощения за статьи в стенгазете и за все содеянное.

РАРИТЕТ



Редкий шарж на Юрия Анненкова — портретиста, театрального художника, иллюстратора, пережившего шумный успех в начале двадцатых годов и снова входящего в моду сегодня. Это прекрасный пример шаржа на художника — Николай Радлов не ограничивается созданием гротескной личины персонажа, но блестяще пародирует прежде всего самую манеру Анненкова, его любимые, «коронные» приемы. Шарж многослоен,— с одной стороны, перед нами «всеобщий Юрочка... вездесущий, разбитной, талантливый» (К. Чуковский), «единственный человек в Петербурге, носящий монокль» (И. Одоевцева), баловень заказчиков и мишень критиков — «штатный петербургский пикассо» (И. Аксенов). В то же время, это «парадный портрет» маэстро в миниатюре с присущими этому жанру атрибутами. Здесь — фрагмент обложки роскошного альбома «Georges Annenkoff», ставшего издательской сенсацией 1922 года и мечтой библиофила (издательство «Петрополис», 900 нумерованных экземпляров!). На заднем же плане едко спародированный Радловым апофеоз портретного творчества Анненкова — футуристическая версия «Перехода Бонапарта через Сен-Бернар» — бравурный портрет предкомвоена Троцкого в 12 квадратных аршин, имевший успех на советской выставке в Венеции в 1924 году.

И. ДОРОНЧЕНКОВ

Сдано в набор 29.06.90. Подписано к печати 03.09.90. Формат бумаги $70\times108^1/_{16}$. Бумага тип. № 2. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,2 усл. кр.-отт. 24,52 уч.-изд. л. Тираж 615 000 экз. Заказ № 271. Цена 95 коп.

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3
Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 315-84-72, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

ШАРЖИ НИКОЛАЯ РАДЛОВА



Осип Мандельштам



Алексей Толстой



Дмитрий Шостакович

В центре созвездия крупнейших наших мастеров сатиры, пожалуй, ярче самых именитых сияет имя Н. Э. Радлова — художника многогранного, известного сатирика, автора статей и книг, наконец, создателя дивных карикатур и шаржей на своих именитых современников.

Все созданное Радловым вошло в золотой фонд нашей культуры и часто экспонируется на выставках. Вспомним, что сатирические журналы 20-х годов — «Бич», «Дрезина», «Красный ворон» и прочие появлялись на свет благодаря инициативе и участию Николая Эрнестовича. Острый и живой штрих его шаржей неизменно вызывает улыбку даже у тех, кому радловские «портреты» знакомы лишь по фотоснимкам.

К ученикам Н. Э. Радлова принадлежит и автор этих строк, благодарный на всю жизнь великолепному мастеру и сердечному человеку.

В этом номере «Невы» читатель найдет короткие рассказы Радлова, подтверждающие его литературную одаренность, ведь перу художника принадлежит известная его книга об искусстве рисования.

Бор. Семенов



Евгений Замятин